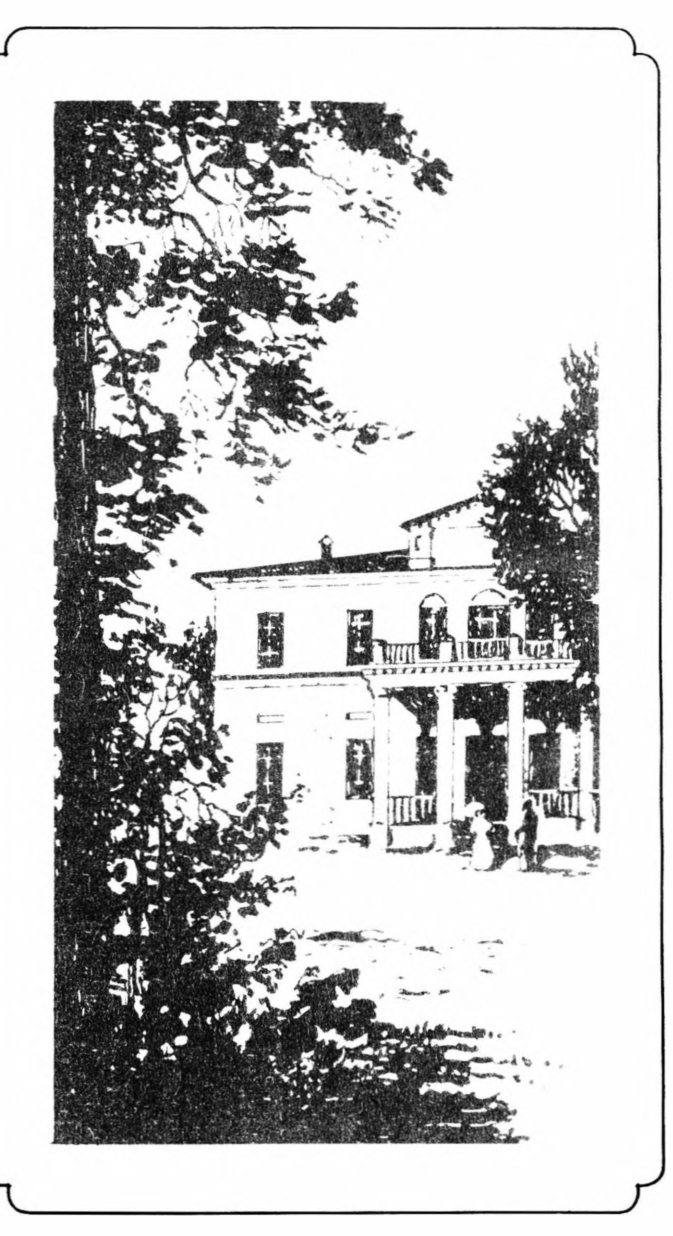
И. В. СЕЛИВАНОВ
С. Т. СЛАВУТИНСКИЙ

Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи».
(Ленин В. И. о литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699)



ИЗ НАСЛЕДИЯ

И. В. СЕЛИВАНОВ
С. Т. СЛАВУТИНСКИЙ

Из провинциальной жизни

Повести, рассказы, очерки

МОСКВА.
«Современник», 1985

Р1
С29

Составление,
вступительная статья, комментарии *Ю. В. Лебедева.*
Текст печатается по изданиям: Современник, 1857, № 2, 4, 5;
Славутинский С. Т. Повести и рассказы. М., 1860;
Славутинский С. Т. Жизнь и похождения Трифона Афанасьева. М., 1860; журн. Древняя и новая Россия, 1876, № 9, 10, 11, 12.

С $\frac{4702010100-045}{М106(03)-85}$ без объявл.

ББК84Р7
Р1

В кругу «Современника»

«Бедна литература, не блистающая именами гениальными; но не богата и литература, в которой всё — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы» [1],— писал В. Г. Белинский.

Русская литература XIX века богата своими вершинами: рядом с Л. Н. Толстым, например, по известному выражению В. И. Ленина, во всей Европе поставить некого. Но, покоренные духовной мощью Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского, не забываем ли мы подчас о многочисленной плеяде писателей второго или третьего ряда, писателей по-своему интересных и талантливых? Их свет действительно меркнет в лучах славы наших классиков. Но без «второстепенных» у нас не было бы и гениев: гениальность не вырастает на пустом месте, для ее рождения, роста и становления необходима богатая и плодородная культурная почва.

Мы часто и с нарастающей тревогой говорим в последнее время о проблемах экологического равновесия. Понятие это из сферы биологии все более решительно перемещается в область культурологии и даже литературоведения. Нацио

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 8, с. 379.

нальная литература — живой организм, внутри которого действует сложная и еще не познанная нами система взаимосвязей, взаимовлияний, взаимозависимостей. Не будем же уподобляться героям известной басни И. А. Крылова «Листы и корни». Любуясь ветвистой кроной нашей отечественной классики, не забудем и о корнях, которые ее питают, о том наследии, которое мы должны беречь и возрождать. «У нас есть огромная литература «второстепенных», которую мы совсем не знаем и которая может дать чувству и мысли значительно больше того, что дают сейчас»[1], — говорил А. М. Горький, который постоянно напоминал нам еще и о другом: «...поле наблюдений старых, великих мастеров слова было странно ограничено, и жизнь огромной страны, богатейшей разнообразным человеческим материалом, не отразилась в книгах классиков с той полнотой, с которой могла бы отразиться»[2]. Литература «второстепенных» более или менее успешно восполняла оставленный классиками пробел.

* * *

Неяркое, но по-своему содержательное наследие оставили потомкам ныне забытые беллетристы 1850-х годов, обращавшиеся в своем творчестве к крестьянской тематике, к жизни чиновничества и провинциального дворянства. Их произведения, рассыпанные на страницах журналов середины и второй половины XIX столетия, или вообще не переиздавались, или давно стали библиографической редкостью. В нашей книге читатель познакомится с очерками, рассказами и повестями из народного быта И. В. Селиванова и С. Т. Славутинского — двух авторов, творчество которых в свое время было замечено литературной общественностью и даже оказало влияние на классиков русской литературы.

И. В. Селиванов и С. Т. Славутинский — выходцы из бедных слоев провинциального дворянства Рязанской губернии — представляли накануне крестьянской реформы

---

[1] Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 418.
[2] Горький М. Беседы с молодыми. М., 1980, с. 208.

1861 года своего рода «рязанскую школу» на страницах некрасовского «Современника». Общность их социального происхождения скреплялась близостью первоначальных детских впечатлений, почерпнутых из быта крестьянства и дворянства юго-восточной части российского Нечерноземья. Они прошли суровую школу провинциальной жизни в качестве мелких государственных чиновников или выборных от уездного дворянства и по долгу службы в течение многих лет общались с русским мужиком. Не столько литературный талант сам по себе, сколько богатый жизненный опыт вывел их на всероссийскую литературную стезю. В эпоху вытеснения дворян разночинцами, с наступлением второго этапа освободительного движения в русской литературе появился запрос на писателей, которые знают народную жизнь не со стороны, не отвлеченным, книжным знанием, а непосредственно и близко, что называется, из первых рук.

После Крымской войны в русской жизни назревал крутой перелом, усложнялись задачи литературы, изменялась ее роль в жизни общества. «Направление, принятое русскою литературою последних годов,— писал в 1856 году М. Е. Салтыков-Щедрин,— заслуживает в высшей степени внимания. Русский человек с его прошедшим и настоящим, с его экономическими и этнографическими условиями сделался исключительным предметом изучения со стороны литераторов и ученых. Всякий стремится посильною разработкою явлений русской жизни уяснить для себя загадочный образ русского народа... всякий, кого сколько-нибудь коснулся труд современности, кто не праздно живет на свете, волею или неволею, естественным ходом вещей должен убедиться, что если мы желаем быть сильными и оригинальными, то должны эту силу и оригинальность почерпать в той стране, на которую доселе, к сожалению, мы смотрели равнодушными и поверхностными глазами заезжего туриста»[1].

Уже беглый обзор литературно-художественных журналов и газет 1850-х годов убедит любого непредвзятого читателя, как стремительно нарастает в них интерес к отечественной тематике. Если в 1840-х годах отдел «Смесь» в «Московских ведомостях» был заполнен путевыми очерками по Франции, Великобритании, Аравии, Турции, то в

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1966, т. 5, с. 33—34.

пятидесятые годы его буквально взяла на откуп русская провинция.

В это время каждая газета, каждый журнал усиленно ищут корреспондентов в провинциях, охотно публикуют материалы с мест. Архангельск и Кинешма, Верхнедвинск и Ордынск, Орел и Осташков, Кострома и Одесса — так расширяется и демократизируется тогда русская очерковая «география».

В условиях революционного кризиса, переживаемого нацией, по-новому осознается связь литературы с жизнью. Еще В. Г. Белинский говорил, что искусство — «не умственный Китай», но именно к концу 1850-х годов стала очевидной полная несостоятельность так называемого «эстетического сепаратизма» и относительность автономии искусства среди других форм общественного сознания. Литература, если она хотела оставить за собой роль «учебника жизни», должна была выйти за пределы собственно художественных проблем на широкий простор действительности и ради этого поступиться на время своей спецификой. Воображение, игра творческой фантазии — великая сила, но пусть останется жизнь и такою, какою она существует до нашей мысли о ней, до литературной ее обработки. Можно оставаться писателем, но не спешить с художественным обобщением, не завершать и не закруглять в произведении то, что в самой жизни не поддается еще завершению, не укладывается в эстетически совершенные формы. Демократический пафос литературы тех лет проявился в безграничном преклонении перед жизнью, которая сама по себе казалась богаче любых, даже самых дерзновенных, художественных вымыслов. Доверием к жизненному процессу с его собственными творческими возможностями были проникнуты строки основного тезиса революционно-демократической эстетики Н. Г. Чернышевского: «Произведение искусства может иметь преимущество перед действительностью разве только в двух-трех ничтожных отношениях и по необходимости остается далеко ниже ее в существенных своих качествах»[1].

Критика и читающая публика особым вниманием окружала тогда беллетристов-первопроходцев, исследователей новых, еще не освоенных литературою явлений действительности. Возникла настоятельная потребность в произве-

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1949, т. 2, с. 69.

дениях, опирающихся на конкретный жизненный факт, и в писателях, берущих материал для творчества из своего собственного жизненного опыта, гарантирующих его абсолютную достоверность. Появилось недоверие к «книжной» культуре и к творчеству авторов, кругозор которых ограничивается столичными впечатлениями и жизнью людей господского сословия. В 1855 году Н. А. Некрасов писал:

В наши великие, трудные дни
Книги не шутка: укажут они
Все недостойное, дикое, злое,
Но не дадут они сил на благое...[1]

Писатели-рязанцы в ряду других своих собратьев по перу принесли в русскую беллетристику живой голос с мест, голос уездной России — страны сел и деревень. Проблемой проблем, волновавших русское общество в преддверии реформ 1860-х годов, было освобождение крестьян от крепостной зависимости. По словам Н. А. Добролюбова, разъяснение крестьянского дела «стало уже не игрушкой, не литературной прихотью, а настоятельною потребностью времени»[2], от его решения зависела жизнь нации, национальная судьба.

* * *

Илья Васильевич Селиванов родился 16 июля 1810 года в селе Любава Зарайского уезда Рязанской губернии, в небогатой, но культурной семье уездного предводителя дворянства Василия Павловича Селиванова. Отец И. В. Селиванова принадлежал к тому старинному русскому дворянству, которое, по словам А. С. Пушкина, «составляло у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, коему принадлежит и

---

[1] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т. Л., 1982, т. 4, с. 25.

[2] Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М.— Л., 1962, т. 6, с. 52. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте; первая цифра обозначает номер тома, вторая — номер страницы.

большая часть наших литераторов»[1]. Василий Павлович закончил Шляхетский кадетский корпус и был довольно образованным человеком своего времени, но по наследству ему досталось лишь двадцать душ крепостных крестьян да голые стены пустого господского дома.

Быт дворянства средней руки в начале XIX века мало отличался от крестьянского. В святочные вечера толпы ряженых, по неписаному обычаю старины, заполняли барские «хоромы». «За плясками и скоморошеством,— вспоминал младший брат И. В. Селиванова Василий,— следовали святочные игры, подблюдные песни, хоронение золота, гадание с петухом, и во всех затеях принимали участие сами господа — молодые и дети»[2].

Детство И. В. Селиванова было освещено событиями Отечественной войны 1812 года, ускорившей процесс пробуждения национального самосознания. «События 1812 и последующих, славных для русского оружия годов,— писал В. В. Селиванов,— не только жили тогда в памяти и изустных рассказах, но, кажется, и самый воздух был еще пропитан славою этих воспоминаний»[3]. В атмосфере патриархального усадебного быта, в культурной семье, чуждой крепостническому произволу и беззаконию, формировался характер человека, которому суждено было стать одним из родоначальников «обличительного направления» в русской литературе 1850-х годов.

Точное объяснение такого жизненного парадокса дал И. С. Тургенев в одном из писем К. К. Случевскому: «Все истинные *отрицатели,* которых я знал — без исключения (Белинский, Бакунин, Герцен, Добролюбов, Спешнев и т. д.) происходили от сравнительно добрых и честных родителей. И в этом заключается великий смысл: это отнимает у *деятелей,* у отрицателей всякую тень *личного* негодования, личной раздражительности. Они идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни»[4].

---

[1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. М., 1964, т. 7, с. 207—208.

[2] Селиванов В. В. Предания и воспоминания.— В кн.: Селиванов В. В. Сочинения. Владимир, 1902, т. 1, с. 103.

[3] Там же, с. 10.

[4] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Письма. М.— Л., 1962, т. 4, с. 380.

По окончании частного московского пансиона И. В. Селиванов поступил на юридический факультет Московского университета, который пользовался в правительственных кругах николаевской России репутацией рассадника крамольных, вольнолюбивых идей.

По окончании университета с 1830 по 1839 год И. В. Селиванов находился на государственной службе в должности стряпчего Московского городского правления, а в 1839 году поселился в имении жены, селе Малое Маресево Саранского уезда Пензенской губернии и прожил в нем более десяти лет.

Здесь он не без оснований прослыл либералом и вольнодумцем.

Одним из первых помещиков Пензенской губернии Селиванов отпустил «на вольный оброк» с землей крепостных крестьян, занимался культурно-просветительной работой в своем имении, оказывал мужикам медицинскую помощь. А в должности Саранского уездного судьи, которую Селиванов исправлял с 1839 по 1842 год, он прославился строгостью и честностью, защитою интересов крепостных крестьян[1].

В этот период И. В. Селиванов близко сошелся с Н. П. Огаревым и А. А. Тучковым. В Малом Маресеве началась и литературная деятельность Селиванова. В 1849 году у него при обыске было обнаружено жандармами несколько рукописей: рассказ о крестьянине Игошке, повесть о дворянине Бельском, две статьи об отношении помещиков к крестьянам. К сожалению, эти ранние произведения писателя не были опубликованы и затерялись в архивах Саранского жандармского управления. Поводом же к обыску и аресту И. В. Селиванова послужили следующие драматические обстоятельства.

В 1848 году И. В. Селиванов совершил поездку во Францию и оказался свидетелем, а по некоторым версиям, и участником парижских баррикад. В начале 1850 года, вслед за Огаревым, Сатиным и Тучковым, он был арестован по делу о принадлежности к «секте коммунистов». Уликой послужило письмо, посланное И. В. Селивановым в

---

[1] О саранском периоде жизни И. В. Селиванова см.: Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск, 1951, с 62—74.

1848 году из-за границы А. А. Тучкову. В этом письме откровенно выражалось искреннее сочувствие революционной борьбе парижских рабочих: «Надобно видеть эту безвыходную нищету во всей ее отвратительной грязности, чтобы понять и оценить долготерпение народное... Здесь, как и в России, нахожу, что низший класс лучше высшего, т. е. честнее и справедливее и больше имеет понятия о праве»[1].

Письмо это попало в руки жандармов в феврале 1850 года при аресте Тучкова, Огарева и Сатина. Обыск, произведенный в имении Селиванова, подтвердил подозрения тайной полиции: в библиотеке были обнаружены сочинения Прудона о собственности, Вильгарделя — по истории социальных идей, Консидерана — об основании социализма, а также Бюллетени республики и иллюстрированная история французской революции.

По окончании следствия Селиванов «за превратный образ мыслей» был сослан в Вятку «под надзор начальства» и «причислен к канцелярии гражданского губернатора».

На должности старшего чиновника особых поручений он сменил получившего повышение по службе и тоже опального Салтыкова-Щедрина, с которым Селиванов познакомился, но не сдружился. Срок ссылки Селиванова оказался более коротким, чем у Щедрина (с марта 1850 по февраль 1851 г.), но по-своему плодотворным. В глухой по тем временам Вятке начинающий писатель столкнулся с бесстыдным самоуправством и злоупотреблениями провинциальных властей. Вместе с тем на будущего автора «Провинциальных воспоминаний» большое нравственное влияние оказал вятский губернатор Аким Иванович Середа. По характеристике Селиванова, «это была такая благородная, такой высокой честности личность, какие встречаются не часто... Будучи губернатором в губернии ссыльных, он мог бы наделать зла... но он был провидением несчастных, совершенно предоставленных его воле»[2].

Авторитетные исследователи и биографы Щедрина полагают, что именно под воздействием А. И. Середы у автора

---

[1] Литературное наследство, 1959, т. 67, с. 374—587.

[2] Селиванов И. Записки дворянина-помещика. Русская старина, 1880, кн. 6, с. 121.

«Губернских очерков» возник образ идеального чиновника и появились надежды на честную государственную службу, в которой Щедрин видел некоторое время один из плодотворных путей обновления русской жизни. Селиванов тоже оказался в плену у этих иллюзий, но, в отличие от революционера-демократа Щедрина, пронес их через всю жизнь. «У нас в России, где низший класс находится в таком жалком, в таком униженном положении, обязанность всякого честного человека должна состоять в том, чтоб служить ему по мере сил своих. Пусть говорят, что хотят о том, что у нас служить нельзя, что один ничего не сделает и прочее,— все это вздор, и ничего больше; фразы, выдуманные для того, чтобы прикрыть леность, своекорыстие, равнодушие»[1] — так горячо отстаивал Селиванов свой идеал честного чиновника, призванного спасти и обновить Россию.

Первые литературные опыты, выраставшие на почве саранских и вятских впечатлений, Селиванов посвятил обличению николаевской бюрократии, которая паразитировала на труде народа, бесстыдно пользуясь его безответностью и попустительством.

После освобождения и возвращения из ссылки он продолжал, как и Щедрин, государственную службу на различных должностях: был председателем Московской уголовной палаты, членом судебной палаты, мировым судьей и т. д.

С 1856 по 1861 год Селиванов начинает активное сотрудничество в революционно-демократических журналах «Искра», «Век», но особенно часто печатается в «Современнике». Наиболее известная его книга «Провинциальные воспоминания», вышедшая в двух томах в 1857 году, первоначально была опубликована в журнале «Современник». В нее вошли очерки, основанные на личных впечатлениях, на действительных фактах служебной деятельности автора и представляющие собою нечто среднее между рассказами и мемуарами. В центре внимания Селиванова — взяточничество и чиновничьи плутни, произвол местных властей и деспотизм помещиков, картины жизни дореформенного крестьянства.

---

[1] Цит по изд.: Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957, с. 181.

Рассказы из народного быта «Перевоз», «Обыкновенный случай» и «Полесовщики», увидевшие свет на страницах «Современника», были тепло встречены читателями и критиками. Добролюбов, Чернышевский и Некрасов ценили эти произведения за резкость и остроту, ставили их в один ряд с «Губернскими очерками» Салтыкова-Щедрина.

В объявлениях об издании «Современника» во второй половине 1850-х годов имя Селиванова всегда попадало в круг «писателей, постоянно пользующихся особенной благосклонностью публики», и упоминалось вместе с именами Григоровича, Мельникова-Печерского, Островского, Тургенева и Льва Толстого.

А. И. Герцен, с которым Селиванов поддерживал тайные связи и не раз встречался во время заграничных путешествий, в одной из своих статей, обличая сторонников «чистого искусства» и не знающих жизни столичных литераторов, так оценивал селивановский очерк «Перевоз»: «Столичные растения, вы вытянулись между Грязной и Мойкой, за городской чертой для вас начинаются чужие края. Суровая картина какого-нибудь «Перевоза», с телегами в грязи, с разоренными мужиками, смотрящими с отчаянием на паром и ждущими и день, и другой, и третий, вас не может столько занять, как длинная Одиссея какой-нибудь полузаглохшей, леденящейся натуры»[1].

Что же привлекало читателей в обличительных очерках Селиванова? Что нового внес он в освещение трудов и дней русского земледельца?

Критический пафос, опирающийся не столько на темперамент художника, сколько на практический опыт, на достоверные, невыдуманные факты, немало способствовал, разумеется, популярности его произведений и приходился ко двору основному направлению «Современника». Добролюбов в своем письме к Славутинскому, критикуя его за «розовый колорит» одного из «Внутренних обозрений», писал: «У нас другая задача, другая идея... нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызвать читателей на внимание к тому,

[1] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1958, т. 14, с. 118.

что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыха — до того, чтобы стало противно читателю все это богатство грязи, чтобы он, задетый, наконец, за живое, вскочил с азартом и вымолвил: «Да что ж, дескать, это, наконец, за каторга! Лучше уж пропадай, моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиваться...» (9, 408). Богатая коллекция фактов произвола и беззакония провинциальных властей, собранная И. В. Селивановым, до некоторого времени вполне устраивала редакцию «Современника». В письме к Л. Н. Толстому Н. А. Некрасов писал: «Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину»[1].

А Н. Г. Чернышевский в письме к Н. А. Некрасову так отозвался о селивановском очерке «Перевоз»: «Статейка Селиванова» плоха «со стороны таланта и ума», но эффектна и выгодна «по своей резкости»[2].

Другой источник успеха селивановских очерков заключался в том, что писатель подошел к изображению народа с необычной стороны. Н. А. Добролюбов не без оснований сетовал на однобокость русской беллетристики 1840 — начала 1850-х годов, изображавшей народную жизнь как особый, замкнутый в самом себе мир, наглухо отгороженный от других сфер русской жизни. «Житейская сторона обыкновенно пренебрегалась тогда повествователями, а бралось, без дальних справок, сердце человеческое. ...Как мужик с своей деревней связан, кем управляется, какие повинности несет, чей он и как с барином, с управляющим, с окружным и исправником ведается,— это вы могли открыть в весьма редких случаях...» (6, 51). Н. А. Добролюбову вторил М. Е. Салтыков-Щедрин, который утверждал, что «в этом закрытом со всех сторон мире всё представляется особенным, стоящим в противоречии с теми жизненными

---

[1] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1952, т. 10, с. 284.

[2] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т., т. 14, с. 340.

условиями, которые выработаны цивилизацией»[1]. Ведь при таком «замкнутом» освещении жизни народа многочисленные беды крестьянского существования воспринимались как невзгоды личного характера, а не как следствие общего порядка вещей, несовершенства всей системы социальных отношений. И. В. Селиванов как раз и обратил внимание на кабальную зависимость судьбы крестьянина или крепостного рабочего от целой корпорации воров и грабителей в лице местной администрации. Народная жизнь в его очерках открылась навстречу жизни других сословий русского общества, вступила с ними в сложные взаимоотношения. Картина при этом значительно расширилась, народный быт утратил замкнутость и вошел в общий строй российской действительности предреформенной поры.

Это «расширение арены реализма» наглядно проступает при сопоставлении очерка Селиванова «Полесовщики» с рассказом И. С. Тургенева «Бирюк» из «Записок охотника». Драма жизни лесника в тургеневском очерке звучит приглушенно: мы узнаем о его неудавшейся личной жизни, чувствуем в его поведении скрытую тревогу и беспокойство. Но в целом характер Бирюка остается загадочным, окруженным какой-то таинственной дымкой. В чем причины его угрюмой суровости, его фанатической преданности неблагодарной службе? Почему этот великодушный и сердобольный человек готов сначала уничтожить жалкого и несчастного мужичонку-порубщика? Ответа на эти вопросы тургеневский очерк не дает, так как жизнь Бирюка показана в нем обособленно, вне связи с общественными силами, которые стоят над ним и во многом определяют его судьбу.

В очерке И. В. Селиванова «Полесовщики», в художественном исполнении значительно уступающем тургеневскому, жизнь полесовщиков изображается в драматической зависимости от власти деревенского старосты, от произвола уездных властей. Положение героев выглядит безысходным: с одной стороны, глухая ненависть своего же брата мужика, с другой — суровая кара со стороны сильных мира сего...

Однако и здесь обнаруживается изъян, свойственный всей обличительной литературе либерально-демократичес-

---

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т., т. 9, с. 322.

кого направления: расширяя картину народной жизни, она одновременно и ограничивала ее, придавала ей однобокий характер. Попадая в зависимость от произвола деревенского «мира» и уездного начальства, крестьянин превращался в существо подневольное, терпеливо сносящее все беды и лишения со стороны властей. В очерках И. В. Селиванова и речи не возникало о том народе, который, по словам А. И. Герцена, «втихомолку организовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния...»[1].

Резкие обличения И. В. Селиванова лишались плодотворной почвы, каковой, по Щедрину, является «почва народная». Не чувствуя в народе исторической силы и творческого начала, Селиванов поневоле возлагал все надежды и благородные помыслы на честного чиновника, призванного защищать безгласного мужика. Горькая правда такого «обличительства» оборачивалась полуправдой. В очерке «Обыкновенный случай», например, речь идет о наезде «блох-становых» в село, на окраине которого обнаружено мертвое тело. Деревенский «мир», как стихийное бедствие, терпеливо сносит произвольные и наглые поборы судейских чиновников. Спустя несколько лет Н. А. Некрасов подхватил этот мотив в классическом стихотворении «Похороны»:

Суд наехал... допросы...— тошнехонько!
Догадались деньжонок собрать...

Но какими жалкими и мизерными выглядят у поэта следователи и лекаря по сравнению с духовным величием народа! Мужик у Некрасова человечески значителен и щедр той добротой, которая помогает ему забыть о своей

[1] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т., т. 6, с. 17—18.

беде и отдаться всею душой, всеми помыслами чужому горю:

Почивай же, дружок! Память вечная!
Не жива ль твоя бедная мать?
Или, может, зазноба сердечная
Будет таять, дружка поджидать?

Мы дойдем, повестим твою милую:
Может быть, и приедет любя,
И поплачет она над могилою,
И расскажем мы ей про тебя[1]

Такая полнота правды о жизни народной, какую мы встречаем у Некрасова, не давалась в руки Илье Васильевичу Селиванову. Из беллетристов второго ряда, печатавшихся в «Современнике», лишь другой писатель-рязанец — С. Т. Славутинский в какой-то мере приблизился к ней.

* * *

Степан Тимофеевич Славутинский родился 11 января 1821 года в селе Гайворон Курской губернии в семье небогатого помещика. Его детство прошло в родовом поместье матери, селе Михеево Егорьевского уезда Рязанской губернии. «Меня окружала,— вспоминал С. Т. Славутинский,— истинно патриархальная обстановка небогатого помещичьего быта, среди которой как у себя дома, так и нигде по соседству ничто не обличало перед моей слишком рано развившейся детской наблюдательностью печальных, мрачных сторон иного быта, крестьянского. Между нашими да и соседними крестьянами я никогда не видал нищеты, бедствия, какого-либо помещичьего стеснения или произвола»[2].

Но после окончания Рязанской гимназии, в которой С. Т. Славутинский учился вместе с известным русским поэтом Я. П. Полонским, юноша определился на службу старшим чиновником особых поручений при рязанском гу-

---

[1] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 2, с. 113.

[2] Славутинский С. Отрывки из воспоминаний.— Древняя и новая Россия, 1878, № 9, с. 45—46.

бернаторе. Здесь-то и произошел в мировоззрении будущего писателя довольно решительный переворот. «Полное неведение мое о крестьянских волнениях, о расплатах с помещиками за злоупотребления крепостным правом, даже о возможности всего этого, продолжалось до самого 1847 года, когда я вдруг увидал и узнал досконально, что такое у нас крестьянские бунты, из-за чего они случаются, как может относиться к ним губернская администрация, как их усмиряют, и что, вообще, из этого происходит. Конечно, все это имело для меня поразительную новость и не могло не врезаться в моей памяти с особенной живостью»[1].

В начале лета 1847 года рязанский губернатор П. С. Кожин объявил молодому чиновнику, что он будет сопровождать губернатора в Донковский уезд для усмирения крестьян имения князя Голицына, не повинующихся помещичьей власти. То, с чем столкнулся здесь С. Т. Славутинский, превзошло всякие ожидания: «По приказанию губернатора дома пятерых главных бунтовщиков были разметаны тут же по бревну, а семейства хозяев разметанных домов были посажены на телеги для отправления куда-то. Помню чрезвычайно живо: бабы, обратившись лицом к церкви, сшибали руками и с таким отчаянием бросались на землю, что невольно ужас охватывал...»[2] Дело о бунтах в Голицынском имении, по воспоминаниям С. Т. Славутинского, во многом воспитало его, способствуя становлению демократических взглядов писателя.

Заведуя неофициальной частью «Рязанских губернских ведомостей», он начал печатать здесь свои заметки. В Рязани Славутинского уважали и даже прозвали в шутку «рязанским златоустом»: он писал в это время оригинальные стихи и занимался переводами песен Беранже и поэзии Байрона. Сам выбор авторов свидетельствовал о прогрессивных убеждениях и эстетических вкусах молодого литератора.

В феврале 1857 года Славутинский поместил в журнале «Русский вестник» три стихотворения, а в 1858 году — два рассказа: «История моего деда» и «Читальщица». Подобно Салтыкову-Щедрину и Селиванову, писатель совмещал

---

[1] Славутинский С. Отрывки из воспоминаний.— Древняя и новая Россия, 1878, № 9, с. 46.

[2] Там же, № 10, с. 162.

литературную деятельность с государственной службой, приносившей ему немало неприятностей и огорчений.

В 1858 году Славутинскому пришлось возглавить следствие по «дедновскому делу», скандально прошумевшему на всю Россию. Началась эта история с того, что крестьяне села Деднова Зарайского уезда оказали неповиновение своему вотчинному начальнику. В ответ рязанский губернатор Новосильцев выслал на место происшествия батальон солдат и приказал высечь тридцать человек «зачинщиков» без суда и следствия. Экзекуция приняла чудовищный характер: крестьян секли по нескольку раз, а потом раздевали донага перед специально согнанным народом, ставили на колени и держали на снегу в двадцатиградусный мороз по часу и более.

По долгу службы Славутинский вынужден был разбираться в этом деле спустя два месяца после усмирения дедновцев губернатором. Хотя к позорной экзекуции писатель никакого отношения не имел, имя его в неблаговидном контексте попало на страницы герценовского «Колокола». «Все служба́ проклятая виновата,— сетовал Славутинский Добролюбову.— Клянусь, и, пожалуйста, не толкуйте вкривь этих слов, что я производил дедновское дело с полной добросовестностью, с искренним желанием помочь несчастным дедновцам...»[1]

Эта история заставила писателя бросить государственную службу. Весной 1859 года он вышел в отставку и перебрался на жительство в Москву, решив заняться литературной работой. Через редактора рязанских ведомостей А. Н. Златовратского, товарища Добролюбова по педагогическому институту, Славутинский познакомился с ведущим критиком «Современника». Начался самый результативный период его жизни, отмеченный сотрудничеством в самом передовом журнале того времени. В 1859 году он опубликовал здесь повесть «Своя рубашка», названную впоследствии «Мирская беда», и лучшее свое произведение «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева». Кроме того, Славутинский вел в «Современнике» в 1860 — начале 1861 года отдел «Внутреннее обозрение».

---

[1] Цит. По ст.: Черняк Я. З. Н. А. Добролюбов и С. Т. Славутинский. Эпизод из литературного движения 60-х годов.— Красная новь, 1936, № 2, с. 253.

Привлекая Славутинского к постоянному сотрудничеству в журнале, Добролюбов познакомился с его повестью «Читальщица», которую высоко оценил, а также с рукописью романа «Правое дело». «Роман мой,— писал Славутинский,— направлен не против частных злоупотреблений,— мне хотелось затронуть в нем общие существенные черты учреждений, некоторых общественных понятий и явлений, вызванных этими учреждениями, представив эти черты в живом их действии»[1]. Судя по всему, Славутинский чувствовал ограниченность либерального обличительства и старался придать роману более радикальное звучание. Такая общественная позиция была созвучна редакции «Современника», которая к концу 1850-х годов, в момент разрыва между революционерами-демократами и либералами, заметно охладела к обличительной литературе типа «Провинциальных воспоминаний» И. В. Селиванова. На первый план выдвигалась борьба не с отдельными злоупотреблениями, а революционное отрицание всей социальной системы.

Но роман «Правое дело» не пропустила цензура. Лишь две главы его были опубликованы в начале 1860 года в московской газете «Современность и экономический листок», сразу же закрытой по распоряжению властей на втором номере. Можно предположить, что сюжетным зерном романа явилась едновская история, которой впоследствии Славутинский занялся всерьез. Он изучил архивные дела за целое столетие и написал замечательный антикрепостнический очерк «Генерал Измайлов и его дворня».

Добролюбова привлекал в Славутинском-литераторе богатейший жизненный опыт, фактическое знакомство с закулисными сторонами провинциальной жизни. По долгу службы в течение одиннадцати лет он был фактически следователем по крестьянским делам, знал многочисленные случаи народных волнений. Прекрасная осведомленность в тонкостях крестьянской жизни дополнялась доскональным знакомством с бюрократическим механизмом уездной и губернской администрации, с настроениями провинциального дворянства накануне реформы 1861 года. Такой человек был незаменимым автором для революционно-демократического журнала.

---

[1] Цит. по ст.: Черняк Я. З. Указ. соч., с. 251.

Приход Славутинского в «Современник» в качестве постоянного сотрудника совпал с драматическим событием в истории отечественной журналистики. В 1859 году разногласия между революционерами-демократами и либерально настроенными писателями достигли кульминации и завершились уходом Тургенева, Толстого, Григоровича и других из журнала. В этих условиях Некрасов, Чернышевский и Добролюбов стали объединять вокруг редакции «Современника» молодых писателей, взгляды которых были созвучны революционно-демократическому направлению.

Когда в 1860 году произведения Славутинского были опубликованы отдельным изданием, Добролюбов откликнулся на них программной статьей «Повести и рассказы С. Т. Славутинского», предвосхищающей классическую работу Чернышевского «Не начало ли перемены?».

Что привлекало Добролюбова в творчестве Славутинского, почему этот писатель, обладавший скромным художественным дарованием, заставил ведущего критика «Современника» посвятить ему одну из лучших статей?

Потому, что в повестях и рассказах Славутинского Добролюбов увидел преодоление крайностей, которые обозначились в русской беллетристике второй половины 1850-х годов.

Добролюбов открывает свою статью решительной полемикой с писателями, которые идеализируют народный быт, стараются смягчить «перед нами грубый колорит крестьянской жизни». «Смотря на народ с высоты своего величия», они пытаются «обойти его недостатки и выставить только хорошие стороны» (6, 53). Преимущество Славутинского заключается в том, что он «не щадит красок для изображения дурных сторон» крестьянского мира, «не прячет подробностей, свидетельствующих о том, какие грубые и сильные препятствия часто встречает в нем доброе намерение или полезное предприятие» (6, 53). Это «мужественное, прямое и строгое воззрение на простой народ» и является, по Добролюбову, первым признаком, отличающим писательскую манеру Славутинского от его литературных собратьев.

Чаще всего именно это положение в статье критика абсолютизируется и даже кладется в основу его эстетической концепции. А между тем мысль Добролюбова устремляется далее и касается, так сказать, другой стороны медали. Не

впадая в крайность идеализации, Славутинский, с точки зрения критика, чужд и той недооценки творческих возможностей народа, которая проявляется в произведениях писателей «обличительного» направления. «Еще немало у нас, в образованном обществе, таких господ, которым ничего не стоит обвинить повально целый народ в неспособности к гражданской жизни и всякому самостоятельному устройству» (6, 285).

Повести Славутинского не таковы. Они дышат «верой в народ», они помогают читателю «жить его жизнью, понимать естественность и законность тех или других поступков, рассказываемых автором. И несмотря на то, что многое признаешь в них грубым, все-таки начинаешь более ценить этих людей» (6, 53).

«Правда без всяких прикрас», найденная Добролюбовым в повестях и рассказах Славутинского, заключалась, таким образом, не только в изображении темных сторон народного быта, но и в том, что «народ не замер, не опустился, источник жизни не иссяк в нем» (6, 284). В контексте литературной жизни того времени статья Добролюбова несла в себе двойной полемический смысл. Не только либералы, но и многие писатели из демократического лагеря сосредоточивали тогда внимание на гибельных для народа и для России в целом последствиях крепостного права и тоже впадали в крайность, в приземленное изображение жизни крестьян. Как отмечают современные историки литературы, «это еще не было неправдой; здесь не было какого-либо очернительства или глумления над «меньшим братом». Но это была не вся правда.

Реализму демократов-шестидесятников не хватало той окрыленности и прозорливости демократов-революционеров, которая позволила им разглядеть в рабском быту, в душе раба искры очищающего пламени. В борьбе с сентиментальной жалостливостью, с идеализацией мужика, вместе с различными иллюзиями они выпалывали и уверенность в революционных, преобразовательских и созидательных возможностях крестьянства»[1]. Добролюбов одним из первых критиков революционно-демократического на-

---

[1] Ждановский Н., Шаталов С. Просветительские тенденции в реализме (Н. Г. Чернышевский и писатели-демократы 60-х годов).— В кн.: Развитие реализма в русской литературе. М., 1973, т. 2, кн. 1, с. 312.

правления предостерег писателей и от такого односторонне-критического подхода.

В повести Славутинского «Читальщица» критик подметил признаки сильной натуры не только в характере Андрея Нахрапова, отца главной героини. В лице «читальщицы» Татьяны он увидел «не выдуманный, а присущий русской жизни идеальный образ», «новое явление положительного характера, зарождающегося в недрах народной жизни». В подтексте статьи Добролюбова ощутима скрытая полемика с Тургеневым, с идеальным образом русской девушки из господского круга — героини «Дворянского гнезда».

Лиза Калитина отказывается от любви, от поисков счастья и уходит из мира в монастырь одного из отдаленных уголков России отмаливать грехи своих предков, своего отца.

Не так ведет себя в аналогичной ситуации тоже религиозная девушка из народа. «...Она не пошла в монастырь, чтоб там укрыться от житейских треволнений. Ее идеал был в другом роде: она осталась... учить маленьких детей; потом отыскала старого своего деда, который, спившись, начал уже побираться по миру, и уехала в деревню — жить с ним и ухаживать за ним. Она поддерживала его и себя своими трудами: зимой и в ненастье шила она бабьи наряды, весной ходила работать на огороды, а летом на сенокос... Таков идеальный характер, найденный г. Славутинским в глуши русской жизни» (6, 62).

В другой повести Славутинского — «Мирская беда», которую Добролюбов относил к числу произведений, «выражающих направление „Современника"», изображается жизнь крестьян села Байдаровка. Писатель показывает в ней, что освобождение крестьян от власти помещика само по себе еще не гарантирует свободной и вольной жизни. Надежды на творческие силы общинного самоуправления нуждаются в существенных поправках, так как община не застрахована от кабалы хищных и цепких деревенских мироедов вроде байдаровского старосты Вороненкова. Жертвой его произвола становится благородный крестьянин Терехин.

Высокую оценку идейного смысла, заключенного в основном конфликте этой повести, дал в свое время Н. Г. Чернышевский. Терехин, с точки зрения критика, сам виноват в своей гибели, так как он слишком поздно осознал необходимость активной борьбы со злом. «Терехин, — писал

Чернышевский,— человек честный, умный, заслуживающий уважения, но он не хочет вмешиваться в общественные дела... он не позаботился приготовить все сельское общество к борьбе с Вороненковым, и, когда ему пришлось начать эту борьбу, оно не было готово поддержать его; он не вступился за мир, и мир не успел организовать свои силы, чтобы вступиться за него: беззаботность его о благе общества стала причиной его погибели»[1].

По существу, в этой повести С. Т. Славутинский дал точную характеристику драматических сторон народной жизни, обусловивших поражение революционных сил 1860-х годов. Но вместе с тем «Мирская беда» не оставляет впечатления безысходности, в ней теплится мысль о богатых творческих возможностях крестьянского демократического самоуправления, которые остаются пока нереализованными. Эти возможности Славутинский убедительно демонстрирует в главах документального антикрепостнического очерка «Генерал Измайлов и его дворня», посвященных описанию дедновского бунта, и в повести «История моего деда».

В «Отрывках из воспоминаний» Славутинский, глубокий знаток народной жизни, писал: «Народный дух в великороссийских губерниях сохранил свою силу и при крепостном праве,— и это зависело всего более от системы землевладения у чисто русских крестьян. Общинное землевладение сослужило великую службу нашему народу. Это — факт несомненный, на который, не знаю, обращено ли у нас вполне должное внимание. Понятно, что при сохранившемся в своей силе народном духе рано ли, поздно ли должно же было проявиться в самом крепостном народе вышеуказанное активное уклонение из-под той зависимости, которая так стесняла всякое разумное развитие его деятельности»[2].

Именно народное сопротивление самодурству помещика «всем миром» спасало русское крестьянство от духовного порабощения. «Помещики наши в имениях своих,— замечает Славутинский,— все равно в оброчных ли, барщинных ли, имели дело с крестьянским «миром», крепко сложившимся и установившимся под влиянием общинного землевладения, а не с отдельными личностями... И «мир» твер-

---

[1] Материалы к биографии Н. А. Добролюбова. М., 1890, т. 1, с. 524.
[2] Древняя и новая Россия, 1878, № 9, с. 44.

до знал про себя, что на этой земле он должен остаться и безотменно останется»[1].

С другой стороны, при общинном землевладении «всякое давление произвола помещичьего было легче уже потому, что разделялось на весь „мир"», и, «когда в произволе помещичьем обнаруживалось посягновение на существенные интересы целого «мира», «мир», завсегда между собою крепкий, оказывал такое упорное, энергическое сопротивление, которое и по подавлении его обыкновенными тогда административными мерами вело, по большей части, к устранению злоупотреблений помещичьей властью»[2].

Драматическая судьба человека из народа, оторвавшегося от «мира» и пытающегося в одиночку изменить свою судьбу, раскрывается в повести Славутинского «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева». Идеал Трифона — стремление к независимой, вольной жизни — заставляет его с завидным упорством и настойчивостью вести борьбу за существование.

Славутинский отказывается здесь от традиционных в литературе 1840-х — начала 1850-х годов суммарных характеристик крестьянина, который обыкновенно изображался в статике, с набором некоторых устойчивых и неподвижных душевных свойств. В соответствии с общим пафосом реализма второй половины XIX века писатель пытается показать народный характер в динамике, намечает контуры его эволюции, отмеченной целой серией жизненных катастроф. На первый взгляд эти катастрофы ведут героя к духовной деградации, причиной которой отчасти являются бесчеловечные социальные условия крепостнической России. Но писатель не снимает нравственной ответственности и с самого героя, впадающего в индивидуализм. Об этом говорит финал повести — запоздалое прозрение Трифона Афанасьева. В современном прочтении такой финал может показаться искусственным, выпадающим из логики развития характера Трифона Афанасьева. Смущает то обстоятельство, что его нравственное пробуждение окрашено в религиозные тона.

А между тем здесь-то и начинается новый процесс

---

[1] Древняя и новая Россия, 1878, № 9, с. 44.

[2] Там же.

рождения народного протестанта. Вспомним «сермяжного философа» Сютаева, «гениального мужика», по определению Льва Толстого. Вот фрагменты из его философии: «Жисть надо устраивать» по «закону божию», «как бы было друг дружке не вредно». «Сейчас все люди врозь живут, каждый для себя», а при общей жизни «у всех будет одно сердце, одна душа»[1]. В такой наивной форме пробивали себе дорогу в жизнь социалистические мечты русского земледельца, и писатели-демократы относились к ним вдумчиво и серьезно. Славутинский в данном случае не был одинок: с ним заодно был и Некрасов, автор стихотворения «Влас» и поэмы «Тишина», и Салтыков-Щедрин со «Странниками и богомольцами» из «Губернских очерков».

* * *

Повести С. Т. Славутинского и очерки И. В. Селиванова не отличаются классическими художественными достоинствами. Характеры в них неполны и непоследовательны, лишены художественной цельности, а подчас и вообще едва намечены и неразвиты. Но Добролюбов, отмечая эти изъяны в произведениях беллетристов-демократов, неизменно ставил им в заслугу «верный такт действительности» и «умную мысль».

Вынесенные на поверхность всероссийской литературной жизни в эпоху революционного половодья второй половины 1850-х годов, эти писатели оставили литературное творчество в пореформенный период, в обстановке спада общественного движения. Их «писательский век» оказался слишком коротким. Тем не менее их творчество оставило заметный след в летописях русской беллетристики.

В нашей науке и обиходном сознании еще бытует представление, что «второстепенные» писатели лишь «перепевают» мотивы произведений великих классиков. В жизни бывает чаще наоборот. М. Е. Салтыков-Щедрин высказал однажды основательно забытую, но мудрую и верную

---

[1] См.: Пруцков Н. И. Русская литература XIX века и революционная Россия. М., 1979, с. 195—224.

мысль: «Значение второстепенных деятелей на поприще науки и литературы немаловажно. Они полезны не только в качестве вульгаризаторов чужих идей, но иногда даже в качестве вполне самостоятельных исследователей истины... Очень часто от внимания инициаторов ускользают подробности весьма существенные, которые получают надлежащее развитие лишь благодаря их последователям. Эти последние дают новые подкрепления возникающим жизненным вопросам, проливают на них новый свет и отчасти даже видоизменяют их»[1].

К замечательной плеяде таких «второстепенных деятелей», которые «обогащали новыми выводами и применениями» живое поле русской литературной жизни, принадлежали писатели, с произведениями которых читатель имеет возможность познакомиться в этой книге.

Ю. В. ЛЕБЕДЕВ

---

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т., т. 9, с. 343.

ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ СЕЛИВАНОВ

(1810—1882)

Перевоз

Рассказ

I

До города П дошли слухи, что при следовании туда гурта из одной южной губернии взяли на гребенском перевозе реки Шальной по 2 рубля ассигнациями с головы. По крайней мере на это жаловались гуртовщики, когда, при возвысившейся вдруг цене на мясо, захотели узнать тому причину.

Не далее как на четвертый день после того, начальник губернии получил предписание строжайше исследовать это дело и тотчас же донести, а виновных предать законному суду.

Это строжайшее предписание начальник губернии, тоже при строжайшем предписании, передал своему чиновнику особых поручений, которого для этого стащили чуть не с постели, ибо дело было ночью. Бедняга, проведший вечер свой за полночь, где-то за картами, и с наслаждением мечтавший о том, как будет тянуться под атласным одеялом своим, должен был, кряхтя и охая, посылать за лошадьми и в перекладной тележке (ибо это был конец апреля и проезду не было ни в каком экипаже) скакать за 30 верст на перевоз.

Грязь была страшная. Мелкий дождь сеялся из серых туч как из сита; предутренний ветерок резко прохватывал молодого человека.

Он, с ненавистью к притеснению и с жаркой любовью к правде, мчался по липкой грязи, время от времени вдруг

сменявшей неконченное шоссе дороги. Томимый желанием быть полезным деятелем в кругу, в который поставила его судьба, он неутомимо погонял ямщика своего. Ему хотелось непременно до восхождения солнца доехать до перевоза, ибо ему было известно, что большею частью гурты перевозятся через реки рано утром. По времени года и дурной погоде, проезжих на дороге почти не было. Закутанный в камлотовую шинель, молодой человек переваливался с боку на бок на мокром сене, заменявшем ему сиденье, на котором он предпочитал лежать, чтоб не чувствовать колотья в боку от тряски, несмотря на туго перетянутый платком живот и на беспрестанную перемену положения и места. Но телега была неумолима. Она подбрасывала его и подхватывала на лету, била голову, когда он хотел прилечь на забрызганную грязью подушку, била колена, когда он хотел протянуть ноги, встряхивала так, что у него захватывало дух...

Река начинала уже входить в берега, неся на волнах своих все, что удалось ей подцепить на пути: стога сена, лес, дрова, мелкие куски льда и все, что не успела она украсть прежде, или что по каким-либо причинам уцелело до сих пор от ее жадного могущества.

Полуразрушенная лачуга, известная всем изба с елкою, да какой-то плетневый сарай без крыши означали место казенного перевоза. Тут же подле лежал на боку столб с надписью, по скольку брать за перевоз с проезжих и прохожих. Надпись эта хотя и должна была гласить, что с коляски четверней надобно брать столько-то, а с телеги столько-то, с пешехода столько-то, но цен выставлено нигде не было, так что рассчитывающий на эту доску очень бы затруднился посредством ее доказать перевозчикам свое право.

Это мне напоминает одну губернию, где на протяжении двести почти верст верстовые столбы, отлично выкрашенные, гордо стояли без цифр, и проезжий мог восхищаться только искусством, с которым они выкрашены, но относительно расстояния своего от станции оставался в совершенной неизвестности.

Остановившись у избы с елкой, молодой человек, в той мысли, что следователь должен быть дипломатом, оставил шинель в телеге и в одном дубленом полушубке вошел в «Заведение» для того, чтоб узнать, кто содержит перевоз, кто управляет им и кто перевозчики. Узнать это было не-

долго. Пьяный посетитель, сидевший на крылечке и оказавшийся соседним крестьянином, рассказал ему не только что знать ему было нужно, но даже и то, что вовсе не нужно.

Благодаря этой неожиданной помощи, молодой человек узнал, что перевоз содержит чиновник Иван Семеныч Ребенков; что у него нет носу; что на перевозе приказчиком мещанин Ситников — страшная бестия; что перевозчиков зовут Иван Семеныч, Карп Иванов, Иван Никитин и проч. и проч., что все они ребята славные, только испить любят; что без этого уж нельзя перевозчику; что у Карпа Иванова жена гуляет; что мошенник сиделец в кабаке воду подливает в вино и что напиться даже за пятиалтынный нельзя; что на перевозе живет заседатель с казаком... для порядку, да очень пьянствуют, и проч. и проч.

Выслушав все это, он пошел к парому. На берегу стояло десятка с три телег и кибиток, у которых лошади были отложены и привязаны, как говорят, к корму, то есть к куску холста, растянутого между оглоблями, на котором дают лошадям овес, и называемому «хребтук». Удивленный тем, что люди так покойно расположились на берегу в грязи по колено, не переезжают через реку и не выбирают другого лучшего места, ежели уж хотят непременно стоять здесь, он подошел к одной кибитке, в которой, под лоскутом черной, но уже порыжелой от дождя кожи, лежала на брюхе какая-то лысая голова, ноги которой торчком высовывались с другой стороны кибитки, и спросил: отчего же он не переезжает?..

— Рад бы переехать, да не везут! — отвечала лысая голова.— Вот третий день стою, дожидаюсь, чтоб перевезли... не везут. Кто даст мошенникам целковый или два, того перевезут, а не даст, так сиди на берегу...

Пока лысая голова говорила, к кибитке подошли человек пять-шесть мужиков, бродивших между телегами и месивших грязь по колено своими огромными сапожищами. Видя, что молодой человек «новичок», они, по свойственной человеку наклонности поверять горе свое всякому, кто не слыхал о нем, принялись рассказывать ему, что стоят здесь кто день, кто два, кто три; что многие, рассчитав воротиться домой на другой день по выезде с места, не имея при себе денег или имея их очень мало, стоят голодные по целым суткам, а лошади их, съевши то, что было сенца в телегах, стоят тоже без корму; что на все просьбы их о бедственном положении перевозчики отвечают ругательством

или насмешками; что они ходили жаловаться сельскому заседателю, командируемому сюда «для порядка» земским судом и избравшему резиденцию свою в доме с елкою, но что этот заседатель, вполовину пьяный, прогнал их, сказав: «Дожидайтесь очереди!», тогда как эта очередь существует только для тех, кто заплатит; что казак, присланный тоже «для порядка», пьян с утра до вечера и вместе с солдатом инженерного ведомства, из евреев, постоянно живущим на перевозе, выходят из караулки только для того, чтоб драться или получить свою часть денег с проезжих, или более догадливых, или более достаточных, чем другие.

При этих рассказах сердце молодого человека сжалось; им овладело благородное негодование. Позабыв, что он послан на следствие о гуртах и видя эту толпу людей, человек почти сорок, предоставленных произволу невежественной и грубой корысти, слыша крик голодных и иззябших детей, он бросился к перевозу.

Светать только что начинало. Сердито шумела река в берегах своих; но движения на ней не было. Паро́м стоял у берега, мерно качаясь под напором бегучей волны. Густой туман лежал над противоположным берегом и окрестностями и из него, в форме косматой исполинской шапки, торчал курган, поросший кустарником. Ржание лошадей, одинокий вой и лай собаки, привязанной к одной из телег и осужденной голодать вместе с хозяевами и лошадьми, унылый крик ребят, убаюкиванье матерей, всплески волн, отдаленный говор, близкие ругательства,— все это сливалось в один концерт, нестройный и дикий.

Различать предметы было уже можно, но перевозчики не торопились: ни одного из них не было еще у парома. Взбешенный этим равнодушием, молодой человек бросился к караулке. Там на соломе, сене, рогожках, войлоках валялось человек шесть перевозчиков. Некоторые еще спали, некоторые поднялись и лениво будили товарищей, говоря, что «пора!». На что другие отвечали ругательствами или словами: «Пора тебе, так ступай»!.. Это равнодушие к своей обязанности взбесило молодого человека еще более. Быстро вбежал он в избу и закричал грозно:

— Что ж вы нейдете к перевозу, мошенники?

Лежавшие подняли лениво головы, еще ленивее посмотрели на молодого человека, потом улеглись еще покойнее и закрыли глаза, как люди, до которых это не касается вовсе; стоявшие оглянулись, молча посмотрели на кричавшего

и потом продолжали каждый прежнее свое занятие, не отвечая ни слова, как будто вопрос относился не к ним и они были люди совершенно посторонние.

Молодой человек вышел из себя.

— Не вам, что ли, говорят, подлецы! — закричал он еще грознее.

Тогда один постарше, стоявший к двери спиною, не повернувшись и не оборотив даже головы, спросил его очень равнодушно:

— А ты по казенному, што ли?

— Тебе какое дело, по казенному или нет? Ваше дело перевозить всякого. Живо — к парому!

— Не по казенному, так жди. Экий прыткий! Видишь, что народу стоит на берегу? Не хуже тебя, а ждут.

— Как же вы смеете держать их?

— Кто их держит! Пусть едут.

— Куда ж они поедут, когда вы не перевозите?

— Куда хотят, туда пусть и едут. Нам-то какое дело.

— Как же не дело, когда вы перевозчики, когда вы по контракту взялись за это?

— Да разве мы брались — брался хозяин.

— А где ваш хозяин?

— Да кто его знает! Должно быть, в городе.

— Кто ж у вас старший здесь? Приказчик, или кто другой?

— Все старшие здесь! А хочешь найти старшего здесь,— ищи!

При этих словах он замолчал, и никакой крик, никакие угрозы не могли вывести его из его равнодушного молчания. Сильно хотелось молодому человеку ударить его, но мысль, что этим он окажет себя и повредит следствию, остановила его. Видя, что тут ничего не добьешься, и, напротив того, заметя, что после его крика перевозчики стали сбираться еще медленнее, он пошел отыскивать земского заседателя, «командированного сюда для порядка».

Он нашел его в избе с елкой, опохмеляющегося из стоявшей перед ним косушки, на лавке, заменявшей ему постель,— в ситцевой рубашке, с засученными рукавами, сверх нанковых русских штанов с гашником[1], в сладкой беседе с целовальником[2], занятым сливанием из штофов, полуштофов и косушек по нескольку вина, а сверху накрывающим их пробкою из жеваной бумаги, на которой неприкосновенно покоилась печать откупа[3], так что тому, кто бы

усомнился в должном количестве вина в косушке, с торжеством показали бы печать несломанною и тем удостоверили бы самого неверующего, что ошибается он, а не откуп.

Думая, что молодой человек вошел для того, чтоб выпить, целовальник оставил свое занятие и приготовлялся снять с полки маленький четвероугольный штофчик, называемый шкаликом. Но молодой человек, еще не совсем проникнувшийся своей ролью, довольно грубо спросил его:

— Где здесь заседатель земского суда?

Целовальник молча показал ему на сидевшего в ситцевой рубашке.

Молодой человек был еще очень неопытен. Он отступил на два шага, пораженный мыслью, что эта опухшая и лоснящаяся от пьянства рожа, с редкою и безобразною бородою, принадлежит заседателю, «присланному для порядка».

— Я проезжий, г. заседатель,— начал он,— и желал бы знать, почему ни меня, ни тех, которые стоят на берегу, не перевозят через реку?

— А позвольте узнать, кто вы такой и из каких? Из благородных?

— Я полагаю, что для вас это совершенно все равно, кто бы я ни был. Довольно того, что я проезжий и что, по закону, должны перевозить всех безостановочно.

— Нет, позвольте. Ежели вы благородный, так я сейчас велю перевезти; а не благородный, так придется подождать. Вы по подорожной[4], что ли, али так?

— Нет-с! я без подорожной.

— Служащий-с?

— Нет, я из дворовых людей.

— Так что же ты лезешь-то, братец? Видишь, что народу на берегу стоит? Должен ждать...

— До которых же пор ждать мне?

— До которых!.. ну, до тех, как перевезут.

— Да здесь есть такие, что по три дня стоят.

— Да тебе-то какое дело, что они стоят? Ты когда приехал? — Небось, сейчас только! Так жди. Не велика птица.

— Однако позвольте...

— Молчать, холуй! А поговоришь еще, так в земский суд отправлю. Что буянишь-то.

— Да чем же я буяню — помилуйте? Я только спрашиваю, почему ни меня, ни других не перевозят?

— А не перевозят потому, что я не велел! А не велел потому, что опасность есть!

— Какая же опасность, коли и вчера некоторых перевозили, и нынче ночью; а других...

— Молчать. Я говорю тебе, не то ведь я... так угощу... пожалуй!..

— А я жаловаться буду.

— Кому ты там будешь жаловаться? Исправник[5] с подрядчиком в половине. Черта с два возьмешь, как пойдешь жаловаться...

— Да помилуйте, у меня надобность есть!

— Плевать я хотел на твою надобность. Много здесь надобностей... слушай только! Пошел к черту, говорят тебе.

— Велите же меня перевезти.

— Придет твоя очередь, так и перевезут!..

И с этим словом стал шарить под лавкою, отыскивая смазные сапоги свои.

Много надо было терпения молодому человеку, чтоб сносить равнодушно ругательства этого полупьяного. Много раз порывался он показать ему свою подорожную «по казенной надобности», свое «открытое предписание»[6], но, к чести его должно сказать,— он перенес все для того, чтобы узнать в подробности всю гадость притесняющих, все страдание и долготерпение притесненных.

Пока он находился в раздумье, что ему делать, в комнату вошел мужчина лет тридцати, с бородкой, остриженной клинышком, в теплом ваточном кафтанчике, известном под именем пальто-сак, размашисто поклонился заседателю, кивнул головой целовальнику, искоса посмотрел на молодого человека и сказал:

— Наше почтение-с, Аверьян Никитич-с. Как, примерно сказать-с, ночь проводить изволили-с?

— Покорнейше благодарим-с, Панфил Андреич! Очень голова побаливает что-то-с...

— Может, с ветру-с. А это что за человек? К вам, Аверьян Никитич, али так, проезжий какой-с?

— Проезжий, чтоб черт его побрал. Пристал, как банный лист...

— А вам что, молодец, примерно сказать, нужно-с?..— спросила вдруг бородка клинышком дрожавшего от нетерпения молодого человека.

— Мне нужно, чтоб меня перевезли.

— За этим остановки не будет. Вы как — по подорожной проезжать изволите-с?

— Нет, без подорожной.

— Какая те, братец, Панфил Андреич, подорожная! — перебил заседатель, зевая и потягиваясь. — Ты думаешь и бог знает, какая штука?.. Алексей Алексеич*, ничего больше.

— Три целковеньких-с... так перевезем...— сказала бородка клином, обращаясь к молодому человеку.

— Где ж мне взять три целковых. Я барский человек и послан...

— А нет, братец, трех целковых, так сиди да жди очереди!.. мало тут мужичья вашего брата-то; упрямятся заплатить, так пусть и сидят.

— Иной бы и рад заплатить, да нечем.

— А мы что, подрядились, что ли, даром возить вас?

— Да ведь вы из казны деньги на то получаете, чтоб возить даром.

— Язык больно долог у тебя — вот что! Много ли мы получаем-то, знаешь ли ты?

— Знаю.

— А знаешь, так не твое дело. Сказано: хочешь, чтоб перевезли, неси три целковых, да и шабаш.

В эту минуту вбежал молодой купчик в синей чуйке[7], обстриженный в скобку, очень примасленный, в фуражке с бархатным околышем, и наскоро проговорил:

— Хозяин-с! Прикажите перевезти-с. Оченно нужно-с. Тятенька приказал просить-с...

— А вы чьи будете-с? — спросил приказчик.

— С Москвы-с... на ярманку-с.

— Вам известно, молодец-с...

— Знаем, хозяин-с, знаем! только не задержите, пожалуйста. Тятенька оченно просить приказал-с... вот и деньги прислал.

И с этим словом подал ему красненькую[8] ассигнацию.

Приказчик взял, поднес ее к окну, пристально посмотрел номер, подпись кассира, положил ее в карман и сказал:

— Сейчас-с! — и сам вышел из избы. Молодой купчик последовал за ним, а чиновник за купчиком, желая знать, что будет дальше.

Выйдя из кабака, приказчик направился к рыбачьей караулке, крикнул Ивана Савельева и, когда тот вышел, сказал:

---

* Алексеями Алексеичами называют всех дворовых людей, за что они очень сердятся. *(Примеч. автора.)*

— Сейчас перевезти тройку с Москвы, слышишь!.. да пешковые есть, так тоже перевезти можно... возьмешь по пятачку серебряному с брата, а больно ломаться будут, так по десяти копеечек... слышь, ты!

— Слышу...

— А захотят кто из проезжих, так поставьте, пожалуй. Возьми рублик серебряный с тройки, да и с богом.

— Ну, а давать не будут?..

— Давать не будут, так и перевозить не надоть. Разве уж больно кричать да озорничать кто станет...

Перевозчики между тем вышли и поплелись к парому. Было часов 6 утра. Было уже довольно ясно; солнце начинало показываться из-за высокого противоположного берега. Темные тучи укладывались на одной стороне горизонта кучами, на другой, на синеве неба, полный месяц начинал прятаться за темный бор, черною лентою охвативший полгоризонта.

Когда повозка молодого купчика с его тятенькой въехала на паром, могущий еще вместить десятка полтора повозок и телег, несчастные жертвы притеснения Ребенкова и бородки клинышком тронулись было гурьбой к парому, надеясь, что время страданий их окончилось. Они очень ошиблись. Их стали останавливать, те не хотели слушаться, произошла свалка, в которой, вероятно, перевозчики были бы побеждены, а перевозимые остались победителями, ежели б бородка клинышком, вероятно опытная в делах такого рода, не послала скорее за заседателем и казаком. Первый хотя и прибежал «для сохранения порядка», но быть главным лицом ему не удалось, честь эта досталась на долю последнего. Казак так усердно напал на осаждающих паром, что они принуждены были отступить. Тогда, под личным наблюдением самого заседателя, начали пускать на паром пешковых гуськом, по одному, взимая с каждого по пяти копеек серебром; те же, которые не могли заплатить этого «добровольного приношения за хлопоты», допускаемы были только после долговременных ругательств, и то не иначе как с тычком в шею. Оказалось, что все или большая часть заплатили; вероятно, они были из соседних деревень и знали, что гребенской перевоз славится неизменной справедливостью: без денег никого не перевозить. Одни старушонки, шедшие на богомолье, с туесками, висевшими спереди и сзади, оказались счастливее всех: их посадили даром. Хотя бородка клинышком и подговарива-

лась получить с них по грошику, но они храбро выдержали натиск и остались победительницами.

Когда пешковые были посажены, началась разборка тем, которые были в повозках и телегах. Кому очень надоело дожидаться, те стали предлагать, смотря по достатку, кто по гривенничку, кто по пятиалтынничку с лошади; но эти предложения были отвергаемы бородкою клинышком, как унизительные для достоинства гребенского перевоза. Он импровизировал, и тотчас обнародовал таксу: по четвертаку с лошади, и то потому, что на пароме оставалось свободное место. С ругательствами, многие согласились, зная, что ждать помощи неоткуда: они уже простояли сутки, все поджидая, не подъедет ли какой *генерал,* который *велит перевезти.* Деньги были взяты тотчас же, и, в силу этого, получено дозволение становиться на паром. Большею частью это были троичники и на парах, остались бедняки однолошадные, большею частию жители соседних деревень, бывшие на базаре и пропившие там выручку, а вследствие того не имевшие чем заплатить. Так как на пароме осталось еще место и бородке клинышком, казалось, жаль оставлять это место впусте, то он объявил, чтобы с соседних брать только по гривенничку, а если у них денег нет, то принимать в обеспечение «что окажется пригоже», мешок — так мешок, кожу — так кожу, овчину — так овчину; а у кого нет даже и таких ценных вещей, должны представить хоть рогожу, хоть рукавицы, если им ехать недалеко, причем как те, так и другие получили уверение, что на перевозе у них *«на чести»* и что тот, кто привезет деньги, получит в целости вещь свою.

Берег очистился, и там, где, за минуту перед тем, слышались ругательства, шум, крики, слезы, водворилась совершенная тишина и осталось только несколько разбросанного сена да местами зерна овса, на которые тотчас налетели голуби, и наш герой, никак не хотевший заплатить четвертака с лошади, по очень простой причине, что ему не для чего было переезжать на другую сторону.

Когда паром отчалил, молодой человек не захотел более скрывать себя. Для виду попрося еще раз бородку клинышком перевезти его даром, на что тот отвечал, послав его ко всем чертям, и потом, обратясь об этом с жалобою к заседателю, на что и этот отвечал ему тем же, он вдруг вышел из роли просителя и закричал:

— Так я вам приказываю перевезти меня — и сейчас же!

Бородка клинышком и заседатель сначала оробели было, но потом, сами спохватясь своей «глупости», только засмеялись и, махнув рукой, сказали:

— Хорошо, хорошо! только не твоя неделя нынче приказывать-то!

И хотели уже уйти, когда молодой человек сунул в нос заседателю открытое свое предписание и тем заставил его остановиться. Прочитав по складам содержание его, он принялся чесать голову молча, видимо не зная, что делать. Долго бы, может быть, продолжал он полезное занятие свое, если б бородка клинышком не подоспела к нему на помощь. Видя смущение заседателя, он обратился к нему с просьбою передать ему открытое предписание. Рассмотрев его, он вдруг спросил молодого человека:

— А позвольте узнать-с: вы, то есть, у какого, примерно, губернатора служить изволите-с?

— У здешнего — разве не видите?

— Так-с. Так чего ж вам угодно-с?

— Мне угодно, чтобы вы мне отвечали, как вы смеете удерживать людей на перевозе по нескольку дней?

— Так вот чего угодно-с! А мы думали, может, перевезти-с — так сейчас.

— Мне не нужно вашего перевоза... я требую ответа на то, что спрашиваю.

— Ответа-с!.. А на что ответа?

— На то, как вы смеете удерживать здесь проезжих?

— Удерживать-с... Кто ж их удерживает-с?

— Вы.

— Мы-с... Никогда-с.

— Да разве я не застал здесь людей, которые стояли по два, и даже по три дня.

— Да кто ж им велит стоять-с! Может быть, такая надобность им была-с.

— Какая надобность, когда их не перевозят?

— У нас задержки нет-с... Мы перевозим всех-с... Прощенья просим-с.

И с этим словом бородка клинышком слегка поклонилась и хотела уйти, но молодой человек, раздосадованный наглостью его, дернул его и закричал:

— Как ты смеешь уходить, когда я говорю с тобой? Разве ты не читал, кто я?

— Позвольте-с!.. Вы драться, то есь, не извольте-с. Этого, примером сказать, вам не позволено-с. Я мещанин...

и без депутата, вы, то есь, спрашивать меня не можете-с[9].

— Как же вы смеете здесь грабить?

— Грабят-с в лесу, да на большой дороге, а здесь перевоз... грабить нельзя-с. К тому ж, здесь земская полиция есть-с... и наблюдение имеет...

— Вы знаете ли, что по контракту вы обязаны перевозить всех даром.

— Контрака́ у нас нет-с... и мы не знаем, что там написано-с... Знаем только, что от хозяина приказано четыре человека содержать-с, а мы содержим двенадцать-с.

— Зачем же четыре, когда двенадцать нужно?

— Мы эвтаго не можем знать-с. Должно быть, так в контраке сказано-с.

— Что здесь четверым человекам делать, когда и двенадцать-то только, только что сладят с паромом.

— Это уж дело хозяйское... Просим прощенья-с.

Что было делать? Кровь у молодого человека кипела; он дрожал от негодования, но видел, что сделать ничего не может. Бородка клинышком без депутата отвечать ему не будет; требовать депутата и начать следствие он без особого предписания не может; а просить предписания и дожидаться его — значит, жить три или четыре дня на берегу, в грязи, в кабаке, без еды и питья, в сообществе пьяного заседателя и мошенника перевозчика. А к чему поведет и следствие, если б даже и начать его? Где обвинители, где свидетели? Никого нет. Все это уж на другом берегу, и, когда придет предписание, они будут кто за пятьдесят, кто за сто верст. Да и кто они? — он не знает никого по имени, не знает ни места их жительства; не знает даже, захотят ли они быть свидетелями против перевозчика, захотят ли быть привлечены к следствию; к тому же, ежели они из окрестных, им ссориться с перевозчиком невыгодно, ибо они постоянно у него в руках. Следствие начнут и кончат, чиновник уедет, а перевозчик останется. Но так как гневу его непременно надо было вылиться наружу, то он всею тягостью своей обрушился на заседателя.

— Вы что ж смотрели?..— закричал он.— И не остановили подобных притеснений?

— Мы... ваше благо... выше высокородие-с!.. мы... от земского суда-с... господин... исправник-с не приказал-с...

— Чего не приказал?..

— Не приказал-с... притеснения-с перевозчикам делать... Они, говорят-с, и г. начальнику губернии люди известные... и компанию с ними водят-с... так... я-с... тово-с.

— Врет ваш господин исправник. Никогда наш губернатор не позволит себе сделать такую несправедливость!

— Мы этого не можем знать-с... Наше дело подчиненное-с.

— Вы знаете, чему вы подвергаетесь, если будет доказано, что вы потворствовали притеснениям?

— Помилуйте-с... ваше высокородие-с... Не погубите-с... Жена... дети... мал мала меньше. Невинен состою-с... Волю начальства исполняю-с.

И он спьяна готов был заплакать; готов был даже опуститься среди грязи на колени, если бы гнев молодого человека не сменился презрением, и он остановил его.

— Стыдно вам, господин заседатель! — сказал он с силою.— Очень стыдно!..

— Помилосердуйте, ваше высокородие... Жалованья не получаю... должен проживаться здесь!.. рассудите милостиво... Что получу от перевозчика, то только и есть... не погубите-с! А насчет доказательств, не извольте беспокоиться: их не будет-с — все разъехались: спросить некого-с, а ежели...

Молодой человек не слушал его; он уже сидел в телеге и ехал к деревне, где перевозили гурт и взяли по два рубля ассигнациями с головы.

II

Было воскресенье, когда Ветлин (фамилия молодого человека) приехал в деревню Заозерье. Группы девок, в шубах из нанки ярких цветов, с шалями на плечах, сверх ситцевых сарафанов, обнявшись, ходили по грязной улице, на которой протоптаны были тропинки для пешеходов. Толпы молодых парней, в суконных кафтанах и халатах из синей китайки, стояли под навесами ворот, а один из них отхватывал на гармонике какую-то удивительную музыку, вроде камаринской или трепака.

Ветлин велел везти себя к дому старосты, сотника[10], или какой бы то «власти» ни было. Его привезли к дому десятника[11], который, как только узнал, что это губернский чи-

новник, тотчас побежал отводить ему квартиру. Так как имение было удельное[12], то это сделалось довольно скоро; в других ему пришлось бы, может быть, продежурить на улице часа полтора или даже и больше. Дом, в котором ему отвели квартиру, был двухэтажный. Он состоял из многих комнат. Ворота были в середине. Каждый ставень окна пестрел различными, самыми затейливыми фигурами и цветами; между окон, где было обшито тесом, тогда как и низ и верх были бревенчатые, красовались грубо нарисованные солдаты и деревья в горшках одного с ними роста, также что-то такое вроде львов, с надписями: «Се люты зверь!» или «Археп Исаев сей дом мастером был». Комнаты были светлы и чисты, но на окнах валялись крошки хлеба, а на изразцовой, с разными птицами, лежанке брошена была засаленная ситцевая подушка. По несчастью, комната оказалась нетопленною, и Ветлину предстояло или дрожать в холодной комнате, или идти в «общую», то есть туда, где останавливаются проезжие.

Ветлин предпочел последнее. Он вошел туда в то время, как извозчики, проезжавшие проселком, чтобы избежать казенного перевоза, обедали. Их было четыре человека. В ситцевых красных и клетчатых рубашках сидели они за столом, покрытым грязною скатертью, и в эту минуту «хлебали» щи. После щей подали им вареный горох, лапшу с медом, потом гречневую кашу с конопляным маслом, которую они, после каждой ложки, запивали квасом; потом, когда на требование ими меда меду не оказалось, подали им, вместо меду, конопляное масло, налитое в деревянную чашку. В масло это они макали «ситник», то есть белый пшеничный хлеб, нарезанный ломтями чуть ли не в два фунта величиною. Завершилось все это гороховым киселем, который они брали тоненькими лучиночками, заменявшими вилки; кисель был предварительно крепко посолен и облит маслом.

Никогда не видав подобного зрелища, Ветлин с любопытством и не без удивления смотрел на кушающих.

Русский человек вообще, когда ест, торопиться не любит. Он сначала снимет кафтан, поддевку и останется в одной рубахе; потом распояшет кушак и пояс, и наконец не только сам сходит посмотреть лошадей, но еще пошлет за тем же и товарища, когда воротится. Все эти операции делаются *не после,* но *во время* обеда, и поэтому обед из пяти перемен продолжается час и больше.

Время еды у русского есть время самых интимных бесед. Тут вы узнаете не только что с каждым обедающим случилось в тот день и в продолжение всей его жизни, но и характер его барина и барыни, ежели он помещичий, как зовут и каков их окружной начальник, ежели он государственный, все мошенничества и все плутни мелкого торгового мира, ежели он мещанин. Для наблюдателя нравов это лучшее время для того, чтоб узнать характер народа, его наклонности, его страсти, его понятия.

— Ты, Ванюха, никак, на казенной хотел ехать? — спросил один ямщик другого.

— На казенной, Тит Савельич! Проселком-то добре грязно, так с *саше* сворачивать-то не хотелось.

— Ну, так что ж не поехал?

— Какой не поехал — поехал, да воротился; только крюку даром дал.

— Что ж, не перевезли, што ль?

— Черт их, прости господи, разберет. Перевозчик залупил полтора целковых; я сунулся к старшому — приказчик, что ли, он там какой... думал, толк какой будет,— куда те!.. и под лад не дался. Дай два целковых, да и кончено. Подумал, подумал, да и поехал сюда.

— Там еще, никак, заседатель живет...

— Живет, чтоб ему... Ругатель, больше ничего. Пьяная харя!.. Вишь ты: он живет-то в питейном,— я и пришел туда. Сидит у них какой-то в синей чуйке — купец ли, мещанин, уж не знаю,— и переговоры ведут... Вы, дескать,— купец-то говорит,— как я подъеду с телегой к перевозу, и велите поставить; да как-нибудь, как будто невзначай, телегу-то и столкните в воду, чтоб все, что в ней есть, уплыло... али потонуло...

— Зачем же это?

— А кто ж его знает; должно быть, нужно. Вишь ты — у него бумаги какие-то требуют... бумаги-то у него, положим, и есть, да в них, вишь, фальшь какая-то... так их показать-то ему и нельзя... А тут, чего лучше,— утонули, дескать, да и все тут.

— Хитро, малой, подумаешь! — заметил третий.

— Известное дело — лавошник! На том стоят. Мошенник на мошеннике сидит, мошенником погоняет... Придет случай нашего брата рассчитывать, каких колес не подпускает. Норовит тебе арапчика[13] втереть безногого или изорванную бумажку... а станешь говорить — куда те!.. Рассерчает так,

что и господи упаси. Я намесь кладь привез к Ивану Прохорычу, знаешь Колотиловскому: надо было с него получить сто рублев с лишком за извоз. Уж какой же дряни он мне набрал!.. рублев на двадцать, никак, мелочи — одна одной хуже! Стертые, с дырочками,— пуговицы, да и только. Я ему и заикнулся: Иван, дескать, Прохорыч! деньги-то больно плохи даешь; а он как крикнет... да и пошел... и пошел... Я послушал, послушал — думаю: сем к городничему пойду! Не все ж, в самом деле, нашего брата обижать станут. Прихожу: солдат у городничего такой бравый стоит. Говорит: дедушка, чего нужно? Так и так, говорю, господин кавалер, к городничему пришел... Иван Прохорыч больно обижает, такой мелочи дал, что ни в одном кабаке не возьмут. Хотел его благородию пожалиться. «Эх, старик, старик! — сказал унтер.— Давно на свете живешь, а ума не набрался: ну променяет, что ли, на тебя городничий Ивана Прохорыча? У них дружба давнишняя — хлеб-соль водят. Как ни поедет Иван Прохорыч в Москву али в Питер... смотришь: то жене городнической на платье привез, то ему на мундир сукна... А ты тут суешься! Что ты ему? Ни брат, ни сват! Какие с тебя барыши! Поди-ка, брат, лучше откуда пришел... а то, пожалуй, рассерчает, так еще велит тебя же в трубную посадить. Право слово!» Подумал, подумал я... махнул рукой, да и пошел от греха подальше... Взаправду велит засадить... что возьмешь? пропадай они и с деньгами-то. Еще унтеру дал десять копеек на добром слове...

Поданная работницею перемена остановила на минуту нить разговора; после чего старик опять начал.

— А когда ж этот мещанин-то на перевоз хотел приехать?

— Завтра на рассвете,— отвечал Ванюха.— Так у них и согласие было, чтоб он приехал пораньше и побольше бы шумел: очень, дескать, нужно, суд бумаги требует.

— А что они с него взяли?

— Этого тебе, дядя Тит, хвастать не буду; настояще не слыхал... кажись, так будто, полсотни рублей он им сулил, а они просили больше. Ну, а на чем сошлись, не знаю. Только больно поджигал заседатель: ты, дескать, не мирись на полсотне — больше даст.

— Эко зелье, подумаешь! — проговорил старик, пережевывая кашу и запивая ее квасом.— Так и норовят только, чтоб обобрать человека.

Ветлин не пропустил ни слова из этого разговора. Он

побежал к себе, написал отношение к депутату, который был в губернском городе, чтоб он прибыл к следствию, распорядился отсылкою этого пакета и, обеспечив себя таким образом дня на два, ибо прежде этого срока ожидать депутата было нельзя, решился на другой день ехать опять на казенный перевоз смотреть, как будут топить бумаги, которые «суд требует», и узнать, с какой целью это делается.

III

Светало, когда Ветлин приехал снова на казенный перевоз в дубленом своем полушубке, густо забрызганном грязью. Он не хотел быть узнанным. Так как день был не базарный, то у перевоза собралось не много — три-четыре одноконные телеги, одна тройка с господином, спавшим в огромных ситцевых подушках, и наконец городская тележка, на которой сидела толстая мещанка в розовом платочке, едва прикрепленном на вершине головы, нарумяненная и набеленная, несмотря на раннее утро. Сидела она неподвижно, уставивши тупые глаза свои на одну точку. Мужчины с ней в тележке не было; а около перевоза кричал и ругался какой-то приземистый и плотный господин с бородкой, в синей чуйке, одна пола которой была заткнута за шелковый кушак, обхватывавший его неуклюжее и пухлое тело. Он кричал из всех сил, и всякому встречному и поперечному объяснял, что «ему необходимо нужно; что его требует магистрат для представления торговых книг; что он везет эти книги со всеми документами и должен всенепременно прежде полудня представить их в магистрат; иначе беда будет». Сквозь начинающий подыматься туман Ветлин заметил, что на бугорке стоял заседатель, бородка клинышком и целовальник, которые наблюдали, как удастся операция топления бумаг. Ветлин подошел к телеге мещанина или купца, требуемого магистратом, и заглянул в нее. Действительно, в ней лежал большой чемодан с книгами и бумагами. Чемодан не был заперт, а только связан веревкой, и то неплотно, и из него торчали графленые бумаги, усеянные цифрами. Кроме того, в телеге лежал узелок с платьем, который нарумяненная женщина, с розовым платочком на макушке, придерживала рукою.

Ветлин, оставив лошадей своих за старым плетнем, сам спустился прямо к воде, так, что ни заседатель, ни бородка

клинышком, при густом тумане, не могли рассмотреть его в лицо, и обратился прямо к пухлому купцу в чуйке.

— Позвольте узнать, куда вы едете?

— Я-с? в Колотилов! Очень тороплюсь. Изволите видеть-с... Мы по торговой части... лавочку мелочную содержали-с... и позапутались маленечко-с... года плохие, сами знать изволите!.. Торговцев очень много развелось... поодолжались кой-кому... так несостоятельными-с, изволите видеть, и объявились-с. Кредиторы, знаете, народ грубый, не полированный-с... так сумненье возымели, что мы, то есть, злостные банкроты-с... Подали, сударь, донос. Колотиловский магистрат и требует к рассмотрению книги и документы-с... Вот я их везу теперь... Конечно, книги у нас чистота-с... как стеклышко-с; а все, знаете, обидно-с... такую мораль заслужить.

— Так вы думаете поспеть нынче в Колотилов?

— Всенепременно нужно-с... Хоть лошадь насмерть загоню-с, а приехать постараюсь. Эй вы, господа перевозчики! Что же, долго ли держать проезжих будете? Не по указу девствуете! — закричал он перевозчикам, ставившим телеги на паром.— Прикажите-с, господин заседатель! — продолжал он, обращаясь к бугорку, на котором в густом тумане чуть виднелось лоснящееся лицо чиновника земской полиции, «присланного для порядка».

— Ребята, живее! — закричал повелительно хриплый голос из тумана.

— Живее! хорошо тебе; ты уж нынче хлебнул,— пробормотал себе под нос старый перевозчик,— а мы нынче еще хлеба крошки не видали во рту! Житье проклятое! Они себе гуляют да набивают карманы, а мы работай хуже собак!

Телеги и тройки были уже поставлены на паром, и пришла очередь городской тележке. Дряблый купчик засуетился изо всех сил. Подбежав сперва к одному, потом к другому перевозчику, он пошептался с ними и потом звонко закричал:

— Лимпиада Сергевна-с! троньте вожжи-с.

Толстая купчиха тронула вожжами, тележка двинулась, но у самого парома купчик остановил лошадь и сказал:

— Вылезьте, Лимпиада Сергевна-с. Всяко бывает. Не ровен час... Шутя, беда стряхнется.

Лишь только раздался звонкий голос дряблого купчика, понуждающий перевозчиков, из тумана вдруг выступила

высокая фигура казака, который вдруг, ни с того ни с сего, принялся распоряжаться перевозчиками.

— Ей вы, мужичье! — закричал он.— Скорей поворачивайся! Что проезжих-то держите? Живо!

Купчик, между тем проводивши по доскам свою Лимпиаду Сергевну на паром, сам воротился к лошади и, взяв ее под уздцы, пустил на мостки одну и крикнул:

— Ну, сивка! с богом.

В то самое мгновение, когда лошадь входила передними ногами на паром, а задние ноги ее и телега оставались еще на мостках, раздался вдруг неизвестно откуда свисток. Казак крикнул еще раз: «Живее!» Паром затрясся и тронулся с места. Бедная лошадь уцепилась было передними ногами за паром; но как он все отдалялся, то телега глухо рухнулась с мостков в воду и стащила за собою лошадь. Дряблый купчик, неизвестно для чего остававшийся на берегу, закричал, как сумасшедший: «Помогите, помогите!» А супруга его вдруг взвизгнула, как будто пырнули ее ножом, и начала выть, приговаривая на все тоны: «Архип Антоныч!.. Кор... милец... ба... тюшка!.. на кого... ты меня... покинул...»

Перевозчики между тем бросились к лошади, подцепили ее канатами, подтянули к морткам, обрезали супонь и вожжи, и вывели на берег. Все это совершилось почти в одно мгновение. Перевозчики кричали и бранились, кто как умел; лоснящийся заседатель, бородка клинышком и целовальник сбежали вниз с бугорка и кругом изо всех сил суетились; дряблый купчик кричал, выл, плакал, стонал, повторяя на все лады:

— Батюшки, батюшки! Помогите! Документы мои; батюшки, спасите... Ради бога спасите...— и метался из угла в угол, как будто его хотели резать.

Побежали за баграми, стали вытаскивать телегу, но она отчего-то опрокинулась вверх дном. Чемодан с бумагами канул на дно. Сколько ни искали его баграми, крючьями и кошками, сколько ни шарили и подле парома — найти не могли. Не знаю почему, Ветлин вспомнил нечаянно об узелке с платьем, лежавшем в телеге. Он взглянул на паром и увидел, что воющая Лимпиада Сергевна держала его в своих руках. Ветлин не мог не улыбнуться подобной предусмотрительности. Когда, наконец, телега была вытащена и все пришло в прежний порядок, дряблый купчик начал вопить, что он погиб, что Колотиловский магистрат засудит его, что чем же он виноват, что на все воля божия и

что без нее «влас с главы человеческой не спадет». Всхлипывая и рыдая, стал он сперва просить, потом убеждать, а наконец требовать свидетельства о том, что «документы потонули».

Этого, кажется, не ожидал лоснящийся заседатель. Он было окрысился на него; но, увидя, что тут есть посторонние, тотчас замолчал и только знаком показал ему на дом с елкою, как бы приглашая туда для объяснений.

Ветлин, любопытствуя видеть окончание этой сцены, последовал за ними и присел на крылечке увеселительного здания. С полчаса продолжался там крик и ругательства, потом все смолкло, а минут через десять дряблый купчик вышел оттуда весь в поту, складывая какую-то бумагу и гневно повторяя: «Иуды проклятые! чтоб вам на том свете ни дна ни покрышки... Мало еще взяли!.. совсем ограбить захотелось, разбойники!»

И долго продолжался бы, может быть, этот монолог, если б Ветлин не подошел к нему и не просил:

— А что, получили свидетельство?

— Получил, чтоб им пусто стало: пятьдесят рублей сдули, мошенники эдакие! Видят, что нужда человеку, ради не то что одежду, шкуру-то всю снять. Околеть бы вам без покаяния, душегубцы!

— А можно видеть свидетельство?

— Можно, пожалуй.

И он вынул гербовый 15-копеечный лист, исписанный каракулями, под которыми виднелась черная печать заседателя земского суда. В другой раз Ветлину пришлось подивиться предусмотрительности купчика и чиновника, приготовивших не только драму, но даже и развязку.

Свидетельство гласило:

«18... года апреля «...» дня, на Гребенском перевози свидетельство сие дал заседатель Колотиловскова Земскова Суда Гонотеев Колотиловскому купецкому племяннику Архипу Антонову сыну Криворотову,— книги и документы утанули в реке Шальной от полой воды. Помащь подавали всякую с опасностию жизни, и сам Криворотов еле не потонул спасал бумаги. У сего свидетельства за неумением грамоти заседатель печать приложил».

Прочитав эту бумагу, Ветлин махнул рукой, грустно потупил голову и молча поехал на следствие о гуртах...

Обыкновенный случай

Рассказ

I

В сельце Горках случился грех — на земле этого селения мужик, поехавший рано поутру на базар, наткнулся на мертвое тело. Сломя голову прискакал он назад в деревню, и прямо к избе сотского[1]. Тот еще спал; вороты были заперты, но приехавший принялся так усердно барабанить кулаком в раму и калитку, что и сам сотский, и все домашние его, в одних рубахах и босые, выскочили на двор, думая, что двор их горит.

Сотский окаменел, услышав неожиданную новость. Мысль о том, что «наедет суд», ужаснула его. Он знал по опыту, что значит выражение: «наедет суд» и сколько враждебного заключается в этом слове, не говоря уже об издержках — о баснословном количестве водки, кур, яиц и масла,— соединенных с этим словом.

Делать было, однако, нечего. Как ни горюй, а за работу принимайся. Тяжело вздыхая, полез сотский в поставец за медалью, прицепил ее тоненьким ремешком к своему серому кафтану, надел тулуп, кафтан, подпоясался красным кушаком, надвинул на лоб плисовую шапку, вооружился хлыстиком, признаком своей власти, и пошел торопливо к старосте. Заметно было, что, надевши кафтан с медалью, он как-то приосанился; поступь его сделалась торжественнее и тверже, голова поднялась выше: одним словом, он проникся чувством собственного достоинства.

Иван Лукьяныч был человек лет сорока, честный, трудолюбивый и пользовался общим уважением. Избрание его в сотские не было делом одиночества или неспособности к другому делу, как это обыкновенно бывает, но невольным сознанием превосходства его перед другими. Даже Ермил

Ипатыч, управляющий, видя единогласное избрание его всем миром, не стал противодействовать этому, хотя ему и очень хотелось, чтоб сотским назначили Ваську Барсученка, отъявленного забулдыгу и бобыля, на том основании, что у Васьки ни кола ни двора, нет ни лошаденки, ни коровенки, да и на барщину он не годится, а у Ивана Лукьяныча и лошади исправны, и ребята завистные работники. Сказал было Ермил Ипатыч старосте: «Вздор; не бывать Ивану Лукьянову сотским!», да одумался и махнул рукой, прибавив про себя: «Лучше становой[2] привязываться не станет! а вздумает заехать, так заедет к Ивану Лукьянову, а не ко мне... А то повадился шибко... Чует, что водка не купленная...»

Этому решению Ермила Ипатыча способствовало еще и то, что секретарь земского суда, его короткий приятель, однажды в дружеской беседе сказал ему на ухо:

— Сотских больно нищих выбираете. Подчас заедешь — перекусить нечего.

Ермил Ипатыч был дипломат и знал, что с властями спорить не надо. Он стоит того, чтоб сказать об нем несколько слов,— такого рода личности встречаются не часто.

Ермил Ипатыч был дворовый человек того времени, от которого представителей почти не осталось. В молодости он был музыкантом — в то время всякому помещику казалось необходимым для дворянского *гонора* иметь оборванную толпу музыкантов; женился он на старой возлюбленной барина и приобрел через это такое значение, что, когда барин послал его управляющим в степную деревню, никто из дворни не удивился тому. Ермил Ипатыч был не глуп и знал хорошо характер барина, не выезжавшего из столицы. Ермил Ипатыч расположился в барском доме, как в своем собственном, набрал себе прислугу, заставлял старост и начальников дожидаться себя в передней по нескольку часов, одним словом, в весьма короткое время понял и усвоил себе все замашки управляющих, необходимые для того, чтоб заслужить всеобщее уважение и низкие поклоны крестьян. Высокий, здоровый, одетый всегда несколько небрежно, но непременно в белом галстуке, он свел короткое знакомство с уездными властями, был запросто с заседателями уездного и земского судов, которые ездили к нему частенько, зная, что у него найдут всегда и жирный обед, и достаточное количество настоек и наливок всякого рода; с канцелярскими чиновниками судов он обходился с видом по-

кровительства, обещая оказывать им в случае надобности протекцию, и только одного исправника принимал стоя, не садясь, прежде его приглашения,— остальных он приветствовал не сходя с вольтеровских кресел и просто указывал на диван, говоря:

— Милости просим, господа! рад, очень рад, что вздумали посетить мою убогую келью!..

С видимым удовольствием осматривая потолок залы, с неуклюжими амурами и нимфами, даже помещики говорили ему не иначе как *вы,* а ежели и позволяли иногда *ты,* то прибавляли обыкновенно: «брат, друг» или что-нибудь подобное. Ермил Ипатыч принимал это как должное, и в несколько лет так привык к почету, что счел бы смертельным врагом своим того, кто вздумал бы напомнить ему о его дворовом происхождении. На такого дерзкого он напустил бы непременно всю стаю приказной челяди, готовой для Ипатыча на все, за те воза круп, гороху, муки, картофелю и арбузов, которые частенько из деревни Горок возились в город. «Я не управляющий,— говаривал обыкновенно Ермил Ипатыч,— а генерал сам, потому что представляю здесь его лицо и должен поддерживать честь его звания». Из этого вы можете видеть, что Ермил Ипатыч был человек ловкий и умел вести себя.

Обратимся же теперь к рассказу.

Мы оставили сотского на пути к старосте. Когда он подошел к избе, то постучал знаменательно палочкой в окно. На этот стук из окна высунулась рыжая большая борода и хотела что-то спросить, когда сотский шепотом сказал: «Выдь сюда, Ананий Петрович».

Голова тотчас скрылась, а вскоре вышла за ворота уже одетая в нагольный тулуп и в шапке, с палкой, вырезанной разными крестами и черточками, так называемыми «бирками», и заменяющей памятную книжку русскому человеку.

— Наше почтение, Иван Лукьяныч.

— Здравствуйте, Ананий Петрович; нехорошо у нас.

— Что, что нехорошо? Разве случилось что?

— Случиться не случилось... а пожалуй, что может случиться. На нашей земле мертвое тело нашли.

— Ой нашли?.. Беда! затаскают! хорошо, ежели Ермил Ипатыч вступится...

— Да, нужно ему очень! Бражничать, так он умеет, а до нас ему какое дело. Небось, с бока на бок не поворотится... а почнет только долбить: «Смотри у меня, чтоб суду вволю

всего было... что ни спросят, то подавай, слышите вы, мордохаи!»...

— Оно говорить-то хорошо, а взять-то откуда? Не то чтоб денег — кур, пожалуй, не найдешь... а лекарь вон, вишь, кроме курятины, не ест ничего... да, пожалуй... без полусотенки и не уедут из деревни...

С этим словом они почесали оба в затылке.

— Делать нечего, Ананий Петрович, ступай по дворам, сбирай деньги... а я пойду наряжать караул к мертвому телу, чтоб ему ни дна ни покрышки...

Ананий Петрович, как человек опытный, не пошел прямо по деревне сбирать деньги, но напредь всего отправился на барский двор. Ермил Ипатыч еще почивал, и, следовательно, старосте надо было ждать его пробуждения. Как ни хотелось ему взглянуть на мертвое тело, однако он понимал, что, не доложивши управляющему, отлучиться нельзя... тем более что день был праздничный, а в праздничные дни, по приказанию Ермила Ипатыча, он должен был дожидаться его пробуждения, до какого бы часу то ни было.

Как нарочно, в этот день Ермил Ипатыч встал поздно, просидев долго накануне с отцом Еремеем перед графинчиком для решения какого-то вопроса. Когда он проснулся и крикнул, мальчик Карпюшка, состоящий в должности его камердинера, схватил вчерашний графинчик, довольно пузатенький, в котором после троекратного вчерашнего воспоминания кое-что еще, однако, оставалось на донышке, побежал на зов и через минуту воротился с известием, что Ермил Ипатыч проснулся и ожидает старосту. Не будучи пьяницей, Ермил Ипатыч не вставал с постели без того, чтоб не выпить рюмочки травничку. Он находил, что это отличное предохранительное средство от холеры-морбус, болезни, «о которой и в Писании написано», в чем безусловно соглашался с ним и отец Еремей, не делавший этого только потому, что «проклятые откупщики лупят за вино неведомо что, тогда как вино создано от бога, для увеселения человека... о чем тоже написано в Писании».

Когда староста вошел в комнату, Ермил Ипатыч лежал на постели вверх брюхом и пыхтел, как паровая машина. Лицо Ермила Ипатыча было красно, глаза опухли, и голос хриплый, как из пустой бочки.

— Ну, что там еще? — закричал он, увидя вошедшего старосту.

— Нехорошо, Ермил Ипатыч,— отвечал староста поклонившись.

— Что там нехорошо? Набуянили, небось, пьяницы!.. Пороть их!..— закричал он, метаясь на постели.

— Не то, Ермил Ипатыч, совсем не то... мертвое тело у нас на земле нашли.

При этом слове опухлая фигура управляющего быстро отделилась от пуховика.

— Какое мертвое тело? Чье мертвое тело? Откуда?— закричал он задыхающимся голосом, и руки его ловили пустой воздух, отыскивая нижнее платье, валявшееся на стуле.

— Не знаю, Ермил Ипатыч! — отвечал староста, видимо смущенный беспокойством управляющего.

— Да как же ты не узнал... дур...р...ак... а лезешь ко мне! — закричал управляющий грозно.

— Я хотел прежде доложить вашей милости...— отвечал покорно староста.— Коли прикажете... я тотчас узнаю...— И с этим словом шмыгнул из комнаты, как будто боясь, чтоб над его головой не обвалился потолок, а в сенях остановился, перекрестился, перевел дух и сказал тихо:— Ну, слава богу!.. прошло!.. Упаси господи... Теперь пойти узнать, что это за мертвое тело.

Оставим Ермила Ипатыча отыскивать свое нижнее, а старосту благодарить бога за то, что «прошло», и возвратимся к сотскому.

Собрав человек шесть караульных, пошел он к мертвому телу. Оно лежало шагах в десяти от дороги, лицом к снегу, едва прикрытое грязными лохмотьями, без шапки. Ясно было, что тело это привезено было откуда-нибудь и подкинуто. Старое, морщиноватое лицо мертвеца было покойно; признаков насильственной смерти никаких, можно было подумать, что это какой-нибудь бедняга нищий, умерший где-нибудь под углом от старости, нищеты и лишений всякого рода и вывезенный на чужую землю, для того, чтобы стряхнуть с шеи хлопоты и расходы. Лицо нищего не было знакомо никому; на трупе не было ничего такого, что бы могло дать способы признать, кто он, и разведать, откуда и как попал сюда.

Посмотревши на него довольно долго, мужики стали предлагать сотскому перетащить его за межу, от которой были недалеко. Иван Лукьяныч и не прочь бы от этого; он вполне понимал всю мудрость подобного предложения, но боялся; человек новый в ремесле сотского, он не знал еще, что опытный поступает всегда так, что поступать иначе глу-

по, что сам становой назовет его молодцом, ежели узнает подобную проделку.

И наверное, крестьяне уговорили бы Ивана Лукьяныча, ежели бы звон отдаленного колокольчика не поразил слух их... Мысль, что кто-нибудь увидит эту прогулку, так испугала малодушного, что он чуть не бросился плашмя на покойника и закричал благим матом:

— Оставьте, оставьте! нечего делать! видно, уж так богу угодно.

Участь деревни Горок была решена, мертвый остался на своем месте. Деньги, водка, куры, яйца — все теперь должно быть принесено в жертву грозному слову «суд».

II

Так называемая контора деревни Горок была маленькая, полутемная, совершенно грязная комнатка, в одном из флигелей на барском дворе. Конторщик, золотушный парень лет девятнадцати, вялый, тупой и бессмысленный, с огромными закрюченными висками, валялся в ней между грудами исписанных бумаг, в которых сам не сыскал бы никогда толку, ежели бы его заставили привести их в порядок или вывести результат о количестве написанного там хлеба. Контора существовала, потому что надо же быть конторе в имении, где есть управляющий; в этой конторе писалось что-то, потому что надо же записывать что-нибудь; но чтобы из этой конторы и из этой записки можно было извлечь что-нибудь полезное, узнать, например, сколько родилось овса или гречи третьего года и сколько нынче, или добраться, сколько какого хлеба перешло от года к году,— этого ни конторщик, ни даже *сам* Ермил Ипатыч, никогда бы не добрались. Конторщик еще лежал среди своего хлама, выводя носом разные штуки, когда в контору вступил известный нам сотский, пришедший сюда для того, чтоб написать становому *лепорт* о найденном мертвом теле. С таким конторщиком, как Трофим Сысоич, это было дело нелегкое. Много времени прошло, прежде нежели он встал, надел свой пестрядинный халат, причесал виски, которые холил, примасливал и приглаживал, поплевывая на руку, с особенной любовью... много времени прошло, прежде нежели он нашел четвертушку грязной и серой, чуть не

оберточной бумаги и принялся сочинять *лепорт* начерно. После многих глубокомысленных соображений, поправок, помарок и переделок он наконец прочел сотскому труд свой.

«Его высокоблагородию!

Господину становому приставу Александру Семеновичу Корзинкину, 1-го стана.

Лепорт!

От сотника Ивана Лукьяныча деревни Горок!

Около нашей деревни Горок, не больно далеко, да и не то чтоб близко, нашел я, ваше благородие, лежало мертвое тело, мужчина, недалече от Грибоедовской межи, смотри привез кто-нибудь. Старик, в изорванной шубенке, нищий, что ли, из нашей деревни не знает никто. Я приставил караул и доношу вашему высокоблагородию!

Сотник Иван Лукьянов, деревни Горок».

Золотушный конторщик прочел сочинение свое сотскому, и когда тот одобрил его, пожелав только прибавить фразу: «По отпуске сего *лепорта* все благополучно», тогда приступлено было к переписке *лепорта* набело. Золотушный конторщик, никогда не писавший такого рода важных бумаг и сочинивший настоящую по памяти одной такого рода бумаги, которую он видел однажды, когда писарь станового производил следствие о затравлении пономаря борзыми и гончими собаками в коноплях, был проникнут важностью той роли, которую играл в настоящем деле, приосанился и как-то гордо поднял голову, начавши выводить свои каракули на бумаге. Грудь его была чем-то полна и руки не то чтоб тряслись, а как-то было им неловко. Когда лепорт был написал и вручен Ивану Лукьяновичу, золотушный не мог утерпеть, чтоб не сказать, ухмыляясь:

— А ведь на водочку-то за труд, Иван Лукьяныч, негрешно бы ведь было?

— Приходи бражки попить, Трофим Сысоич,— отвечал сотский ласково.— Бабы варили нонсча... хвалят, хороша. Уж и забориста... о! о!..

С этим словом он вышел и побежал запрягать лошадь, чтоб ехать на стан. Конторщик, растопырив руки и так же глупо улыбаясь, повторял: «Забориста! о!.. о!.. хорошо!..»

Староста с своей стороны между тем не дремал. Ходко пошел он по порядку, постукивая по окну каждой избы узорчатой палочкой своей и повторяя везде роковые слова: «На сход!.. слышь... Эй, на сход!.. по казенному!..» и везде,

при слове: «по казенному», мгновенно высовывались из полуразбитых окон растрепанные головы и заботливо смотрели вслед уходящему старосте, до тех пор, пока он не подходил к соседней избе. Вскоре со всех дворов начали выходить мужики: они кланялись друг другу, сходились группами, спрашивали взаимно, что такое случилось, тревожно переглядывались и, почесывая затылки, тихо, как будто боясь наступить на раскаленное железо, шли к месту сходки, т. е. к избе старосты.

Когда толпа была уже велика и сперва тихо, а потом очень шумно, стала заявлять свое присутствие, к ней подошел староста Ананий Петрович. Роковая новость была уже известна всему миру. Сход начался предложениями *предупредить* зло, т. е. перетащить труп на чужую землю,— но когда подошедший сотский объявил, что этого сделать нельзя, что за это ждет его, сотского, большое наказание, мир начал думать о средствах *отстранить* зло, т. е. сделать его безвредным. Для этого нужны были деньги,— в этом все были согласны, но сколько? Этот вопрос оставался неразрешимым для самых опытных, ибо подобного случая не было еще в Горках, и старики не запомнят. Голоса разделились. Молодые — из либералов — находили, что денег не надо, что убили старика не они, что суд приедет и уедет и что ежели нужен сбор, так только на угощение, да и то пусть угощает их Ермил Ипатыч; старики находили, что молодежь порет дичь, что надо дать прежде всего лекарю, потом исправнику, потом стряпчему[3], потом непременному[4]. Тут голоса опять разделились. Одни находили, что следует собрать семьдесят пять рублей ассигнациями и разделить их так: лекарю тридцать, исправнику двенадцать, стряпчему двенадцать, непременному десять, остальные подлекарю и писарю; другие находили, что этого мало и что исправник и стряпчий обидятся, ежели им дадут по двенадцати рублей, да и подлекарь, который будет резать, тоже не последнее лицо и обидится пятью рублями. Говорили, кричали много. То одно, то другое мнение превозмогало, наконец решили: дать лекарю двадцать пять, исправнику пятнадцать, стряпчему пятнадцать, подлекарю четыре и писарю шесть — всего семьдесят пять рублей — и велели по расчету тягол приносить деньги.

Замечательно то, что, несмотря на шум, господствовавший на мирском сходе; несмотря на то, что на нем говорили и кричали только те, у которых горла были посильнее да

легкие попросторнее,— все, даже те, которые не говорили ни слова и не только не кричали, но даже боялись пикнуть, были довольны и расходились с необыкновенно приятной улыбкой, как будто решили дело великой важности и *ко взаимному удовольствию всех.*

Кто кричал больше всех, решить трудно — догадывались только, что кричал больше всех и доказывал сотский. И немудрено. Чем больше была сумма, даваемая исправнику, непременному и стряпчему, тем крепче сидел он на своем месте, тем исправнее он был по своей должности, тем менее мог надеяться получить заушин, оплеух, тычков всякого рода, сопряженных с исправлением его не столько многотрудной, сколько многопобойной должности.

III

Был уже вечер, когда по направлению к городу послышались бубенчики и колокольчики, возвещавшие, что едет «суд». У всех почти тряслось под жилками при этих звуках; много баб пролили горькие слезы, расставаясь с молодой курицей, вынянченной ими на рубленых яйцах с необыкновенною заботливостью; много ребят, рыдая в углу где-нибудь, под лохмотьями шуб, заснули с горькою мыслью, что пеструшку, поросенка, с которым они так привыкли играть, завтра зарежут для «суда». Вообще говоря, суд был каким-то пугалом, которого боялись все, а ожидали с нетерпением немногие, как, например, Ермил Ипатыч, осветивший весь дом a giorno* и расхаживавший по нем в наибелейшем галстуке и таковом же жилете, несмотря на то, что он не был вполне уверен, заедет ли к нему суд — ибо знал всю дипломатическую точность суда в делах такого рода. Не будучи приказной строкой, Ермил Ипатыч понимал, что так как мертвое тело найдено на его земле, то остановиться у него суду неловко, что суд поищет среднего пути (terme moyen) и остановится у какого-нибудь мужика другой барщины, чтоб не показать вида в пристрастии, хотя эта изба будет и грязна, и гадка, и полна тараканов и сверчков. Несмотря, однако, на это, он послал старосту дожидаться у околицы (сотский уже был там, несмотря

* Как днем *(итал.).*

на пятнадцатиградусный мороз), «просить гостей на перепутье».

Гости бы и не прочь на перепутье, да политика... нельзя!.. проехали мимо и, по указанию сотского, остановились у Овечкина. Не думайте, чтоб выбор Овечкина был чем нибудь случайным,— нет! В деревне есть своего рода дипломатия, которая разочтет, что нужно, что прилично, что можно. Овечкин принадлежал к числу тех людей, которые не имеют мнения, которые пристают всегда к тем, кто кричит больше или которых больше количеством и которые, вследствие этого, считаются во всех классах «самыми благонамеренными». Останавливаясь у него, суд очень хорошо знал, что его с этой стороны не будет никто подозревать в пристрастии или предпочтении... Овечкин был все, а всех подозревать нельзя.

Когда суд въехал на двор, изба была пуста: семейные Овечкина выбрались кто куда мог: к сватьям, зятьям, шуринам, кумовьям и проч. Сам хозяин ожидал дорогих гостей у дверей с низкими поклонами, в праздничном кафтане, подпоясанный кушаком, что у мужика есть признак большого парада. Стол был накрыт скатертью, которая была гораздо сальнее самого стола, ею покрываемого.

Когда суд, состоящий из шести человек, ввалился в избу и от него по всей избе разлился мгновенно запах самого скверного курительного табаку, сени тоже наполнились десятком сотских и рассыльных, на морозе ожидавших с необыкновенным нетерпением каких-нибудь приказаний. Сотский деревни Горок, как тутошний, стоял в избе у дверей, вместе с рассыльным, отставным солдатом, заменявшим, смотря по надобности, и следователя, и экзекутора, и повара, и камердинера, и даже горничную, ежели исправник ехал куда-нибудь с женою. Рассыльный, как по всему было видно, был в своей сфере; он распоряжался в избе Овечкина, как в своей собственной: ставил самовар, который догадливый управляющий уже успел прислать с довольным запасом чаю, сахару и даже рома и над которым Овечкин только суетился, не зная, как взяться за дело; затапливал печь для разогревания запасов, тоже присланных управляющим и о которых он мимоходом уже шепнул исправнику, несмотря на то, что сотский уже неоднократно шептал рассыльному на ухо: «Все приготовлено, Акул Авдеич!.. баранина, куры, яйца; все, батюшка... есть, слава богу, вволю!..» За что рассыльный, в припадке балагурства,

погладил его по голове и с приятною улыбкою сказал: «Умница, настоящий сотский!»

Я сказал выше, что суд состоял из шести человек: исправника, непременного, стряпчего, станового, лекаря и писаря земского суда. Все они не имели между собою никакого сходства, хотя у всех у них было что-то общее, выражавшееся отсутствием всякого этикета и отзывавшееся трактиром, хотя, собственно, в трактир из них не ходил никто, кроме писаря, или *приказного,* как их называют обыкновенно в уездах; иначе, *стракулиста,* когда хотят выразиться с презрением и бранью.

Исправник был человек высокого роста, с большим брюхом, лет тридцати пяти или сорока. Его полное, красное, с отвислыми щеками лицо выражало некоторое тупоумие и довольство самим собою. Он говорил хриплым басом, сильно махал руками и беспрестанно обращался к рассыльному, с которым заметно состоял не только на короткой, но даже на приятельской ноге.

Бывши до сего времени писцом в земском суде и употреблявшийся более для рассылок по уезду с разными повестками, избранием своим в исправники он был обязан своему брату, дослужившемуся как-то до полковников и поселившемуся в том уезде. Этот нововыпеченный исправник, владелец десяти или двенадцати душ, взятых в приданое за женою, едва умел писать и безусловно подписывал все, что ему ни давали, строго наблюдая только одно: «за всякую свою подпись получить что-нибудь», не гнушаясь даже и рублем серебряным, за который он, впрочем, надо сказать к его чести, точно так же благодарил, как и за красненькую бумажку. Отличительная черта его была та, что он говорил кочет, вместо петух, пыхтел страшно наяву и еще страшнее храпел во время сна и ел не за четверых, а за шестерых. Впрочем, он был человек не злой; драться не любил, но точно с таким же равнодушием, с каким курил зловонный табак свой, порол сотских и мужиков, когда его о том просили, особенно те, которые к празднику не забывали его присылочками.

Непременный заседатель представлял совершенный контраст исправнику. Это был человек молодой и высокий, отличавшийся особенно тем, что все его движения были постоянно некстати, ни к положению его, ни к месту. Вообще он был молчалив, тогда как, наоборот, исправник болтал без умолку. Непременный заседатель часто поправлял

свои волосы, вдруг вставал, когда все сидели, и, прошедши до стены, садился опять или вдруг садился, когда все стояли; уходил без всякой нужды в другую комнату и точно так же без нужды возвращался, сам не зная для чего. По всему было видно, что духовная сторона его была в разладе с физической. Можно было бы подумать, что он занят чем-то серьезным, ежели б тупое лицо и немногие слова, которые он произносил, и то некстати, не изобличали в нем всякого отсутствия мысли. Что-то тяжелое и ленивое лежало на всех его движениях; он имел постоянно вид человека уставшего. Вернее сказать: это была душа непробудившаяся, заглохшая среди грубости и крайнего невежества среды, окружавшей ее с детства. И непременный заседатель, подобно исправнику, был обязан избранием своим тому обстоятельству, что какому-то помещику, приходившемуся ему несколько сродни, предводитель был должен тысчонки три рублей.

Становой был атлет в полном смысле слова. Огромного роста, необыкновенной толщины, утиравший пот постоянно, сколько бы градусов морозу ни было на дворе, а лето проводивший или в пруде, или в погребу, где он сидел в одной рубашке, подпоясанной тесемкой, на которой была выткана какая-то надпись. Лицо его, открытое и добродушное, с чертами хотя крупными, но привлекательными, изобличало в нем доброго малого, гуляку, не имевшего никогда задней мысли, но вместе с тем сметливого и лукавого, который всегда очень хорошо знал, что он говорил и делал и для чего он так говорил и делал. Человек от природы не глупый, он управлял исправником и непременным, насколько было это ему выгодно, и ежели побаивался несколько кого, так разве стряпчего... не потому, что чувствовал его превосходство перед собою — этого не было,— но потому, что с ним надобно было делиться при временных отделениях, чего становой шибко не любил, твердо держась правила: чем больше, тем лучше. Становой этот был в служебном отношении замечателен тем, что помещики его любили, несмотря на то, что очень аккуратно платили ему по двадцати копеек ассигнациями с души за то, чтоб он не брал для разъездов их лошадей; сотские боялись, потому что он порол их, с разными веселыми прибаутками, ежели они забывали приносить ему к Новому году по десяти рублей ассигнациями; а мужики боялись и любили вместе, потому что он того, кто попадался ему в лапы, жал до последнего вздоха,

то есть до последней копейки, но вместе с тем приятно шутил и балагурил с каждым. Другая отличительная черта его состояла в том, что в продолжение восьми лет, считаясь одним из самых исправных становых по губернии, он не бывал на стану и пяти раз в год, а ежели и ездил когда, то для того только, чтоб плясать с горничными того помещика, в имении которого находился стан. Девки уходили из барского дома после ужина, уложив господ, в становую избу, где ожидало их сантуринское, пряники, хор вольнопрактикующихся песенников из крестьян, для удовольствия станового, чай и водка для всех.

Стряпчий был человек лет пятидесяти, толстый, одутловатый, подслеповатый, отец многочисленного семейства и супруг наитолстейшей супруги, которой боялся как огня, ибо она отличалась замечательною силою и энергией. Человек простой и добрый, знающий хорошо приказное дело, он смотрел простосердечно на службу, как на средство кормиться, и не отвергал никакого приношения, объясняя очень вразумительно и доказательно всем и каждому, кто только его слушал, что на шестьсот рублей ассигнациями нельзя прокормить восемнадцати человек детей, из которых за шестерых надо платить в гимназию, содержать толстую жену и тощую лошаденку, возившую по городу его дряблое тело; иметь шитый мундир и мундирный фрак и нанимать кухарку, которая хоть и не дорога, а все-таки получает два рубля ассигнациями в месяц. Это правда, что стряпчий имел в уезде своих благодетелей, постоянно снабжавших его домашним деревенским снадобьем, как-то: мукой, крупой и частию овсом, а зимою свининой, и за это он служил им верой и правдой, исправляя им все дела по судам и бегая добросовестно по лестницам, насколько то ему позволял его живот и подслеповатые глазки.

Лекарь был длинный немец на тонких журавлиных ногах, с физиономией, похожей на скрипку, с руками длинными и тощими, которыми он действовал при разговоре, точно как пловец, держащийся на воде, чтобы не утонуть. Это было самое добродушное, самое незлобивое существо в мире, несмотря на огромные круглые зеленые очки на крючковатом носу, придававшие ему вид совы; существо, которое постоянно надували все его служебные товарищи, бравшие на его имя где только можно и не дававшие ему почти ничего, так что бедный немец умер бы с голоду, при дешевизне съестных запасов, ежели б не аптекарь, такой

же немец, как и он, плативший ему аккуратно каждый месяц двадцать пять рублей ассигнациями за то, чтобы он прописывал больным самые дорогие лекарства, из сахарного роба и неизменной мятной эссенции домашнего приготовления, с разными латинскими прибаутками, в которых истинного было одно название.

О писаре земского суда много говорить нечего: это было соединение грубости, невежества, пьянства, взяточничества и лицемерства.

Когда суд приехал в сельцо Горки, наступили уже сумерки. В избе Овечкина горело, в медных подсвечниках, с полдюжины сальных свеч, страшно оплывавших и издававших нестерпимый запах — признак того, что они домашнего производства и принесены с барского двора вместе с подсвечниками. От русской печи жар был удушливый. Становой пыхтел и метался, как белый медведь в топленной горнице, и через минуту, испросив для формы позволение исправника и стряпчего, явился в своем неизменном костюме: рубашке сверх нижнего, подпоясанной назидательным поясом. Исправник, тоже очень любивший комфорт, страшно обрадовался, что мог спустить с плеч форменный сюртук, снял его и нарядился в какую-то кацавейку, перешитую из женского платья; стряпчий облекся в узенький халатец, смешно обнаруживший его тучные формы, халатец, полученный им при описи имущества покойного подвального при питейной конторе, который, на несчастие стряпчего, был роста маленького и тщедушный.

Непременный заседатель долго чесал свой затылок и тихо мычал, прежде нежели решился на перемену костюма. Видя, однако, что все надевают халаты, он молча достал из своего узелочка плисовый тисненый халат, с огромными кистями, купленный им более для приема просителей, нежели для собственного употребления, потому что дома, один, он носил большею частью бурбоновый бумажный на вате халат, из которого вата висела клочьями и служила ему для закурения трубки, когда в этом требовалась надобность. Облекшись молча, он принялся то чесать затылок, то подымать и ставить стойком волосы свои напереди, с особым тщанием, как бы приготовляясь вступить в какую-нибудь гостиную. Занятие это он прерывал только набиванием трубки, с такою охотою и поспешностью, с какой медведь исполняет приказания своего хозяина, и отыскиванием в печи между кирпичами скважинки, куда бы можно было

всунуть зажженную спичку, чтобы закурить трубку с длиннейшим чубуком, который он внес саморучно в избу вместе с прочим своим скарбом.

Когда все надели халаты, становой предложил заняться следствием. Исправник отвечал односложным и равнодушным: «Да, хорошо, пожалуй». Стряпчий с своей стороны был радехонек провести несколько дней вне дома, в отсутствие своей грозной дражайшей половины, и готов был даже подать голос отложить дело до завтра, но долговязый медик, до сих пор молчавший, вдруг выступил на середину избы и, растопыривши руки, как будто сбираясь плыть через реку, вдруг заговорил:

— Та, нушно, очень нушно! Мне в горот нушно!.. Прошу, милостивые косудари!..

Непременный поднял на него свои сонные неподвижные глаза и остановил их на лекаре.

Стряпчий, уже лежавший где-то в углу, на шубах, хотел было что-то возражать, но в эту минуту исправник хриплым голосом своим, вдруг обратившись к рассыльному, сказал:

— Смотри, Пеклеванный, чтоб эдак... насчет того... по закусочной части... и насчет выпивки... знаешь?..

— Будет все в исправности, ваше благородие! — отвечал Пеклеванный, шмыгая по избе, как вьюн, между грудами узлов и скамеек, и, к великому удовольствию исправника, загремев ложками. В сенях уже пыхтел самовар, раздуваемый поочередно сотскими.

Тогда становой, видя, что от этих господ ожидать нечего, с тою поспешностью, какую позволяло ему толстое его тело, подбежал к приказному земского суда и шепнул ему что-то на ухо; приказный, с видимою неохотою, начал отыскивать чернильницу и оттаивать в ней у печки чернила, доставать бумагу и потребовал себе маленький столик, который ему принесли из холодной избы, одним словом, собирался приступить к следствию.

— Прежде всего ведение к священнику напиши! — начал становой.— О приводе к присяге... а ты, козья борода,— закричал он, обращаясь к сотскому,— понятых приготовил... а?

— Никак нет еще, ваше благородие!.. коли прикажете?

— Прикажете! дурак, олух!.. как же не приказать-то! разве без понятых можно, коммунист ты эдакой!

Становой слыхал, что начальник губернии, бывши на ре-

визии, с гневом повторял это слово по поводу одного помещика, которого сильно не жаловал за то, что тот восставал против взяток,— и любил часто сам повторять это слово.

Сотский шмыгнул из избы, как будто его укусил тарантул, а становой кричал ему вслед:

— Чтоб завтра до свету понятые были, слышишь?.. хоть околей в дороге...

Долговязый медик, прочистивши свою глотку неоднократным откашливанием, начал было:

— Невозможно... Александр Семеныч... к утру... фидите... снег шел... человек замерзить мошно.

— Э! не ваше дело, Богдан Богданыч, знайте свою латынскую кухню, а в этом вы ничего не понимаете. Позаботьтесь-ка лучше о своей пиле... вы прошлый раз измучили нас, как череп пилили у Алешки цыгана... помните?..

— Тот инструмент весьма очень не карош. Я писал Врачебной управа; много раз писал... просил инспектор тоже...

— Да, много добьетесь вы от вашего инспектора, нужно ему! Вы там себе хоть матушку репку пойте, ему-то что за дело?.. Чем писать во Врачебную управу да приставать даром к инспектору,— послали бы лучше деньжонок в Питер... как бишь его, магазин-то там... к Ведомостям объявление все прилагает... и прислали бы вам пилу добрую, так что и у живого, пожалуй, голову отхватила бы.

— А на это надо деньгу.

— Ну полно лазаря-то петь, Богдан Богданыч,— закричал исправник.— Что прикидываешься! Все тебе мало. Ненасытный какой! А к удавленику-то ездил... забыл? Двадцать целкачей за щеку спрятал, а? Думаешь, не знаю?..

— Это все, Антип Андреяныч, все клевета. Двадцать рублей серебро!

И, умилившись при мысли о двадцати рублях серебром, он так неожиданно и отчаянно всплеснул длинными своими руками, что чуть не задел по носу непременного, который вдруг отшатнулся. Все захохотали.

Писарь между тем приготовил все нужное для письма и принялся чертить по бумаге. Как раз отхватал он ведение к священнику, на память настрочил присяжный лист,— заготовил даже показания мужиков окрестных селений, что нищий человек никому не известен, написал медицинский осмотр, по формочке, которую он привез с собою и в которой по всем правилам науки доказано было, что нищий умер от кровавого апоплексического удара, вследствие на-

пора крови на легкие. Формочку эту он списал с одного производства и употреблял ее во всех случаях, где дело шло о мертвых телах. Оказывалось, как это ни странно, что формочка как раз приходилась кстати почти ко всем скоропостижно и неведомо умершим в уезде, что чрезвычайно облегчало судопроизводство. Все были довольны — и земский суд, потому что мог дела о скоропостижно умерших следовать, почти не выходя из комнаты, и уездный суд, потому что судить было нечего и писать мало, и начальник губернии, потому что убийств в уезде почти не случалось, и уголовная палата, потому что в нее дела такого рода вовсе и не поступают, а производить такие дела, по которым «нет хождения», очень грустно.

Становой, один из всех лиц временного отделения принимавший кое-какое участие в этих писаниях, руководил приказного советами и наставлениями. Оказалось, что, пока другие члены пили чай с ромком, следствие почти было уже готово, оставалось вставить имена да подписаться. Даже ведение священнику о том, чтобы похоронить покойного, было уже написано, и становой готовился уже отдохнуть на лаврах, то есть за огромной миской пуншу, когда вдруг неотвязчивый новичок в своем деле, сотский сельца Горок, нарушил отдохновение членов временного отделения следующим вопросом:

— Ваше благородие, прикажете поднять мертвого-то? Завтра резать надо, а ведь он мерзлый, надо оттаить...

Становой вместо ответа обратился к лекарю и сказал:

— Ну вот, Богдан Богданыч, это теперь по вашей части. Оттаить нужно ведь... а?..

— Очень нушно, Александр Семеныч!.. в изба внести нушно...

— В избу-то внести нужно...— отвечал сотский с расстановкой и почесывая голову и спину.— Да куда внести-то?..

— Как куда? — закричал становой.— В избу, говорят тебе! разве на дворе оттаишь?

— Слышу, что в избу, ваше благородие, да к кому в избу?.. мужички-то никто не пускают... кому охота дом поганить... так на миру просить хотели... кабы милость сделали... не потрошить бы... а похоронить так...

Становой отвернулся, как будто не слыхал последних слов, и подмигнул сотскому на лекаря. Лукьяныч обратился с этою же просьбою к Богдану Богданычу.

— Ай! как мошно! — закричал этот, когда наконец

понял, в чем дело.— Анатомия нушно! необходимо нушно анатомия!.. Как мошно!..— И он размахивал своими длинными руками.

Становой между тем перешепнулся с исправником, толкнул под бок стряпчего, и, пока добродушный Богдан Богданыч твердил: «Ай! как мошно!.. инспектор Врачебной управа!» — совещание их, продолжавшееся меньше нежели одно мгновение, почти без помощи слов, а так, какими-то намеками и знаками, непонятными для непосвященного, уже кончилось, и исправник первый открыл огонь.

— Послушай-ка ты, немец! — начал он своим хриплым голосом.— Полно махать-то руками! давай поговорим делом. Слушай-ка: мужики не хотят, чтоб у них мертвого резали — понимаешь?.. а чтоб не резать, они пожалуй...

Становой при этом слове толкнул ногою исправника, но тот, не смутившись этим, продолжал:

— Полноте, Александр Семеныч, у нас здесь своя семья, вынести некому. Не хотят мужики, так что ж с этим делать. Хоть закон и велит, положим,— да какая в этом беда? Ведь подозренья в убийстве нет? Человек незнакомый же! ну, умер от апоплексического удара, да и концы в воду. Искать, что ли, кто будет?

— Оно вот что,— прервал его стряпчий,— Богдан Богданычу только сумнительно, а то кажется, по-моему, от чего бы мужикам и удовольствие не сделать. Ведь будет за это? — спросил он вдруг, обратившись к сотскому.

Сотский съежился, как будто его хотели бросить в огонь или в воду, и, заикаясь, проговорил:

— Да на миру положили... кабы милость ваша была... десятков семь собрали...

— А десятков семь собрали,— прервал его стряпчий,— так, по-моему, и толковать много нечего. Умер от апоплексического удара, да и все тут. Послушайте-ка, Богдан Богданыч, ведь человек неизвестный, никто не ищет, какого вам херу еще нужно? Александр Семеныч, у вас готово?

— Готово все... и осмотр, и местное постановление...

— Ну, а готово, так и с богом... подписывайтесь-ка перекрестясь... Богдан Богданыч, с легкой руки...

— Пошалуйте, Иван Егорыч, как же мошно это? я труп не видал... мошет, знаки есть...

— Какие тут вам знаки? нет никаких. Что, сотский, есть знаки?

— Никаких нет, ваше благородие, умер себе старик от

старости, так лядащий и был-то... синенький, худенький такой... Помилосердуйте, ваше благородие... больно мир просит.

— Ну, что тут много толковать! Поди-ка неси сюда деньги, а там посмотрим, что и как сделать,— сказал стряпчий, обращаясь к становому.— Александр Семеныч, а! как вы думаете?

— Я думаю, Иван Егорыч, что можно; пустяк все это. Пусть и понятых соберут... и то не беда. Ведь в законах есть статья: коли сомнения по следствию в насильственной смерти нет и боевых знаков на теле не оказалось, то хоронить без вскрытия. Завтра поутру посмотрим тело, отберем от понятых, что человек им не известен; спросим для обряда, есть ли признаки насильственной смерти,— разумеется, они скажут, что нет, чтоб только их поскорее отпустили... мы и напишем постановление, что, дескать: «нет никакого сомнения; смерть натуральная». Богдан Богданыч подпишет — а не подпишет,— прибавил он,— так и без него обойдемся. Дело пойдет к губернатору, он пропустит, а не пропустит, перешлет в уголовную, а там известно что: предать суду и воле божьей! а если и заметит, так что ж: ну, выговор, да и все тут.

— Золотой вы человек, Александр Семеныч,— с умилением и сложа крестом руки сказал стряпчий.

— Ну, да, право,— продолжал становой,— отчего людям добра не сделать? Уж если б убийство явное было, ну, тогда, разумеется, подумать надо...

— Да ведь вы мертвого-то не видели? — сказал тихо и смеясь стряпчий.

— Не видели, так и слава богу... Да к чему и доискиваться-то? кому от этого польза есть?.. Намараем, намараем бумаги, а кончится все тем же: предать суду и воле божией.

Исправник между тем пыхтел молча. Видно было, что он что-то обдумывал, но процесс мышления совершался у него вообще не быстро, и, видно, надо было прибегнуть к обыкновенному средству: требовать разрешения рассыльного. Манием огромной ручищи своей он подозвал его к себе и долго что-то шептал ему на ухо. Потом начал считать по пальцам. Не помогло и это. Совет рассыльного как будто поставил его еще в большее затруднение,— он обратился к стряпчему, зная, что, в занимавшем его деле, станового спрашивать не выгодно.

Когда стряпчий подошел и по знаку исправника нагнулся чуть не к самому его лицу, тот спросил шепотом:

— Ну, а дележка как будет?

— Уж это как вам угодно, Платон Андреяныч, вы здесь старший, как рассудите, так тому делу и быть,— отвечал стряпчий тоже шепотом.

— По мне бы, вот как: нам с вами поровну, а Александру Семенычу поровну с немцем, рублями пятью поменьше нашего; долгогривому-то (показывая бородой на непременного) дать целкача три — довольно с него будет; да Пеклеванному что-нибудь.

— Нет,— отвечал стряпчий,— эдак не годится. В Богдан Богданыче тут большая сила. Он в этом деле всему голова. Ему надо дать больше всех.

— Э, вздор какой, Иван Егорыч,— воскликнул исправник даже с каким-то негодованием.— Этому немчурке проклятому да деньги давать! за что? Экая невидаль какая!.. и так сойдет.

— Сойти-то оно, может, и сойдет, да все как-то боязно... по-моему, надо дело делать так, чтоб иголочки подпустить нельзя было. Курочка по зернышку клюет, да сыта живет; нынче не послал бог, пошлет завтра; и красненькую бумажку в карман положишь, право, не дурно. Ведь не за дело, Платон Андреяныч, так, зря, деньги дают. Слава тебе господи и за это!..— С этим словом стряпчий перекрестился.

Исправник был недоволен консультацией. Как ни не хотелось ему обращаться к становому, однако делать было нечего.

— Александр Семеныч, подьте-ка сюда!

Становой подошел, за ним стряпчий, и начали шептаться... Богдан Богданыч между тем, растопыря длинные свои ноги, стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу, озабоченный и расстроенный.

Непременный заседатель лежал в углу на шубах, изредка почесывая затылок и мутными глазами обводя комнату. После просьбы сотского не вскрывать тела и ответа его, что собрано десятков семь, он как будто ожил: оловянные глаза его оживились и как будто бы засветились какою-то мыслию. Видя, что трое товарищей его шепчутся и так заняты разговором, что не могут видеть его, он потянул потихоньку лекаря за фалду и знаком показал ему, чтобы он лег подле него. Богдану Богданычу, с его длинными ногами,

это было не легко; однако он кое-как улегся. Непременный сказал ему на ухо:

— Не поддавайтесь, Богдан Богданыч, они вас надуть хотят... слышите — не поддавайтесь...

«Надуть» и «не поддавайтесь» были два слова, непонятные для Богдана Богданыча. Со свойственной всему саксонскому племени наклонностью к мышлению, он погрузился в усвоение себе смысла этих двух слов и собственным умом добрался кое-как до их значения. Тогда он сжал руку непременному так больно, что тот едва не крикнул, и с весьма таинственным видом, приняв всевозможные предосторожности, чтоб не слыхали, сказал ему на ухо:

— Ich danke, mein theuerster Freund!*

Совещание между тем окончилось; уговорить Богдана Богданыча предоставлено было становому, причем исправник поручил ему не очень церемониться с немчурой, а стряпчий — склонить обещанием двадцати рублей, при мысли о которых он так умилился. При этом стряпчий предложил потребовать от мужиков надбавки за то, что не будут вскрывать мертвого тела, а следственно, не опоганят ничьей избы. Нет надобности говорить, что все согласились тотчас.

Как опытный боец, становой не пошел прямо с этими поручениями к Богдану Богданычу; он знал, что есть в человеческом сердце струны, которые никогда очень натягивать не надобно, и потому нашел лучшим, по русскому выражению, подпустить ему сперва турусы на колесах. Заложивши руки назад, как человек, которому делать нечего, и насвистывая русскую песню, принялся он ходить по избе, обращаясь с разными прибаутками к Пеклеванному, который все хлопотал об ужине. Когда таким образом, по его мнению, отвод был сделан, он, как будто случайно, подошел к группе непременного и лекаря и принялся подтрунивать над взъерошенной головой первого и над длинными ногами последнего. По несчастию, это была чувствительная струна немца. Он даже обиделся. Тогда становой очень искусно перешел к тому, что он худ оттого, что мало спит и ест, и советовал ему есть и спать как можно больше. Немец поддался на шутку. Он очень наивно стал доказывать: чтоб есть больше, надобно иметь, primo, побольше всякого съестного,— и, secundo, запастись хорошим поваром, кото-

* Благодарю, мой дражайший друг! *(нем.)*

рый бы сумел изготовить съестное. От этого очень натурально разговор перешел на недостаточность содержания чиновников вообще, и кончилось тем, что лекарь признался о себе в особенности, что подчас, за неимением «гроша в кармане» и практики, ему иногда перекусить нечего. Этого только и ждал становой. Он ловко заметил ему на это, что «сытый голодного не разумеет», что те, которые составляют штаты для чиновников, не знают, каково честному человеку жить на свете, когда у него пить, есть нечего, и истопить нечем, и нет пяти копеек, чтоб купить сальную свечку, и что ежели высшие не думают об этом, то низшим нет возможности существовать, что им надо поневоле самим заботиться о поддержании своего существования. Немец согласился с этим. Тогда становой сказал ему напрямик, что честность в делах такого рода есть одна глупость и ничего больше, что бедному человеку нельзя не брать и что голод извиняет все. Немец, под влиянием разговора, согласился и с этим. Тогда становой предложил ему двадцать пять рублей серебром за то, чтоб не вскрывать мертвого, и главным основанием такого предложения приводил то, что невскрытия тела желают сотни крестьян; что, по их предрассудкам и недостаточности образования, они сочтут это милостию, и кончил тем, что логически убедил немца, любившего логику и искренно желавшего добра всему человеческому роду, не вскрывать тела и подписать осмотр, не выходя из избы. При этом становой, заметя, что у непременного глаза блестели как-то не натурально, нагнулся к нему как будто случайно и шепотом сказал:

— Десять рублей, молчите только.

Молчать непременному было не учиться стать. Он промолчал.

Когда все таким образом было порешено, становой занялся сам составлением осмотра. При той подготовке, какая была сделана франтом-приказным, это немного заняло времени. Осмотр гласил, что: «такого-то года и числа Временное отделение такого-то земского суда, прибыв на место, в село Горки, делали осмотр телу найденного в поле неизвестного человека, по которому оказалось, что умерший мужеска пола, одет так-то, лежит так-то, от роду имеет, по-видимому, шестьдесят лет, телосложения слабого; по снятии одежды, на теле никаких знаков не оказалось, цвет тела натуральный, признаков, по которым бы можно было заключить, что смерть ему последовала как-нибудь насильственно,

не имеется; понятые окольные люди, спрошенные под присягою, отозвались, что умершего не знают, подозрения в причинении ему смерти насильственно никакого не имеют, а думают, что он умер от старости. Вследствие чего Временное отделение, при бытности уездного врача, полагает, что смерть неизвестному человеку последовала натуральная, при слабом его телосложении, от усиленной ходьбы по глубокому снегу и недостаточной одежде в бывшее холодное время, почему и заключило: не приступая по вышеизложенным причинам к вскрытию мертвого тела, огласить это особым постановлением, которое и приложить к делу, а копию с оного, за надлежащим удостоверением, дать г. уездному врачу, для представления во Врачебную управу».

Осмотр этот был переписан набело, и под ним подписались все, не исключая и непременного, который не забыл, однако, мимоходом шепнуть становому: «Смотрите же, как сказано!», на что тот отвечал движением головы. Нельзя было без смеха видеть, как приступал Богдан Богданыч к подписанию осмотра, какие телеграфические кривлянья руками делал он, вследствие внутренней борьбы, как он со вздохом восклицал: «Инспектор Врачебной управа!», как будто все углы избы были населены инспекторами Врачебной управы, грозившими ему смертию и ссылкою.

Следствие было окончено. Написали ведение священнику похоронить умершего; другое постановление написали о том, что Временное отделение, дабы не тратить напрасно времени для занятий служебных, заключило, отправиться туда-то и туда-то; одним словом, обеспечили себя так, что можно было после труда и насладиться жизнию, и пожить для себя. Исправник предложил вместо того, чтоб ночевать в избе, отправиться к Ермилу Ипатычу и там поужинать. Мнение было принято единогласно, но стряпчий заметил при этом, что, окончив служебные занятия, надобно заняться и существенною оных частию, и просил позволения остаться. Все согласились и условились так, что пятеро поедут к управляющему, а стряпчий останется за получением денег и вообще окончит это дело во всех отношениях и ко взаимному удовольствию.

Оставшись наедине с рассыльным, стряпчий прежде всего поручил ему разузнать: сколько было собрано на миру баранины, масла, яиц и кур на угощение их. Пеклеванный бросился в сени и чрез минуту возвратился с подробным известием, что приготовлено два барана, полпуда масла,

сотня яиц, десять кур и два поросенка Записав это на особой бумажке, стряпчий велел позвать сотского и приказал ему принять это все от старосты и доставить в город к нему на квартиру

Ты, любезнейший, говорил нам, начал он, обращаясь к сотскому, что у вас собрано десятков семь рублей. Чтоб не тревожить вас лишними хлопотами, мы, с общего согласия, решили, принять от вас эти деньги Вы знаете сами, сколько хлопот можно вам наделать по случаю этого мертвого тела. мы не захотели этого. Мы пожелали лучше не исполнить обязанности своей, нежели отказать вам в вашей просьбе. Вы должны понять и оценить это Семьдесят рублей, которые вы собрали, мы принимаем, как изъявление вашей благодарности за то, что мы окончили следствие в один вечер; за то же, что господин лекарь не вскрывал тела, то есть не резал его, вы должны благодарить его особенно Вы знаете, он немец, человек, следственно, не сговорчивый; надо было много хлопот и старания с нашей стороны, чтоб уговорить его. Мы, однако, успели в этом, обещая ему, что его снисхождение будет понято вами Надобно бы было ему дать сорок или пятьдесят рублей, но, снисходя к тому, что деревня Горки нам давно известна, что управляющий человек хороший и гостеприимный и ты, сотский, замечен уже земскою полициею, как человек особенно исправный и внимательный к исправлению обязанности своей, решили, что вы дадите ему двадцать пять рублей особо от тех семидесяти, которые вы собрали. Для нас это все равно, мы тут не корыстуемся ничем, по медику, который в этом деле главное лицо, противствовать не надо. Поди скажи это миру и приноси деньги.

И полным величия и достоинства движением руки он отпустил сотского, который побежал за деньгами.

Через полчаса после речи стряпчего сто рублей были принесены и вручены ему, а какую речь должен был держать сотский, чтоб получить с мира эти лишних двадцать пять рублей, — я представляю на догадку читателя.

Невозможно описать радости и торжества, какое блистало на всех лицах в комнате Ермила Ипатыча, когда вошел туда стряпчий. Комната была освещена так ярко, что даже сам хозяин находил, что свеч зажжено уж слишком много, потому что, думал он, свечи прибыли в цене (тридцать пять вместо тридцати копеек ассигнациями). Он,

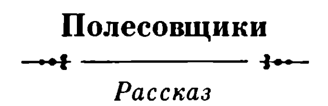
однако, не показал этого. В своем неизменно белом жилете пике и белом галстухе, важно и величаво расхаживал он по комнатам, думая про себя: а каково угощение? Знай наших. Гости были очень довольны. Исправник хриплым голосом старался наладить какую-то песню, которая ему никак не удавалась; становой, по обыкновению в одной рубашке, гоголем и молодцом расхаживал по комнатам, вероятно отыскивая, с кем бы отдернуть вприсядку или трепака; непременный тянулся в вышину, ерошил волосы, а незлобивый Богдан Богданыч, против обыкновения выпив лишнее, все толковал про себя, что и «*инспектор Врачебной управа*» и проч и «*все это невозмоглно и погибаит мошно*»; а кончил тем, что запел: «Lieber Augustin»[5].

Сотский и староста прибежали на празднество — первый потому, что тут было его земское начальство, второй потому, что тут сельское начальство, в ожидании каких-нибудь приказов. Приказов, однако, не последовало. Всякий был слишком занят самим собою, дело было не до службы. Однако становой, увидя сотского, который стоял у дверей залы и выжидал случая, чтоб как-нибудь ловчее поклониться исправнику и становому, не мог пройти мимо без того, чтоб не потрепать его по плечу и не сказать: «Славный сотский! отличный сотский! мы об тебе не забудем!.. смотри же ты, все убери завтра». Ермил Ипатыч не дозволял себе со старостою подобной короткости. Он только подошел к нему, гордо на него посмотрел и сказал: «Ступай, хорошо. До завтра».

* * *

На другой день Временное отделение еще почивало, а уже труп был похоронен, понятые распущены, и все вошло в обыкновенную колею, кроме голов членов Временного отделения, которые, несмотря на то что *не теряя времени для занятий служебных,* должны были отправиться туда-то и туда-то, потребовали завтрака, потом обеда, а потом и еще ночлега...

Полесовщики



Рассказ

I

Был темный летний вечер. Под навесом густого, мрачного леса тоскливо светился одинокий огонек, отражавшийся на грязи проезжей дороги; глухо свистел и завывал ветер в сучьях дерев, в скважинах одинокой хижины, торчавшей под громадными соснами; жалобно выла собака, вероятно, от голоду, потому что одинокие жильцы этой хижины часто и сами довольствовались куском черствого хлеба; да вдали, где-то далеко, и то изредка, раздавались неясные звуки колес, стучавших по шоссе.

Неизъяснимая грусть закрадывалась в сердце, смотря на это одинокое, сиротливое убежище человека, заброшенного сюда вопреки всем общественным условиям, стремящимся сближать людей в общество; еще грустнее стало бы тому, кто заглянул во внутренность этой избушки, достойной скорее назваться конурою животного, нежели жилищем человека. Так называемые сени из плетня, в которых ходил ветер так же свободно, как в ветчинницах и чердаках для сушения белья; из сеней дверь аршина в полтора вышиною или еще и меньше, куда скорее надо пролезать, нежели проходить; в углу несколько соломы, наполовину сгнившей, на которой дрожала от сырости и голоду тощая собака, тихо и жалобно вывшая; в самой избушке пол, сильно покачнувшийся к стороне печи, уродливо выставившейся вперед красными углами своими и черной огромной скважиной, называемой топкой; закоптевшие от беспрестанного дыма

стены, лавки в 4 или 5 вершков шириною, на которых не только лежать, но и сидеть невозможно так они узки грубо обтесанные четыре бруска, на которых лежали две не связанные между собою, но только сильно замасленные тесинки, заменяющие стол, и, наконец, в углу какой-то уродливый столбик на трех ножках, в верхнем конце кото рого вделаны три железных рогульки и в них торчит лу чина, достойно освещавшая это жилище нищеты и страда ний, и, наконец, облако дыма, не успевавшее выбраться в единственное отверстие, сделанное над печкой и заменявшее дымовую трубу, и потому наполнявшее всю верхнюю половину избушки. Это грязная конура, называемая сторож кой и караульной между окрестными жителями и гордо величающаяся домом лесного сторожа в инвентаре и ведо мостях административного управления.

В избенке этой находилось два человека. Один из них лежал на печи, вероятно, потому, что лежать, кроме нее, было негде, и его в этом дымном полумраке нельзя было видеть; другой стоял посреди избы, сильно сгорбившись, потому что, ежели бы он распрямился, дым стал бы есть ему глаза; да и полати, бог знает для чего тут приделанные, мешали ему распрямиться во всю вышину его. Стоявший посредине одет был в серый, изорванный в лохмотья каф тан; на ногах торчали у него безобразные лапти, надетые на толсто обертывающее ноги сукно, такого же достоинства, как кафтан; из-под кафтана около шеи и в дырья его виднелась толстая и грязная так называемая конопная рубашка — грубое полотно, которое скорее годилось бы на паруса кораблей, нежели на одежду человека. В эту минуту он подпоясывался каким-то обрывком, который только что носил название кушака, но, в сущности, состоял из бесконеч ного множества дыр и узлов, как-то странно связанных между собою грязными нитками из бумаги и шерсти, а на голове у него покоилась полоска пегой овчины с кружком полинявшего плиса, заменявшая шапку. Он был не стар, но на бледном и как-то странно истомленном его лице, украшенном всклокоченною рыжею бородкою, не было вид но стремления и жизни молодости; потухший взор его лениво и почти бессмысленно бродил по окружающим и по временам вдруг выплывающим при внезапном блеске лучины из таинственного полумрака нехитрым предметам бедного жилища; движения его были ленивы и вялы, и он повязывался кушаком едва ли не десять минут; так торопил-

ся он туда, куда шел! Равнодушие, неосознанная тоска, всякое отсутствие внутренней жизни составляли отличительный характер его лица; он взял суковатую палку, заткнул за кушак топор, как заметно, скорее по инстинкту, нежели с сознанием того, для чего это делает, и уже намеревался пролезать в ту дыру, которая называлась дверью, когда неожиданный вопрос его товарища, лежавшего на печи и до сих пор упорно молчавшего, вдруг остановил его.

— Ты куда, Степа?

— Пойду в обход,— отвечал Степан со вздохом,— только ночь-то добре темна!.. Хошь глаз выколи.

За этим последовало несколько минут молчания, в продолжение которых лежавший сопел, а стоявший чесал спину.

— А для чего ты пойдешь? — возразил первый.— Али в этой темности ты увидишь что-нибудь? Под носом у тебя рубить станут, ничего не увидишь; а слушать-та, пожалуй, слушай, сколько душе угодно; от этого им убытку нет.

— Я и сам, дядя Микита, тоже мерекаю! да боюсь, кабы пожарной староста не заехал. Он, никак, в Дятлово проехал сумеречками; будет ворочаться, пожалуй, и завернет сдуру... заорет, зачем дома, а не в лесу. Черт его душу возьми совсем! Лучше где-нибудь под сосной простою; по крайности хошь лаяться не станет: ушел, дескать, в обход.

— Да вить теперь ишь ты, как поливает — словно из ведра. Не ходи, Степа!

— Боюсь, дядя Микита! Прошлой черед тоже эдак застал в караулке, лаился, лаился, да еще голове нажалился... так полосовали, полосовали спину, инда тошно стало... ну его совсем к богу.

После такого убедительного доказательства в необходимости хоть постоять под сосной дядя Микита не возражал более. Водворилось снова торжественное молчание. Степа, как его называл Микита, постоял еще несколько минут молча, как бы в раздумье или ожидая новых возражений со стороны дяди Микиты, но как этих возражений не последовало, то он поправил шапку, сдвинул кушак еще ниже и, почесав затылок, вышел из избы. В сенях он что-то повозился, вероятно, отвязывая собаку,— надо было думать, что в темноте он как-нибудь наступил ей на ногу или на хвост, потому что она жалобно взвизгнула; за этим разда-

лось шлепанье по грязи, постепенно удалявшееся; наконец все утихло.

В этой тишине было что-то зловещее. Это была та тяжелая, безотрадная тишина, которая бывает среди скорби и нищеты: она нарушалась трещанием лучины, порывами ветра, стонавшего в трубе как-то жалобно и тоскливо, стучаньем капель дождя в единственное и полуразбитое стеклышко окошка и, наконец, гулом леса, высокие деревья которого грозно помахивали вершинами своими под порывами холодного ветра. Изредка только, среди этого мертвого безмолвия, вскрикивал сверчок, раздавалось храпение дяди Микиты да отдаленный одинокий лай собаки, ушедшей с Степаном.

Так прошло с четверть часа. Вдруг дверь избенки с шумом растворилась, лучина, затрещав, чуть не погасла, когда наружный воздух хлынул в полурастворенную дверь, и глазам представился мокрый, весь в грязи, Степан с знаками ужаса на лице.

— Дядя Микита! а дядя Микита! — закричал он торопливо.— Послушай-ка, никак, в лесу кто-то рубит? Как будто топор слышно?

Дядя Микита не отвечал; он был в том сладком, томительном забытьи, какое испытывается в первом сне, на жарко истопленной печи.

Не получая ответа, Степан шагнул к печке, поймал рукою Микиту за что попало и принялся трясти его изо всей силы. Тогда только Микита проснулся, торопливо вскочил, протирая глаза, и в испуге спросонья кричал:

— А? что? Горим, што ли? Выноси скорее все... Эй, бабы! слышите? живо!

А сам метался на своем месте и искал ногами подножки с печи, желая слезть, и второпях не находил ее...

Степан остановил его.

— Да не горим, дядя Микита,— отвечал он,— а в лесу топор слышно! Должно быть, вязниковские опять приехали.

— А! не горим,— отвечал Микита, озираясь.— Ну слава богу! А мне померещилось, что избенка моя горит... ну я и того! Слава богу! — повторял он, крестясь и сильно почесывая себе спину и бока.— Слава богу! Ты что, Степа? — продолжал он, совершенно придя в себя.

— А то, дядя Микита, что в лесу у нас, никак, рубят. Что делать-то?

— Что делать — я и сам не знаю. Разве в эдакую темноту увидишь что-нибудь? И увидишь, так немного возьмешь. Должно быть, далече рубят; смотри подле шасе.

— Должно быть, дядя, что там. Глухо что-то слышно.

— Да и рубить больше негде. Сюда не поедут. Черт им велит в эту грязь заезжать. А там по шасе хорошо; нарубил да и прямо на базар.

— Что ж нам делать-то?

— А черте знает, что делать. Идти туда — далёко, версты с три, пожалуй, будет; пока ты дойдешь, они и нарубить и уехать успеют; только что ноги поломаешь даром. Да и польза-то какая из этого?.. Никакой нет! Разве они с пустыми руками, што ли, воровать-то поедут? Я, чай, и кистеньков набрали, и дубинок разных, подступись-ка к ним; разве голову не проломают, што ли? а все пользы не будет. Не мы, дескать, да и конечно, коли в донос пойдет. Разве этого не было? Косой Алешка на что малый провор — да и тот што взял, как эдак насунулся. Вить уж застал с порубленным вешняковских, на месте застал, да что лих им сделаешь. Их была орава — человек пять, никак, он и подступиться-то к ним не посмел; покуражился, покуражился издали, да на том и съехал. В лицо всех знает — ну рассказал, как кто и в чем одет был; а как пошло к суду, их всех оправили; говорят, чем можешь доказать, что они были, а не другие кто? А ему, известно, чем доказать? Они, говорит, притоманно[1] они, видел сам, как они рубили и на воза накладывали, своими глазами видел. А ему в суде на это: это, брат, всё хорошо, да, вишь, этого мало, что ты видел, — доказать надо; эдак ты, пожалуй, продашь лес да после скажешь, что порубщики у тебя лес вырубили, так тебе и верить? Тут, брат, доказать надо, а не то чтоб так... а ему доказать чем же?.. один в лесу был. Тем дело и кончилось. Никак, его же наказали за слабое смотрение.

— Так ты думаешь, дядя Микита, что ходить нам незачем?

— Оно пойти-то можно, да только пользы из этого не будет... Это уж наверное!

— Так пойдем, дядя, все как-то лучше; авось как-нибудь и изловим, может, один кто?

— Да, расставь карман-то; поедет те один. Небось косой десяток народу. Разве в этакую теметь поедет один. В лесу-то, чай, жутко; не сунется...

— Ну, а как же мы с тобой ночью по лесу ходим?

— Да разве не жутко, что ли? И идем-то так с опаской, все около опушки норовишь жаться, не ровен час, чтоб можно было улизнуть, коли что подеется. Тут, брат, храбриться нечего. Начнешь храбриться, так, пожалуй, леший такую с тобою штуку сыграет, что и ног не унесешь. Не бывало, что ли?

— Оно как, чай, не бывать — случалось; самому только не приходилось.

— А небось хочется? так ступай, пожалуй. Чего нет другого, а за этим дело не станет.

— Хотеть, чего хотеть, дядя Микита; дело-то наше подневольное — вот что! И пужаться будешь, а все пойдешь, небось, розга-то не свой брат. Ты, видно, пыли-то еще не видал?

— Не видать! как не видать, видал; только не шибко больно было. Старый голова у нас не добре чтоб сердит был: ну известно, потазать потазает[2], а не то чтобы того...

— Ты бы вот к нынешнему в лапы попался, так задал бы он тебе. Тебе в стариках хорошо быть; вас не пугают, а вот как нашему брату, так уж куды жутко приходит. Окружной-то и твердит: «Пори их, как можно! чтоб пикнуть не смели!», а голова тому и рад!

Говоря это, они вышли из избы. Дождь в эту минуту перестал, месяц блеснул из-за тучи, разорвав темную пелену облаков; с леса понесло душистою зеленью клена и черемухи; вдали явственно раздавался стук топора, вторимый гулом леса.

— Слышь, а! слышь, дядя Микита! — говорил Степан торопливо.— Ишь как валяют! Запорют нас с тобой, дядя Микита! Право запорют! — Видно было по всему, что он ежели не в первый, то уж никак не больше как во второй раз был караульным, и потому боялся преступить обязанность свою и вместе с тем страшно боялся наказания.

— Пойдем, дядя Микита! — повторял он.— Право, пойдем! Может быть, и изымаем как-нибудь, а не изымаем, хоть спугнем по крайности. Не ругаться же им, собакам, в самом деле, над нами? Дубинка у меня надежная — авось и испугаются.

Дядя Микита, напротив того, как заметно, был травленый волк, и потому не торопился на стук топора, зная, что там, кроме побоев, а может быть чего и хуже, схватить нечего. Но так как дождь перестал и месяц все более и более

начинал обливать серебряным светом окрестность и даже проникать под темный навес дерев и листьев, то он и согласился идти. Тем не менее он предварительно облекся в кафтан, взял в руку суковатую палку с камлышкой на конце, заткнул за пояс топор и отправился. Собака бежала перед ними, обнюхивая каждый кустик или вдруг робко останавливаясь, когда от месячного света какой-нибудь куст бросал на дорогу длинную тень.

Когда они вступали под темную зелень мохнатых великанов, звуки ударов топора начали раздаваться еще сильнее; они неслись по направлению к шоссе и показывали, что не один, а много топоров работали над незаконной порубкой. Это заставило Микиту останавливаться или по крайней мере не торопиться; напротив, его товарищ, после того как удары топора раздавались явственнее, делался как-то храбрее и решительнее. Это был не тот вялый, как бы убитый человек, каким мы видели его в караулке; походка его сделалась тверда, быстра и решительна; глаза как-то странно горели на лучах месяца и вялая, медленная речь окрепла. Он часто хватался за рукоятку топора, как будто с намерением его оправить, хотя в этом не предстояло никакой надобности, и время от времени махал своею толстою палкой.

Ночь между тем разгулялась вовсе. Темные облака, удаляясь, черными грядами ложились на горизонте; на синем куполе блеснули звезды; в траве затрещал кузнечик; под кустами блеснули светящиеся червячки. Душистый запах дерев и травы так и обдавал полесовщиков своею ароматическою влагою. Грудь дышала шире и свободнее в этой благоухающей атмосфере. Собака останавливалась чаще и чаще по мере приближения к порубщикам. Издалека, среди этой торжественной тишины, вдруг пронесся звук отдаленного колокола, — пробило полночь. Дядя Микита снял шапку и перекрестился; Степан сделал то же скорее из подражания, нежели по собственному побуждению.

Пройдя версты полторы, полесовщики при обороте дороги увидали на поляне пасущихся с роспусками[3] лошадей; невдалеке раздавались звуки топоров. Звуки эти были все чаще и чаще; казалось, что порубщики торопились окончить начатую работу; может быть, их надежды на темноту ночи были расстроены светом месяца, неожиданным после такой наволоки. Лошадей было семь или восемь, и топоров работало пять; значит, было пять человек, а может быть

и более. Двум соваться на пятерых было бы не рассудительно. Никита, как человек бывалый, очень хорошо знал, что подобные дела кончаются часто смертоубийством, и потому, когда увидел лошадей, сильно дернул Степана с дороги в кусты, для того чтобы порубщики не могли приметить их и они имели время уговориться, как действовать.

Прикрытые кустами, они начали советоваться. Степан, в воинственном разгаре своем, предлагал идти прямо на порубщиков и действовать силой. Никита, как человек немолодой и, следственно, более опытный, предлагал подкрасться к лошадям и, ежели можно, отогнать одну из них, для того чтобы иметь в руках доказательство обвинения в порубке. Но чтоб обвинить их, надо было, по крайней мере, знать, из какой деревни порубщики и кто они такие; как человек, давно живущий в этой местности, Никита знал почти всех крестьян верст на двадцать в окружности и надеялся признать хоть одного из них. Они начали красться кустами к тому месту, где паслись лошади, и, может быть, успели бы в своем намерении, ежели б собачонка, увидя невдалеке чужих людей, вдруг не залаяла и тем не изобличила их присутствия.

Увидя, что они открыты, Никита и Степан бросились к лошадям, схватили одну, уцепились кое-как за роспуски и пустились вскачь. Как ни скоро они это сделали, порубщики успели бросить свою работу и уже бежали к ним с поднятыми топорами и конечно схватили бы их, ежели б решительный удар дубины, нанесенный Степаном лошади, на которой они ехали, не заставил ее сделать такой вольт, какого она, вероятно, в свою жизнь никогда не делала. Это разом отделило их на несколько сажен от порубщиков; но Никита, однако, успел рассмотреть их в лицо. Их было шестеро. Все они были вешняковские крестьяне и знакомы Никите. Но знакомство в этих случаях скорее вредно, нежели полезно, именно потому, что полесовщик, зная похитителя, может назвать его и предать суду. Между тем Никита со Степаном скакали что ни есть духу, побуждая лошадь всеми средствами, какие только были у них в руках. Порубщики, видя, что пешком они не могут остановить их, тоже схватили первых попавшихся лошадей и пустились за ними в погоню. Тишина леса вдруг огласилась криками полесовщиков, погонявших лошадь, и криками их преследователей, которые, махая топорами, обещали изрубить их на части, ежели поймают.

К несчастию, лошадь, взятая полесовщиками, была не из лучших, следственно, уехать на ней от преследователей, ежели они продолжат свою погоню, надеяться было нельзя. Да и куда уехать? В караулку? Что ж пользы? Какой помощи могли они ожидать там? В караулке своей они были так же одиноки, как и в лесу, и это очень хорошо знали окрестные поселяне; а сама караулка от ближайшей деревни отстояла не менее как на восемь верст; следственно, помощи ждать неоткуда. Один случай мог спасти их от тяжких побоев, а может быть и от смерти,— это встреча какого-нибудь проезжего; но по дороге этой мало ездят, да и кому охота в осенние ночи пускаться в дорогу. Все это обсудили они, но не знали, на что решиться. В эту критическую минуту Степан, как-то не потерявший присутствия духа, предложил, нахлыставши хорошенько лошадь, чтоб она скакала еще некоторое время, самим спрыгнуть в кусты и там спрятаться, между тем как преследующие, обманутые топотом лошади, будут их преследовать далее. Никита одобрил этот план: оставалось только привести его в исполнение.

На их счастие, луна задернулась облаками и на лес снова налегло темное покрывало. Мешкать было нечего. Не теряя ни мгновения, Никита первый, при внезапно представившемся повороте дороги, круто извернувшейся вправо, сполз с роспусков и, как змея, пополз в кусты. Степан, дав лошади еще три или четыре хороших удара, спрыгнул в другую сторону и торопливо спустился в межевую яму, на его счастие тут попавшуюся.

Маневр их удался как нельзя лучше. Лошадь, ими оставленная, скакала еще сажень сто; за нею с новыми криками ярости и вовсе недвусмысленными выражениями злобы проскакали вешняковские, понуждая лошадей своих чем попало, даже дубинами. Они проехали мимо полесовщиков в нескольких шагах и не приметили их. Никита, свернувшись, как еж, лежал в кусте ни жив ни мертв. Степан в чаще кустарников, которыми поросла яма, сидел, приготовивши топор и дубинку и решившись защищаться до последней крайности.

Когда порубщики проехали мимо, тогда Никита со скоростью, делающей честь его ногам и которой, впрочем, нельзя было ожидать от его лет, бросился в чащу и действительно скоро исчез в ней так, что его, по пословице, с собаками найти бы было нельзя. Степану хоть и крепко не хотелось

обращаться в постыдное бегство, но, рассудивши, что порубщиков шестеро, а он один и что на дядю Микиту надеяться нечего, тоже решился отретироваться, что исполнить ему было нетрудно с его молодыми, здоровыми и длинными ногами.

Между тем лошадь, на которой ехали полесовщики, чувствуя, вероятно, что никто более не погоняет ее и что вожжи ослабли, пошла тише, а наконец и совсем остановилась. Тогда раздалось восклицание торжества, вылетевшее разом из шести уст, и остановившаяся лошадь была тотчас окружена со всех сторон, чтоб не дать возможности полесовщикам спастись бегством. Конечно, ежели б Никита и Степан не сделали этого, участь их не была бы подвержена сомнению — они были бы убиты. Погоня и неожиданность до такой степени возбудила негодование и вскипятила кровь крестьян, что они готовы были на все, хотя, может быть, через несколько часов они сами первые стали бы раскаиваться в своем поступке. Как бы то ни было, полесовщики были спасены, по крайней мере, хотя на эту минуту.

Вопли ярости огласили лес, когда шестеро преследователей увидали, что они обмануты. Они тотчас воротились назад и начали шарить вдоль дороги, ошаривая каждый куст, но уже было поздно; полесовщики наши были далеко, и каждый, хотя в этом они и не соглашались между собою, инстинктивно направлялись к своей караулке. Через полчаса они были дома, мокрые, ободранные, но тем не менее счастливые тем, что успели спастись, ибо ни один из них не сомневался в той участи, какая их ожидала.

Когда они вошли в караулку, оба усердно перекрестились; даже и Степан, несмотря на то что был помоложе и, следственно, поравнодушнее, перекрестился усерднее обыкновенного. Так как они очень устали, то, разумеется, на эту ночь объяснений никаких не последовало; всякий рад был добраться до своего места. Никита улегся на печи, Степан на полатях. Подложивши изодранные и мокрые кафтаны свои под голову, за неимением ничего лучшего, а под телом; довольствуясь — Никита голыми кирпичами, а Степан голыми досками,— они захрапели на славу.

Против обыкновения они проснулись спустя долго после восхода солнца. Оно уже весело заглядывало в маленькое окошечко их, когда Степан первый открыл глаза и, вспомня вчерашнее, вскочил с своего места, как будто бы его ужалила пчела. Мысль, что порубка сделана и что за нее на-

добно отвечать, как какое-нибудь страшилище, представилась ему. Он разбудил Никиту не потому, чтоб он был ему нужен, но потому, что страдать одному вообще как-то мучительнее, нежели сам-друг: человек находит какое-то эгоистическое удовольствие видеть свое страдание разделенным. Никита был далек от того, чтоб разделять мучения своего товарища. В продолжение своей жизни он так много видел несправедливости и над собою и над другими, что решил, что об этом предварительно думать не стоит, что ежели им суждено быть наказанными за чужую вину, то будут наказаны, «хоть там матушку-репку пой!». Что какой талан дан кому от бога, такой и будет — и прибавил: «За грехи наши, видно, нас бог наказал, что нас полесовщиками выбрали». Этим оканчивалась его практическая философия.

Степан не был так рассудителен: он возмущался при мысли о наказании, которого не заслуживал и в предупреждение которого сделал бы всё, что только мог, ежели б это было в его силе. Прежде всего он спросил: каким образом и по чьему распоряжению караулку их построили не с той стороны, где всегда происходит воровство и где следы его всегда скрыты, т. е. на шоссе, по которому так ловко, сейчас после покражи, увозить воровское, а в противной стороне, на расстоянии от дороги в трех или более верстах; и притом почти в восьми верстах от всякого жилья, так что, ежели б воры были посмышленее, им стоило бы только приехать в караулку, перевязать обоих полесовщиков и потом ехать на добычу совершенно свободно и без оглядки, и никто этого не только бы не увидал и не услыхал, но караульщики, связанные, даже могли бы умереть с голоду прежде, нежели кто-нибудь об них вспомнит. Никита ему отвечал так: ты чуден малый, подумаешь. Разве строить караулку спросят кого-нибудь? Это, брат Степа, начальство решает, где ей быть; говорят, даже в Питер пишут, где ей стоять надыть; как оттуда велят, там и построют. Так уж тут, брат, толковать много нечего. Когда бы спросили нашего брата мужика, где ее ставить надо, так небось рассказал бы им, как и что; по пальцам бы перечел, где надо строить, где не надо. Да разве нашего брата спросят, что ли? Они в свой нос дуют; они думают: коли они бари — так уж всё знают и им спрашивать мужика нечего. Расставь карман-то! Видишь ты: у нас две пустоши — одна Варнахинская, вот в которой вчера порубку делали и нас с тобой чуть было не ухлопали, а другая Сенюхинская с полверсты отсюда.

В Варнахинской-то, видно, сот семь десятин будет, а в Сенюхинской ста полтора. Ну вот они и рассудили, что, как построют караулку между обоими пустошами, так полесовщикам, видишь, ловко будет караулить ту и другую, а того не расчухали, что около Сенюхиной кругом чужой лес; чтоб до нее только добраться, так такие рытвины да буераки надо проехать, что у всякого охота пропадет не то что воровать, даже и просто-то в нее заехать. Да и вору всякому, чем ехать за семь верст киселя есть, лучше нарубить где ни попадя, только бы поближе. Разве, в самом деле, вор разбирать станет, что ли, чей лес? Ему все равно, чей бы он ни был, казенный, так казенный, помещичий, так помещичий; только бы ловко было, да рука подошла. Они, видишь ты, по плантам судят; а на планте, известное дело, все гладко — ни сучка, ни задоринки нет; а вот кабы на месте-то посмотрели, так увидали бы, что это не так. Я было, как меня полесовщиком выбрали, стал говорить голове об этом; да разве он послушает что ли... заорал, заорал, затопал ногами, я и замолчал, ну те к богу. Да тут проклятый писаришка еще пристал. Этот што, прости господи, суется! Так, с бока припека какая-то. Добро бы хрестьянин был, ну, разумеется, нашу крестьянскую нужду и знал бы; а то черт знает, откуда взялся. Стракулист какой-то; а тоже как начнет величаться, так куды те! И черт-то ему, кажется, не брат! «Ты, говорит, что, умничать тут пришел? Хуже тебя знают, что ли? Окружной так велел, говорит; в Питере, говорит, это дело было; не твоему рылу чета это дело порешили; так тебе тут соваться нечего». — «Помилосердуйте, ваше благородие, говорю; сами рассудите милостиво: ведь моя спина отвечать-то будет, а не чья другая — так кому ж и говорить, как не мне. Лесу-то в обеих пустошах верст без малого на десять в длину будет; жилье от нас не ближе, как на восемь верст. Как же можно укараулить? сами посудите. И укараулишь и вора увидишь — да ничего не поделаешь; разве узнаешь, с каким оружием приходят? Умирать тоже никому не хочется».— «Вон,— закричал он,— с такими речами! Ты бунтовщик, говорит, ежели смеешь такие речи говорить; тебе толкуют, что из Питера так приказано, а ты умничать смеешь. Сотню палок тебе ввалить, бунтовщику; ты и других научаешь начальство не слушать, да умничать сметь». Я было и то и другое — куда те! С глаз согнал, да еще вдогонку закричал: «Моли твоего бога, что десятской к празднику в Архангельское уехал; узнал бы ты кузькину

мать, как сметь ослушиваться начальства!» Нечего делать, с тем и побрел домой, чтоб пусто им стало!

— Да, плохо, коли резонов не принимают! — заметил Степан с грустью.— Сами чепухи наделают, а наш брат отвечай. Одначель, дядя Микита, нам не сходить ли на вечернюю порубку, полюбопытничать бы, много ли они, проклятые, лесу погадили? Ведь все, я чаї, надобно по начальству донесть, как бы, в самом деле, в ответе после не остаться.

Дядя Микита соглашается, что действительно надо посмотреть порубку; что же касается до того, доносить или не доносить, решим, что надо сообразоваться с обстоятельствами и осмотреться, что выгоднее. Они пошли.

Утро было чудесное; теплый воздух имеет в себе что-то разнеживающее, мягкое; с зеленых, сочных листьев капали еще остатки дождя и росы, не успевшие высохнуть; во всякой лужице, как в маленьком зеркале, ярко отражались и синева неба, и зелень дерев. Прямые и слегка окраенные смолистою желтизною стволы сосен величаво возвышались на изумрудном фоне листьев и кустарников, по которым весело прыгали и заливались в непрерывной песне стаи птиц, приветствовавших пробуждение дня; вдали стучал дятел, трещала иволга, стрекотал кузнечик, и тысячи букашек гомозились в траве; муравьи спешили куда-то, отягченные ношами, а в воздухе во всех направлениях, взад и вперед, сверху вниз и снизу вверх сновали мириады крылатых букашек и комаров, изумрудных, пестрых, всех цветов и видов, которыми с таким изобилием населен мир божий. И все так было полно, так живо, так весело... От зелени кустов и листьев березы разливался такой нежащий, обаяющий аромат, запоздавшие цветки, поникшие головкою в дождливые дни, с такой радостью спешили развернуться и пожить в теплой атмосфере ясного дня.

Микита и Степа, слишком сжившиеся с природою, не любовались ею. К тому же круг нравственной деятельности их был слишком тесен, и нельзя было требовать от них этого: материальные нужды и заботы слишком много поглощают — и поглощают по необходимости — жизнь таких людей. Кто в поте лица, и часто в кровавом поте, должен завоевывать у судьбы даже самое необходимое для жизни, тому некогда думать о наслаждениях духовных.

Не изумрудная красота зелени, не бездонная синева неба, не веселое щебетанье птиц занимали их, когда шли они к месту порубки; как опытные охотники, подстерегаю-

щие дичь, они примечали ширину шин тех роспусков, на которых ехали сами и на которых гнались за ними вешняковские; приняли к сведению то, что переды у лошадей были кованые, а зады нет, что, наконец, там, где похитители, убедившись, что они гонятся за пустою лошадью, сошли с роспусков, что некоторые из них были в сапогах и сапоги эти были подбиты гвоздями в три ряда, а другие в лаптях с подковыркою. Следы шин, следы сапог и лаптей, следы подков и копыт были вымерены Степаном с математическою точностью и со всего взяты смерки, т. е. палочки, наломанные в длину и ширину смеренного и которые Степан, чтоб не перемешать между собою, одни накусал зубами, другие сдернул ногтем, а третьи оставил без заметки. К этим уликам, собираемым ими с таким тщанием, присовокупили они еще новую: на дороге лежала рукавица, вероятно, второпях потерянная кем-нибудь из порубщиков, а на месте порубки найден даже изорванный кушак, тоже, вероятно, как-нибудь забытый в суматохе. Срубленных дерев оказалось двенадцать из толстомерных, т. е. более пяти вершков в отрубе, и не подстойных, а свежих,— обстоятельство, тоже с горестию замеченное полесовщиками, на том основании, что за толстомерные и свежие деревья штрафных денег платится более, нежели за тонкомерные, и штраф этот должны заплатить они, ежели не докажут, кто были похитители. Приведя таким образом все в известность, они расстались: Никита отправился к пожарному старосте или лесному объездчику, для объявления ему о случившемся; а Степан пошел обходить лес в предохранение от новых порубок.

Село, к которому принадлежали Никита со Степаном, было верстах в девяти от отхожей пустоши, где происходило рассказываемое нами; а потому прежде, нежели Никита, человек немолодой, притом мало спавший ночь и усталый от продолжительной ходьбы, добрался туда, было уже около полудня, то есть такое время, когда в деревнях уже пообедали и легли отдыхать. Это нашел он и у пожарного старосты, к которому он явился прямо из лесу, не заходя даже к себе домой. Пожарный староста, сколько его по требованию Никиты ни будили, не проснулся; и не проснулся по очень простой причине: в это утро был у них мирской сход, и на этом сходе он сильно подгулял, а потому лежал, что говорится, без задних ног. Сколько ни теребили, ни толкали, ни качали и ни поднимали даже, пожарный староста только мычал какие-то непонятные слова, и то не открывая глаз,

и был решительно не способен не только заниматься служебными делами, но и какими бы то ни было, ежели б дело шло даже о собственном самосохранении. Видя, что от пожарного старосты толку не добьешься, Никита, как ни был он голоден, не евши ничего со вчерашнего вечера, и как ни устал, отправился к лесному объездчику: на несчастие, этот уехал в объезд и не мог воротиться прежде следующего утра. Что должен был делать Никита? Ждать, как проснется староста и приедет объездчик, т. е. до утра. Но в эту ночь разве не могут приехать в лес новые порубщики? И тогда что будет делать Степан один, может быть, против десятерых? Взгрустнулось Никите. Несмотря на философское воззрение его на телесное наказание, на штрафные деньги и на предание суду и следующее за тем «лишение всех лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ», до которых ему, впрочем, очень мало было нужды, только бы спина была цела,— он струхнул невольно перед процедурой следствия, допросов, очных ставок и так далее, при которых мучат целые недели, испишут стопы бумаги для того, чтоб кончить все тем же, чем бы можно было кончить тотчас, т. е. наказанием, только без этой нравственной пытки, которая называется следствием. Что ж мудреного, что он пришел домой не в духе; ни с того ни с сего разругал жену, которая старалась его угостить и тем и другим; подала пшенной каши с молоком, творожку, ситничка, всего, одним словом, что содержит незатейливое крестьянское хозяйство. Никита был угрюм, говорил мало и, пообедавши, лег тотчас спать на сеновал в деннике, что, как известно, составляет самый покойный из всех будуаров нашего мужика.

Проснувшись, он почувствовал, что голова у него свежее, и принялся думать крепкую думу, что ему теперь делать? Как ни кидал он, все выходило как-то неловко и некстати, тем более что нельзя было обойтись без того, чтоб не идти к писарю, которого он крепко не жаловал, и, за недостатком других властей, объявить хоть ему о порубке, а кстати написать и рапорт, потому что по заведенному у них, по требованию окружного, порядку, для большей ясности и отчетливости в делах, все должно было делаться не на словах, а на письме. Конечно, кроме писаря, пожарного старосты и объездчика, есть на селе еще и другие власти: старшины, заседатели и, наконец, сам голова; но все они также были на сходке, где судили какого-то виноватого, и

он, чтоб не быть виноватым, ублаготворил их так, что они единогласно под конец схода признали его вполне невинным. Следственно, на них рассчитывать тоже было нечего: пришлось идти к писарю.

Писарь, как, вероятно, вы и поняли из рассказа Никиты, был из благородных — то есть чиновник. В формулярном его списке значилось, что он губернский регистратор Савелий Ксенофонтов Иерусалимский, из службы исключен за нерадение и нетрезвую жизнь, вдов, судим был за то, что украл поросенка и заложил в кабаке, и по решению суда оставлен в сильном подозрении. Конечно, об этом его формуляре не знал никто, так как он был из вольнонаемных; а ежели б кто и знал, то, по всем вероятиям, не поставил бы ему кражу поросенка в тяжкую вину,— и по очень уважительной причине: хмельком-то в деревнях зашибается всякий, да и слимонить поросенка, чтоб отнести в кабак, тоже вряд ли кто из десятка под пьяную руку откажется, особливо когда опохмелиться надо во что бы то ни стало, а денег нет. Вот, например, взять поросенка на другую какую потребу — о! это другое дело, это воровство, гнусное воровство, которое заслуживает примерного наказания; но взять для того, чтоб опохмелиться, нет! Как хотите, это простительно всякому, и осудить такого, воля ваша, не достанет ни у одного духу. Кто бывал хмелен, тот знает, каково состояние похмелья: тут за стакан вина не то что поросенка — корову готов всякий взвалить на плечи да снести в кабак, только бы достало силы,— так болит голова, и так скверно на сердце!

Когда Никита вошел к нему на двор, губернский регистратор уже встал после обеденного отдыха и важно расхаживал в ситцевом халате по своему двору с предлинною трубкою в зубах, занимаясь разбором ссоры между двумя петухами, поссорившимися за золотистую с черными перышками в хвосте курицу. По суду писаря, оказался виновным один из петухов; и он с отеческою, впрочем, любовию наказывал его собственноручно розгою из веника, приговаривая: «Не подобает тебе непристойное делать! Всякий должен только своим пользоваться», забывая, что этим он подписывает свой собственный приговор, так как вся жизнь его состояла из беспрестанного пользования и постоянного желания пользоваться чужим и что на этом основании зиждется устройство всех человеческих гражданских и политических обществ.

Хотя Никита давно уже стоял с шапкой под мышкой на дворе писаря, ожидая окончания суда, а потом наказания, Иерусалимский не торопился ни тем, ни другим, и уже тогда обратился к мужику, когда окончил и то и другое и притом самым удовлетворительным образом. Надобно вам сказать, что губернский регистратор был методист и не любил вообще торопиться никогда и ни в чем; любимые его пословицы были: поспешишь — людей насмешишь! Тише едешь — дальше будешь! Пьян да умен — два угодья в нем! Эта последняя пословица хоть и не шла к двум предыдущим, но употреблялась им всегда, вероятно, потому, что ему особенно нравилась, а может быть он находил, что хорошее всюду кстати и нигде испортить не может. Так или не так, только он, видя Никиту, смиренно и даже с некоторым подобострастием стоявшего у калитки, не торопясь нимало, осмотрел его с ног до головы, как бы какое-нибудь редкое насекомое, и потом медленно, даже с некоторою расстановкою, спросил:

— Тебе чего, дружище, надобно?

Никита, как, вероятно, вы и прежде заметили, был не из храбрых и, несмотря на всю рассудительность свою, не мог не ощутить некоторого трепета, когда серые, совиные глаза поросячьего вора остановились на нем с неподвижностью взора Каменного гостя. Он начал говорить, но чувствовал, что говорит нескладицу, и вследствие этого смешался до того, что начал пороть такой сумбур, что из его рассказа нельзя было понять ни слова. Чувствуя сам, что мелет вздор, он остановился.

— Ничего, дружище, не понимаю! — отвечал хладнокровно писарь.— Что-то караульщик, да что-то лес, да что-то срубили... а кто кого срубил: лес ли караульщика или караульщик лес — неизвестно. Повествуй, друже, яснее.

Надо думать, что губернский регистратор, бывши в семинарии, читал в переводе Шекспира и потому любил игру слов, употребляя ее весьма часто в своем разговоре, и ежели о чем болел больше всего душою, так это о том, что среди «необразованных» и «мужичья», как он выражался, эти красоты слога пропадали даром. Тем не менее он не отказывал себе в этом наслаждении при всяком удобном случае.

Когда Никита рассказал ему подробно сцену прошедшей ночи и просил написать рапорт, писарь задумался. Вообще он принял себе за правило не делать никогда, ни-

кому и ничего даром; а что взять с полесовщика, которого и в должность-то эту выбрали за бедность и за то, что он одиночка и, следственно, заступиться за него некому, тогда как богатые и у мира и у начальства откупались от этой должности у кого вином, а у кого деньгами. Простая и отчасти жалкая фигура Никиты, конечно, говорила в его пользу, и выгнанный из службы чиновник, несмотря на очерствелое сердце, пожалуй, хоть и не прочь бы был преступить для него однажды навсегда принятое правило, но, рассудивши, он нашел, что изменить принципу есть такая страшная вещь, что об этом надо бояться даже и думать. Он ужаснулся, вспомнивши, что ежели он преступит правило свое, к нему будут приходить с просьбами сперва десятки, а потом, пожалуй, и сотни, и он будет принужден удовлетворять этим просьбам даром. Ни голова, ни сердце у него не переваривали подобной мысли. Тридцать лет он крепко держался правила: щичи[4] его казну — твоя казна прибудет. И никогда не изменял ему; изменить ему теперь казалось чуть не святотатством. Сообразно этому он отвечал:

— У тебя, дружище, губа-то не дура. Не только от него заявку прими, да еще рапорт напиши. Да ты как думаешь, мальчик, что ли, я тебе достался? Ведь писать-то учат не даром; тоже деньги платят, не щепки; так ты с чего же взял, что я даром писать тебе стану? Ты, я чай, знаешь, что когда идут просить что-нибудь, так идут не с пустыми руками. Сухая ложка рот дерет.

— Принести-то мне нечего, ваше благородие! За скудость мою и в полесовщики-то меня выбрали. Один мужик я в семье, как есть, а семья не малая — сам-пят; прокормить, одеть, обуть надо, а где взять-то? Вы знаете наши достатки — каковы они; а тут еще штрафные взыскивать станут, да, чего доброго, розгами отхлещут. Помилосердуйте, ваше благородие!

— Это, братец, ты все не резон говоришь. Знаю я, что ты одинокий; да ведь и я, дружище, тоже одинокий. У тебя по крайности дом есть, каков он там ни есть, а все-таки дом, а у меня ни кола ни двора — весь тут! Жалко мне тебя, а пособить нечем. Порядок портить не следует. Сделаешь для тебя — налезут другие, так оно и не годится...

— Пожалуйста, ваше благородие! Старосты нет, все другие хмельны так, что ничего в толк взять не могут; не к кому мне обратиться, а в лес идти надо; товарищ там один; сохрани бог, что там случится, я опять в ответе буду. Сами

рассудите милостиво: разве я виноват в том, что нынче сход был, а старосты нет дома.

— Да кто же тебя и винит? Ты не виноват, да ведь и я не виноват! Что ж ты ко мне пристаешь? Уж ежели такая должность у тебя, так сам на себя и пеняй.

— Да я чем же виноват, ваше благородие, что попал в эту должность? Разве не силком меня выбрали? Кабы у меня в мошне-то гремело, так я поставил бы миру на кон ведро или два, так и ослобонили бы; а как нечего поставить, так и сохни!

— Это все-таки, братец, до меня не касается. Мое дело писать, что велит голова; а там я ничего больше и знать не хочу. Прощай, однако ж. Мне с тобою балясничать-то долго некогда. Отец дьякон на вечеринку приглашал, так пора уж идти. Прощай добро.

После такого ясного отказа Никите было нечего больше делать, как убираться вон. Он знал, что, ежели будет приставать еще — пожалуй, беды себе накликает, и потому, выйдя за калитку, остановился в раздумье: что ему делать? Идти к голове — да что из этого толку? Голова, не спросясь писаря, слова не вымолвит, не то что сделает что-нибудь; а писарь как заберется к дьякону, так его оттуда пестом не выживешь,— голова хоть раззовись. Следственно, в этом нет пользы — только треуха съешь[5], а потом, чего доброго, в правлении велят задержать. Долго думавши, Никита решил, что нынешний день ничего не сделаешь и что, следственно, больше ничего не остается, как идти снова в свою караулку и что дело не уйдет объявить об этом после, когда все власти будут или налицо, или в трезвом состоянии. Но так как дело подходило уже к вечеру, то он и остался дома ночевать, а на другое утро рано отправился в лес.

Пришедши в свою караулку, он нашел Степана в страшных попыхах. Воры в эту ночь приезжали снова, но уже не восемь, а двадцать человек; срубили лесу видимо-невидимо и, как по всему было заметно, искали полесовщиков, вероятно, для того, чтоб порассчитаться с ними за прошедшую ночь. Никита знал, что Степан в подобных случаях не трус и что ему поверить можно, так как он вообще человек не облыжной[6], и потому задумался не на шутку: каким образом продолжать при таких условиях караул леса? Караулить, как надо, то есть ловить порубщиков — значит идти на явную смерть; не караулить — рискуешь на одних штрафных потерять и последнее достояньишко, не говоря

уже о наказании, которое придется перенести без всякой вины, молча и почти добровольно. Положение было безвыходное.

— Куда ни кинь, все клин! — так заключил он вслух свое долгое размышление.

Несмотря на всю храбрость свою, даже и Степан опешил перед появлением двадцати человек, приехавших с явным намерением пощипать их ребра. Это не входило в программу его ответственности, в которой он предполагал только взыскание начальства; а потому и решил, что в подобных случаях соваться шибко нечего, что черт его возьми, лес-то; свои бока дороже, и, чтоб соваться в воду, надо прежде спросить броду, т. е. ловить тогда, когда знаешь наверное, что поймаешь и что вор не отвернется; а в противном случае лучше показывать вид, что ничего не видишь и ничего не знаешь, и что пусть лучше штрафы берут да наказывают, нежели убьют где-нибудь под кустом, как какую-нибудь собаку.

— А как дело-то было? — спросил его Никита, любопытный знать о похождении последней ночи.

— Как ты, дядя Микита, ушел,— начал рассказ свой Степан,— я закусил маленько, побродил, да и опять на боковую; думаю — лучше я теперь сосну хорошенько, зато, как вечер придет, буду смотреть в оба; чего доброго, не придут ли опять аспиды-то за лесом; ну и лег. Устал ли я уж больно, али уж так на меня сонный стих напал, только проспал я добре долго; смотрю, уж солнышко с полуден давно сошло, так как бы сказать в полдник. Вот я встал, перекрестился, да и в путь. Ну, пока дошел до шасе, да там маленечко отдохнул, смотрю солнышко уж и низенько стало, уж и темнеть начинает. Тебя, дядя Микита, я, признательно, не ждал: думал, к своим зайдет, закалякается там и тем и другим займется, так не выпустят тебя до утра. Котомочку свою я взял, сунул туда краюху хлеба, так, значит, в караулку ворочаться мне и не нужно было: ночую, дескать, в лесу, все единственно, где ни ночевать, а может, и изловлю какого-нибудь шального, так на него и вчерашнюю порубку свалить можно. Выбрал я дерево покудреватее да порогулистее, взобрался на него да и засел там; думаю: эдак ладно, меня-то в зелени не видать, а мне виднехонько все, что кругом деяться станет. Ну вот и совсем смерклось, и заря погорела, в лесу уж и шибко темно стало; а я все сижу да посматриваю, не приедет ли какой.

Сперва по шасе много что-то ездили, а как смерклось — как-то перестали; так значит, кто едет один, далеко его слышно. Это, говорю, хорошо: кто по шасе сюда приедет, я его не прозеваю; там как он ни таись, все уж чутко будет; а приехать со стороны некому, да и неоткуда, и, кроме вешняковских, этой пакости ждать не от кого. Как совсем стемнело, лгать не хочу, жутко мне стало. На ту беду проклятые совы такой вой подняли, ну словно по мертвому плачут... так вот те за сердце и хватает, ей-богу! Уж не рад, что и в лесу-то остался; пропадай они пропастью, и порубщики-то. А там вдруг как захохочет кто-то, так инда по лесу стон пойдет, а по спине так мурашки и поползут.

— Это леший тешится! — заметил важно Никита.

— Должно быть, леший,— отвечал Степан добродушно,— только уж больно страшно, дядя Микита. Так вот и заливается — да не один. Слышу — и в другом углу леса захохотал так же; думаю: ну! беда! пришел, видно, мой конец! Сижу ни жив ни мертв, а сам молитву творю да крещусь — упаси бог!

— Это хозяйка лешего с ним перекликалась! — снова заметил Никита.

— Уж кто ее знает, хозяйка ли там али другой леший, только у меня руки и ноги так ходенем и ходили. Вижу, что дело дрянь; эдак и порубщики приедут, так я ничего не увижу со страху; думаю: дай лучше выду на шасе — все-таки там ровное место, не так страшно; да и проезжие, может, какие есть; так могут в случае чего и помощь дать. Слез я с дерева, да как дал стрекача к шасе, так инда поджилки заговорили. Вышел на шасе, смотрю — никого! ну вот я сел под куст, да вытащил из кармана ножик,— думаю: кто ни на есть, леший али человек — только живой в руки не отдамся. Как выпущу кишки, тогда посмотрим, кто кого одолеет. Сижу я эдак с час, слышу — стучат колеса на шасе и спорят что-то громко; должно быть, едут не одни, а много. Ночь-то хоть и не месячная была, а все видеть можно; я, знаешь, вытянул из куста шею, да и смотрю пристально таково: кого дает бог? Ну вот уж и близко — первой, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой! фу-ты, господи! восемь подвод и все на роспусках, а народу на них насажено видимо-невидимо. Что за притча такая? Куда это их такой содом поднялся? человек с двадцать будет, чего нет, больше! Ехали, ехали по шасе, да вдруг как вернут по шильниковской дороге и прямо в лес!

Э, приятели! так вот вы куда пробирались, да еще такой артелью; это не то чтоб очень ладно; одному мне с вами ладить нечего; рубите, сколько душе угодно; поперечить вам не буду, а посмотреть, что вы будете делать,— посмотрю; на этом не взыщите! Ну вот как они приехали, я, знаешь ты, где ползком, где так, а где и в бежки — за ними. Вижу, прямо к заповеди пробираются. Э, братцы! у вас губа-то не дура! знаете, где раки зимуют! видно, уж не в первый раз! Ну вот приехали они, лошадей разнуздали, пустили на траву, а сами принялись любовать деревья, не то чтоб подстойные али тонкие — чего нет лучше выбирают; вижу, что назло делают, ступай, дескать, полесовщик, лови нас. Я коё-как, где ужом, а где на четверенькахднполз-таки до них, слышу даже, что и гуторят промеж собой. Вот один и говорит: «А что, ребята, ну да как полесовщики придут, а мы рубим словно в своем лесу?» А другой ему: «Пускай придут, милости просим, их-то мы и ждем, ежели они вздумали, соседско дело, ловить нас да в суд представлять, так пусть не взыщут; отомнем им бока так, что до новых веников не забудут». А третий, видно добрый человек, примолвил: «Э, братцы! разве дело-то их не подневольное. Небось, тоже начальство есть; да, чего нет, еще спрашивает с них, зачем лес порублен? Небось, тоже отвечать должны, коли порубка приключится; чего доброго, розгами секут, да пожалуй еще отдадут в солдаты, коли молодой угодит».— «А нам-то что за дело? — другой опять сказал.— Эдак обо всяком думать, так без хлеба насидишься. Разве тебя сюда с собой звали сердобольничать, што ли? сердобольничал бы дома с бабами; а у нас так порешили: гадить лесу как можно больше, а вздумают полесовщики нас показывать — в дубье их принять да укомплектовать так, чтоб они и другу и недругу заказали трогать вешняковских». И пошли косить. Уж они рубили, рубили, инда страсть, что дерев поваляли. По лесу инда стон пошел, как они в двадцать-то топоров принялись валять. Плохо-плохо дерев по десяти на топор повалили, так что и увезти всего не могли,— половина валяется в лесу. Слыша такие слова, я назад, назад, да давай бог ноги! ну их совсем,— ухлопают, немного возьмешь. Дело ночное, боятся они, што ли, кого?.. в лесу сами хозяева...

Грустно слушал этот рассказ Никита. После неудачи вчерашнего дня и рассказа Степана он невольно упал духом. Что теперь делать? Кому служить? Беда и тут и там,

а пособить нечем и некому. Конечно, ежели б начальство вступилось, можно бы было горю помочь. Да на кого надеяться-то? Голова ничего не смыслит и во всем слушается писаря; что этот скажет, так и делается; а от писаря чего ждать? Известно, благородный разве станет мужицких речей слушать. Ему бы сорвать что-нибудь, а об другом он и думать-то позабыл. Вот кабы у полесовщиков было подарить чем — ну, это статья особая; тут писарь обработал бы все, и голову настроил, и дело пошло бы, как по маслу. За небольшим и дело стало — за деньгами. Думал, думал Никита. Посоветовался бы с Степаном, да толку от него мало: малый он добрый и дюжий, а уж за советом к нему лучше не ходи; как от козла — ни шерсти, ни молока. Послать куда — сбегает скорехонько; а уж насчет рассудить что — нет, не годится. Никите надо было обдумать одному.

Долго думавши, он, наконец, наткнулся на мысль: ну, а что ежели об этой порубке не объявлять вовсе, а сказать только об одной первой? Чего доброго, пожалуй, не поверят, что порубщики приезжали две ночи сряду и нарубили столько, что даже увезти не могли. А как на зло пойдет, выдумают, что мы сами нарубили, торговать лесом вздумали: тогда и вовсе не отвертишься. Не лучше ли, какие пеньки потолще, о тех объявить, а какие потоньше, грязью замазать, да мохом прикрыть; авось следователи, как считать порубку начнут, не догадаются да подумают, что это прошлогодние. Они радехоньки будут как бы только скорее отделаться да домой улизнуть; спросят для виду, сколько порублено, да так и запишут. Право! никак, лучше смолчать.

Когда Никита сообщил эту мысль Степану, тот нашел ее превосходною, потому что по простоте своей видел в ней средство отделаться. Решили — сделать так, как говорил Никита. Степан отправился приводить это в исполнение, а Никита снова побрел на село. Уговорились оставить открытыми полтораста корней; это число Никита должен был показать и в рапорте, остальные предположено замазать грязью, как будто они срублены давно, а которые можно, так закласть мохом, чтоб и следа не осталось, какие тут были деревья.

Пришедши на село, Никита нашел пожарного старосту, голову и всех остальных на своих местах и в здоровом состоянии; только одного объездчика не было дома: он уе-

хал в объезд, но куда, ему сказать не могли. В поданном рапорте Никита показал порубленными полтораста дерев; описал подробно, как он узнал их в лицо, как они гнались за ними, и в подтверждение справедливости своих показаний представил рукавицу, кушак и смерки ног и шин в виде палочек, выше описанных. Подавши этот рапорт, Никита был потребован к голове, лежавшему, по страшной тучности своей, или, лучше сказать, огромному брюху, на циновке из тростника в сенях, на том основании, что в избе ему все было жарко и он от жару нигде не мог найти места. Одет он был в красную, так называемую, александрийскую рубашку, подпоясан шелковым поясом, на кожаном ремешке висели ключ и медная гребенка, а в головах, вместо подушки, торчал его синий суконный кафтан, скомканный кое-как и изобличавший, что голова «не из опрятных» и что, несмотря на достаток (за что он и был выбран), он продолжает жить такою же свиньею, как и прежде. Проведя целую жизнь содержателем постоялого двора, он приобрел эту суровость в обращении, это равнодушие к страданию ближнего, какими вообще отличаются эти люди, и эта суровость, очень заметная в серых и плутовских глазах, опушенных густыми, черными с проседью и нависшими на глаза ресницами, еще более развилась в звании головы и вполне открыла все стороны этого характера, грубого, жадного, своевольного и мстительного. Никита, не шедший к нему добровольно, очень хорошо знал, почему не шел; теперь же, потребованный им, делал это очень неохотно и крестился не один раз, прежде нежели доплелся до его избы, повторяя беспрестанно про себя: «Пронеси господи! пронеси господи! во веки веков!» Это была его обыкновенная молитва.

Сверх общего страха, производимого головою на всю волость (голова был выбран, потому что этого захотел вследствие каких-то особенных причин помощник окружного начальника), Никита имел еще особую причину его бояться: бывши как-то лет десять тому назад тоже в должности полесовщика, он поймал его работника с возом покраденных дров — и голова, тогда еще не бывший головой, сказал ему: «Помни ты это, Никита! Не мытьем, так катаньем — дойду я тебя! Заруби это себе на носу! Будешь помнить Евсея Никитича!» Так обыкновенно называл себя голова в разговоре.

А потому, когда Никита взошел, голова насупил брови

так, что глаз почти не стало видно, хотел было повернуться на бок, но так как огромное брюхо помешало ему это сделать без помощи других, то это раздосадовало его еще более, и он, уже явно рассерженный, ни с того ни с сего начал кричать, задыхаясь от гнева и от толщины, что Никита за лесом не смотрит вовсе, коли такие огромные порубки делаются; что его, Никиту, так как он по летам в солдаты не годится, надо сослать в Сибирь; что он из его дома камня на камне не оставит и что не будет он Евсей Никитич, если не покончит его, Никиту, и со всею его поганой семьей.

Никита стоял ни жив ни мертв, слушая это, и мысленно повторял про себя: «Пронеси господи! пронеси господи! во веки веков!» Когда же голова дошел до того, что обещал не оставить от его дома камня на камне и доконать всю его семью, Никита затрясся всем телом и обещался поставить Пресвятой Владычице десятикопеечную свечку, ежели господь пронесет грозу, висящую над его головою.

— Ну, рассказывай, как дело было! — заорал голова, изливши в бранных словах всякого рода наименования весь гнев свой и, вероятно, не находя для него более прилагательных.

Никита повторил все, что было написано в рапорте, и с теми подробностями, какие случились в действительности, назвав двух или трех порубщиков по именам.

— Врешь ты, собачий сын! — закричал голова.— Врешь, подлец! Вешняковские никогда ворами не были! Это у тебя с пьяных глаз, должно быть, так померещилось. Должно быть, вы, мерзавцы, там в лесу только пьянствуете да казенный лес продаете, а после с больной головы да на здоровую валите! Врешь, собачий сын! Вешняковские крестьяне знатные ребята; к ним, когда ни заезжай, и настойки и харчу — всего вволю; это не прощелыги какие-нибудь, у которых укусить нечего. Они знают, как встретить и как проводить голову надо... Небось не так, как вы, бобыли... Ну да погодите, задам я вам трезвону!.. Всех в Сибирь поссылаю, собачьи вы дети, всех!.. будете у меня на вешняковских клепать напрасно... Доеду я тебя!.. погоди!..

Никита хотя и подумал, что оттого-то и много у вешняковских и настойки, и харчу всякого, что они торгуют воровским лесом, и что самый избыток этот у людей, не занимающихся ни ремеслом, ни торговлей, явно указывает на незаконность их доходов, однако не посмел этого сказать,

чтоб не нажить еще горшей беды. Зная, что слова скорее могут раздражить, нежели успокоить голову, он только кланялся, убедившись многолетним опытом, что поклоны, начиная от верху до низу, лучше всего могут умерить гнев сильных этого мира.

Но видно, голова уже так привык к поклонам, что они вовсе на него не действовали. Не говоря, зачем его позвал, он только продолжал ругать Никиту теми выразительными и крепкими словами, какими так богат наш русский народный словарь. Когда наконец словарь этот был истощен до того, что надо было или выдумывать свое, что, как известно, не совсем легко, или повторяться, что, вероятно, не совсем весело, голова, кидаясь на рогожке, как одержимый бесом, не будучи в состоянии подняться, захрипел:

— Вон, собачий сын! пока я тебя в три кнута не велел отодрать. Будешь ты у меня вешняковских ловить!..

Никита не заставил себя повторять этого. Он бросился за ворота, как из лука стрела; сшиб на дворе с ног работницу, несшую горячую воду, и, не чувствуя того, что обварился и что ему вслед несутся проклятия, на улице раздавил собаку, которая, выскочив из подворотни с тем, чтоб на него лаять, и, следственно, не ожидавшая такого внезапного и отчаянного нападения с его стороны, с визгом и жалобным лаем, поджав хвост, бросилась снова в подворотню.

Только отбежав домов на тридцать от дома головы, он остановился и, видя, что за ним никто не гонится, перевел дух. Потом принялся рассуждать: зачем меня требовал голова к себе? Неужели затем, чтоб поругаться только? Быть не может!.. И долго бы продумал он, ежели б последние сло̀ва головы не пришли ему внезапно на память: «Будешь ты у меня ловить вешняковских!» Значит, ему не по нутру, что я их написал порубщиками. Да что же мне делать? Не объявлять никого да самому розги принимать — какой же это порядок? Бьют, как не поймаешь, да как будут бить, что поймал, так лучше удавиться, чем полесовщиком быть. Удавлюся, так, по крайней мере, один конец... умер да и к стороне; а эдак жить да чуть не всякий день тиранство принимать... это хуже смерти.

Грустен пошел Никита в караулку, не зайдя даже к семье. Да и что мог сказать он им радостного?.. а горя-то у них, вследствие нищеты, и своего было много. Степан встретил его тоже невеселой вестью: в это утро был объезд-

чик и тоже наобещал всякого рода наказаний за то, что не умели поймать порубщиков. Тщетно Степан представлял ему, что их было с топорами и дубинами человек двадцать, а их только двое и что сверх того Никита дряхлый старик; объездчик твердил одно: «Все бы как-нибудь изловить надо! Как дадут вам хорошую припарку, так небось будете ловить!»

Повесили носы полесовщики. Лес им сделался гадок. Лежат себе в караулке, махнули рукой и ухом не ведут, рубят лес или нет. Изредка только выйдут на двор послушать, как завывает ветер в сучьях; как каркают вороны, вызывая бурю; как хрустит сухой лист под падающим сушняком; как долбит дятел или как среди мертвой тишины ночи аукнет леший или вдруг застучит дождь. Тогда они с крестом возвращаются на жесткое ложе свое и, молча, потому что уже говорить не о чем, засыпают тем безмятежным сном, каким засыпают спокойные совестью и нищие духом, — сном, единственною отрадою бедняка, другом, никогда ему не изменяющим.

К их счастию, наступившая холодная и дождливая погода караулила лес лучше всякого сторожа. В самом деле, кому охота тащиться в лес, когда дождик холодный и частый сечет в лицо, холодит члены и пронимает до костей. Надобно или очень любить ремесло, или очень нуждаться, для того чтоб, несмотря на такую погоду, пускаться на добычу, где, может быть, накостыляют еще шею или представят к становому, от которого откупаться дороже станет, нежели что выручить на лесе.

Между тем объездчик, воротившись из того объезда, где Никита с Степаном были караульщиками, и видя там значительную порубку, которую искусство Степана закрыть порубленные пеньки мохом не могло скрыть от его опытного глаза, не захотел, чтобы подумали, что он не видал этой порубки, и тотчас по приезде подал рапорт о том, что в пустоши Варнахинской срублено неизвестно кем в ночное время сот до трех дерев разной меры, почему и просил произвести об этом надлежащее следствие. Слова «неизвестно кем» поставлены им были, несмотря на уверение Степана, что это вешняковские, потому, что он не хотел указывать прямо на вешняковских, ведя с ними хлеб и соль, и особенно заезжая часто на перепутье, а предоставил это открыть следствию, рассуждая так: «Ежели доказано будет, что это действительно вешняковские, то по крайней мере не от меня

это вышло... я тут в стороне; мне из них никто глаза уколоть не может, что я подвел их под розги!..» Слова же «ста три дерев» были им написаны на том основании, что он видел, что срублено дерев гораздо более ста пятидесяти, как показал полесовщик, и, следственно, не рисковал быть уличенным в преувеличивании или недостатке надзора ни со стороны полесовщиков, ни со стороны следователя.

Рапорт его, дошедший до станового вместе с рапортом Никиты, заставил его поторопиться следствием, пока не выпал снег. Для этого послал он сотских собрать понятых, которые должны были его ожидать в Вешняках, как ближайшем к порубу селении, а сам отправился на другой конец уезда, «по не терпящему отлагательства делу», т. е. на именины к одному помещику, у которого свояченица была, как он выражался, «кровь с молоком, чудо-баба, так и видно, как мозжечок из косточки в косточку переливается». Становой рассчитывал отпраздновать там день, в ночь отправиться и к утру быть в Вешняках. Но судьба, постоянно гнавшая полесовщиков, судила иначе. На именинах у помещика был большой съезд соседственных дворян, следственно, еще больший съезд кучеров и лакеев. Все это к вечеру перепилось и передралось, так что, когда становой, неутомимый танцор, только что вступал в мазурку, надеясь в ней объясниться с царицей своего сердца, его внезапно вызвали в переднюю и объявили, что предводительского лакея убили в драке. Пославши к черту и драчунов и убитого, он, может быть, окончил бы прежде мазурку и объяснился, как надо, потому что даже приготовил все фразы, приличные обстоятельству, ежели б предводитель, узнавший об этом случайно, выйдя из-за карт по необходимости в переднюю, не услышал шушуканья, не схватил на лету несколько слов, пояснивших ему дело, и не пристал к становому тотчас произвести следствие. Разумеется, делать было нечего: надо было спрятать фразы до времени, отказаться от мазурки и тотчас приступить к допросам: чтоб не омрачить торжества, решено было заняться этим делом на следующий день, а празднику не мешать; но истина не могла быть скрыта, особливо когда попалась в девичью. Толпы барышень, беспрестанно туда выскакивавшие, то поправить юбку, то прикрепить бантик, то пригладить волосы, растрепавшиеся в вальсе, узнали это в ту же минуту от горничных и разнесли всем по зале с быстротою молнии — так что менее нежели через четверть часа, знали это все от мала до велика, но

молчали, боясь, сообща новость другим, расстроить всеобщее веселье. Странно было видеть эти постные фигуры, обязанные смеяться по наряду, и другие фигуры, сделавшиеся постными из приличия, услыхав об убийстве человека, а в душе посылавшие его ко всем чертям за то, что он помешал им подольше повеселиться. Хотя никто не сообщал другому лицемерной мысли, что танцевать в то время, как в доме есть покойник, неприлично, что-то неловкое заставило, однако, хозяина ускорить ужин. Становой был просто в отчаянии. Допросы, им самим писанные, по безграмотности допрашиваемых, носили на себе явный отпечаток его душевной тревоги. Они представляли страшный сумбур, и никакая человеческая мудрость не разобрала бы их и не привела в порядок. Результат следствия был тот, что человек убит (это был, конечно, факт, которого никакими показаниями опровергнуть было нельзя), а кем убит, когда, при каких обстоятельствах, все это осталось покрытым мраком неизвестности. Из следствия можно было, пожалуй, подумать, что он сам убился, хотя знаки убийства были таковы, что нельзя было даже сомневаться в причинении ему смерти другим. Будь это в другом месте, а не в доме, где находилась царица сердца станового, он, исправный, впрочем, чиновник, добрался бы до истины, и убийца, может быть, в рудники пошел бы оплакивать свое злодеяние; но, благодаря ей, все остались правы, кроме, разумеется, убитого, сильно неправого тем, что умер, когда другие остались живы. Царица сердца станового в кисейном платьице и с сладкою улыбкою на розовых губах, конечно, и не воображала, что она спасла человека, а может быть и многих, от позора и казни: в то время, как производилось следствие, она щелкала кедровые орешки и болтала какой-то вздор о пелеринках и канзу.

Но как бы то ни было, а это непредвиденное обстоятельство задержало станового на целый следующий день в доме помещика, потому что надо было ждать лекаря для анатомического осмотра и вскрытия. Становой был необыкновенно терпелив в этом ожидании, и, когда лекарь приехал, он даже заметил ему, что он его не ожидал так рано, чему лекарь, не посвященный в сердечные тайны станового, даже удивился, привыкнув слышать от него, обыкновенно, упреки за медленность.

Так как лекарь приехал перед вечером, то, разумеется, приступлено к вскрытию не было; надо было ожидать сле-

дующего дня. К утру понятые, собранные еще накануне утром, разбрелись, и надобно было сбирать их. Так прошло еще полдня. Когда вскрытие было окончено, наступил уже опять вечер, и становой, сидя подле царицы своего сердца, находил, что пускаться ночью, осенью, опасно,— как бы не насидеться где-нибудь в канаве; и под влиянием магического взора повелительницы своей решил отложить отъезд до завтрашнего утра, для чего и простился даже с нею с вечера. Но, вставши утром, он почувствовал такую необходимую потребность увидать ее еще раз, сказать ей и услышать от нее хотя одно слово, что под всякими предлогами тянул отъезд свой до того времени, как встанут все в доме, т. е. до двенадцатого часу, так что, когда она встала, оделась и вышла в гостиную, завтрак стоял на столе и не было предлога уехать без завтрака; когда завтрак окончился, стол был уже накрыт к обеду, и становой нашел, что представления хозяйки о том, что через час будет обед и что без обеда уехать из дома как-то неловко, да и ни к чему не поведет, потому что все-таки прежде утра в Вешняках нельзя ничего начать, вполне справедливы, и потому решился остаться обедать. На его несчастие или, лучше сказать, на несчастие понятых, собранных в Вешняках третий день и пропитывающихся чем бог послал, мать его возлюбленной бегала с четвертой карточкой по дому повторяя: «С дамами по маленькой!» и наткнулась на станового, стоявшего в раздумье. Становой принял карту с приличным поклоном, даже с подобострастием, и объявил, что считает себя счастливым быть этим четвертым.

Становой был до такой степени утонченно вежлив, что ни одной фразы не начинал иначе как: «Я имел честь, я имел счастие, я имел удовольствие». Это иногда производило довольно странные и смешные gui pro guo. Однажды на вопрос своей возлюбленной: слышал ли он о смерти ее бабушки?—он отвечал ей: имел удовольствие слышать! не подозревая неприличия своего ответа. Все, что он делал, было в высшей степени проникнуто необыкновенной почтительностью и чувствительностью: говорил ли он с начальником — он не стоял на одном месте, а чтоб сказать слово — делал три шага вперед, выговаривал свое слово и потом опять делал три шага назад. Поэтому во время разговора с начальниками он казался танцующим, особливо когда разговор состоял из односложных вопросов и ответов. С старушками он никогда не говорил сидя; ежели старая дама

обращалась к нему с вопросом, он тотчас вскакивал с своего места и не садился до тех пор, пока спрашивавшая не прекращала своих вопросов. Смешнее всего это было за картами; он вскакивал беспрестанно. Играющие страшно сердились на него за это, но он не обращал на них внимания, считая вежливость первою и самою высшею обязанностию каждого. Мужчины вследствие этого не хотели играть с ним, отчего он, впрочем, не был и в претензии, предпочитая во всяком случае дамское общество. Разговоры его с девицами были курьезны в высшей степени. Он так часто кланялся, семенил ногами, топтался на одном месте, вскидывал голову, подымал и опускал глаза, вздыхал, прижимал руку к сердцу или перекладывал их то за спину, то за борт жилета, что со стороны можно было подумать, что он разыгрывает какую-нибудь пьесу, тогда как все это происходило от чувствительности, галантерейности и тончайшей светскости. Когда обед окончился, окончилась и партия бостона «с дамами по маленькой» и не было уже никакого предлога оставаться, он собрался ехать. Возлюбленная его (в провинциях за недостатком молодых людей и становые играют роли) бросила на него при прощаньи очаровательный взгляд, от которого у него пробежали мурашки по спине.

Он приехал в Вешняки без головы и сердца. Что ж удивительного, что следствие, которое ему надо было производить, он повел бог знает как. Понятые, собранные, вероятно, за три дня перед тем, наскучив ожиданием и видя, что становой не едет, и между тем не имея чем питаться, потому что вешняковские кормить их не хотели, разбрелись — кто домой, т. е. верст за шесть или за семь, кто к родным, кто к знакомым, а другие по кабакам,— и кончилось тем, что из двадцати четырех человек, согнанных сюда сотским, осталось только три, да и то потому, что они были такое старичье, что едва таскали ноги. Посланы же были в понятые потому, что были затяглые и употреблялись, обыкновенно, для сиденья у околицы или караула гороха и мака А как осенью ни сидеть у околицы, ни караулить горох и мак не надобно, то их и послали в понятые, для того чтоб не отрывать от работы людей здоровых и нужных По приезде ста нового в Вешняки надо было полдня употребить на разыскиванье их и согнать снова в Вешняки Когда все они бы ли, наконец, собраны, им велено было отправиться в Варна хинскую пустошь, а с тем вместе становой написал отно

шение к окружному начальнику о присылке депутата к следствию и отправил с сотским. Сотский, пожалев гнать лошадь свою по такому делу, которое до него не касалось, отправился в управление пешком, и так как город был верстах в тридцати, то и дошел туда только к вечеру. На другой день он подал отношение окружному, тот внес его в управление, а оно в то же, впрочем, присутствие распорядилось уведомить, что командирован для этого волостной голова ближайшей волости, о чем к этому голове послало тогда же предписание. Отношение к становому понес опять сотник и хоть к утру следующего дня, но все-таки доставил его становому. Пакет же к голове подвергся другой участи: он лежал в управлении до того времени, как из волости явился кто-то по собственным делам или приехал рассыльный, который, по позднему осеннему времени и сильной грязи, ездил туда, обыкновенно, только один, а много два раза в неделю. Таким образом становой хотя и имел ответ, что депутат назначен, он должен был, однако, просидеть с понятыми сложа руки целый день; видя же, что он не является, послал показать ему отношение правления и просил его приехать. Голова справедливо и законно ему отвечал, что так как он не получил предписания от своего начальства, то и не считает себя вправе принять на себя звание депутата. Видя, что этой формалистике конца нет, становой решился приступить к делу один. Составил постановление, что депутат не едет, что у него много дел, не терпящих отлагательства, что понятые дежурят четыре дня, вследствие чего он должен начать следствие один. Прежде всего надо было узнать, как велика порубка. Для этого понятые получили приказание считать порубленные пни. Они пошли в лес, запасшись каждый достаточным количеством больших и маленьких щепочек: большая щепочка или палочка должна была означать толстомерное дерево, маленькая тонкомерное. По мере того, как попадался им срубленный пень, они перекладывали соответственную ему палочку из левого кармана в правый. Итог палочек в правом кармане у всех понятых должен был означать количество срубленных дерев. Лишь только понятые вошли в лес, три старика, бывшие в их числе, пройдя до лесу шесть верст, до того утомились, что легли под первым кустом и лежали до того времени, как стали на противоположном конце вызывать всех к учету. Тогда, переложа из левого кармана в правый по порядочной горсти палочек, они поплелись на

сборное место. Надо думать, что и другие считали таким же образом, потому что, когда сочли все палочки, оказалось, что дерев порублено 1800, вместо 150. По рассуждению станового, этого быть не могло по очень простой причине. Предполагая, что в первый раз приезжало шесть, во второй двадцать человек, выходит двадцать шесть человек, а двадцать шесть человек, как бы они усердно ни рубили, в продолжение двух ночей вырубить 1800 дерев не могут. Это было так ясно, как дважды два. Несмотря на всю свою вежливость, становой, ругнувши их довольно энергически, послал снова считать, а сам воротился опять туда, откуда начали; и так как время было холодное, велел развести огонь и начал около него греться. Понятые, видя, что они промахнулись, насчитав слишком много, в этот раз впали в другую крайность: насчитали уже меньше того количества, какое показали полесовщики. Видя, что и это вздор, и заметя, что порублено-таки довольно, становой решился взять какое-нибудь среднее число и показал порубки 350 дерев, что понятые и утвердили своим подписом. Это и составило акт о количестве порубки, по которому судебное место должно было судить преступников.

Окончив дело в лесу, становой с понятыми пошел по дворам вешняковских крестьян для осмотра. У всех почти на дворах, задворках, гумнах нашел он целые стопы лесу, зарытые в навозе, заваленные соломою, вывезенные куда-нибудь в кустарник и, наконец, сваленные просто на улице. Хозяев этого лесу не оказывалось, хотя деревья были чрезвычайно сходны с теми пнями, которые остались в порубке. Однако крестьяне почти единогласно, кроме немногих, показали, что лес куплен ими у проезжих неизвестных крестьян за такую-то цену, но кто такие эти крестьяне и откуда, они не знают, в лицо их не помнят, имен и места жительства их не спрашивали и, ежели встретятся с ними, в лицо их не узнают.

После такого точного и категорического ответа, очень хорошо доказавшего, что им уже не в первый раз давать ответы на следствиях по порубке, становой приступил к допросам полесовщиков, начиная с Никиты.

— Ты полесовщик в Варнахинской пустоши?

— Я, ваше благородие.

— Как тебя зовут, много ли тебе от роду лет, какой веры, бываешь ли на исповеди и у святого причастия, женат или холост, российские законы знаешь ли? и проч.

Никита отвечал на все вопросы, а писарь станового писал.

— Как происходила порубка?

Никита рассказал подробно, как было дело, как за ними гнались и как одной хитрости они обязаны спасением своей жизни.

— Знаешь ли ты, кто были порубщики?

— Знаю, ваше благородие. Они все вешняковские.

— Можешь ли ты назвать их по именам.

— Могу, ваше благородие.

— Говори.

— Иван Семиченков, Онуфрий Карчагин, Дмитрий Деряба, Антон Передышкин, Сидор Тютин, Карп Залихватский; а других, ваше благородие, имен не помню, а указать могу.

— Хорошо, укажи.

Становой велел собрать всю деревню, поставил их в шеренгу и велел Никите выводить. Никита без запинки вывел двадцать шесть человек.

— Рубили вы лес в Варнахинской пустоши?

— Знать не знаем, ведать не ведаем, ваше благородие.

— Как же на вас показывает полесовщик, что рубили вы, и даже грозили еще убить его с товарищем.

— Вольно ж ему показывать, ваше благородие. Это, должно быть, он с сердцов на нас показывает.

— За что же ему на вас серчать?

— Он требовал, чтобы мы угостили его вином; мы не захотели, вот он и осерчал.

— Где ж это было?

— В Дерябине, в кабаке.

— Когда?

— Да бог весть когда, давно как-то.

— При ком это было?

— Никак, чужих-то никого не было. Было али не было, ребята? — спросил вдруг первый, которого привели к допросу, обращаясь к товарищам.

— Никого не было! загремели хором все двадцать шесть человек.

— Так таки и никого и не было, кроме его и вас двадцати шести человек?

Никого не было.

Каким же образом вы все двадцать шесть человек порубщиков, как будто сговорились собраться в дерябин

ский кабак и бог знает еще когда? Как могло это случиться?

— Не могим знать, ваше благородие.

— Да как же не можете знать — ведь вы в кабаке-то были? Как же вам не знать?

— Запамятовали.

— А откуда у тебя лес? — спросил вдруг становой у одного из них.

— Купил на базаре.

— Где?

— В городе.

— У кого?

— У неизвестного человека.

— Неужели ты ездил за лесом за тридцать верст на базар в город, когда в пяти верстах у вас есть базар в Лихвинском?

— В городе на базаре купил, ваше благородие.

— Ведь ты лжешь, шельма ты эдакая?

— Точно так, ваше благородие.

— Что ж точно так, что ты лжешь или что купил на базаре?

— Купил на базаре.

Видя, что из этого не будет толку, становой перешел к другому.

— Ты что скажешь?

— То же, что и первый человек, без всякой отмены и добавления.

— Видно, ты при следствиях бывал?

— Случалось-таки, ваше благородие, не один раз.

— Был осужден?

— Никак нет-с. Все в подозрении оставляли.

— Ну и ничего?

— Да что ж такое, ваше благородие. Разве подозрение на вороту виснет. У нас есть ребята раз по десяти оставлены в подозрении — да что им от этого делается? Жиреют только.

— Так вы не боитесь суда?

— Чего ж бояться, ваше благородие? Суд не медведь — не съест.

— Ну а как накажут?

— Кто попался, так сам на себя и пеняй. Всякий сам о себе обдумывать должен.

— Ну а у тебя лес откуда? тоже с базара?

— С базара.

— И ты не врешь?

— Что мне врать-то. С базара, ваше благородие.

— А почем ты за него платил?

— Запамятовал што-то.

— Так-таки ничего не помнишь?

— Не помню, ваше благородие.

Таким образом пройдены были все двадцать шесть человек. Как ни уличал их Степан, как ни рассказывал подробно происшествие, называя по именам, кто что делал и указывая притом на лица,— они все стояли на своем: знать не знаем, ведать не ведаем; никогда в лесу не были, лесу не рубили, за полесовщиками не гнались и их в лицо тоже не знаем.

— Где же вы были в эту ночь — говори по порядку?

— Были все дома! — отвечали каждый и порознь и вместе. Спросили домашних — ночевали ли они дома, отлучались ли куда ночью — и жены и дети отвечали утвердительно: ночевали дома, никуда не отлучались.

Видя, что, сколько ни переворачивай вопросы, сколько ни умничай, из этого не выйдет ничего, становой перешел к допросам по уликам: рукавице и кушаку.

— Чья эта рукавица? — спросил он Залихватского, стоявшего по списку в первых.

— Не могу знать, ваше благородие.

— Не твоя будто бы?

— Никак нет. У меня сроду и рукавиц-то не было.

— Как не было? Так ты и зимой ходишь без рукавиц?

— Без рукавиц.

— Ты страшная бестия, Залихватский. Однако погоди.

Становой велел позвать человек десять из села Вешняков, не говоря зачем, и спросил их неожиданно:

— Правда ли, что Залихватский ходит без рукавиц?

Мужики переглянулись между собою и сказали. «А бог его знает! Должно быть, без рукавиц, коли сам говорит».

— Да что вы вздор-то мелете, разве может человек зимой ходить с голыми руками? Ну не такие рукавицы, так другие какие-нибудь, а верно, уж что-нибудь да носит.

— Мы эвтого знать не можем, ваше благородие. Может, и есть у него рукавицы, только никогда не случалось замечать — есть они у него или нет.

И все десять показали тоже «может быть», только с некоторою перестановкою в словах.

Становой, затронутый за живое такою наглостью, велел позвать жену и других семейных Залихватского.

— Ты жена Залихватского? — спросил он бабу, начинавшую уж из приличия рюмить.

— Его, батюшка.

— Где рукавицы твоего мужа?

— Не знаю, батюшка, наше дело бабье — где ж нам знать.

— Однако ты должна знать, носит ли твой муж рукавицы или нет?

— Почем же мне знать-то, ваше благородие. Он не маленький, сам знать должен.

— Да не об нем толк, а о тебе. Я тебя спрашиваю.

— Я ничего не знаю, ваше благородие. Наше женское дело: щи сварить да кашу; ребятенкам рубашонки выстирать.

— Да что ты околесную-то городишь? Я тебя спрашиваю: носит ли твой муж рукавицы?

— Не знаю, ваше благородие.

— Так-таки никогда не видала, надевает ли твой муж рукавицы, когда едет куда?

— Никогда не видала.

Как ни вертел становой вопрос, как ни старался добиться хоть отрицательного ответа от всех семейных Залихватского, ответ был один: не знаем, не видали. Тогда он сделал внезапный обыск; в доме Залихватского нашли две пары рукавиц.

— Чьи эти рукавицы? — спросил он его самого.

— Батюшкины.

Спросили старика — он признал их за свои.

— А другие?

— Не знаю.

— Как не знаешь, когда их нашли у тебя в доме.

— Кажись, что ночевал у нас прохожий — так его, смотри.

— Кто был этот прохожий?

— Неизвестный человек, ваше благородие.

— Почему ж ты думаешь, что они его?

— А может, и не его, ваше благородие. Я так только сказал.

Становой принялся за жену Залихватского.

— Ночевал ли у вас прохожий?

— Когда, ваше благородие?

— Ну хоть на этой неделе?

— Что-то не догадалась.

— Да чего тут не догадываться, был ли у вас кто-нибудь чужой в доме или нет?

— Кажись, что не был.

— Как же твой муж говорит, что у вас ночевал прохожий и что эта рукавица его?

— А может, и был, ваше благородие. Наше дело бабье — велят принести что, квасу ли, молочка ли, принесешь.

— Да не о квасе и молочке идет дело — я спрашиваю: оставил ли прохожий у вас рукавицы? вот об чем толк.

— Может, и оставил.

— Как же он мог оставить, когда ты сама сейчас сказала, что прохожего у вас не было.

— Может, что и был.

— И ты не видала?

— Не видала.

Становой даже плюнул и ругнул их, но только для собственного удовольствия, не ожидая от этого никакой пользы.

Так прошел он всех двадцать шесть человек. Кто носил рукавицы, но эти были не его; кто уверял, что он, кроме варежек, никогда в жизнь ничего не носил; кто говорил, что он зимой никуда не ездит, все дома сидит, одним словом, всякий городил, что ему приходило в голову, и какой бы это ни был вздор, все подтверждали это единодушно, а ежели какие-нибудь и проговаривались, то на следующем ответе поправляли это. «Запамятовал, может быть, и был, должно быть, так, коли он говорил» и тому подобное.

При обысках в их домах у Передышкина нашли одну рукавицу, у которой не было дружки. Сличили ее с тою, которую нашли в лесу, — оказалась очень сходною. Становой торжествовал.

— Что скажешь, и это не твоя?

— Не моя, ваше благородие.

— Ну уж, брат, нет! извини! позвать понятых.

Понятые пришли, уставили глаза в землю и молчали. Надо вам сказать, что Передышкин шинковал вином, так как кабака в Вешняках не было. За это он был у всех мужиков, как вешняковских, так и окрестных, в особом уважении.

— Ребята, рукавицы эти дружки ли между собою? —

сказал становой, обращаясь ко всем и подавая им рукавицы. Стоявший ближе к становому взял их у него из рук, помял в руках, молча передал другому, другой третьему и так далее. Все, однако, молчали.

— Ну что ж,— спросил становой,— дружки ли они или нет?

— Не знаю, может, и дружки.

— Как может быть? я у тебя спрашиваю не «может быть», говори правду — дружки или нет?

Понятой взглянул на товарищей и сказал:

— Что, ребята, дружки они?

Все молчали.

Становой, как ни был кроток, взбесился.

— Да что ты других-то спрашиваешь? Я с тобой говорю, а не с ними, дружки ли эти рукавицы?

— Не знаю, ваше благородие.

— Да разве ты не видишь?

— Глазами как-то плох, ваше благородие!.. с прошлой осени куриная слепота, што ли, напала.

— Куриная слепота бывает вечером, а не днем; ежели у тебя действительно куриная слепота, теперь ты должен видеть.

— Не вижу, ваше благородие.

— Как же ты ходишь, коли не видишь?

— Так и хожу, ваше благородие.

— Видит он, ребята, али не видит?

— Невдомек как-то! — отвечали они хором, между тем как два или три голоса отвечали: «Не видит!», а другие три или четыре голоса сказали: «Должно быть, не видит, коли говорит».

Становой перешел к кушаку.

С кушаком повторилось то же, что и с рукавицами. Хозяина ему не нашлось.

Тогда становой приступил к меркам их сапог, лаптей и пр., велел принести песку, насыпал в избе, и один по одному водили каждого из двадцати шести человек. Пятеро из них оказались в сапогах, другие в лаптях. Следы тех, которые были в сапогах, как раз сходились с мерками. Позвали опять понятых.

— Видите ли вы, что по меркам, снятым в лесу, это те самые сапоги?

— Видеть-то видим, ваше благородие! только бог же их знает, как бы не погрешить напрасно.

— Чего ж напрасно, когда это видно как нельзя лучше?

Мужики молчали, переглядывались и чесали головы.

— Ну говорите по порядку. Ты, рыжая борода! говори! сходны ли сапоги с мерками?

— Не знаю, ваше благородие.

— Ну посмотри хорошенько да и скажи.

Понятой взял мерку, прикинул к следу, помолчал немного да и сказал:

— Не знаю, похоже-то похоже, а ведь кто е знает! пожалуй, и даром погрешишь.

— Значит, похоже?

— Бог весть.

— Да как же бог весть. Ведь ты сам сказал, что похоже.

— Я этого не говорил, ваше благородие.

— Как же не говорил. Ты сказал сейчас сам: похоже-то похоже.

— Нет, ваше благородие, не говорил, воля ваша. Я только сказал: напраслину что говорить даром? Человека оскорбить немудрено, шутя согрешишь.

Точно таким же, или похожим на это, образом отвечали и другие. Некоторые, впрочем, утвердительно сказали, что сходства нет никакого; а некоторые, что сходство есть, но те ли самые это сапоги — они утвердительно сказать не могут. С лаптями — та же история.

Когда и эта последняя надежда открыть виновных рушилась, приступили к сличению мерки с шинами колес. Для этого обошли дворы всех двадцати шести человек. Оказалось, что большая часть шин одной меры и все подходили к мерке. Спрошенные понятые отозвались, что у мужиков все колесы шинуются одинаковым железом — однопрокатным и что, следовательно, поэтому ничего с точностию определить нельзя.

Оставалась еще одна улика — лошадь, на которой полесовщики хотели отогнать порубщиков.

По показанию Никиты со Степаном, лошадь эта была сивая, грива на правую сторону, на лбу звездочка,— других примет второпях они приметить не могли. По розыскам у одного из двадцати шести была лошадь сивая, но гривы у ней не оказалось, а было заметно, как будто она выщипана; на лбу же звездочки не было, а вместо этого голая кость, как будто шерсть была вытерта. На спрос хозяина

он объявил, что на лбу шерсти у лошади нет, потому что на этом месте у ней была болячка и шерсть не успела еще вырасти. То, что была болячка, подтвердили четыре человека. То, что гривы не было, подтвердили два человека соседей, так как другие объяснили, что, была ли у этой сивой лошади какая-нибудь грива — они не заметили.

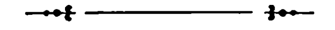
Тем следствие и окончилось. Ни очные ставки, ни улики, ни старание станового, озлобленного на вешняковских за то, что они отвлекли его от сердечных занятий, ничто не помогло — виновных не найдено. Хотя кружки, спиленные с пеньков, и приходились к лесу, наваленному всюду у вешняковских, но это еще не могло дать повода обвинить их в краже; они действительно могли купить его на базаре или у проезжих.

Следствие это в том виде, как произведено было становым, поступило в суд. Оно состояло из 373 листов, которые становой и письмоводитель его писали в продолжение недели. Депутат прибыл на место, когда следствие было уже окончено. Однако он застал дело еще у станового и на дому у него подписал показания, или лучше приложил к ним свою печать, потому что был безграмотный.

Решение суда было таково, каким надо было его ожидать и каким оно должно было быть: *«Вешняковских крестьян в порубке леса оставить в подозрении; а как из акта, составленного приставом и подписанного понятыми, видно, что дерев нарубленных оказалось 350, тогда как в рапорте полесовщиков написано было только 150, то, отнеся это к слабому смотрению вышереченных полесовщиков: Никиты Абрамова Сайкина и Степана Филимонова без фамилии, наказать их через нижних полицейских служителей розгами пятнадцатью ударами каждого и потом взыскать из их имущества штрафных денег сколько по расчету губернского лесничего исчислено. Если же этого имущества окажется недостаточным, взыскать с общества, их выбравшего, и внести в казну».*

Решение это прошло все инстанции и, как правильное, было всюду утверждено. Следственно, должно было быть приведено в исполнение...

Опекунское управление



Рассказ

I

Чиновники опеки

— Что ж, когда вы нам доставите ответ? Ведь скоро три года будет! — говорил длинный, с великими претензиями на изящество манер и наряда и высочайшими воротничками, подпиравшими уши, протоколист Мыльниковской дворянской опеки[1], обращаясь к секретарю уездного суда, сидевшему с ним вместе в присутственной каморе того суда.

— Да что вы ко мне пристаете с вашим ответом? — отвечал секретарь, золотое шитье которого на затылке было совершенно засалено, а нос был багровее сукна, покрывавшего стол, за которым сидел он.— Обратитесь к присутствующим. Велят — так подам доклад, не велят — так ждите.

— До которых пор ждать-то? Вы сами рассудите, Онисим Емельяныч,— три года. Ведь, право, неловко сидеть в одной комнате и жаловаться друг на друга губернскому правлению[2]. Неблаговидно, сами согласитесь. А потом, как еще посудят. Нехорошо, право, нехорошо.

— Я вам удивляюсь, Онуфрий Степаныч,— отвечал секретарь,— вам-то что? Добро бы ваше собственное дело было — ну!.. Сердце бы и болело. Своего, конечно, кому не жалко?.. А то чужое, совсем чужое... Я даже не знаю, знакомы ли вы еще с опекунами-то...

— Знаком-то я, положим, знаком, они были у меня... Ну, просили кой о чем... Да я, знаете, того...— он почесал

затылок.—Сухая ложка рот дерет, сами понимаете, Онисим Емельяныч.

— Оно бесспорно, Онуфрий Степаныч; поэтому-то и не понятно, отчего вы так хлопочете об нашем ответе? Уж коли присутствующие молчат[3] — вам-то бы, кажется, что?

— Присутствующие!.. Они совсем другое дело. Им тянуть выгодно, а мне, сами подумайте, какой мне интерес? Только ответственность, да дурака наживешь. Они-то в стороне будут, деньгами откупятся, а на нашем брате и оборвется. Уж и так, кажется, три раза губернскому правлению на вас жаловались... Вы посмотрели бы, какие указы палата[4] пишет,— страсть берет...

— Эх, Онуфрий Степаныч, молоды вы, по всему видно, что молоды... Зелено, знаете. Не умеете заставить замолчать палату... Попробуйте вложить рапорт столоначальнику[5], как рукой снимет.

— Хорошо вам говорить, Онисим Емельяныч, да делать-то каково? Вложить три рублика — не штука, всякого на это станет, да из каких доходов вложить-то? Что мне за интерес? От этой опеки мне каков есть медный грош не достался, и не предвидится даже...

— Так из чего ж вы и пристаете?

— А пристаю из того, что дело нерешенным числится третий год и что предводитель[6], как начнешь подавать ведомости о нерешенных, и почнет тебя пилить: «Да отчего? Да как? Да почему?» — инда слушать-то, так уши вянут... Надоел пуще горькой редьки... А к этому еще указы губернского правления...

— Предводитель?.. Понимает, что ли, он в делах-то? Наговори ему с три короба — всему поверит.

— То-то что нет! Как начнет допекать, так только держись: дела не знает — а вот вынь ему да положь; сами знаете, с незнающим хуже, чем с знающим. Тот по крайней мере резон какой-нибудь примет, а этому хоть кол на голове теши! Затвердит что-нибудь да и долбит себе целый день. Послужили бы с ним, узнали б, как сладко...

— Эх, Онуфрий Степаныч, не вы бы говорили, не я бы слушал. Не с такими, батюшка, и то управляемся!.. Уж на что Тихопудов был зелье! Накричит, накричит, бывало, так, что на двух возах не увезти... А ты себе тихохонько да стерпехонько — и подсунул ему подписать... Подпишет как ни в чем не бывало, а после сам удивляется: «Как это я

такого маху дал». Пожалуй, насмех скажешь еще ему, что сам приказал,— развесит уши да только разводит руками.

— Хотите посмотреть последний указ губернского правления? Полюбуйтесь-ка... Как получили его, так мой предводитель инда вскочил, как будто на него огнем пахнуло...

С этим словом протоколист начал перебирать бумаги и через минуту подал секретарю четвертушку бумаги, на которой избитым шрифтом напечатано было: «Малиновской губернии губернское правление Мыльниковской дворянской опеке», а затем следовали какие-то неудобочитаемые каракульки с закорючкой, то есть подпись исправлявшего должность советника в губернском правлении.

Для тех, которые удивляются, почему присутствующие подписывают так свои фамилии, что их не только посторонний, но даже и сами подписавшие не разберут через четверть часа после подписи, надобно сказать, что, например, советник губернского правления должен иногда подписать шестьсот, семьсот и даже восемьсот раз свою фамилию в утро. Это занятие продолжается иногда полтора часа сряду, и подписывающий лишается наконец сознания того, что делает.

Секретарь взял грязную четвертушку и начал читать:

«Мыльниковской дворянской опеке. Малиновское губернское правление, слушав рапорт оной опеки, от 20 ноября сего 18... года, за № 5631, с жалобою на Мыльниковский уездный суд, касательно недоставления за всеми настояниями опеки и понуждениями сего правления в продолжение трех лет сведения к отчетам за 1819—1826 годы, приказали: так как из рапорта дворянской опеки видно, что уездный суд, невзирая на неоднократные понуждения оной опеки и даже губернского правления, в продолжение трех с лишком лет не доставляет нужных той опеке и весьма незначительных сведений, на каковое его действо опека уже много раз и весьма понудительно жаловалась и даже просила начальнического распоряжения о предании членов опеки суду за ослушание, вынуждаемая к тому указами гражданской палаты и между тем имея в виду, что члены уездного суда есть те же самые лица, какие заседают в присутствии дворянской опеки и что потому жалоба их и просьба предания суду устремлена противу них самих, опре-

деляет сделать членам опеки строжайший выговор и велеть исполнить требование Малиновской гражданской палаты немедленно, под опасением присылки нарочного. Ноября 20 дня 18... года. Советник Нахлобучин. Секретарь Эмпедоклов. Столоначальник Фавороэлеонский».

— Экая шельма, подумаешь! — сказал секретарь с расстановкою. — Кто писал это!.. И ведь дернул же его черт заметить, что члены опеки те же, что и члены уездного суда, и что, жалуясь три года на неисполнение судом требований опеки, она жалуется на себя самою... ну уж бестия! Даже ума не приложу, кто бы этакую штуку сварганил? Секретарь? Этот молод еще, не придумает... Столоначальник? Ну, от этого, пожалуй, что и станется, собаку съел, подлец. Должно быть, давно приложений не было.

— Давно-то давно — да и не из чего, Онисим Емельяныч, сами рассудите, не из своих же денег давать. А какие у нас доходы, сами знаете?

— Вы полноте, Онуфрий Степаныч, прикидываться да на бобах-то разводить: из копеечки в копеечку знаем, не беспокойтесь! Недаром Уткинский завод у вас в опеке пятнадцать лет сряду состоит, недаром все из кожи вон лезут, как бы в судьи да и в предводители попасть... Должно быть, сладко.

— Да уж если правду говорить, Онисим Емельяныч, так и в уездном суде от уткинских поживишки не меньше. Ваш судья-то мало разве набил карманы около Уткинского завода? Что ни понадобится — все оттуда да оттуда. Намедни вздумал конюшню с погребами ставить, нанимал, что ли, он плотников? Гаркнул только на заводе: прислать, дескать, тридцать топоров и тридцать человек. Явилось назавтра же. А из чьего леса строит? Все из уткинского... Нет, батюшка, Онисим Емельяныч, Уткинский завод — это такая доходная деревенька для служащих, что, кажется, из конца в конец Россию изойдешь — не найдешь такой.

— Что правда, то правда. Однако же хорошо же вас жигануло губернское правление, пожалуй, чего доброго, и до нас доберутся и такой же указец пришлют, надобно будет подобрать маленько вожжи. Я, правду сказать, с советником виделся недавно и бестию этого столоначальника Фавороэлеонского ублаготворил как следует, так, уж, кажется, ему бы стыдно было... а, впрочем, собака ведь!

Хапнет нынче, норовит хапнуть еще и завтра, как будто в самом деле и невесть какие у нас доходы. «У вас,— говорит,— Уткинский завод; вам, говорит, стыдно клянчить-то!.. С вас не взять, так с кого же?» Просто бестия. Собаки вместе живут, так друг с другом не грызутся, а этот, прости господи, готов, кажется, с тебя последнюю рубашку снять. Брал бы с просителей; уж это дело известное, кто идет просить, так деньги дает, а мы просители, что ли? Такие же чиновники, как он: трудовой копейкой живем, стыдно бы, кажется! Да ведь какой ненасытный, подумаешь. Намедни красили на присутственных местах крышу, и работа-то вся на грош, да как на смех велели работу освидетельствовать судье. Как бы вы думали, пропустил, что ли? Не успел указ об этом прийти, смотрю, в другом указе записочка ко мне вложена: дескать, так и так, Онисим Емельяныч, судье вашему поручили работы освидетельствовать, так напомните ему, что и мы тоже хлеб едим и что мы люди нужные. Нечего делать, доложил об этом судье; господи боже мой, посмотрели бы вы, какой гам-то поднял. И мошенники-то они, и подлецы, и взяточники. Уж причитал, причитал, так что гадко слушать стало. Добро бы сам чист был, ну, сердце бы не болело, а то запакощен, запакощен, кажется, чего хуже быть не может.

— А что, Онисим Емельяныч, у него ведь денег много? — спросил простодушно протоколист.

— Большие тысячи, доложу вам, Онуфрий Степаныч. Ведь никому ничего не дает, все норовит один взять, только того и глядит. Одна привычка моя к Мыльникову, а то хоть не служи вовсе. Нет просителя, чтоб так оставил, хоть чего-нибудь да не сорвал. Придет ежели кто в суд — известное дело, к секретарю прежде всего; только что сладишься с ним, глядишь — нагрянет и пошел: «Кто это? Зачем? По какому делу? Почему у меня не был?» Собьет тебе просителя с толку, так что тот на нашего брата после и смотреть не хочет. Только и отдыху, что как правит предводительскую должность да уедет на Уткинский завод, так вздохнешь посвободнее. Только тут и поживишка какая-нибудь есть.

— Да, Онисим Емельяныч, зато как он правит предводительскую должность, так тошно мне приходит. Вот уж черт-то, прости господи. Крут предводитель, а этот куда круче его, во сто тысяч раз. Тот по крайней мере накричит, да хоть толком скажет: дескать, я хочу! делай так в мою

голову, убирайся со своими законами!.. А этот все норовит втихомолку, как бы самому только в стороне быть и взвалить все на тебя. Барахтайся, дескать, один, как знаешь! Особенно в исходящих любит умничать. Подписывает-то их заседатель[7], так ему и с пола-горя, что бы там написано ни было. А тут заикнешься, что исходящая не против резолюции, так и осерчает, да и норовит еще какую-нибудь пакость тебе сделать. Право. К этому еще подозрительный какой!

— Да оттого и подозрительный, что все боится, как бы копейка какая помимо его кармана в чужой карман не попала. Рад, кажется, у нищего суму снять, чтобы только нажить лишний грош.

— Уж бог бы с ним, пусть бы брал, Онисим Емельяныч, да не куражился больно, а то, пожалуй, пропадешь с ним так, ни за нюх табаку. Недавно правил он должность предводителя, шлет ко мне: на завод, дескать, ехать надо! Я только что успел вицмундиришко натянуть, бегу к нему сломя голову. «Что вы меня себя дожидаться заставляете?» — закричал он. «Я,— говорю,— Арнольд Осипыч, как только получил от вас приказание, сейчас и пошел».— «Не сейчас,— говорит,— коли полчаса прошло! Едемте!» Сели мы в тарантас да и на завод. Там, видите, нашли мертвое тело или, лучше сказать, остов человеческий, заложен в каменной стене... и на нем цепи,— так в народе пошел слух, что...

В это время в канцелярии суда послышался шум, задвигали стулья, затопали ногами, и через минуту вошел в камору судья... Арнольд Осипыч Морилин, больше называемый Марилин. Секретарь и протоколист нагнули головы чуть не до красного сукна; Арнольд Осипыч отвечал им покровительственным и едва заметным наклонением головы. Надет на нем был пехотный армейский сюртук с красным воротником. Лицо у него было смуглое с горбатым носом, волосы густые, черные, глубоко впадшие черные глаза, которые светились каким-то особенным и, надо прибавить, недобрым светом, и тонкие, едва заметные губы, придававшие ему выражение неприятное и враждебное. Он был невелик ростом и имел развязные манеры

Он тотчас сел, потребовал вчерашний журнал, подписал его молча, посмотрел на часы и сказал:

Хотя господ заседателей и нет, но я открываю при

сутствие; господин секретарь, извольте докладывать дела, а вас, г. протоколист дворянской опеки, прошу выйти, я хочу слушать доклад...

Протоколист исчез, а секретарь вскочил, как будто его кто-нибудь ткнул булавкой, подбежал к присутственному столу, наскоро схватил лежавшую на нем кипу бумаг и начал:

— Дел, собственно, к решению нет. Есть только бумаги.

— Докладывайте бумаги! — отвечал тихо судья.

— Отношение Картолюбского уездного суда, который просит уведомить, что сделано по отношению его от 15 марта сего года.

— А что сделано?

— Ничего не сделано, потому что дело в палате, справки забрать неоткуда, и отношение до присылки дела принято к сведению.

— Так и отвечать.

— Не лучше ли будет, Арнольд Осипыч, донести об этом палате и бумагу препроводить в оную для приобщения к делу?

— Я не спрашиваю вашего мнения, господин секретарь, я хочу исполнения,— отвечает судья медленно и методически.

Секретарь вспыхнул, что было очень заметно, несмотря на то, что его лицо постоянно горело, промолчал и продолжал:

— Прошение помещика Толстикова, которым просит совершить купчую крепость на семью людей, покупаемых у Однодворкова.

— Как вы думаете — можно? — спросил судья у секретаря, смотря ему пытливо в глаза.

— Нельзя, Арнольд Осипыч,— отвечал секретарь решительно.— Семья большая, пять мужских душ по сту двадцати рублей каждая составит шестьсот рублей: вдвое больше того, что законом дозволено совершать в уездных судах.

— Так, по-вашему, нельзя?

— Нельзя-с, Арнольд Осипыч.

— А я говорю, что можно! — отвечал судья тихо и медленно, ударяя на каждое слово.— Разделите семью на трое, в каждой будет две души, на две души и совершите крепость, и это делайте три дня сряду. Слышите?

— Помилуйте, Арнольд Осипыч, это противу закона-с,

раздроблять семейство нельзя.

— Я вам повторяю, г. секретарь, что я пришел сюда не затем, чтоб просить ваших советов, а затем, чтоб видеть, как исполняются мои приказания.

— Мы эдак все под суд попадем, Арнольд Осипыч.

— Ежели вы боитесь попасть под суд, так советую вам искать другого места. Впрочем, я не беру этого на одного себя. К вам нынче же явится поверенный Толстикова и изложит причины, почему это возможно. Понимаете?

Секретарь поклонился молча.

— Продолжайте!..

— Прошение купца Лихвинского, которым просит совершить купчую на дом в городе Мыльникове.

— Как ценен дом?

— Дом благоприобретенный[8], следовательно, купчую пишут в меньшей сумме, чем действительно стоит, поелику нет выкупа[9]. Хотят совершить купчую в триста рублей, а он стоит по крайней мере тысяч пять.

— А городская оценка?

— В уездных городах еще не введены, слава богу,— иначе бы нам не пришлось совершать почти ни одной купчей.

— К совершению этой купчей нет препятствий?

— Есть-с, и очень серьезные. На доме существует несколько запрещений.

— Гм! да! это дурно. А Лихвинский очень просит о совершении купчей?

— Очень, Арнольд Осипыч, ему до зарезу нужно. Ежели этот дом не продастся на днях, его у него опишут по казенному начету[10], за время служения бургомистром[11].

— Да, нужно торопиться. Как же вы думаете?

— Я не знаю-с, Арнольд Осипыч, как прикажете-с.

— Ну, а ежели я спрашиваю вашего мнения?

— Можно бы-с. Только опасно несколько-с.

— Разумеется, подвергать себя опасности даром не стоит. Говорили вы с Лихвинским?

— Без вашего позволения как же бы я смел это сделать?..

На тонких губах судьи показалось что-то похожее на насмешливую улыбку.

— Ежели не говорили, то я поручаю вам повидаться с ним и отобрать от него, какое пожертвование хочет он сделать для совершения этой купчей.

— Он на всякое пожертвование будет готов, Арнольд Осипыч, мне это говорил его шурин-с.

— А ежели так, то надобно, чтоб он доставил мне триста рублей, слышите. Все, что больше, предоставляю вам, понимаете?

— Понимаю-с, Арнольд Осипыч. Я много чувствую ваши милости.

При этих словах толстое туловище секретаря изогнулось в три погибели, так что темляк[12] его шпажонки зацепился за стул.

Судья презрительно улыбнулся и после нескольких минут молчания спросил:

— Как же вы думаете совершить эту купчую, ежели Лихвинский соблюдает в отношении ко мне должную вежливость и доставит то, что я назначил?

— Я полагал бы сделать так: так как запрещения все наложены в нынешнем году, то, совершив купчую, донести губернскому правлению, что в том нумере запретительных ведомостей, где эти запрещения припечатаны, не оказалось одного листа, и просить губернское правление о немедленном его доставлении. Можно недостаток этого листа в запрещениях, для большего обеспечения себя, огласить журнальным постановлением[13].

— Да! это хорошо,— отвечал судья, подумавши, и даже довольно весело.— Я благодарю вас, Онисим... Онисим...

— Емельянов! — подсказал секретарь.

— Онисим Емельяныч! будьте уверены, что не премину засвидетельствовать перед начальством о вашей усердной службе.

Секретарь низко и вежливо поклонился. В первый еще раз в продолжение трех лет его секретарства удалось ему услышать подобную похвалу.

— Теперь довольно! — сказал судья, когда секретарь хотел продолжать доклад.— Я с нынешнего дня правлю должность предводителя и имею надобность заняться делами по опеке. Позовите сюда протоколиста.

Секретарь хотел выйти, но судья остановил его вопросом

— А что наши заседатели?

— Вы изволили разрешить им не ходить в суд; так они больше месяца не являются, ни тот, ни другой. Телинковский даже в деревню уехал.

— И бог с ними. Только бы журналы были подписаны... слышите?

— Журналы все подписываются своевременно, Арнольд Осипыч! Я строго наблюдаю за этим. Исходящие подписывает сельский заседатель.

— Да ведь, кажется, сельские заседатели у нас оба неграмотные?

— Так точно-с, неграмотные; но Клюев отдал свою печать регистратору, и этот клеймит все, что нужно. Остановки у нас нет, будьте спокойны.

— Полагаюсь на вашу ревность, господин секретарь. Повторяю вам — вы не будете забыты при первом представлении...— Потом, подумавши, прибавил: — Немудрено, что по должности предводителя мне надо будет отлучиться на завод господ Балтановых, и тогда вам надобно будет распорядиться, чтоб один заседатель присутствовал... слышите?

— Слушаю-с, будет исполнено-с.

— Теперь пошлите протоколиста.

Протоколист вошел с толстою тетрадью и положил ее перед судьею.

— Что это такое? — спросил тот.

— Журналы опеки по имению Балтановых и заключение ее по отчетам их касательно горнозаводского и помещичьего их имения за 18... год.

— В каком смысле написано заключение опеки?

— Что имение управлялось с выгодою для наследников.

— А кто были в то время опекунами и не было ли впоследствии жалоб на их управление?

— Опекунами были Хлопский, Маляров, Темницкий и Загиба. Донос был за время их опекунства от горного чиновника, живущего на заводе, что за проход дудок[14] они прибавили платы почти на пять копеек противу прежних цен, хотя глубина дудок сравнительно меньше.

— Что же было сделано по этому доносу?

— Горное правление прислало его в опеку для соображения. Опека затребовала сведений от заводской конторы, а контора отвечала, что эта прибавка сделана по случаю увеличившихся цен на припасы. Опека приняла это к сведению, тем дело и кончилось.

— Прекрасно! Пусть горный чиновник лучше не суется в то, что до него не касается. Знал бы свою горную часть, а в хозяйственные распоряжения не мешался. Поделом ему! Хотелось прижать опекунов, да с них сорвать что-нибудь... знаем мы это... да не на тех напал. Пока я член

опеки, волос с головы опекунов не спадет даром! В этом ручаюсь моей совестью. Советую вам под рукою довести это до сведения господина горного чиновника в первый раз, как будете на Уткинском заводе.

— Слушаю-с.

— Знают ли Хлопский, Маляров, Темницкий и Загиба, что отчеты за время их опекунства рассматриваются в опеке?

— Не могу вам сказать этого-с,— отвечал протоколист, покраснев и смешавшись.

— Пошлите им сказать, что до тех пор, пока они не побывают у меня, постановления опеки по отчетам за время их управления сделано не будет! — сказал судья, делая вид, что не замечает смущения протоколиста.— И что ежели они хотят, чтоб отчеты прошли благополучно, так чтоб поторопились.

— Слушаю-с.

— Так как я не сомневаюсь, что они у меня будут и соблюдут должную вежливость, то и поручаю вам при отсылке отчетов этих в палату приложить к ним рублей триста ассигнациями и написать, что желательно, чтоб они были обревизованы немедленно. Деньги получите от меня.

— Слушаю-с.

— В каком положении дело об отчетах за прежние годы?

— По приказанию вашему холста было куплено пятьсот аршин и тюки с отчетами почти все зашиты. Тюков этих оказалось двести пятьдесят. Так как их в канцелярии положить негде, ибо они заняли бы целую комнату, то я и распорядился свалить их под навесом, где стоят пожарные инструменты, с согласия господина городничего. На несчастие, в почтовой конторе получено подтверждение, чтоб не принимать на почту за один раз больше одного тюка, в котором свыше пуда весу. У нас тяжелая почта в губернию ходит один раз, то мы и вынуждены будем продолжать эту отсылку почти пять лет сряду.

Судья рассмеялся и сказал:

— Пусть наследники читают их по пятницам: это отобьет у них охоту проверять отчеты по горнозаводскому имению. Я вам строго запрещаю подавать на почту более одного тюка, если б даже в отсылаемом оказалось и менее пуда. Теперь довольно! Журналы опеки доставьте ко мне

на дом, а через полчаса извольте явиться ко мне сами, мы едем на завод.

— Слушаю-с,— отвечал протоколист и вышел.

Заседание суда и опеки было окончено, несмотря на то, что в журналах обоих мест было написано: «Гг. присутствующие прибыли пополуночи в восемь часов, а вышли пополудни в два часа».

II

Старое время

Уткинский завод, служивший, по выражению протоколиста, такой доходной деревенькой для служащих, что и в целой России такой не найдешь, принадлежит наследникам Балтанова и находится в опеке, потому что наследники, которых сначала было трое, а потом вдруг явилось пятеро, не могли разделить в законный срок имения, им доставшегося. Имение это, состоявшее из нескольких тысяч душ, приписанных к нескольким заводам, было нажито, по рассказам стариков, с грехом пополам, как это мы увидим впоследствии, и досталось беспутным братьям и детям покойного, которые люди грубые, нетрезвые, необразованные и к тому же еще сутяги. Они наследство свое, оспариваемое взаимно друг у друга, считали завоеванною землею, истощали и грабили его без всякого милосердия. Нескончаемые тяжбы между ними завалили местные уездные суды и гражданские палаты и служили доходными деревнями чиновникам, начиная от канцеляриста до советника и даже председателя включительно. Эти чиновники наконец так привыкли считать дела по Уткинскому заводу источниками своих доходов, что оскорбились бы не на шутку, если б кто задумал о прекращении этих дел миром. Конечно, наследники об этом не хлопотали.

А если наследники были таковы, каковы же должны были быть опекуны при таком имении? Опекуном определяли всякого, кто вносил членам опеки известную плату; такие опекуны сменялись и назначались почти каждогодно, по мере взноса, и тот, кто давал больше, мог быть уверен, что сменит предшественника и будет властвовать до нового

конкурента. Следствием этого было то, что каждый из опекунов, не будучи уверен, останется ли он еще назавтра, воровал и грабил сколько мог и сколько у него было сил, чтоб вознаградить себя хоть сколько-нибудь за то пожертвование, которое было им сделано, чтобы попасть в опекуны. К этому хаосу высшие места прибавляли еще новую путаницу, утверждая в правах наследства жен покойного, как будто выраставших из земли, которые величали друг друга взаимно наложницами, доказывали это на бумагах, перед судом опровергали права одна другой и тем порождали новые тяжбы и новую путаницу. Таких жен, из которых каждая имела наследника от покойника, накопилось три или четыре, и высшие суды, разбирая их, до того спутались, что утвердили в правах двух, бывших женами в одно и то же время. Нельзя ручаться, чтобы этого не было так в действительности при том беспорядке, какой существовал в половине прошлого столетия во всех родах управления, особенно в таких имениях и у таких лиц, которые могли тратить сотни тысяч для удовлетворения своих прихотей.

Уткинский завод составлял центр этого имения, достойного быть резиденцией любого влиятельного князя. Завод походил на город гораздо больше, чем сам Мыльников, в уезде которого он находился. Заводской большой пруд, или, вернее, озеро, было закрыто с одной стороны вековым непроходимым лесом, и это место было полно преданий и рассказов с таинственными ужасами. Все, в чем заключалась роскошь тогдашнего времени, все было соединено в каменных палатах уткинского помещика, в которых теперь жил опекун, грязный мелкопоместный владелец, купивший у опеки право распоряжаться здесь... Эта странная, размашистая роскошь не походила на мелочную современную роскошь, ограничивающуюся дорогими мебелями и экипажами. То была роскошь, которую ни потомки, ни опекуны, ни приказная челядь не могли размотать. Пруд в Уткинском был вымощен чугунными плитами, чтоб трава не росла на дне его. В саду фонтан бил выше крыши большого каменного дома, и вода для него проведена была за несколько десятков верст. Каррарский мрамор нарочно был выписан из Италии для широких лестниц, площадок и крылец. Художественные изваяния из чугуна и мрамора выглядывали из тенистых аллей сада с вековыми деревьями. И все это совершилось и создалось в какие-нибудь

двадцать, тридцать лет прихотью одного человека, не останавливавшегося ни перед чем, не знавшего никаких затруднений и препятствий для удовлетворения своей дикой, необузданной воли.

И теперь это имение, о котором ходили баснословные и преувеличенные толки по всей России, предавалось грабежу и воровству грязных и грубых мелких помещиков и приказных, бесстыдство которых дошло впоследствии до крайнего своего предела. Опека делилась с палатой, опекуны делились с опекой. Опекуны воровали явно, всюду, где только могли; конторщики, управляющие цехами помогали им, чтоб, в свою очередь, воровать безнаказанно. Вековые леса, составляющие славу и украшение заводов, гибли сотнями десятин, отданные под сидку смолы для того, чтоб в карман опекуна или членов опеки принести какую-нибудь лишнюю сотню рублей. Оранжереи, на которые потрачены были сотни тысяч, уничтожались и гибли от несмотрения, от морозов, несмотря на то, что около завода были десятки тысяч десятин строевого леса, не говоря уже о дровяном. С истреблением лесов оскудевала вода в заводском пруде.

Машины, с такими огромными пожертвованиями выписанные из-за границы, портились; заводские строения начали обваливаться. Всюду показались следы разрушения и упадка, несмотря на то, что центр управления был в самом имении и не было недостатка ни в материалах, ни в рабочих.

В руках двух опекунов и горного чиновника находилось в настоящее время управление имением и заводами наследников Балтановых. На них лежала ответственность перед наследниками, перед совестью сохранения имения в том виде, как оно было оставлено стариком, но ни о совести, ни о долге не имели они ясных понятий.

Лишь только тарантас судьи показался на проспекте, ведущем к большому дому, на мраморное, высокое крыльцо его высыпало несколько человек в разнохарактерных костюмах, имеющих название поддевок, сибирок, сюртуков, пальто и пальто-сак.

Впереди этого сонма бородатых и безбородых служителей опекунского кармана стоит сам опекун, узнавший тарантас судьи. Это был пошленький, грязненький человечек, проведший молодость в волокитствах и пирушках, вообще тупой, но необыкновенно сметливый в тех случаях, когда

дело шло о приобретении. На нем было широчайшее пальто цвета масака́*; волосы его, довольно редкие, спускались на засаленный воротник; лицо у него было одутловатое, и трехэтажный подбородок дрожал, поддерживаемый галстуком. Когда тарантас подъехал к крыльцу, опекун чуть не бросился сам высаживать судью, но остановился только потому, что десятки рук предупредили его, и судья, тщедушный и маленький, был почти вынесен на руках. Поклонам и приветствиям не было конца. Судья принимал их как должную дань, был постоянно важен и величав и отвечал хотя учтиво, но холодно. Опекун бросился с чувством к протоколисту, а протоколист, видя, что в нем надобности нет, а между тем испытывая страшную неловкость в присутствии судьи, юркнул в боковую комнату, где конторщики, бухгалтеры и кассиры приняли его чуть не с распростертыми объятиями, на что и он сам отвечал не с меньшею горячностию.

Хотя переезд от Мыльникова до Уткинского завода и невелик, судья пожелал, однако, удалиться для приведения в порядок своего туалета в комнату, которую он называл по привычке *своею,* ибо в продолжение двух лет, за небытием предводителя исправляя его должность, он только что не жил на заводе.

Опекун был человек семейный, имел взрослых дочерей, а судья, человек щекотливый в деле приличия, счел бы за величайшую невежливость явиться перед дамами не в полном блеске.

Дамы тоже в свою очередь бросились наряжаться. Судья был вдовец.

Оставим судью заниматься туалетом и последуем за протоколистом.

Зная по опыту, что в первый день судья не начнет никакого дела, протоколист вполне предался удовольствию общества, принявшего его с распростертыми объятиями. День был праздничный на заводе, будничный для присутственных мест,— один из тех мелких праздников, какими так богат русский месяцеслов. На заводской улице толпились пестрые девки, слышались звуки гармоники, раздавались возгласы пьяных. Заводские девки вообще не строги; протоколист был здоров и молод и катался между ни-

* Темно-красный цвет. *(Примеч. сост.)*

ми как сыр в масле. К вечеру, когда уже все довольно поустали и все блага жизни поизведали, толпа молодежи и протоколист с ними собрались на вагранке[15]. Началось болтовней, потом посыпались анекдоты. Время было уже позднее, надвигалась ночь, мрачная и зловещая в это время года. Анекдоты сменились рассказами о волках и медведях, разбойниках и колдунах и наконец перешли к чертям и привидениям. Заговорили о человеческом остове с цепями, который был найден в каменной стене оранжереи, когда ее ломали.

Рассказчик был старый дворецкий покойного Балтанова, отставленный еще при жизни от должности «за пьянство и дебоширство» и, вследствие этого, находившийся в оппозиции к памяти покойного. Большой балагур, не останавливавшийся ни перед чем для красного словца, он был, несмотря на свои восемьдесят лет, душою всех заводских собраний.

Протоколист, которому не были еще вполне известны предания об этом остове в цепях, поджигал дворецкого рассказать, что он знает об этом.

— Ты, Антипыч,— говорил приказный,— скажи нам, как ты думаешь об этом? Ты человек бывалый, при покойном Иване Дмитриевиче еще служил: тебе должно быть все известно.

— Известно, конечно, известно! — заметил дворецкий.— Хотя тому времени прошло с лишком полвека, да не все то говори, что знаешь. Вот что, батюшка. Всякой Еремей про себя разумей; ешь пирог с грибами, держи язык за зубами,— говорит пословица,— сболтнешь лишнее, будет пышное. Антипычу, батюшка, не знать нельзя: Антипыч родился и вырос в барском доме; Антипыч видел то, чего другие видом не видали, слыхом не слыхали; Антипыч бархат носил да шелки всякие, рубашки голландские, чулки шамаханские...

— Да ты полно, Антипыч, прибирать-то да околесицу городить, ты скажи нам просто, что ты знаешь об этом остове.

— Много я знаю, чего знать вам не придется, батюшка: знай сверчок свой шесток, много будешь знать, скоро состаришься; а что в цепи заковали, так вольно ж ему. Противу рожна пройти нельзя, нейдет. Вот и угодил в стену.

— Да кто ж он такой был?

— Человек, как мы с вами, с руками и с ногами. Только без головы, должно быть, потому что угодил в стену, вместо могилки. Видите ли что, господа честные, подружки младые, барин-то мой покойный, дай бог ему царство немецкое, был так себе, человек божий, обшит кожей. Поперечки не любил. Бывало, скажет: «Ах, никак, угорел я!» — и все угорят, и голова у всех болит, а иначе, батюшка, в тюрьму посадят да судить велят за ослушание барской воли; а там, пожалуй, обошьют в медвежью кожу да велят собаками травить. Это ихняя любимая забава была. Самодур был покойник, похвалить нечего: что вздумается — вынь да положь... «Нельзя» — лучше и не говори ему, живого в землю зароет. Исправник[16] вздумал с ним поспорить да за горничными девками примахнуть — он махнул по-своему... и след исправника простыл...

— Врешь, должно быть, ты, Антипыч, неужели никто об исправнике так-таки и не спохватился?

— Как не спохватился, спохватились, да что сделаешь-то? Заводские ребята — народ ловкий. Выкатит им десять бочек вина, да как выйдет, как закричит своим зычным голосом, молодецким посвистом: «Хотите служить мне, ребята?» — так все в один голос так и заревут: «Готовы, батюшка Иван Дмитрич! На ножи с тобою готовы!» — кто с дуру кричит, а кто со страху. Никто, бывало, подступиться не смеет из уезда. Заседателишки, что ли, какие, так эти и носу-то показать к нему не смели. А исправник был приезжий — фордыбачить вздумал, эдакий из себя ловкий был. Приехал на тройке с бубенчиками, с колокольчиками и прямо на большой двор. Иван Дмитрич не любил, коли кто спервоначала фордыбачить начнет. Обойдется человек — пожалуй, и того, а спервоначала — будь тише воды, ниже травы. Оно прошло бы, может, и так, да, на горе, исправнику Машка приглянулась. И то сказать, девка была ра́жая, кровь с молоком, белая такая, что видно было, как мозжачок из косточки в косточку переливается, ей-богу! И вздумал он заводить с ней разные шуры-муры. Иван Дмитрич не любили этого пуще огня. Сам был человек уж не молодой, да и притом она у него была кредитная; ну а не мог, сударь ты мой, видеть, коли без его спросу кто к горничным девкам приласкаться вздумает, — раскуражится так, что не приведи бог; а в иной час не только что позволит — девку-то сам к тебе пришлет: забавляйся, дескать, млад юноша! А не спросясь — ни-ни! Мы уж, холопы, зна-

ли барский-то нрав, шепнули и исправнику: вы, дескать, ваше благородие, Ивану Дмитричу не поперечьте — беда будет! А он только ухмыльнулся да усики этак, знаете, поправил, да и говорит: «Черта с два он мне сделает. Я начальник в уезде! Много грехов за вашим Иваном Дмитричем водится, поразыскать, так как бы ему еще не пришлось самому по Владимирке без прогонов проехать. А пришла мне Машка по нраву, так такие пружины подведу, что сам руками мне отдаст, да еще с поклоном».

Нашлись, видно, окаянные, перевели эти речи Ивану Дмитричу. Был у нас в дворне конюх, Тимофеем звали, мужичинища страшенный, у Пугача служил: человека ему погубить — все равно что блоху раздавить. Сила была страшнеющая: подковы разгибал, кочерги в дугу гнул, тройку лошадей на бегу останавливал, пятаки ломал пополам. Уж ежели с вечера Тимофея призывал Иван Дмитрич, мы, дворовые, это знали, так до десятого часу утра носу из флигелей и изб показывать не смели... и хоть бы весь завод погорел, никто на улицу ни за что не вышел бы. Вот, сударь, после таких исправниковых неразумных речей и слышим, что Иван Дмитрич велели Тимофея позвать. Переглянулись мы, только никто ни гугу. А на другое утро, слышь, прослышь, исправника рано поутру и след простыл, а уж доехал ли до городу или нет, бог его знает; только через месяц новый исправник в Мыльников приехал. Нарядили было следствие о том, что исправник пропал без вести; да кому следствие производить-то? Всякий боялся к нам на завод не только за следствием, а и так-то носу показать.

Должно быть, губернатор сам вздумал посмотреть на Ивана Дмитрича, что это за штука такая: невелика птичка, да ноготок востер. Вот сидит наш-то на балконе, за чаем прохлаждается, а шутов и шутих около него тьма-тьмущая. А я, сударь, с серебряным подносом, в чулках, в башмаках, напудренный, во французском бархатном кафтане стою этак у притолоки с подносом и вижу: по прошпекту карета дорожная скачет цугом, а впереди на тройке с колокольцами исправник. Иван Дмитрич как гаркнет: «Гайдука верхом!» — так гайдук словно из земли вырос. У нас, бывало, и день и ночь четыре лошади оседланные стоят, неравно послать, куда вздумается. Иван Дмитрич вскричали благим матом, бросились к себе в кабинет, вынесли оттуда запе-

чатанный пакет и говорят гайдуку: «Видишь эту карету? Это, должно быть, губернатор едет! Скажи ему, что я не хочу, чтоб он сюда приезжал, и отдай ему этот пакет».

Гайдук был парень ловкий. Сел на коня, гаркнул, свистнул, аки стрела понесся... Приспел к карете, батюшка, как она была еще за плотиной, переговорил там, что следует, только смотрим: карета остановилась, а потом вспять завернула, да и была такова.

— Так и уехала?

— Так и уехала.

— Кто ж это был в карете-то?

— Губернатор, я ведь сказывал вам.

— Так неужто губернатор уехал потому только, что ваш какой-нибудь Иван Дмитрич не захотел этого?

— Нет, не оттого, что не захотели Иван Дмитрич, а потому, что он ему послал пятьдесят тысяч за то, чтоб он не ездил. Вот что!

— И дело об исправнике тем и кончилось?

— Тем и кончилось. Написали, что он пропал без вести, да и концы в воду. Тимофей, конюх, года через два или три после этого, как-то под пьяную руку и проболтайся, дворня и приступи к нему! Он было отнекивался, потом поводил рукой около шеи, чтоб показать, что навязали камень на шею, потом сделал знак, как будто шьют, да и указал на пруд. Словами-то сказать не посмел. А другие при этом вспомнили, что и лодка в тот день, как исправник пропал, найдена была не на своем месте, немножко подальше.

— Хорош же гусь был ваш Иван Дмитрич,— заметил протоколист.

— Да, нравный был господин,— заметил Антипыч,— как что затемяшит в голову, так хоть кол на голове теши — сам черт не уломает. Вот хоть бы и этот барин, что в стене закладенного нашли, ведь добрый человек был — да вздумал поспорить с Иваном Дмитричем. А Иван Дмитрич, не тем будь помянут, скажет: «Моя!» — так все говори, что его: сотни тысяч не пожалеет, а уж поставит на своем.

— А кто ж был этот барин?

— Кто был? Помещик был, сусед его. Вы смотрите, не болтайте зря, что я говорю: шутя в беду попадешь. Хоть и давно этому дело было, да еще при родителе моем, а я еще

маленький был. Если и будут спрашивать, говорите все: не знаю и не слыхал.

— Да ведь нам-то можно сказать, Антипыч!

— Вам-то можно, только, чур, язык за зубами держать. Видите что: версты четыре, а может и пяток, вот в эту сторону, за лесом, была деревушка душ этак двадцать, и жил в ней помещик бедненький, Николай Силантьич Горюнов назывался. Только и именьишка у него было что эта деревушка, так жил, значит, бедно. Собой барин бравый был, служил в полку, да как умерла старуха-мать, так вышел в отставку и приехал к себе в деревушку, как бишь название-то ей было, дай бог памяти... Курилово, Окурково — что-то вот так. Ну и пришла ему, на беду, охота жениться. Собой-то молодец был, деревушка какая ни есть — все вотчинка, да и дворянкой быть лестно, знаете: вот он и нашел себе какую-то, уж не знаю, какого рода, из духовного звания али из приказного, только раскрасавица. Женился он, ну и так как к нашему-то вхож был, так и привез жену свою к нам знакомиться. Тут-то я ее и увидал в первый раз: белая, румяная, зубы как жемчуг, да и ходит ловко таково, словно пава, а как взглянет — рублем подарит. И приглянись она, на грех, Ивану Дмитричу-то; начал он ласкать их всячески: праздники, да банкеты, да подарки тысячные. Хотел, видно, этим прельстить, а та, видно, баба-то и сама не промах: езжала сюда часто и подарки его принимала, а как дошло до дела, так и хвост ему показала. Его и взяло зло. Он ей и сделай предложение: так и так, говорит, Лизавета Ивановна, вы то есть с мужем-то, говорит, разведитесь, а я вас за себя замуж возьму. А Лизавета-то Ивановна сдуру — да и плюнь ему в рожу, а на другой день шлет все его подарки назад: не нужно, дескать, мне ничего от тебя, старый хрыч, коли ты предложения мне такие делаешь.

Он бы, может быть, промолчал, да муж-то ее как-то повстречал нашего в поле, как он ездил за зайцами, да и вздумал посмеяться над ним: «Хорош,— говорит,— виноград, Иван Дмитрич, да зелен; далеко,— говорит,— кулику до Петрова дня!» Это уж нашего и взорвало. Приехал домой, рвет и мечет, никому подступу нет; что он в этот день народу перепятнал, просто ужасть! Рассерчал больно. Долго он думать не любил. Позвал Тимофея, да Конона доезжачего, да Ваньку Комардина: без этого никакое дело не делалось... Позвал, сударь ты мой, их да и говорит: так и так, ежели сделаете по-моему, каждому по пригоршне

золота, а не сделаете — насмерть запорю, и быть вам в пруде. Народ теплый, знаете, был, да и то сказать, кому хочется лютой смертью умирать... Выбрали человек с полсотни молодцов, таких, что, знаете, голос в голос, волос в волос, кто из охотников, кто из псарей, а кто из заводских ребят: ну, уж такие, что просто сорви головы,— да и шасть с ними в Куриловку. Как и что там у них происходило, признаться, не знаю, только наутро Тимошка и Конон разгуливают, шапки набекрень и золотом в кармане погромыхивают. Да на верхнем этаже, где никто не жил, огонь по вечерам появился, и стали Иван Дмитриевич частенько туда похаживать. Так как дворовым с горничными девками говорить было не приказано, так наверное узнать-то и не от кого было, что это за огонь такой, да и не сказали бы, сучьи дочери, а проговаривали после в людской, что уж это не куриловская ли барыня там живет. Муж-то ее пропал в эту ночь без вести. Думали, уж не убит ли, да после узнали, что наш-то в тюрьме его держит и все приступает, чтоб он с женою развелся. А как увидал, что тот упрям, так и велел его в стену закласть. Его, милого дружка, и запрятали в ранжерейную стену — она благо в то время перекладывалась,— да ведь так скоро скомандовали, что дворня узнала обо всем этом долго уж опосля.

— Да где ж эта деревенька-то... Куриловка, что ли?

— Как сквозь землю провалилась. С тех пор об ней помину даже нет, а на том месте, где она стояла, на другой же день земля была вспахана и овсом засеяна...

— Да неужели после, ну, так хоть через пять, шесть лет, не было никогда об этом разговору, чтоб подробнее узнать, как же все это происходило,— заметил протоколист.

— Эх, батюшка, разве тогда такое время было, что нонче? Об такой штуке пикнуть никто не смел. Заикнись только, так смотришь, тебя вечером же и затащут вон туда: видите там, направо во дворе, строение стоит, а оттуда выйдешь ли, бывало, живой или нет, это еще бабушка надвое сказала, и ходить-то мимо этого строения было запрещено. Видите, оно без окон, только дверь одна, и всегда на заперти. Когда туда ходили, уж один бог знает, только кто там побывал, уж на заводе не оставался. Видим, человек ходит день, другой едва жив, а потом вдруг и пропадет,— да глядишь, лет через пять и пойдут слухи, что очутился он в Саратовской губернии. Там у нашего-то вотчина была, так

он туда спроваживал... ну, и боялись, так боялись, что вот в мелкие куски, кажется, изрежь, так не скажешь, что видел али слышал...

В эту минуту хохот и песни раздались под окном: целая толпа девок пробежала на завод. Молодежь вскочила и бросилась за ними.

Протоколист, боясь, как бы не взыскался его судья, направился к дому, а Антипыч, наказав ему еще раз не болтать зря, поплелся допивать остатки браги к какому то Кудимычу.

III

Опекун

Пока в вагранке происходили все эти рассказы, судья рисовался перед дочерьми опекуна, выставив против обыкновения воротнички из-за галстука. Опекун по обыкновению гнулся перед ним изо всех сил и по его предложению послал за другим опекуном, тоже помещиком, жившим верстах в восьми или девяти, просить его пожаловать завтра к девяти часам для совещания по очень нужному делу. Горный чиновник, по случаю доноса о прибавке платы за проходку дудок, был в разладе с опекуном и в день приезда судьи в дом не явился, но через жену свою, которую послал поздравить судью с приездом, тоже получил повестку пожаловать завтра к исправляющему должность предводителя для «нужных к пользе опекаемого имения совещаний».

Первый день был посвящен отдыху и забавам, зато на другой день без четверти в девять часов судья явился в большой зале в дворянском вицмундире и был встречен опекуном в таковом же с длинной владимирской лентой, на которой болталась медаль 1812 года. Вместе с ним встретил судью другой опекун, маленький, лысенький старичок с глазами изумрудного цвета, которые были постоянно устремлены в пол или на костяной набалдашник его камышовой палки, и если иногда поднимались, то бегали и прыгали, как гла-

за рыси. Горный чиновник явился вскоре после опекунов.

Он был лет тридцати, имел волосы курчавые, черные, казался на вид довольно смелым и одет был в форменном сюртуке своего ведомства. Он был некогда в военной службе и делал турецкую кампанию.

Когда все собрались, судья попросил опекуна, хозяина, принять меры, чтоб никто из посторонних не мог слышать их разговор, потом пригласил всех сесть и открыл заседание следующей речью, произнесенной стоя и с медленной торжественностью, которая была отличительной его чертою.

«Милостивые государи!

Я просил вас сюда для того, чтоб сообщить вам мои мысли касательно лучшего устройства дел в имении, вверенном нашему попечению. Как исправляющий должность председателя опеки и как старший ее член, я не мог не заметить, что при настоящем положении дел и медленной распродаже изделий опекунское управление затрудняется удовлетворением мастеровых задельною платою[17] и еще более их содержанием. Дожидаться Макарьевской ярмарки для распродажи наличного товара долго, денег в конторе нет, и я с ужасом вижу, что через какой-нибудь месяц контора вынуждена будет прекратить платежи свои. На все представления опеки, последовавшие вследствие донесения гг. опекунов, подлежащее высшее место отвечало одним: предписать дворянской опеке изыскать средства к прокормлению мастеровых и удовлетворению их задельною платою. У нас на руках, милостивые государи, около семи тысяч душ, им надо немало. Я просил вас сюда, собственно, для того, чтобы во исполнение указов подлежащего высшего места изыскать те средства, о которых оно упоминает. Жду вашего мнения и совета. Вас, г. горный чиновник, прошу говорить как младшего прежде всех».

Затем судья торжественно сел и полным величия движением дал знать горному чиновнику, что он может говорить.

Горный чиновник встал и сказал: «Судя по вашей речи, Арнольд Осипыч, можно подумать, что положение заводов отчаянное. Я не нахожу этого. Заводы перерабатывают в день до пятидесяти пудов чугуна, амбары наши наполнены изделиями, и весь спрос состоит в том, чтобы превратить их в деньги. Конечно, сделать это превраще-

ние разом трудно; но предстоит ли в этом надобность? Мне кажется, нет, и вот почему: на месяц провианта у нас хватит; выделка недельная покрывает расходы на задельную плату; в январе мы должны получить по заторжке[18] прошлого года довольно значительную сумму, следственно, трудно нам будет только один месяц или два».

Речь эта своею простотою, видимо, не понравилась судье.

Он почти перебил ее с неудовольствием:

— Вы забываете, милостивый государь, что количество изделий уменьшается каждомесячно и что с наступлением зимы легко может случиться, что вместо работы на пять кричных молотов[19] надобно будет работать только на три.

— Ежели будут продолжать рубить лес так, как его рубили до сих пор,— возразил горный чиновник,— я не отвечаю, что года через два или через три три молота будут работать не то что одну зиму, но даже и круглый год.

— Вы, милостивый государь, уклоняетесь от вопроса. Мы спрашиваем, *где* взять денег, а вы отвечаете, *зачем* рубят лес. В том, что вы говорите, нет смысла.

— Есть, и очень большой,— отвечал твердо горный чиновник,— если б вы не отдали рубить лес — вода в заводском пруде не уменьшилась бы до того, что нам надобно беспрестанно опускать вешняки[20]; если б вы не отдали ближнюю рубку леса, как это сделано теперь, нам за возку дров не надобно было бы платить так дорого, как мы платим теперь...

— Я полагаю, что возбуждать теперь подобный вопрос о лесе не только бесполезно, но даже вредно,— сказал судья.— Господа опекуны находили, что завод был в таких стеснительных обстоятельствах, что надобно было отдать сидку смолы во что бы то ни стало. Опека нашла, что это справедливо, и предложение это утверждено теми, которые выше нас с вами и *вашим начальством преимущественно*. Следственно, говорить теперь об этом было бы излишне. Если не имеете ничего отвечать более на предложенный мною вопрос, то я перейду к другим членам управления. Господин младший опекун, извольте изложить ваше мнение.

Старичок, смотревший в землю, откашлянулся, сморкнулся, почмокал губами и сказал:

— По-моему, если денег нет, так занять надо.

— У кого занять и сколько занять?

— У купцов занять, пожалуй, под залог изделий; а сколько занять?.. Ну, столько, сколько нужно.

Горный чиновник пожал плечами и сказал:

— А платить чем после?

— Да ведь будете продавать изделия? Ну этим и заплатить.

— Хорошо-с, но продавши изделия, надо приготовить провианту, надобно заплатить за доставку руды, флюса[21], угля, песку. Извольте перевести это в цифры, и тогда увидите, что...

Старичок что-то промычал, еще почмокал губами и замолчал.

Судья не изменил своей олимпийской важности во все время этого разговора. Видя, что старичок замолк, он обратился к опекуну-хозяину и произнес:

— Господин старший опекун, потрудитесь сказать теперь ваше мнение.

— Я полагал бы,— отвечал опекун,— продать часть изделий.

— Где продать и кому продать?

— Охотники найдутся, и, ежели вы поручите мне эту операцию, я надеюсь ее устроить к общему удовольствию всех,— отвечал опекун.

— Так же точно,— возразил горный чиновник,— как устроили это прошлого года. Взять семь гривен за рубль собственной стоимости. Хорошо устройство, нечего сказать!

— Это сделано с согласия опеки, государь мой! — возразил опекун, видимо оскорбленный.

— Я не знаю, с чьего согласия это сделано, но знаю только то, что работать в убыток глупо.

Опекун вскочил с своего места.

— Арнольд Осипыч,— закричал он,— изволите слышать оскорбления господина горного чиновника? Я не могу их слышать и должен оставить заседание.

Судья почти незаметно улыбнулся и, не изменив важности своей, сказал:

— Господин горный чиновник, вы недостаточно взвешиваете смысл произносимых вами слов. Оскорблений я допустить в моем присутствии не могу.

— Я знаю, что я говорю, господин исправляющий должность предводителя,— перебил горный чиновник.— Прош-

лый год продали изделия дешевле, нежели чего они стоили заводу, и я не подписал журнала на эту продажу; прошлый год отдали лес под сидку смолы — и я не подписал этого журнала; прошлый год купили провиант двадцатью пятью процентами дороже, нежели он был на базарах,— и я не подписал этого журнала.

— Вы забываете, милостивый государь, что все это было сделано с разрешения опеки.

— Вы мне все об опеке толкуете, как будто бы это и бог знает что такое. Из кого состоит опека? Предводителя прошлый год не было, вы изволили исправлять его должность; заседатели не то что в опеке, они и в суде-то у вас никогда не бывают.

Судья вспыхнул.

— Кажется, вы и против меня устремляете ваши оскорбления. Вы изволите забывать, какое лицо я здесь представляю. Для чести моего звания и занимаемого мною места я не могу дозволить подобных оскорблений!

— Как вам угодно-с,— отвечал горный чиновник,— я повторяю: ни продавать изделий, ни занимать денег не надо, завод может просуществовать собственными средствами, только надо уменьшить расходы.

— А как вы изволите уменьшить их?

— Заторжка на поставку муки и крупы, угля и руд — в убыток заводу, надобно понизить ей цену. Хорошо еще, что это сделано только на один год.

— Именно это-то и дурно. От этого-то заводы находятся в таком бедственном положении,— отвечал судья поспешно.

— Заводы находятся в таком бедственном положении оттого, что делают высокие заподряды[22] и низкие заторжки. Что вы там ни изволите говорить — плата за добычу руд есть вещь вопиющая. Заплатить пять копеек там, где надо заплатить полторы копейки,— возмутительно! Угодно вам это слушать или нет, но я не перестану говорить, что гг. опекуны, допустившие такую прибавку платы, поступили во вред заводу.

— Дело было сделано с торгов.

— Пожалуйста, не говорите этого, я знаю, что значат ваши торги.

— Милостивый государь, я повторяю вам, что вы забываетесь. Торги были сделаны публично. О них земская

полиция публиковала не только в своем, но даже в соседних уездах.

— Знаю и эту публикацию: на торги явились только те кого было нужно.

— Вы, наконец, забываете, с кем говорите! — закричал судья, выведенный из терпения.— Торги были сделаны законно и с разрешения опеки; я как член опеки и в настоящее время ее председатель не могу дозволить, чтобы смели сомневаться в законности ее действий. Я требую, чтоб вы изволили переменить ваш тон или оставили заседание, иначе я его закрою.

— Переменить тон — значит подписать журнал, согласиться на такую меру, которую я считаю вредною. Конечно, мне лучше всего оставить заседание, где заботятся не о выгодах имения, но о выгодах подрядчиков и о...

Последние слова горный чиновник договорил уже в передней, хотя их и можно было слышать, но придраться к ним было нельзя.

— Беспокойный человек! — заметил судья сердито, сдерживая свой гнев, выражавшийся в неестественно быстрых движениях.

— Беспокойный и безнравственный,— прибавил первый опекун.

— Чего хотят от пьяницы и дебошира? — прибавил старик, глядевший в пол.

— Господин протоколист,— сказал судья, как будто пораженный новой мыслью,— извольте написать постановление, что в присутствии исправляющего должность предводителя г. горный чиновник позволил себе разные оскорбительные выражения на счет господ опекунов и даже членов опеки и, невзирая на вежливое напоминание о неприличии подобных поступков, с азартом и дерзостью вышел из комнаты. Не так ли, господа?..

— Точно так-с! — отвечали оба опекуна, вставши и поклонившись.

— Написав это, вы подадите к нашему подписанию. Теперь, господа,— продолжал он, обращаясь к опекунам,— выслушав ваши мнения и приняв их к должному соображению, я хочу иметь честь предложить вам одну меру, которую высказать помешал мне поступок этого невежи и которая, по мнению моему, одна может вывести имение наследников Балтановых из его затруднительного по-

ложения. Ежели вам угодно будет выслушать, я готов изложить ее вам, если позволите, сейчас же.

Опекуны встали и молча поклонились в другой раз.

— Вам известно, милостивые государи,— начал судья чрезвычайно торжественно,— что заводы гг. Балтановых находятся в бедственном состоянии. Денег в конторе нет; изделия, по несмотрению и невнимательности г. горного чиновника, дурного качества; заводские строения пришли в ветхость; наследники никак не могут согласиться в разделе, и даже один из них простер свою дерзость до того, что позволяет себе воровать изделия из собственного имущества, ночью и вооруженною рукою; горная недоимка накопилась в значительном количестве, а у нас нет ни денег, ни провианту для рабочих. Нельзя подумать без страха о том, что будет с нами через месяц или полтора, когда заторжка с Калюпановым окончится и у нас останутся изделия в большом количестве, которых сбыть некуда, а между тем нет никакой возможности ни удовлетворить рабочих за заработки, ни отпускать им провиант, поставка которого по заподряду должна в скором времени тоже окончиться. Отдача леса под сидку смолы, вопреки ожиданию, не принесла предполагаемых выгод. Смолосиды вместо шести горшков гонят только четыре, и так как плата с них назначена не с горшка, с количества употребленного леса, то и понятно, что они, изведя лесу то же количество, нам не принесут никакой выгоды. Я хотел обратить на это внимание ваше, милостивые государи, но по зрелом размышлении нашел, что контракт, на этот предмет сделанный, так точен и определителен, что изменить его или нарушить — нечего и думать. Нельзя не сознаться, что мы с вами в этом случае поступили не совсем осмотрительно. Лесу истреблено гибель, но это не улучшило положения дел денежных.

— Вы этого тогда так настоятельно желали, Арнольд Осипыч, что мы не смели вам противоречить,— заметил опекун, довольно, впрочем, робко.

— Это было сделано с общего согласия, г. старший опекун,— отвечал судья, недовольный замечанием,— и удостоверено вашею подписью. От этого вы отпереться не можете. Впрочем, вам, как опекунам, должно быть лучше известно положение заводских дел, выгоды и невыгоды их, я же тут, как человек посторонний, хотя и принимаю иногда участие в ваших хозяйственных предприятиях,

но делаю это скорее из участия к вам или выгодам находящегося у вас под опекою имения, чем по обязанности службы. Мое дело состоит в том, чтоб рассмотреть отчеты и удостовериться, к выгоде или невыгоде управлялось имение и надежны ли определенные опекуны. Дальше мои обязанности не простираются. Ежели вы, гг. опекуны, находите, что я преступаю обязанность свою, я готов отказаться от моих советов, для меня отяготительных, и предоставить вам полную свободу действий, поверять которые я буду уже в опеке, при рассмотрении отчетов.

Опекуны побледнели, их как-то передернуло; они переглянулись; смотревший в землю откашлянулся, как будто хотел что-то сказать, но промолчал. Опекун-хозяин встал и неловко, нерешительно, видимо путаясь в словах, начал:

— Вы не так изволили понять слова мои, Арнольд Осипыч. Ваши просвещенные советы принимаются и будут приниматься нами всегда как приказания. Мы уверены и в их пользе, и в их...— он замялся, остановился и не знал, что продолжать.

— Ежели так, то довольно,— отвечал судья снисходительно.— Не будем говорить более об этом. Что сделано, то сделано, притом же какая-нибудь сотня, другая десятин в имении, где до тридцати тысяч десятин лесу, не такая важность, чтоб об этом стоило хлопотать. Только один горный чиновник может поднять шум из такого вздора. В вас, господа, я уверен. Думаю, что и вы тоже имеете ко мне полную доверенность...

Опекуны торопливо встали и поклонились.

— Ежели это так,— продолжал судья,— то не станем подымать прошедшего. Кто старое помянет, тому глаз вон! Будем лучше говорить о будущем и о том, как выйти из нашего неловкого положения.

Он замолчал, как будто ожидая ответа, но ответа этого не воспоследовало, и старичок упорно смотрел в землю, а хозяин-опекун хлопал глазами, даже как будто несколько испуганный. Судья продолжал.

— Я сказал уже, что причина того, что в конторе нет денег, а скоро не будет и провианту, есть короткие заторжки. Ежели б заторжки были на долгие сроки, то есть на шесть или на семь лет, тогда бы нам заботиться было не о чем: изделия, по мере выработки, поступали бы в руки купца, и мы получали бы деньги в назначенные сроки. Таким

образом, ежели б и случилась надобность в каком-нибудь необыкновенном расходе, мы знали бы, что можно покрыть его деньгами, количество и срок которых уже определены. Выработанные изделия у нас не залеживались бы, и нам не нужно было бы ожидать ярманки для их сбыта. Точно так же заподряд провианта на долгий срок избавил бы нас от заботы думать о продовольствии мастеровых. Можно бы даже было, для большего удобства, соединить заторжку и заподряд в одних руках. Тогда за провиант мы платили бы изделиями, и это еще более облегчило бы наши действия. По моему мнению, это есть единственное и самое надежное средство выйти из настоящего стесненного положения и упрочить на будущее время благосостояние заводов, а с тем вместе облегчить и надзор за их управлением. Я уверен, что вы, милостивые государи, проникнуты вместе со мною искренним желанием добра и пользы опекаемому имению и согласитесь, что предлагаемая мною мера одна может помочь нам.

Опекун-хозяин почесал в затылке, выслушав эту речь; другой опекун даже поднял голову и посмотрел на судью. Судья не изменил ни на минуту своей торжественности и, заметя движения их обоих, только сказал:

— Я ожидаю, милостивые государи, вашего ответа...

Ответа не было долго. Старший опекун мял что-то в губах; видно было, что ему хотелось что-то сказать, но не смел; старичок, глядевший всегда в землю, как-то странно двигался на своем месте и искоса посматривал на своего товарища, как бы прося его об ответе.

Во время этого торжественного безмолвия протоколист, стоявший молча позади стула, сделал какое-то неловкое движение, отчего стул сдвинулся с места и зашумел. Этого было довольно для судьи, ожидавшего предлога на кого-нибудь выместить гнев свой на опекунов, понявших, вопреки его желанию, какую яму он готовит им и их карману. Судья строго прикрикнул на протоколиста и выслал его из комнаты.

— Господа,— сказал он опекунам решительно, изменив совершенно тон,— я должен вам сказать, что я хочу и заторжки и заподряда на долгий срок. Выбирайте что-нибудь из двух: или оставайтесь со мною в ладу, или вы завтра же будете уволены от должности. Вы знаете, что мне это ничего не стоит. Здесь теперь никого нет, мы можем говорить откровенно: заторжка на несколько лет есть дело мил-

лионное. Если после этой заторжки я и выйду в отставку и вы откажетесь от опекунства — раскаиваться вам будет не в чем. Понимаете?

Хозяин-опекун снова почесал затылок и сказал робко:

— Понимать-то мы понимаем, Арнольд Осипович,— да не знаем, как и что? Вам известно, какие большие расходы мы сделали для того, чтобы попасть в опекуны. Пополнить этих расходов было еще не из чего: рубка лесу кончилась вздором, какими-нибудь сотнями рублей. Теперь согласиться на эту меру для какой-нибудь безделицы, вы сами посудите, не стоит, да и страшно. Кто знает? Разделятся наследники, приступят к рассмотрению отчетов и вдруг найдут, что заторжка сделана в убыток... что мы тогда ответим?..

— Ничего не ответите,— сказал судья,— а не ответите потому, что этого не будет. Наследники не разделятся скоро, этого опасаться нечего; да и глупы бы мы были, если б допустили до этого. Чтоб разделиться, надобно знать, что станешь делить, а этого они никогда не узнают, потому что мы им этого не скажем. Вы видите, что один из них ворует изделия ночью. Неужели ж вы думаете, что я этого не знаю и что это делается без моего согласия? Но это воровство необходимо для поддержания вражды — и они будут враждовать до скончания веков, пока не переколеют все. За это я вам отвечаю. Но нам дожидаться этого не надобно, нам нужно только каких-нибудь два, три года. В эти три года отчеты из двухсот тысяч листов увеличатся еще полусотнею тысяч, и тогда я приглашаю первого счетчика в империи рассмотреть их. Если бы такой и нашелся даже, то разве его нельзя заставить замолчать и, чтоб отвлечь подозрения, упросить найти такие упущения, которые надобно исправить; тогда эти отчеты воротятся опять в контору, а с двухсотпятьюдесятью тысячами листов разве сладишь скоро? Потом это все пойдет опять в опеку, а там можно будет продержать годок, другой, третий, и кончится тем, что наследникам или надоест это и они бросят все, или мы успеем и состариться и умереть прежде, чем до нас дойдет очередь отвечать за наши действия. Разве не помните истории об отчетах с 1818 по 1823 год? Чем кончилось? Вызвали наследников через публичные ведомости к рассмотрению отчетов в годовой срок. Явился поверенный одного, да как увидал эту громаду, расшил один тюк и взглянул на эти листы, все исписанные цифрами

так, что, по пословице, «курице клюнуть негде»,— махнул рукой, да и был таков. Полежали отчеты с год на месте, не расшитые, потом признали их со стороны наследников обревизованными и переслали назад в опеку. Если хотите, можете полюбоваться ими на дворе суда, подле архива; кажется, половину из них служители пожарной команды уже продали в табачную лавку, да напрасно не продали всех. Никто их не принимал, следственно, и сдавать, а тем еще менее отвечать за них некому. Холст с тюков растащили на онучи. Вероятно, та же участь ожидает и все отчеты по нашему управлению. Чего же тут опасаться? Нам надо только обеспечить себя — это главное, об этом только надобно и думать.

Никогда судья не говорил с опекунами так откровенно. Страшная тягость с них спала. Они ожидали, что этою заторжкою он отобьет у них всякую возможность сосать из доходов имения. Но слова судьи успокоили их и показали, как высоко стоял он сравнительно с ними в искусстве приобретения и как широк был горизонт его. Они молчали, однако, боясь каким-нибудь неосторожным словом изобличить свою тайную мысль, что он их надует.

Но такой ловкий господин, как судья, не мог не понять их затаенной мысли. Не желая уступить им половину в этой операции, которую ему нужно было произвести одному, выдав им только известную часть, он нашел нужным позапугать их немного для того, чтоб заставить их поторопиться, и для того, чтоб они были не слишком требовательны в количестве суммы.

Он встал поспешно с своего места и сказал:

— Кажется, мы говорили довольно. Я требую наконец от вас решительного ответа. Согласны вы — так сейчас пишите об этом постановление, не согласны — прощайте, я сумею найти людей больше вас сговорчивых.

Бедные опекуны не знали, что делать. Они вскочили со своих кресел и мялись на местах своих. Согласиться — значит отдать ему в руки все и ожидать, что он бросит им из милости, как собакам, потому что они знали, что на его великодушие надеяться нечего; не согласиться — значит быть удаленными от должности опекунов, проститься со всеми надеждами и потерять те тысячи, которые заплачены были ими за места. Делать было нечего и надобно было решиться сей же час. Они избрали из всех зол лучшее и голосом, дрожащим и нерешительным, отвечали:

— Мы согласны, Арнольд Осипыч! Только бы нам желательно было... знать... сколько мы...

— Сколько вы можете надеяться получить? — перебил судья.— Не так ли? Замечание ваше совершенно основательно, и я, как честный человек, считаю обязанностью отвечать вам на него с полной откровенностью. Давать больше выгоды какому-нибудь козлу или купчишке даром было бы глупо. Разумеется, мы постараемся взять с него побольше. Положитесь в том на меня — и будьте уверены, что он не свернется. Не скрою от вас, что Белобокин давно пристает ко мне с этой сделкой, но я не находил нужным предлагать ее вам до тех пор, пока не кончатся сроки старым заторжкам. Теперь время это наступило. Я полагаю, что он нам даст двадцать копеек с рубля — и мы разделим это пополам: я — десять и вы — десять. Согласны?..

Опекуны, не ожидавшие такого великодушия, чуть не бросились целовать его руки.

— Согласны, согласны! — говорили они.— Чего желать нам еще больше! Только как нам сделаться с горным чиновником?

— Я полагаю, что можно будет ему предложить три копейки: две от вас, одну от меня,— сказал судья,— согласится — хорошо, не согласится — дело обойдется и без него. Но так как ни я, ни вы,— продолжал судья, обратившись к старшему опекуну,— не можем сделать ему этого предложения, ибо находимся с ним в ссоре, и он может воспользоваться этим, чтобы очернить нас, я буду просить вас, Симон Кондратьич, взять это на себя.

Старичок, смотревший в землю, потоптался на своем месте, пожевал во рту, ударил рукою по набалдашнику своей трости и промычал:

— Хорошо-с, слушаю-с...

Тогда судья подал им обоим руки и сказал весело:

— Теперь, значит, можно писать постановление, не так ли?

— Можно-с,— отвечали опекуны скороговоркой.

Судья позвал протоколиста, и, когда протоколист вошел, лицо судьи приняло прежнее спокойное, суровое и торжественное выражение.

— Садитесь и пишите,— сказал он и начал диктовать: «18... года, октября — дня, мы, нижеподписавшиеся опекуны над имением и заводами гг. Балтановых, принимая участие в затруднительном положении означенного имения

по случаю недостатка денег в заводской конторе для удовлетворения мастеровых и неимению способов к своевременному приобретению всех заводских потребностей, а также провианта для мастеровых и семейств их,— колебания цен, которые не дают возможности с точностью определить количество суммы, на сие потребной,— а между тем имея в виду, что достоинство изделий...»

Здесь судья остановился и сказал опекунам:

— Если горный чиновник не согласится подписать при тех условиях, какие вам известны, то вы скажете: по невнимательности и совершенному отсутствию заботливости со стороны горного чиновника; а ежели он подпишет, то скажете: достоинство изделий, потерявших много в качестве от истощения руд. Понимаете, господа?

— Понимаем,— отвечали опекуны.

— Вы, господин протоколист, оставьте место строчки на две и потом пишите крупными словами «положили», две точки, «приписывая недостаток средств единственно тому, что заторжки на изделия деланы на короткие сроки, через что затрудняется своевременный сбыт изделий, в конторе нет денег и чувствуется оскудение в провианте,— представить об этом Мыльниковской дворянской опеке и просить разрешения: произвести заторжки на выработку изделий на срок от пяти до семи лет, с предоставлением взявшему их права на поставку провианта и других заводских потребностей, в том размере и по тем ценам, какие опекунское управление найдет для пользы имения выгодными, так как, по мнению того управления, это есть единственное средство извлечь заводы из того затруднительного положения, в каком оно было при прежних владельцах». Затем вы подпишите и, оставивши это постановление при делах конторы, с прописанием оного, войдете рапортом в опеку. Опека разрешит вам произвести заторжки на долгие сроки по уважению изложенных вами обстоятельств. Легко может статься, что для отклонения всякого подозрения опека потребует от заводской конторы или от вас лично кой-каких пояснений. Не пугайтесь этого и старайтесь отвечать на вопрос, но как можно неопределеннее. Остальное — мое дело; с вашей же стороны главное — уговорить горного чиновника. Хотя в его согласии и нет большой силы, но все как-то лучше. Теперь прощайте. Я еду в город и по получении вашего рапорта через три дня уведомлю об успехе нашего дела.

Судья раскланялся и вышел.

IV

Заключение

Судья подъезжал к заставе Мыльникова, когда его нагнал щегольской тарантас тройкой, которая была изукрашена кистями, бляхами, лентами, бубенчиками и над которой болтался валдайский колокол на расписной дуге. Откуда вдруг взялся этот тарантас так кстати, чтоб нагнать Марилина,— выехал ли он из перелеска или тронулся из стогов сена, стоящих недалеко от дороги, или, наконец, из огородов — неизвестно. Сидел в нем человек лет 40, с бородкой, в беличьей шубе, с плутовскими серыми глазами и, поравнявшись с тарантасом судьи, высунулся из своего и, сняв картуз, закричал:

— Наше почтение-с, Арнольд Осипыч.

Судья отвечал ему, сняв фуражку, при этом кивнув головою с таким выражением, что в смысле его ошибаться было невозможно и которое очевидно значило: *да*.

Надобно думать, что это было очень приятно бородке, потому что она откинулась мгновенно в тарантас, потерла руки одна об другую — даже сняла шапку и перекрестилась.

— К Арнольду Осипычу! — сказала после этого бородка кучеру.

Въехав в заставу, бородка велела повернуть совсем в противную сторону от судейского дома и приехала к нему с совершенно противоположной стороны для того, чтоб уездные жители не могли подумать, что они въехали в город вместе.

О том, что судья и бородка говорили между собой в кабинете судьи, я не скажу вам ни слова, потому что я не знаю этого. Они все дело устроили так секретно, что никто и никогда не слыхал об этом, только судейские дворовые болтали в кабаке, что барин и купец при выходе из кабинета были необыкновенно веселы, так веселы, как уж давно не были.

Три дня спустя после описанного нами происшествия в журнале дворянской опеки было записано: «Слушали рапорт опекунов над имением и заводами наследников Балтановых от 15 сего октября за № 253, следующего содержания

(здесь прописан рапорт, продиктованный судьею) и справку, по коей оказалось: имение Балтановых состоит в опеке с 18... года, т. е. 10 лет. Душ в этом имении 7431; земли 32353 десятины: все они, как люди, так и земли, приписаны к заводам. Управлялись до сих пор с выгодою для имения, в чем отчеты обревизованы опекой и палатою, и некоторые из них самими наследниками. Чугуна отливается в день от 50 до 60 пудов; перерабатывается в изделия то же количество, в кричное, литейное и фигурное изделия. В настоящее время денег в конторе нет, и из прежних рапортов опекунов видно, что заводская контора затрудняется в удовлетворении мастеровых задельною платою и в преобретении руд, флюса и угля. Приказали: так как опекуны над имением наследников Балтановых удостоверяют, что от истощения руд изделия стали выходить весьма дурного качества, которые в продаже несравненно ниже ценами других, близлежащих заводов, и это подтверждает горный чиновник, на заводе живущий, особою подпискою, взятою от него в опекунском управлении по распоряжению опеки, то посему, а более потому, что, по мнению оного управления, заторжки на краткие сроки — одна из причин, почему заводы терпят нужду в своем продовольствии как провиантом мастеровых, так и изготовлением заводских потребностей,— посему опека находит нужным: разрешить опекунскому управлению произвести заторжки на долгие сроки, от семи до десяти лет, и заключить с желающими контракты, с тем, однако ж, чтобы со стороны опекунов были приняты все меры к охранению выгод наследников и цены на изделия были отнюдь не ниже предшествовавших,— под опасением строгого и законного взыскания, о чем опекунам и послан указ. А как из предшествовавших рапортов опекунов видно, что многие уже изъявили желание взять на себя поставку провианта и заводских потребностей тоже на долгие сроки и это, по мнению опекунов, облегчило бы способы заводов и возможность заводского производства, а тем привело и к успешнейшему управлению заводами и наивозможно большим выгодам оных,— то посему разрешить опекунам, согласно их о том ходатайству, произвести подряды на заготовление провианта и других заводских потребностей на долгие сроки и вызвать для того желающих людей, когда и где управление признает за лучшее, о чем тоже поместить в указе. Но так как подобные действия довольно значительны и опека не желает принять на себя последствий оных в случае,

ежели б они оказались почему-либо неудобными, то, не останавливая посему действий опекунского управления, представить об этом распоряжение Мыльниковской палате гражданского суда для зависящих с ее стороны соображений. За предводителя уездный судья Морили. Заседатель Тонкохвостов. Протоколист Панафутин».

Все здесь написанное было представлено, обсуждено, утверждено, предписано к исполнению и, разумеется, исполнено без замедления.

СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ СЛАВУТИНСКИЙ

(1821—1884)

Мирская беда*

Рассказ

(Посвящается княжне Н. А. Оболенской)

Своя рубашка к телу ближе.
Русская пословица

I

Село Байдарово — самое большое селение в ...ской губернии: в нем считается теперь с лишком восемь тысяч жителей обоего пола. Оно занимает привольное место, почти на самом берегу большой, судоходной реки, одной из кормилиц земли русской. Выгоды этого положения очевидны. Хотя многие из крестьян нашего села живут и промышляют на стороне, однако в нем всегда заметно особенное, суетливое движение. Байдарово, в ущерб своему уездному городу Суходолу, служит для всего уезда центром торговли, которая и привлекает в него на постоянное житье немалое число купцов и мещан из двух соседних городков. Есть в Байдарове большие, безобразной «купеческой» архитектуры, каменные дома с неуклюжими деревянными пристройками; много лавчонок с «красным» и всяким другим незатейливым товаром; несколько процветающих питейных домов, три трактира, да под тридцать больших постоялых дворов, с длинными, темными навесами; есть тут еще одна суконная фабрика, несколько кожевенных, свечных и мыловаренных заводов и, наконец, многое множество мелких домишек, выстроенных большею частию на стать уездных городков наших и тесно лепящихся один подле другого.

Окрестности села Байдарова не живописны, но в харак-

* Рассказ этот был помещен в июньской книжке «Современника» за 1959 год, под названием: «Своя рубашка». *(Примеч. автора.)*

тере их есть что-то напоминающее обаятельное раздолье степей: в одну сторону от села расстилаются широкой и немного покатой равниной, далеко убегая из глаз, богатые, поёмные луга, по которым извивается в отлогих берегах многоводная, величавая река; с другой — тянутся серопесчаные поля, обставленные, вдали от Байдарова, на самом краю горизонта, малыми холмами, которые во многих местах пересекаются рощами; тут же, как стражи этих полей, стоят два огромные кургана, следы давней жизни.

В этих местах ...ской губернии повелась давным-давно русская жизнь. Село Байдарово уже не одну сотню лет стоит на теперешнем месте; много событий, имевших великое значение для земли русской, пронеслось и над ним. Не один раз, и в течение долгого времени, шли тут, рассеивая повсюду смерть и погром, полчища кочевников; но не перевелась жизнь в Байдарове. У жителей его в старые годы были защита и спасенье: с одной стороны — в той широкой реке, близ которой находится их селище, так как через нее нескоро можно было перебраться кочевникам, а с другой — в примыкавших вплоть к нему, непроходимых лесах. Времена тех великих скорбей уже давно миновали; русский народ вообще незлопамятен, он помнит немногое о бедах своих, но это немногое увековечивает по-своему: в память татарских нашествий он зовет Млечный Путь *Батыевой дорогой*.

Есть еще и мифические воспоминания у жителей здешнего края. Помнят они, что во времена стародавние жили в этих местах люди другого племени, иного разбора — и не чета они были теперешним мелким человечкам: то были богатыри, ростом выше леса стоячего, сильнее не в пример Ильи Муромца. Жили они просто-напросто, небольшими поселками, посреди непроходимого бора. Нужды их домашние были очень просты — на семь поселков был у них один только топор, который пересылали они из поселка в поселок, перебрасывая его поверх боровых деревьев. (Впрочем, это был такой топор, что впоследствии, когда перевелось племя богатырей, мужики племени теперешнего, найдя его как-то, выковали из него столько сошников, что достало про всех обывателей семи больших деревень.) Богатыри были нелюдимого нрава и жили одни-одинехоньки, никогда не допуская в свое общество женщин. Неподалеку же от их поселков проживали отдельно богатырши, к которым, по временам, захаживали богатыри в гости. Так-то

велось это племя долго-долго, как вдруг случилось следующее странное происшествие: раз пахал пашню один из богатырей (знать, они тоже занимались земледелием), и пахал-то, видно, очень усердно: пройдет только раз сохою — и целая десятина готова. Но вдруг увидал он, что чуть было не наступил на какую-то странную тварь, которая тоже как будто пахала; богатырь наклонился, поднял с земли и крохотного пахаря, и крохотную его лошаденочку, взял, уместил их на широкой ладони, посмотрел-посмотрел, да и хотел раздавить, как гадину. «Нет! не тронь! — молвила, загорюнившись, случайно тут бывшая богатырша.— Знаешь ли ты, что это такое?.. Это, вишь, народились новые люди. Мы-то все изомрем скоро, а в наше место будут все вот какие человечки — и поведется такое племя по конец земли...» И точно, говорит предание, скорехонько после того перевелись богатыри в этом крае, а на место их шибко развелась нынешняя мелкота-люди.

Байдаровцы — народ довольно развитый (между ними весьма много грамотников), бывалый и трудовой. Много мозолей изнашивают их жесткие пальцы и много денег переходит чрез их руки; но та беда — доля у них бесталанная: огромному большинству их, что называется «миру», трудовая копейка вот уже давно нейдет впрок. Завелась у них на селе, в самой сердцевине «мира», такая мерзкая тля, которая постоянно портит да портит их дело, но об этой тле после, а теперь скажем несколько слов о труде и промысле байдаровцев. Они — бондари на многие места России. Где только нужны особенно бочки, бочонки и кадки, там уж непременно найдете бондарей из Байдарова. Весь Новороссийский край, а особенно Южный берег Крыма, хорошо знает наших бондарей. Многие из них достают от своего промысла в год рублей по семисот, по тысяче ассигнациями, а иной раз и с залишком. Около двух тысяч человек ежегодно уходят из Байдарова на сторону, для бондарной работы. Все это прекрасно для всяких отчетов и статистических описаний, но та беда, повторяем, что трудовая копейка нейдет как-то впрок смышленым бондарям байдаровским.

Описываемое нами село принадлежало прежде знаменитому богачу N. Байдаровцы жили при нем зажиточно и спокойно. Но как ни хороша была жизнь *за барином*, а байдаровцам давно хотелось перемены, хотелось пожить на своей воле. В 18... году, узнавши, что барин, постоянно живший до

тех пор за границей, воротился в Россию, байдаровские крестьяне решили проситься на волю у доброго барина. Весь *мир* крепко ухватился за это предположение, но всех более хлопотал бурмистр байдаровский Тарас Вороненков, смышленый и ловкий мужик, умевший и дело делать, и в мутной воде рыбу ловить. По его совету мир байдаровский отправил к помещику «ходоков» просить милости, чтобы соизволил отпустить на волю свою вотчину.

Барин сначала удивился такой просьбе.

— Разве нехорошо вам у меня? — спросил он довольно сердито у депутатов.— Чем же вы недовольны?

— А нету, батюшка, ваше превосходительство! — отвечали депутаты.— Всем мы довольны от вашей милости, дай господи много лет здравствовать!.. Да все, то есть оно, тово, словно лучше будет... ведь, батюшка, и не ровен час...

— Ну, вот, на что это похоже? — промолвил совсем разгневанный барин.— Настоящие мужики, то есть дураки!.. Пошли вон с глаз моих!..

Приуныли байдаровцы, когда узнали про отказ на свою просьбу и про гнев барина.

— Вишь ты, ребята,— заговорили было некоторые крестьяне на сходке,— точно, кажись, не надо бы нам затевать эвто дело...

— Ну, вот рассудили! — возразил бурмистр.— Эк вы!.. унывать лишь не надо, а рано ли, поздно ли, дельцо беспременно выгорит — ведь вода по капле камень долбит... А то уж с первых разов и пятиться стали!..

Вскоре после того сам Вороненков отправился к барину и повез порядочную — конечно, от мира собранную — сумму для подарка влиятельному камердинеру г. N. Мера эта была очень успешна. Камердинер постарался внушить барину мысль, что не стоит держать за собою крестьян, которые так неблагодарны к его милостям и попечениям о них, которые, не умея ценить той счастливой доли, что состоят за таким великолепным господином, осмеливаются добиваться свободы. Впрочем, может быть, не добился бы успеха и таким образом Вороненков, если б сама судьба не помогла его планам: барину понадобилось, скорее предположенного, ехать опять за границу, а вместе с тем понадобилась ему крупная сумма — и он решился отпустить на волю село Байдарово.

Он отпустил это имение за два миллиона ассигнациями:

при самом начале дела об отпуске он получил с крестьян шестьсот тысяч, да вскоре получил из опекунского совета, где для облегчения всей операции заложил Байдарово, с лишком восемьсот тысяч: остальную сумму, с чем-то пятьсот тысяч, крестьяне должны были выплатить в известные сроки; долг опекунскому совету, конечно, на них же остался. До окончательной уплаты долгов бывшему помещику и совету крестьяне байдаровские должны были считаться не вполне еще получившими свободу.

Рассказывать ли подробно, как при сборах денег на первоначальный взнос помещику и на всякие хлопоты у многих крестьян победнее да посемьянистее жилы вытягивались?.. А между тем позабыли или не догадывались они про существование земских чиновников...

А Вороненков добился своей цели: он был выбран единогласно головою и стал с этих пор полновластным хозяином в Байдарове. Ему уже никто не мешал распоряжаться мирскими делами, мирскими деньгами, даже личностью крестьян. Повсюду нашел он поддержку своим намерениям, направленным к тому, чтобы как можно больше нажиться на счет мирской.

Действия его были ловки и смелы, да и обстоятельства сильно тянули на его руку.

Он легко убедил мир, что для успешного ведения дел общественных нужно иметь на своей стороне всех главных уездных чиновников и многих губернских. Всякие чиновники проторили себе широкую дорогу в Байдарово; в нем вдруг завелось, на случай приезда и проезда чиновных особ, три «въезжих дома»: один — для крупных, «набольших» чиновников, другой — для средних, третий — для разной мелкоты чиновничьей. Байдарово лежит на большой дороге из губернского города в уездный. Когда разные «сановники» проезжали по этой дороге, земская полиция всегда так пригоняла, чтобы в Байдарове устраивались обед, ночлег либо закуска для «знатного» путешественника. За день, за два до благополучного «проследования» приезжал обыкновенно в село становой, а то и сам исправник, и призывал к себе голову Вороненкова. Тарас Семеныч являлся в сопровождении нескольких человек, выборных от мира.

— Ну, братцы,— говорил становой или исправник, поздоровавшись сначала с головою, — а я вам хорошую новость привез: NN изволит завтра или послезавтра про-

езжать через ваше село. Все ли готово у вас для приема?..

— Помилуйте,— отвечал Вороненков,— да у нас завсегда все готово...

— Я в этом наперед был уверен. Ты, Тарас Семеныч, просто золотой человек для целого вашего общества, да и для нас тоже; ведь много, братец, значит, когда такая особа останется довольна, проехав через село, где квартира славная, хоть бы в городе такая была... и в таком все порядке... ну, и тово... угощение... А для вас-то, байдаровцев, как это выгодно и полезно! Ведь такое лицо всегда может поддержать, оказать милость. Право, бога надо благодарить... Так или нет, братцы?..

— Как же, батюшка!.. много довольны за неоставление...— отвечали, бывало, в один голос Вороненков и выборные,— первый, впрочем, очень громко и весело, а последние — гораздо тише и даже как-то робко.

— Ну, да, да! — продолжал важно чиновник.— Нельзя не ценить... я знаю... Так ты, Тарас Семеныч, распорядись же!.. Видишь ли: этот господин изволит следовать со свитою; ты сначала, разумеется, хлеб-соль поднесешь,— ну, а главное, чтобы все было готово на квартире...

Под конец разговора предусмотрительный чиновник говорил иногда вполголоса голове:

— Ты смотри тоже, Тарас Семеныч, как бы тово... как бы не обеспокоили... знаешь? — разными глупостями, просьбами не дельными, жалобами...

— Не извольте беспокоиться,— отвечал голова нарочно громким голосом,— у нас таких людей нет в обществе, благодаря бога... Всякого у нас народа много, есть и маломысленные, а озорников не имеется... Что бога гневить — живем спокойно, по милости начальства!..

И Вороненков отлично распоряжался при встречах начальства.

На первостепенной квартире всего оказывалось вдоволь: и отличной рыбы, и дичи, и вина, и фруктов из оранжерей соседнего помещика. Чин чином происходили встречи знатных путешественников. «Особа» выйдет из экипажа медленно и важно, величественно подойдет к тесно сжавшемуся народу, еще важнее и величественнее примет хлеб-соль от головы, потреплет его по плечу и промолвит с благосклонною полуулыбкою: «А, голова!.. здорово, мой милый. Ну, что, как ты? подобру-поздорову?.. В прошлый раз, как я

тебя видел, помнится мне, ты не был так сед...» Само собою разумеется, «особа» остается отменно довольна помещением в Байдарове, сохраняет надолго благосклонное воспоминание обо всем этом, а приехавши в губернский город, рассказывает тамошним аристократам: «Вы не поверите, как они приняли меня!.. удивительная, чисто русская преданность!.. Это даже трогательно!.. народ истинно-признательный. И что́ странно? промышленность не испортила их — редкий случай. Впрочем, и чиновниками тамошними я очень доволен: большею частию хорошие, ловкие люди. А голова байдаровский!.. право, дайте ему порядочное образование — в советники годился бы!..»

Конечно, эти проезды много помогали Вороненкову: крестьяне хорошо видели ласковую внимательность высших начальников к Тарасу Семенычу, и стали они уважать его подобострастно, а бояться пуще огня.

Да, все эти потехи недешево обходились миру байдаровскому.

Поборы с крестьян сделались чрезмерно велики и с каждым годом еще увеличивались. Не все были поборы... Против прежнего времени, тяга каждого крестьянина увеличилась в несколько раз. Впрочем, все сборы и поборы с байдаровцев, бывшие в ведении Тараса Семеныча, записывались в особые книги, и расход по ним выводился благоприлично, копейка в копейку. В конце каждого года Вороненков предъявлял на миру общественные расходы и всегда добивался утверждения их. При этих случаях он поступал ловко и предусмотрительно. В передних рядах мирского схода становились люди преданные Тарасу Семенычу, такие притом, у которых горло было широкое, да тут же стояло несколько богатых мужиков, более или менее приятелей Вороненкову и равнодушных к мирским делам, и, наконец, первые ряды схода замыкались крестьянами, «у которых голова с рожденья клином сведена», а мужичкам позубастее приходилось оставаться позади. Правда, Вороненков встречал иногда оппозицию — не по поводу расходов, а поборов,— но она не сильна бывала; напротив, высказывалась робко, непоследовательно и неумно. Случалось, что иной мужик промолвит, глядя на всех исподлобья и избегая глаз Тараса Семеныча:

— Да что ж эвто, ребята, поборы-то все год от году прибавляются?.. Вон на нонешний год опять накинули!.. Право слово, почитай, и невмоготу становится...

— А и то, никак...— отзовется несколько голосов, большею частию из задних рядов схода.

И при этих словах вдруг водворяется мертвая тишина.

— Эх, умные головы!..— возражает глухим протяжным голосом Вороненков.— Не под силу, право, и дела-то с вами вести! Трудишься, трудишься для мира, а все ничего не поделаешь. Вот теперича Фомка целый мир смутьянит. А человек-от он какой важный, есть кого послушать: голь, бездомовник, а тоже миром хочет заправлять!.. Ну, что ты, леший, горло-то дерешь?.. Поборы большие!.. Да разве поборы не по нужде делаются? Ведь в совет надоть платить и барину надоть... а чиновникам-то — перестать, что ли, давать? Сами же вы хотели откупиться — ну, и должно дотянуть дело до конца. Оно и тяжеленько, да как быть-то? Мы теперича не то казенные, не то бог весть какие, так тут, знамо, не без лишних расходов... А мне-то мало труда достается? Сколько раз в «губернию» скатаешь, а не то что в уездный город... Ломаешь-ломаешь старые кости-то; из-за всякого мирского дела все я же в ответе!.. Ну, да что толковать? Дураков учить что мертвых лечить. А коли так, вы ослобоните меня из голов, а у начальства я уж вымолю себе отставку. Что ж, православные, мне, ей-ей, невмочь, больно стар становлюся, пускай другие миру послужат... Да вот чего лучше? Фома Игнатыч головой будет в мое место. Важно, чай, станет заправлять мирскими делами!.. А мы со сторонки поглядим, как Фома Игнатыч хлеб-соль поведет с чиновниками, как будет ладить с ними по делам-то и как дела-то пойдут!.. Ослобоните, братцы, в честь прошу!..

— Что ты, что ты! Тарас Семеныч! — раздаются крики со всех сторон.— Да мы без тебя, словно малые ребята без отца, без матери!.. Ты начал дело — тебе и кончать... Все начальники тебя знают, доступ имеешь, все тебе — рука... Нет! ты уж не покидай нас!.. А Фомке-разбойнику мы рот-то зажмем!..

И накинется тут, бывало, народ православный на бедного Фомку, как на истого врага своего. Когда же, после учетного схода, начиналась попойка на счет головы, Фомке приходилось бежать со сходки: так сильно разражались над ним брань и угрозы подгулявших мирян. С своей стороны и Вороненков не оставался у Фомки в долгу за дерзновенное покушение на его власть: в первый же рекрутский

набор сам Фомка, или сын его, либо кто-нибудь из семьи уж непременно отправлялся на царскую службу.

Старый и малый в целом Байдарове сильно боялись Тараса Семеныча, а коли боялись, значит, весьма уважали. Бывало, только покажется он на улице, тотчас же все снимают шапки и в пояс кланяются.

Тарас Семеныч Вороненков пользовался уважением со стороны и соседних крестьян, езжавших на базары в Байдарово. Имя его было известно на далекое пространство; многие помещики частехонько выставляли его в пример своим бурмистрам и старостам. «Вот Вороненков,— говорили они,— так настоящий бурмистр, даром что великая шельма!.. Боятся и уважают его в целом Байдарове. Да еще какими крестьянами он управляет? сущими разбойниками, которые издавна и страшно перебалованы,— ведь все на оброке были, да и оброк-то какой!.. Дай бог, чтобы наши крестьяне нас самих так боялись!.. За то и порядок ведется!..»

Может быть, многие бурмистры и старосты желали бы взять себе в пример Вороненкова — да куда! никак не угоняешься за таким зверем. Да, вот каков человек он был: сами чиновники, и даже многоопытные в жизни, не считали для себя предосудительным советоваться с ним о собственных делах. И молодец Вороненков! он скоро понял значение свое среди этой чиновничьей братьи, «ублаготворяемой» им на счет мирской: с достоинством держал он себя между ними, не поддавался их прихотям и ублажал их настолько, насколько нужно было ему для его планов.

II

Один лишь человек во всем Байдарове нисколько не боялся Вороненкова, ясно видел все его вредные для мира действия, от души его не любил; но человек этот махнул рукой на все, по особым причинам вовсе не вмешивался в мирские дела и даже никогда не ходил на сходы.

Звали его Прокофьем Григорьевым Терёхиным. Он был уже старик лет семидесяти, кожевник по промыслу. Промысел этот достался ему от отца, под руководством которого он и начал заниматься делом. Никогда не работал

он на чужой стороне, а все жил безвыездно в Байдарове и очень любил свое родимое селение. Раз он так сказал про него:

— Всю нашу землю изойди, а не много найдешь таких привольных мест, как вот наше село. Земля хоша скудная, да вдоволь ее; а луга-то какие!.. Река-кормилица... Кругом в деревнях — люди все больше зажиточные, можно и дома важно работать: про всех работы достанет. А на чужу сторону зачем ходить?.. Оно бы нешто, коли б только работали, а то балуются... известно,— человек по году дом и семью не видит. Ну и еще есть причина: оттого, пожалуй, что врозь живут, и дома-то врозь смотрят — про мирское дело кому тут позаботиться!..

Прокофий Терехин был очень зажиточный крестьянин. Дом у него был, как полная чаша; кожевенное заведение — большое и исправное; всяких пожитков и домашней рухляди достало бы про несколько больших семей. Кроме кожевенного дела, в последние пятнадцать лет своей жизни он занимался торговлей рощами, и дело это сильно шло ему в руку: капитал у него был уже довольно значительный. Усчитывали на селе, что у него в сундуке должно быть свободных денег тысяч тридцать ассигнациями.

Наружность Прокофья Терехина была характеристическая. Это был видный собою старик среднего роста, широкоплечий и сильный, с широким, свежим лицом, с седоватою окладистою бородой, с открытым, но серьезным и даже несколько суровым взглядом.

Он был чрезвычайно трудолюбив и всегда делом занят, даже в праздники не отдыхал за бездельем. В слове своем он стоял твердо, в деле был честен, в отношениях к людям прост и правдив. Но вообще в характере его много было суровости. На это были тоже особые причины. С молодых еще лет своей долгой жизни он начал «обмирать»; после смерти отца и матери погибли преждевременно и бедственно два его брата, молодцы ловкие и преданные ему товарищи в деле; а потом стали умирать у него дети, которых много было и из которых остался один только сын. Старик горячо любил свою семью, и трудно было ему видеть, как год от году эта большая, прекрасная, ладная семья таяла, словно вешний снег. О несчастных утратах своих он имел одно крепкое убеждение: думал он, что посылаются от бога на него наказания не столько за грехи его собственные, сколько за грехи его отца, который точно был человек нрава

тяжелого и даже жестокого, а смолоду много погрешил. Но кроме этого убеждения, семейные утраты и еще имели на Прокофья Григорьева много влияния: он стал несообщителен с людьми посторонними, на все, что не прямо до него касалось, смотрел как-то подозрительно, холодно и без участия, а под конец сделался скуп, «жаден на деньгу» — как выражались о нем в Байдарове. Не изменил он при этом честности своей, но тем не менее, казалось, только в усиленном приобретении состояния он и находил себе утеху. В последние же пять-шесть лет было заметно в трудовой его деятельности что-то напряженное и беспокойное.

Обращение старика Терехина с семейными своими и работниками было ровное, спокойное, требовательное, строгое. Для всех в дому он указывал работу и занятия; только жене своей Катерине, женщине печальной от потери детей и набожной, он предоставил полную свободу в действиях. Но с сыном Иваном он обращался особенно строго.

И странно казалось, почему так суров был старик к Ивану, сыну безответному и вовсе неспособному выйти из воли отцовской, к человеку, в котором ни разу не проглянули вредные свойства или поползновения к чему-нибудь дурному. Иван был очень красивый собою молодец, лет уже под тридцать, темнорусый, голубоглазый, со взглядом приветливым и кротким. Он был роста высокого, но жидок и слабосилен; а во всей физиономии и осанке его отражалось что-то задумчивое и робкое. Вообще для лет своих он был уже чересчур моложав; голос у него был тих и нежен, как у девушки; движения — порывисты, неровны и торопливы.

Вот за эту-то торопливость строгий отец много попрекал Ивана.

— Словно ты мальчик махонькой! — говаривал старик Терехин сыну.— Ну, что ты мечешься очертя голову? Разве так надо дело делать? Ведь надо всмотреться, да приняться не со сполохом, сразу не надсаживаться,— дело-то, смотришь, и пойдет. Семь раз примерь да один отрежь — вот оно и крепко будет. А то, словно в пожар, торопится!.. Да и в пожар не надо торопиться...

Впрочем, Прокофий никогда не изобидел сына своего ни грубым толчком, ни даже бранным словом. Он любил его чрезвычайно, только не был нежен с ним: в нраве его не было мягкости.

Раз он жаловался Катерине на пустую торопливость Ивана:

— Хоть что хошь ты — нету с ним толку. Так-то, пожалуй, и мало проку выйдет!

— А ты, Прокофий Григорьич, не замай его... Запугаешь больше попреками...

— Да что он — махонькой, что ль?.. Я ничем его не обижаю. Ни разу не поучил, как меня-то, бывало, за все про все отец учивал. Не любил, покойник, потачки давать, чуть что не по нем...

— Нет! уж ты, ради господа!..

— Да знаю, знаю я! Слышь — николи не трону. Ведь ты ж видела, я и допрежь того... Господь с ним! мил он мне, больно мил... только не могу вот утерпеть, чтоб не попрекнуть иной раз: заторопится, замыкается, да все невпопад!.. Ты бы, Катерина, поучила его, да поговорила бы, чтобы он хорошенько в дело вглядывался, а пуще всего,— не торопился бы.

Когда начинается наш рассказ, Иван уже восемь лет был женат. Как только исполнилось ему двадцать лет, старик женил его. Алена, жена Ивана, была славная женщина. У них уже было трое сыновей; Иван любил без памяти и детей, и жену. Старик Прокофий не нарадовался на внучков; особенно любил он старшего, который видом и нравом своим походил на дедушку.

О женитьбе Ивана надо сказать здесь еще несколько слов.

За полгода перед этою женитьбой голова Вороненков засылал к Прокофью Терехину верного человека передать старику, что, дескать, голова не прочь будет породниться с ним, что за дочерью своей Ульяной даст он хорошее приданое.

— Нету! — отвечал наотрез Прокофий.— Что нам с ним родниться? — неровня мы ему!.. Вишь, он, словно барин, аль какой чиновник, даром что бороду по-нашенски носит. Пускай отдает дочку за какого ни на есть приказного, а то, может, и купец ее возьмет... А нам что с ним в родню входить! Мы люди простые, на счет мирской не живали и напредки жить не будем. Слава те, господи, есть у нас достаток, честно нажитый, с нас и довольно. Нам что надобно? нужен нам в семью человек хороший, хоша бы и небогатый...

Конечно, Тарас Семеныч Вороненков не мог простить

такую обиду. Он и давно недолюбливал Прокофья Терехина, а теперь возненавидел его и всю его семью.

— Эхидная семья эвта,— говорил он иногда приятелям своим,— кому как, а уж мне она!..

Однако Вороненков не решился явно раздорить с стариком Прокофьем. Много причин останавливало его от этого: Терехин так жил на селе, что не за что было придраться к нему, да и в миру его уважали. Случалось, некоторые байдаровцы, и довольные и недовольные Вороненковым, проговаривали о Терехине, что вот, мол, и Прокофий Григорьич знатный был бы начальник, хоша и оченно крутенек нравом,— и такие речи не встречали в миру возражений. Смутное чувство самосохранения шептало Вороненкову, что не следует ему затрагивать Терехина, что этот человек может быть ему врагом опасным, что борьба с ним была бы крайне трудна, а исход ненадежен.

«Вишь, проклятый! — думывал он с мрачной злобою о старике Прокофье.— Словно черт в болоте поселился — и не выживешь из болота-то!.. Ведь богат, леший, переходил бы в купцы — так нет!.. Уродится же такой человек, ни за что ты с ним не поладишь. Породниться хотел — так куда тебе!.. Эвту обиду николи не прощу... То хорошо, по крайности, что он на сходы не ходит, в дела мирские не суется. А все надоть бы мне саструнить эвтого старого волка: думается иной раз, как бы он под меня не подыскался!..»

Но напрасно так думалось Тарасу Семенычу. Терехин нисколько не заботился о ходе мирских дел. Все поборы платил он бездоимочно и по первому требованию и ни разу не выразил желания дознавать, отчего они с каждым годом увеличиваются. Раз только сказал он сборщикам всяких мирских податей:

— Опять прибавили на нонешний год. Эк вам неймется! Больно лакомы стали, пора бы и честь знать...

— Мы-то чем виноваты, Прокофий Григорьич? — возразили сборщики.

— Толкуй, толкуй!.. Вишь невинные, беспричинные!.. то уж не овца, что с волком в лес пошла... Мироеды вы!..

— Что ты!.. Бога побойся, Прокофий Григорьич! Мы, ей-ей, тово... Да и кого эвто величаешь так?..

— Кого?.. Что ж ты думаешь, побоюсь правду сказать?..

Главный-то мироед — Тарас Семеныч Вороненков, голова наш мудреный, да и вы с ним тоже.

— Сказать-то — не штука, а ты доказал бы. А то так с ветру...

— Нет, не с ветру!.. Мало ль что я вижу, да молчу? Своего дела у меня довольно... стар я... да что тут?.. Вот коли б мир наш смысл имел, ладен был, пожалуй, я и доказать взялся бы. Ну, да что по-пустому калякать? Берите-ка денежки,— вот вам бог, а вот и порог.

Разговор этот дошел до головы Вороненкова. Чрезвычайно озлобился он на старика Терехина, но опять сдержался. Наконец выпал-таки случай, по которому оба эти старика сделались отъявленными врагами.

III

Дело вышло вот из-за чего.

Был у Прокофья Григорьева родной племянник, сын его единственной сестры, Абрам Федотов Суслов, малый молодой, неглупый, нраву веселого и доброго, но чересчур гулливый, озорной подчас, и мастер большой позубоскалить, подсмеяться, за что и слыл он в Байдарове под именем «Абрамки-Балахирева»[1]. Малой этот жил постоянно на стороне, в калашниках и прянишниках, и являлся домой только в рабочую пору, да на рождество. Во все время святок он много, бывало, кутил и без устали потешал народ своими выдумками и шутовскими проделками; перебывал он во многих городах, видал балаганное паясничанье и любил сам представлять перед народом разные штуки. Отец его, человек смирный и робкий, беспрестанно его останавливал; дядя Терехин вчастую бранил за «безделушничество», а раза два и голова Вороненков сильно тузил его за «озорничество», но Абрамка все не унимался.

Вот как-то, тоже о святках, Абрам Суслов больше обыкновенного раскутился.

Надо сказать здесь, что Тарас Семеныч, кроме официальных сходов, не жаловал никаких сборищ, особенно же святочных — сборищ всегда шумных, а иногда и буйных. Он не мог совсем запретить их, но при всяком случае грозно изъявлял свое начальническое неудовольствие. По-

этому, чтобы не наводить на гнев голову, гулливый народ собирался где-нибудь подальше от его двора. На тот раз, когда случилось описываемое нами происшествие, такое сборище было в избе кузнеца Антона.

Просторная, с низким потолком, горница была битком набита народом. Несколько сальных огарков, оплывших от жара, тускло горели в грязных бутылках, вполовину освещая закоптелые стены и веселые, разрумяненные лица. Зрители всюду поместились — с печи и с полатей рядком торчали головы. Несмотря на тесноту, посредине избы очистили небольшой кружок. Здесь, прислонясь к столбушке возле печи, стоял молодой, видный собою парень в александрийской рубашке. Подле него находился «дружко», который громко выкликал: «Не желает ли кто из красных девушек, из молодых молодушек доброго молодца из неволи выкупить?»

Выкупом, разумеется, был поцелуй. Но кто ни подходил — всем отказ, пока девки, с громким смехом, не вытолкали из середи себя дюжую и красивую Параню, сердечную зазнобушку Егора,— того парня, что стоял у столбушки. Закраснелась Параня, закрыла лицо рукавом, подошла, опустив глаза, и низехонько поклонилась. Егор улыбнулся, встряхнул кудрями, обнял девушку, поцеловал ее три раза в обе щеки и отошел от столба. «Выкупив» парня, Параня заняла его место. Так игра продолжалась до тех пор, пока все друг с другом перецеловались.

— Ряженые! ряженые!..— вдруг вскричали несколько голосов.

Дверь широко распахнулась, и в нее, вместе с клубами морозного пара, ввалилась ватага новых гостей, в самых безобразных, уродливых нарядах. Впереди всех старичишка, с накладным горбом и длинною льняной бородою, выкидывал ногами какие-то мудреные коленца, а сам наигрывал на гармонике; за ним едва двигался неуклюжий медвежонок, которого с визгом и хохотом все толкали, кто рукой, а кто и ногой; дальше выступал леший, а там вытягивал шею журавль. Наряды их были незатейливы, большую роль играли овчинные тулупы, надетые на разный лад и навыворот. Пришел и рыбак, уселся на полу и с разными приговорками да прибаутками, начал закидывать удочку, ловить «рыбу с руками и ногами». Девки и бабы, которых старался он зацепить за платье, вырывались от него, бегали, визжали... Крик, смех, возня!.. За всем этим гамом

не слыхать уже стало ни гармоники, ни двух балалаек.

— Смотри-кось, малый,— говорил парень с дурковатой рожей, широким носом, рыжий, как огонь,— ведь эвто Абрамка, никак журавлем-то?

— И, нет, малый! — отвечал другой.— Журавлем Петруха Гладышев, а Абрамка вряд ноне придет.

— Что так?

— А как же!.. Вечерась, как он чертом приходил, Сенька поколотил его — инда у Абрамки кровь носом полила. Больно озорноват Сенька!..

— Он в надежде, что сестра его в работницах у Тараса Семеныча...— молвил третий.

— Молчи, покамест цел! — предупредил его товарищ.

Но Абрамка был незлопамятен, да и что ему был какой-нибудь пинок или колотушка, когда дело шло о веселье? Как скоро затевали где игру, ему уж не сиделось дома. Если он сегодня опоздал, так потому только, что не все еще сборы его были кончены. Закадычные друзья его, Тереха да Гаранька, не скоро заучили, что́ надо, а без них нельзя было обойтиться. Абрамка-Балахирев затеял такое представление, какого никто сроду не видывал в Байдарове.

В то время, как всего менее о них думали, трое приятелей явились как тут на вечеринку. Абрамка — впереди, двое других немного поодаль. Абрамка шел степенно и важно,искоса поглядывая то на ту, то на другую сторону, палочкой изредка в пол постукивая и поглаживая льняную, клином остриженную, бороду. У Абрамки углем выведены густые, черные брови; на нем синий суконный кафтан — уж бог весть откуда достал он такой — и выворотные сапоги. Как взглянули на него, так и покатились со смеху: живой, как есть живой Тарас Семеныч: и поступь такая же, и взгляд, даже рост,— Абрамка маленько съежился, да и левой бровью точно так же беспрестанно подергивает. А как заговорил Абрамка — хохотня удвоилась.

Посередине избы товарищи Абрамки засуетились около него и стали очищать ему дорогу.

— Посторонитесь, посторонитесь!..— говорили они.— Аль не видите? *Сам* Тарас Семеныч идет!..

И толпа со смехом раздвигалась, ожидая, что начнется что-нибудь занятное. Она не ошиблась.

Тарас Семеныч выдвинулся вперед, оперся на палочку, понасупил брови и протяжно крикнул. С низкими

поклонами подошел к нему Тереха, одетый в какие-то шутовские лохмотья и весь испачканный сажею.

— Батюшка, Тарас Семеныч!..— заговорил жалобным голосом Тереха.— Позволь срубить в лесу хворостинку, утром выгонять скотинку.

Тарас Семеныч затопал ногами и застучал крепко палкою.

— Ах ты, разбойник! такой-сякой!.. Про твою ли харю лес растет — казна его стережет?.. Слыхано ли, видано ли — в лес тебе ходить, да в лесу-то хворостины рубить?.. Да я эвту хворостину обломаю о твою же спину!

— Батюшка, Тарас Семеныч! положи гнев на милость! Выслушай ты наше глупое слово, а у нас про тебя угощенье готово.

Тут Тереха подал какой-то кулек. *Тарас Семеныч,* с разными ужимками, заглянул сначала в кулек, потом взял его и привесил в руке.

— Ладно! — говорит, ударив мужика по плечу.— На гостинце спасибо — бери что́ тебе любо... Да ты не токма хворостинку, стяни хоть осинку. Только гляди-озирайся, на глаза не попадайся.

Тарас Семеныч опять застучал палкою.

— Позовите,— говорит,— сына моего Макара Тарасыча.

Подбежал Гаранька, представлявший сына.

— А где ж ты, Макарушка-болванушка, пропадал? Аль во кабаке на мои денежки гулял?.. Смотри ты, Макар, я те как раз вспорку задам!.. Ах, сын ты мой любезный! не будь разиней-зевакой, а будь такой же, как я, собакой... Вот, смотри-кось, ни из кожи я, ни из рожи, а хожу-то теперь не в рогоже. Смолоду я в поле скотинку гонял, а схитрил-помудрил, так и в головы попал! Ну, помни же крепко мое наставленье, а вот тебе родительское благословенье!..

И вслед за этими словами Абрамка, к пущей потехе зрителей, начал преусердно тузить терпеливо игравшего роль свою Гараньку.

— Ах ты!.. животики надорвешь!.. вишь, леший его как разбирает!..— говорили в толпе.

— Настоящий, как есть Тарас Семеныч!.. И ругается, словно он же!..

Один только пожилой, пасмурный мужик, казалось, был недоволен представлением: он все покачивал головою и частенько приговаривал: «Неладно! неладно!»

— Эх, малый! — молвил он громко, обратившись к Абрамке. — Шут ты настоящий, что и говорить, а не похвалил бы тебя Прокофий Григорьич, кабы увидал за такими делами.

Абрамка оглянулся. Имя дяди, как упрек совести, кольнуло его, и на минуту он было смутился. Но, тряхнув забубенной головою, он опять вошел в роль и продолжал представление как ни в чем не бывало.

— Что и смотреть-то! — сказал пожилой мужик, увидав, что его увещание пропало даром. — Бесам только на потешенье!.. Тьфу!..

И он пошел из избы.

— А и то... — заметил другой мужик, — дядя Кузьма дело говорит. Пустые эвто потехи. Узнает Тарас Семеныч, ведь как достанется!..

— Что ж, дядя Аксен? — спросил дурковатый, рыжий парень, разинув огромный рот. — Небось осерчает?..

Не успел дядя Аксен ответить, как вдруг Абрамка, в жару своей потехи, задел рыжего парня совсем нечаянно, но очень больно; рыжий дал ему сдачи, а Абрамка изо всей мочи полоснул его по голове. Рыжий взвизгнул и бросился вон из избы опрометью. На улице он догнал мужика, порицавшего представление.

— Куда так бежишь? — спросил мужик.

— Домой... — отвечал нетвердо рыжий.

— А что ж не смотрел?

— Абрамка побил...

Мужик покачал головою.

— Знамо, все дурости, так дурость и выходит, — произнес он наставительно.

А между тем в избе Антона, на минуту прерванное, представление пошло опять своим порядком.

Доложили *Тарасу Семенычу*, что приехали чиновники из уездного города... Но не станем передавать в подробности, как *Тарас Семеныч* принимал гостей *дорогих*, как угощал их всяким угощением, как устраивал с ними разные сделки и как, наконец, под видом смирения и покорности, надул самих же чиновников: образчик грубого юмора, может быть, уже утомил наших читателей.

В отрывистых, несвязных, но ярких картинах Абрамка перебрал всю жизнь семейную, всю сельскую деятельность Тараса Семеныча. Зрители хохотали до упаду. В этой веселости народной сказалась затаенная, общая нелюбовь к

голове Вороненкову. А Абрамка, заметив, что зрителей сильно потешает его представление, так и лез из кожи.

Но Абрамка наконец устал и хотел уже кончить представление, но кончить соответственно принятой им на себя роли. Вот он низко-низко поклонился всему собранию и заговорил протяжно.

— Господа мои честные, приятели дорогие! захотелось уж мне на покой, так пойду я к себе домой. А я вам оченно благодарен: живу, поживаю что́ твой барин! и уж больно-больно сыт, и кармашек — слава те господи! — во́ как набит...

Только что вымолвил он слова эти, кто-то схватил его за плечо, давая знак замолчать: Абрамка, по невольному движению, остановился и оглянулся, а между тем в избе настала мертвая тишина... Вдруг, к ужасу своему, он увидал настоящего Тараса Семеныча, увидал его лукавое лицо, его беспрестанно движущуюся бородку, его круглые, быстрые и злые глаза, густые, дугообразные брови, седую, угловатую голову с низко подрезанными на лбу волосами.

— А что ж стал?..— промолвил глухо, как будто сквозь сжатые зубы, Вороненков, старавшийся казаться спокойным, между тем как глаза его так и горели.— Ну-тка опять!.. А сызнова бы, Абрам Федотыч!.. Да повесели же честной народ... Ты ведь как есть настоящий Балахирев!..

Но Абрамка, дрожа весь от страха, уже сорвал накладную бороду, палочку бросил и стаскивал с себя синий кафтан. Некоторые из зрителей как раз заметили смущение и испуг Абрамки; несмотря на присутствие разгневанного головы, это начинало уже их забавлять, и они стали было посмеиваться полегоньку.

— Вишь, попался-таки!.. смотри-кося!.. Абрамка-то...— говорили в толпе шепотом.

— Спасибо, Абрам Федотыч!..— продолжал Вороненков, гнев которого начинал пробираться наружу.— Спасибо!.. Вот как при народе меня цыганишь!.. Вишь ты: благо смеются свиньи эвти разные, так ты, бесстыжие глаза... Что ж эвто, последние дни, что ль, пришли?.. Да вот я, братец ты мой, отучу тебя от эвтакого наругательства!.. А вы-то твари поскудные!.. ах вы!.. По домам, сволочь эдакая!.. вот я вас!..

И весь народ в одно мгновение исчез из избы, даже сам

хозяин, Антон-кузнец, убежал. Голова с старшиною, писарем и двумя десятскими да Абрамка одни остались на месте.

Абрамка окончательно струсил. Он стал на колени и взмолился самым жалобным голосом:

— Батюшка, Тарас Семеныч!.. простите!.. Вот же ей-ей!.. на сем месте провалиться!.. напредки — николи не буду!.. Другу и недругу...

— А, знаю, что напредки не будешь,— возразил злобно голова,— я уж тово... отучу от озорничества, дай срок, совсем-таки разделаюсь!.. Что ты Прошке Терехину племянник приходишься, так и обнадежился эвтим-то! Да нет, собака! я ведь ни на кого не посмотрю... Вишь, род ваш ехидный!..

Затем он подозвал десятских.

— Возьмите-ка его, разбойника,— сказал он им,— да посадите в темную! Черствого хлеба ему по ломтю утром и вечером, да водицы... Я те протрезвлю! Я, брат, с тобой справлюсь!.. Воля-то у меня над вами не отнята!..

Подхватили десятские раба божия Абрамку Суслова, скрутили ему руки назад так, что чуть костей не переломали, угостили его тут же добрыми пинками и треухами, да потом и втолкнули в арестантскую при конторе, темную, холодную, сырую и мрачную комнату. Три дня, три ночи прогостил в арестантской бедный «Балахирев», и только на четвертые сутки был выпущен самим головою, который при этом вдоволь понатешился своим значением... Абрам Суслов был не из храброго десятка, угрозы Тараса Семеныча навели на него великий страх. Да и как было не струсить ему? Никто за него не заступился, даже самые близкие родные.

Отец Абрама, узнав про арест его за такие проказы, не решился сам идти к голове просить о сыне, а кинулся к старику Терехину. Но Прокофий Григорьев и слышать не хотел о заступничестве за Абрама, да и отцу его наказал строго-настрого — не ходить к голове просить прощения, ни в контору спроведывать сына.

— Нету, Федот,— говорил он старику,— не моги и думать ходить: ведь Абрамка-то взаправду больно виноват; вишь, вздумал зубы скалить над мирским делом!.. Какой тут смех!.. А пускай хорошенько проберут его голод да холод; небось, не развалится, а может, и поумнеет напредки. Тебе, брат Федот, надо бы построже, а то малый-то

непутевый выходит: испивает частенько, делом неладно займается; ну, много ль от него пользы для дому?.. шутом на миру стал, а уж это последнее дело... А к голове зачем ходить! какой там милости просить у него?.. Не даст он разума Абрашке, да и не уморит его в темной; на это воли у него нет: подержит-подержит, да сам и выпустит...

IV

С год прошло после этого происшествия, а к концу того года пришелся рекрутский набор. И вспомнил тогда, в самую пору Тарас Семеныч о дерзновенном зубоскальстве Абрамки Суслова, а особенно о том, что при такой большой вине никто из родных виноватого, не только дядя Терехин, ни даже Федот Суслов, «не покорились», не пришли просить милости и прощения.

Когда пришло время везти рекрут, голова Вороненков ловко распорядился. Раз, поздно вечером, собрал он сход из самых преданных ему людей и составил приговор на отдачу в военную службу за порочное поведение Абрама Федотова Суслова. Затем в ту же ночь он приказал переловить в селе очередных молодых парней, перед самым выездом лично захватил и Абрама и тотчас же отправился в губернский город.

Ошеломленный Федот Суслов, у которого Абрам был единственный сын, прямо кинулся в дом Терехиных, разбудил старика Прокофия и с громкими рыданиями повалился ему в ноги.

— Прокофий Григорьич! — говорил несчастный Федот.— Спаси!.. заступися!.. Господи!.. Абрамку в некрута повезли!..

— Как!.. когда?..— вскричал изумленный Прокофий.

— Ночью... вот теперича взяли, увезли уж!.. Сам голова поехал... что делать... Господи!.. что делать-то мне?..

Между тем в доме все проснулись, кроме малых детей. В горницу, где Прокофий говорил с Сусловым, прибежали Иван Терехин, жена его Алена и мать. Женщины, глядя на бедного Федота, горько плакали, а Иван весь дрожал, как в лихорадке: его поразило это, первое на его глазах, семейное горе

— Ну, ну!..— молвил старик Прокофий, обращаясь к семейным своим.— Испужалися как!.. головы потеряли!.. Бог не без милости!.. А Иван-то... эх, прости господи!..

И, не говоря больше ни слова, старик надел полушубок, кинулся на двор и сам проворно запряг лучшую лошадь. Потом вбежал в избу и взял шапку и накинул тулуп на плечи.

— Поедем...— сказал он отрывисто Федоту.

В эту минуту Иван, тоже совсем одетый по-дорожному, подошел к отцу.

— Батюшка!..— пролепетал он, задыхаясь от волнения.— Меня возьми с собою...

— Нету!.. — отвечал старик.

Иван в каком-то отчаянии опустил голову.

— Прокофий Григорьич,— молвила Катерина,— он не помеха тебе... возьми и его...

Старик с минуту подумал.

— Ну!..— тихо вымолвил он и махнул рукой сыну, чтобы тот за ним следовал.

И все трое тотчас же отправились.

Прокофий сам стал править и погнал изо всей мочи свою сильную лошадь; верстах в пяти от Байдарова настигли они целый поезд. Впереди, на тройке, в плотно укрытой повозке, ехал тихою рысцою Тарас Семеныч с волостным писарем; за ним тянулись десять подвод с рекрутами и с караульщиками при них. Все почти рекруты были скованы по ногам; большая часть из них, как истые байдаровцы, народ бывалый, привыкший смолоду к переменам в жизни, сидели в санях равнодушно, как ни в чем не бывало; а четверо, успевшие, перед самым отправлением в путь, хлебнуть порядком винца, пели во все горло какие-то песни. Но несколько человек, а в том числе и Абрам Суслов, лежали ничком в санях.

— Стой, ребята!..— громко крикнул поезду старик Терехин.

Весь поезд остановился. Пробужденный внезапной остановкою от приятной дремоты, Тарас Семеныч выглянул из повозки.

— Что там? — спросил он.

Прокофий, приказав сыну держать лошадь, подошел с Федотом Сусловым к повозке Вороненкова. За несколько шагов до повозки он раза два повторил Федоту: «Ты пого-

ди... я стану... поговорю...» Сильно кипело у старика на сердце.

— Тарас Семеныч!..- сказал он Вороненкову.— Ты зачем это взял?.. зачем везешь вот и его сына?..

— А тебе что за дело? — отвечал голова.

— Как, что за дело? — продолжал Прокофий.— Он родной племянник мне!.. Он — один сын у отца!.. Разве ты по закону везешь его теперича?..

— Ах ты, старый смутник,— закричал грозно Вороненков,— да как ты посмел остановить меня?.. Как смел-то?.. Я дело вот исполняю, а ты, словно разбойник, останавливаешь середь дороги!.. Да я тебя...

— Ты на меня не кричи! — возразил Терехин.— Пустыми-то речами не запугаешь меня,— я тебе не кто другой. Делом ты сказывай: зачем взял Абрамку?..

— Вот так я и скажу тебе!.. как бы не так!.. Отколь эвто указ ты мне привез?.. Аль тебя в начальники надо мной поставили, что посмел так-то допрашивать?..

— Нету, я не начальник тебе... Бог с тобой, ты начальствуй... Да ведь всякой, кажись, может и должон спрашивать: за что и куда его сына берут... по закону аль не по закону?..

— Ах ты разбойник!.. Прислушай, ребята: вот он каков есть озорник!.. Ну, братец ты мой! справлюсь я и с тобою теперича!.. От начальства ответа стал требовать!.. Дай срок!.. Много уж я терпел от тебя, старого черта!..

— Не смей ты называть так меня! — перервал гневный Прокофий.— Не смей, вор, мироед, приказный прихвостень!.. Я не старый черт, а человек старый — лик божий на мне есть!.. Не смей!.. А теперича я тебе делом сказываю: отпусти сейчас Абрамку!..

— Батюшка! Тарас Семеныч! отец родной! — завопил Федот Суслов, бросаясь на колени перед повозкой.— Не погуби до конца!.. Один сын и есть у меня! Что хошь со мной делай!.. У Абрамки ребятишки махонькие!.. Батюшка!.. смилуйся!..

Но Вороненков и слушать не хотел жалостных речей старика Суслова. Воспользовавшись тем, что Прокофий Терехин замолчал, он предался неистовой ярости и заругался во всю мочь. Когда наконец иссяк поток его мерзких слов, Терехин сказал ему:

- Слушай же ты, пес-мироед!.. Отселева — недруг ты мне заклятой, и я тебе недруг!.. Вот сначала людской суд

нас рассудит, а там — ведь не долго нам ждать — придет и суд божий!.. Думал я, грешник... суди ж меня господь... не хотел все я взяться за мирскую правду, а теперича — вот тебе Христос!.. возьмуся!..

— Вишь, чем угрозил! — злобно сказал Вороненков.— Я, брат, не токма что... и до твоего сынка, пожалуй, доберуся!.. Воля-то есть у меня!.. А тебе, смутнику, старому дураку, найду место, дай срок!.. Трогай, ребята!

И поезд тронулся полегоньку.

— Не попустит тебя бог долго злые дела делать! — тихо промолвил старик Терехин, глядя вслед удалявшимся подводам.— Господи! грешил я, видел все и не хотел... Господи! пришел час воли твоей!

Потом отдал он свою лошадь Федоту Суслову, чтобы тот ехал в город и просил бы чиновников о помиловании сына.

— Может, и сжалятся...— сказал он с горькой усмешкой.

Несчастный Суслов тотчас же отправился, а Терехины пошли домой.

Понурив голову, Прокофий шел то тихо, то скоро. Изредка глубокий вздох, словно подавляемый стон, вылетал из его широкой груди. Рядом с ним шел сын его, беспрестанно спотыкаясь от месившегося под ногами снега и не отводя глаз от поникшей головы отца. В этой старой голове кипели тогда печальные мысли. Видел Иван, что отец его трудную думу думает, никогда прежде не замечал он в нем такого расстройства, такой печали — и замирало сердце у молодого парня. Раза два прошептал Прокофий какие-то короткие слова, но сын не мог разобрать их.

Глухая ночь стояла еще над окрестностью. Темные облака висели сплошною массой на небе. Порывистый ветер, запевая иной раз тоскливую песню, подгонял наших путников. Легкая метелица вздымала в поле рыхлый снег и гнала его по сторонам проселочной дороги.

Скоро Терехины стали подходить к Байдарову, уже глухо доносился до них крик петухов на селе. Кое-где поредела наконец темь ночная, а в самом верху неба тускло проглянули звезды — и ветер стал утихать. Еще с четверть версты прошли Терехины, и, в виде темной полосы на краю горизонта, показалось перед ними родное селение. Видно было, что Байдарово стало уже просыпаться: в иных местах поднимались над ним столбы искрасна-голубоватого

дыма, а в одной из церквей раздавался редкий благовест к заутрени.

Старик Терехин остановился и снял шапку. Несколько мгновений простоял он неподвижно, с опущенной низко головою.

— Мой это грех!.. мой грех великий!.. — произнес он наконец вполголоса, прижимая крепко к груди правую руку.

Слова эти заставили вздрогнуть Ивана, но еще больше смутился он духом, когда увидал, что отец его, никогда при нем не плакавший, отирает слезы.

— Батюшка! — осмелился промолвить Иван.— А батюшка!.. может, и не отдадут его...

— Не о том... оставь...— отвечал тихо старик. Потом он набожно перекрестился три раза и сказал как бы про себя: — Авось... и мне, грешнику, господь поможет!..

V

Когда Прокофий возвратился домой, Катерина, увидав только его да сына, залилась горькими слезами, а жена Абрама Суслова, тут же бывшая с детьми своими, заголосила, как о покойнике. Им вторила, плача навзрыд, жена Ивана Терехина; дети Абрамкины и Ивановы, глядя на старших, тоже плакали. Этот взрыв общей горести произвел страшное впечатление на душу старика, сильно потрясенную не столько гневом против Вороненкова и жалостью к участи племянника, сколько одною тяжкою думою, которая подавляла все его мысли и чувства. Прокофий не мог удержаться и тоже заплакал, как никогда в жизнь не плакал. На несколько минут тоска одолела его — он не находил себе места: то вставал с лавки и ходил по горнице, то садился опять, то подходил к Катерине или жене Абрама и как бы хотел сказать им что-то, то становился насупротив образов, словно собирался молиться. А сын его сидел, прислонясь к стене, и не плакал, но его била лихорадка, и по тревожному взору его, бессознательно следившему за движениями отца, по его бледному лицу, на котором чрезвычайно резко выражался глубокий ужас, можно было заметить, что душа его чуть ли не больше всех потрясена.

Наконец старик Терехин как бы опомнился и возобладал над движениями души своей. Он несколько раз поклонился в землю перед образами, шепча молитвенные слова; за ним помолились и все. Перестав молиться, Прокофий сказал жене своей:

— Воля божья, Катерина!.. Попускает он злодею,— знать, наказать нас хочет, веру нашу испытать...

Катерина перекрестилась.

— Где ж Федот-то? — спросила она.

— В город поехал... я лошадь дал... Нельзя же — проводит сына.

— Может, упросит судей праведных...— молвила робко Катерина.

— Нету,— отвечал Прокофий,— нечего тут надеяться, голова настоит на своем. Не минует Абрамка солдатства.

Жена Абрамкина опять заголосила.

— Ну, перестань же! — строго прикрикнул на нее старик.— Ведь слезами тут не поможешь. Молися богу лучше! Есть у вас родные — вот хоть бы мы,— не покинем же вас всех.

Но жена Абрамова не переставала рыдать и причитать. Наконец Прокофий велел Ивану и работнику отвести ее домой, а Катерине сказал, чтобы она шла с ними же да присмотрела за бедной женщиной.

Когда ушли они, он стал собираться ехать в рощу. В это время он так уже владел собою, что на лице его не осталось никаких следов недавней тревожной печали, только взгляд его темно-серых глаз стал тускл и суровее обыкновенного.

Однако же не удалось Прокофью тотчас выехать из дому. Лишь только взялся он за шапку, как в горницу к нему стали набираться соседи, уже проведавшие о ночной поездке Терехиных и Суслова в погоню за головою. Соседские бабы стали перешептываться с Аленой, а мужики обратились к Прокофью.

— Да что такое приключилося? — спрашивали они.— За что ж эвто повезли в некрута Абрама Суслова?

— А спросили бы вы у старого беса — прости господи — у Тараса Вороненкова! — отвечал гневно старик.

— Где же его спрашивать теперича? — возразил Антип Ишутин, мужик простой и болтливый.— Вишь, голова-то уехал; чай, дня четыре, аль и больше, проездит. Ты-то,

Прокофий Григорьич, должóн знать; слышно, ты догонял его.

— Да, догонял и догнал, да и сказал ему, что он вор, мироед, старый пес эдакой!..

— Как-таки! — вскрикнули двое из соседей, а на лицах прочих выразилось величайшее изумление.

— Да так! — возразил Терехин.— А что ж?.. Не побоюсь я сказать правду!.. Вишь, он, злодей, коли захочет — над всяким измывается! Ведь Абрамка-то Суслов один сын у отца!..

— Слышал я, братцы,— сказал Ишутин,— что вчера ночью голова приговор сделал, чтобы то есть отдать Абрама за порочность... Эх!.. отца-то больно жаль!..

— Приговор сделал! — молвил с презрением Прокофий.— Ну, да знамо дело, этот приказный прихвостень все на приказную стать обделал!.. Да что, разве по одной некрутчине неправда? разве это одно? Вот хоть бы поборы, оброки какие!.. А от него все это!..

— Оно, знамо, тяжелей стало супротив прежнего-то,— заговорили некоторые.

— Да вы поглядите-ко только,— продолжал Прокофий,— ведь он и не скрывается: какой домина поставил! какую фабрику завел!.. А чем таким торговал-расторговался? На чьи все это денежки?.. На мирские, братцы, на наши кровные! А, чай, помните вы, как они достаются? Сколько верст исходят наши ребята, чтоб только работу найти... не один денек гнут они спину за работой-то... А в чью добычу потовая работа достается? Тарасу Семенычу Вороненкову она дома строит, фабрики заводит! Тараса Семеныча она в лисьи шубы рядит, сытной едою, сладким питьем угощает, барином нашим делает!.. Эх, за свои же денежки какое лихо мы себе купили!.. Вот теперича мы и вольные стали!.. Да разве это свобода?..

— Воля божья! — промолвил старик Ефим Моргунцов, а прочие тяжело вздохнули.

— Нету, братцы! — возразил Терехин.— Не божья воля, это наша воля глупая!.. Словно мы робятишки махонькие!.. Учесть его не умеем!

Сказав эти слова, Прокофий стал поглядывать на собеседников своих пытливо и с видимым беспокойством. На лицах их всех тоже выразилась тревога. С минуту все молчали: наконец Алексей Демин, человек нраву беспокойного и сварливого, сказал Терехину:

— Да ты, Прокофий Григорьич, что ж прежде его не учитывал?.. Бывало, и на сходы николи не придешь... А теперича вот подбиваешь!..

— Грешен я,— печально отвечал смущенный старик,— грешен перед господом богом, перед добрыми людьми, перед всем миром православным!.. И слезно каюся!.. Думал я, что мне одному не подобает вести дело мирское... Да чего... больше я грешен: думал я, как бы только поспокойнее прожить...

— Вишь ты когда образумился! — молвил Демин с укоризною.— Вот как куснул он тебя самого, ты эвто и стал заговаривать про мирское дело.

— И то правда,— отозвались некоторые.

— И я скажу, правда! — отвечал Прокофий.— Упрекайте меня, братцы, поделом мне! Вот за то, что я позабыть хотел про мирскую обиду, и меня задел злодей мирской. Только твердо вам говорю: я-то опомнился, в разум пришел! Не позабудьте же речей моих: за мирское дело надо стоять дружно, так бог велит! Надо стоять, живота не жалеючи!.. И как вы там хотите, а я за мир потягаюсь с Тарасом Вороненковым. Дело порешенное, и я на все готов!..

— А никак уж, напрасно, Прокофий Григорьич!..— сказал опять Демин как-то насмешливо.

Опустив голову, прочие собеседники молча и задумчиво смотрели в землю. Старик поглядел на всех, покачал слегка головою и тихо промолвил:

— Что ж, братцы! не замай, вы в стороне, я и один — помоги господи — дело начну...

В эту минуту отворилась дверь и вошел Иван Терехин. Увидав его, Прокофий вдруг замолчал, провел рукой по лбу и сказал соседям:

— Прощайте покуда, а мне вот надо съездить в рощу.

— Так как же ты с головою-то? — спросил Антип Ишутин.

— Ну, что тут еще калякать! — возразил сурово Прокофий.— Мне вот ехать пора.

Минуты с две соседи побыли еще тут, а потом молча стали расходиться один за другим.

Старик Терехин наскоро собрался в недальнюю дорогу. Перед тем как садиться в сани, он отвел сына в сторону и сказал ему:

— Ты, малый, смотри у меня, ничего не болтай, не в свое дело не суйся.

— О чем это, батюшка? — спросил Иван.

— А об Абрамке. Помни: дело твое тут как есть сторона. Станут тебя спрашивать, коротенько отвечай: повезли, мол, в солдаты — да и только. А про что говорил я с головою, ничего не моги сказать. Ты тут не суйся, говорю.

— А если...— начал было Иван.

— Ну, что там! — перервал сердито старик.— Наказал я тебе — и держи крепко, что наказано. Теперича еще слушай: коли что я начну, ты ни во что не входи, не говори ни с кем да и мне не рассказывай, что услышишь, никаких речей не переноси. Было б тебе наперед сказано... Знаешь ты меня аль нет?.. Что я задумал — и один сделаю, а ты мне в помощь не годишься; пожалуй, помехою только будешь.

При последних словах Иван видимо опечалился.

— Сокрушаться не о чем,— молвил старик тихо и ласково,— я ведь потому так говорю, что ты еще в силу не вошел, никаких дел не знаешь; знамо, из моей руки все смотрел, да и нрав-то у тебя невыносливый для трудного дела...

Старик посмотрел еще несколько на сына, тряхнул потом головою, как бы в подтверждение мысли своей о неспособности его участвовать в трудном предприятии, и наконец, посадив к себе в сани любимого своего внучка Гришу, отправился в рощу.

Всю дорогу дума его вертелась или на том, что надо непременно и как можно скорее начать дело обо всех неправдах Вороненкова, или на том, что всячески не должно допускать Ивана до какого-нибудь участия в деле.

«Где же ему? силы нет такой!..— рассуждал он о сыне своем.— Беды только наживет даром. Мне уж немного веку осталось, перед концом послужу миру верою и правдою, а Ивану что накликать на себя злобу Вороненкова?»

Между тем как занимали его такие мысли, он уже не правил лошадью, и она брела чересчур медленно и неровной поступью.

— Дедушка! а дедушка! — сказал Гриша, заглядывая в глаза деду.— Дай-ко мне вожжи-то.

— А на что тебе? — спросил старик, словно очнувшись.

— Да ты не правишь, думаешь все...— отвечал мальчик, улыбаясь.

— Вишь ты! — молвил Прокофий, тоже улыбнувшись.— Вот так ты и заметил, что я все думаю?

— А как же! — возразил ребенок.— Я ведь вижу, что думаешь, больно много думаешь...

Старик отдал ему вожжи, ласково посмотрел на него и подумал: «Будет прок в малом!.. Эх, кабы Ванюша такой был!.. А то скоро умру, кто ж тогда за мир-то постоит?» И с новой печалью старик опустил голову.

Прокофий пробыл до вечера в роще, где у него была выстроена изба. Делами своими по лесному промыслу он занялся усердно, не торопясь, и внимательно осмотрел срубленный лес, приготовленный для разных поделок, неторопливо же и спокойно распорядился насчет дальнейших работ. Только с работниками он был неразговорчив: при всех этих занятиях в роще мысль его была теперь далеко — он все думал о том, как и с чего именно начать дело с Вороненковым.

«Помощи от миру нечего ждать,— рассуждал он сам с собою,— одному как есть придется. Из воли Вороненкова ни за что не выдут. Поздно я за ум хватился... Может, свекует[2] он головою, может, пропаду из-за напрасна... Трудно уж теперь дело-то начать! Везде есть неправды Тарасовы, а как доказать на него? А и то: пусть будет воля божия! Сказал я Вороненкову, что рассужусь с ним сначала судом людским — и не отстану-таки от слова. Немного мне жить осталось, надо для души потрудиться»...

К ночи Прокофий воротился домой. После ужина Катерина подошла к нему и сказала:

— Прокофий Григорьич, не прогневись на меня, а я опять хочу поспрошать насчет Абрама-то...

— А что нужно?

— Неужли-таки отдадут его в солдаты? Может, голова постращать его хочет.

— Вишь ты! По-твоему, шутки шутить он вздумал. Нет, порешил он дело не в шутку... А я тебе вот что скажу: из-за нас угодил Абрамка в солдаты. Не достал Вороненков по коню, так изначала по оглоблям ударил!..

— А начальники-то... один сын у отца!.. ужли не смилуются?..— промолвила со слезами Катерина.

— Ведь уж я сказал давича: нечего тут надеяться. Голова настоит на своем... Злому завсегда много зла надобно..

Катерина еще больше заплакала.

— А ложись-ко спать,— сказал старик,— что горевать-

то? Баба ты набожная, молись больше... поднимает молитва погибающих со дна морского!

— Как бы и нам теперича...— прошептала чуть слышно Катерина.

— А что нам? — сурово возразил старик.— Воли божьей не минуешь. На сем свете зачастую и неправда верх берет... Говорю тебе — молися.

На другой день старик Терехин съездил в Суходол и перепродал знакомому купцу довольно выгодно свою рощу, да, кроме того, сбыл за хорошие деньги весь почти кожевенный товар, заготовленный у него в заведении. После этих распоряжений он стал гораздо спокойнее духом. «Ну, думал он, что бы теперича ни случилось, а Ивану и всей семье будет чем век прожить, коли господь грехам потерпит».

В следующие дни он стал собирать сведения об обидах, сделанных Вороненковым как всему миру, так и разным лицам из байдаровцев. Но неохотно проговаривались обиженные.

— Да на что тебе, Прокофий Григорьич? — отвечали они на его расспросы.— Ведь уж эвто давно было. Мы и тогда не жаловались. Где уж тут!.. Как бы еще чего дурного не вышло!

А Прокофий, кроме собирания сведений об обидах, добивался еще и того, чтобы возбудить речами своими хоть в некоторых крестьянах если не желание участвовать вместе с ним в борьбе с Вороненковым, так сознание вредности действий его для мира. Но и в последнем старик не успел: надо было раньше приниматься за дело.

— Оно, тово... Прокофий Григорьич,— говорили в ответ на его жаркие речи миряне байдаровские,— оно, знамо, наш хлеб он ест-то... и с чиновниками уж больно снюхался... Да может, и надобно так-то, может, покуда беспременно надобно...

А были и такие, которые еще хуже принимали речи старика Терехина.

— Нам-то что за дело? — проговаривали они.— Вишь, вы оба богачи: ну и как там хотите!.. Тягайтесь промеж себя, а нам зачем приставать?..

Но Прокофий, несмотря ни на что, остался при своем твердом намерении. Одно только смущало его несколько: не знал он, с чего начать дело, а посоветоваться с приказными людьми ему очень не хотелось.

«Уж такой народ,— думал он о них,— мироеды настоящие!.. Ворон ворону глаз не выклюет,— пожалуй, продадут меня. А все, должно быть, без них не обойдешься...»

Прошло таким образом дня четыре, а Вороненков все еще не возвращался. Прокофий выжидал его приезда, чтобы, узнав окончательно об участи Абрама Суслова, тотчас потом ехать в город поискать делового, верного человека, который написал бы прошение обо всех злых делах Тараса Семеныча.

Между тем Катерина узнала из толков на селе, что муж ее затевает дело с головою. Это намерение испугало чрезвычайно бедную женщину.

— Прокофий Григорьич,— рассказала она,— слышала я... на селе проговаривали...

— А что? — спросил старик.— Об Абрамке, что ль?

— Нет,— отвечала Катерина,— сказывают, что ты с головой хочешь потягаться...

— Правду сказывают. Ну, так что ж ты?

— Оставь... ради господа...

— Перестань пустое болтать!.. Крепко-накрепко задумал я это дело...

— Ох, горя-то сколько!.. Вороненков с земскими... беда будет...

Старуха горько заплакала.

— Перестань же, говорю,— молвил Прокофий,— ты вот лучше послушай, что скажу...

Когда Катерина несколько поуспокоилась, он продолжал:

— Ты мне и не моги вперед отговаривать: дело это совсем порешенное! А вот что помни хорошенько: неравно, дела я не покончу и господь приберет меня — ты не допускай Ивана тягаться: ему не под силу будет... Прикажи ему в купцы выписаться в Суходол, пускай непременно выпишется, каких бы денег ни стоило. Я и сам ему скажу, коли господь память перед концом не отымет; да все лучше, чтоб и ты спозаранку знала. Помни же, Катерина...

Она хотела было что-то отвечать, но рыдания подорвали ее речь.

— Эхма!..— сказал старик.— Вот они, бабы-то, каковы! Ты им дело говоришь, а они все свое... Ступай-ко ты спать, а мне пора на покой.

VI

Наконец голова возвратился из губернского города. Абрама Суслова он сдал-таки в рекруты, несмотря на усильные хлопоты и непрестанные мольбы отца его. Федот Суслов разжалобил было даже чиновников, но не умилостивил Тараса Семеныча, который настоял на своем, сумел и смог уничтожить в самом начале чиновническое сердоболие, и Абрам был отдан в солдаты «для примера» всем, кто бы вздумал восстать против значения головы Вороненкова в миру байдаровском. Горесть старика Федота была неописанна: в несколько дней он постарел многими годами.

С тяжелым чувством узнали в Байдарове про участь Абрама: все были поражены не столько сознанием несправедливости этого дела, сколько сожалением к старику Суслову и к семье Абрама, а особенно немилосердием головы. Впрочем, голове нечего было опасаться этого чувства в народе: оно не возбуждало против него оппозицию, а только еще более усиливало страх к нему.

Тотчас же по возвращении своем Тарас Семеныч узнал от преданных ему людей о речах и замыслах Прокофья Терехина.

— Вишь, старый черт! — говорил он своим приятелям.— Все неймется ему! Мало того: на дороге онамеднись остановил и обругал, собака, да еще тягаться вздумал!.. Я было хотел так оставить, старый он больно человек, из ума выжил, а он сам таки лезет... Да вот погоди! даром что много у него денег — пособью ему рога!..

Вороненков, нимало не медля, отправился в уездный город к окружному начальнику, с жалобами на Терехина.

— Вы уж, ваше высокоблагородие,— закончил он рассказ свой о замыслах Терехина,— вы уж заставьте вечно за себя бога молить, не попустите злодею моему — погибели моей как есть ищет! Я все ему прощал, чего-чего не терпел, а теперича вот мочи моей не стало... Ваше высокоблагородие! я ведь верный слуга вашей милости, а он, разбойник, знать никого не хочет... Знамо, старик — своевольник, дуролом, на карман больно надеется... А вот богат-богат, да пользы от него нет ни на грош: «За что, говорит, я давать буду? я все по закону...» Уж коли такие за-

конники, то есть смутьяны, озорники, разведутся у нас на селе, не токма́ что делами управлять, и жить-то нельзя будет!.. Ноне с меня начнет злодей эдакой, а там мало ль до кого доберется...

Окружной, Михайло Силуяныч Рыкайлов, как раз вошел во все виды Вороненкова. По просьбе его он обещал на днях же отправиться в Байдарово, чтобы в самом начале прекратить затеи Терехина.

— Будь покоен, голова,— сказал он,— я уйму старого бездельника. Спасибо, что вовремя предупредил: ты, брат, право, дельный человек... Да, зло надо прекращать в начале. Вот дай-ка волю такому негодяю, а он начнет миром мутить, а он начнет доносы писать!.. Не оберешься тогда мерзких дел, а начальству-то такое будет беспокойство! Нет, брат, я-то уж не люблю потакать: у меня всегда расправа короткая, таков мой характер! Меня по этой статье и начальство знает с отличной стороны.

Окружной этот был одарен от природы мощными средствами для «короткой расправы». Его широкие плечи, огромные кулаки, густой бас, мрачный взгляд исподлобья, уменье браниться неистово внушали во всех его подчиненных величайшее к нему уважение. Способности нашего окружного, «прошедшего, по его собственному выражению, огонь и воду» и переменившего на своем веку много всяких должностей, были замечены с хорошей стороны: никогда не случалось ему долго хлопотать в отыскивании себе места. Вообще этот господин был крупного разбора. Крестьяне Суходольского округа, когда его назначили к ним, с первого же взгляду оценили по-своему его качества.

— Вишь он какой «тельный»! — говорили они промеж себя.— Важный начальник будет... У него, ребята, держи ухо востро!..

И точно надо было держать ухо востро. Михайло Силуяныч был из военных, и администрация его имела особенный характер...

Между тем как гроза начальнического гнева собиралась над старой головою Прокофья Терехина, он разнемогся было не на шутку, а потому и отложил свою поездку в город для написания просьбы. Впрочем, через несколько дней ему полегчило, и он опять начал собираться в путь, но вдруг однажды вечером явился к нему десятский с приказанием немедленно идти в волостное правление к господину окружному.

— Зачем зовут тебя?.. — с беспокойством стала спрашивать Катерина.

— А кто ж его знает!..— отвечал Прокофий.— Может, Вороненков что ни на есть затеял.

— Ты бы не ходил туда: вишь, тебе еще не можется.

— Нет, я пойду, — молвил старик задумчиво, — лучше пойти, узнаю там... А и то, коли не пойти, скажут: «Ослушается»... Да я ведь и в силах теперича дотащиться.

Строго запретив сыну провожать себя, он отправился, и видимо через силу. Путь был неблизкий: волостное правление находилось от его дома с лишком в версте. На дворе было холодно и темно, резкий ветер дул прямо в лицо Терехину, и, опираясь на толстую палку, он брел очень медленно. Но ожидали его, видно, с крайним нетерпением: не прошел он еще и половины расстояния, как повстречался с ним шибко бежавший другой десятский.

— Прокофий Григорьич, скорее!.. скорее ступай!..— кричал он ему еще за несколько шагов.— Все тебя спрашивает...

— Что больно скоро понадобилось? — отвечал Терехин, не прибавляя шагу.

— Экой ты! говорю, требует!.. взашей меня прогнал за тобою, ногами инда затопал!.. Уж и больно осерчал!..

— Да кто? кто?.. сказывай порядком.

— А Михайло Силуяныч, окружной-то...

— Вишь ты!.. а про что так осерчал?

— Голова, Тарас Семеныч, все ему про тебя уж и больно много говорил!.. Так все сказывал: ослушник, мол, озорник... А приехал окружной вот в сумерки,— прибавил, совсем некстати, десятский.

— Пускай наговаривает,— молвил старик,— мне чего бояться? Я по правде иду.

В эту минуту повстречались с Терехиным еще двое посланных: рассыльный окружного начальника, пожилой, видный солдат, да сельский писарь, малый молодой, с лисьим рыльцем.

— Скорее!..— кричал в больших попыхах усердный писарь.— Из-за тебя брань принимать!.. Вишь, тащится!..

Но старик, вместо того чтобы поспешить, остановился.

— Скорее!..— повторил он.— Погляжу вот, малый ты какой прыткий. А я и так замаялся — ветер больно насупротив,— надо и дух перевести.

— Да что ж ты эвто ослушаешься? — закричал писарь.— Ведь, чай, окружной требует-то!.. Ты, брат...

— Ну, нет! — возразил спокойно старик, все еще стоя.— Я тебе не брат, да и вовсе родней ты мне не приходишься. Да и про ослушание лаешь ты сдуру; говорю — замаялся, вишь я устал, я ведь старик старой.

Писаришка очень разгневался.

— Мне окружной приказал,— заорал он.— Десятские! чего смотрите? Бери его под руки, тащи волоком!..

— Ну ты! — промолвил сурово рассыльный.— Уж больно расходился!.. Старичина и сам пойдет.

— Спасибо,— сказал Терехин,— знамо, я сам пойду... А вот и отдохнул я маненько, теперича и поплетусь, поколь мочи моей хватит.

В сопровождении четырех посланных, он дотащился полегоньку до волостного правления и наконец вошел в это место суда и расправы.

Горница была ярко освещена: на большом столе горели две стеариновые свечи, а на другом столе, в глубине горницы, и на лежанке у входа пылало с полдюжины свеч сальных. На лежанке же громко кипел огромный самовар, тут был и весь чайный прибор, а в тени от самовара скромно жалась к стенке только что початая бутылка рома. Как хозяин угощения, Вороненков держался возле лежанки и стоял в почтительном положении понимающего свой долг подчиненного; позади него находился полный стакан пуншу, налитый с начальнического дозволения; но он не притрогивался еще к нему, ради приличия. По обе стороны входной двери торчали почти неподвижно двое писарей, смотревших, не смигивая глаз, все на прямого своего начальника — голову. А сам окружной, заложив руки за спину, важно расхаживал взад и вперед, и половицы выстроенного «хозяйственным способом» здания жалобно и на разные лады трещали под тяжелыми стопами Михайлы Силуяныча. В то же время он громогласно рассуждал о разных деловых предметах, прихотливо перескакивая от одного предмета к другому, а иногда и совсем от них удаляясь затем, чтобы хорошенько ругнуть Терехина, осмеливающегося так долго не являться. В ответ на все такие речи изредка слышалось и хриповатое шипенье Вороненкова, который всячески старался так направлять разговор, чтобы не остывало начальническое намерение «учинить расправу для водворения порядка».

Рассыльный и писарь вошли вместе с Прокофьем и остановились с ним у входной двери; десятские остались в сенях.

— Привели Терехина, ваше высокоблагородие! — возгласил подобострастно усердный писарь.

— А!.. — произнес многозначительно Михайло Силуяныч. И, подойдя к Терехину, он остановился перед ним, осмотрел его с ног до головы, а потом устремил свой мрачный взор прямо в глаза ему. Но этот грозный прием не произвел на Прокофья особенного действия. После обычного поклона начальнику он стоял спокойно и не спуская глаз. Конечно, это не могло понравиться окружному; на сердце у него так вдруг и закипело... Однако спокойствие и важный вид старика удержали на первых порах порывы его ярости.

— А!.. — повторил Михайло Силуяныч более тихим тоном и через мгновение прибавил: — Старый мошенник!..

При этих словах у старика чуть заметно сдвинулись брови, но он продолжал молчать и смотреть спокойно.

— Мошенник!.. да!.. мерзавец старый!.. — опять пробормотал сквозь зубы Михайло Силуяныч. Потом он подошел к большому столу, взял недопитый стакан пуншу и разом осушил его. В эту минуту писарь, ходивший за Терехиным, проворно, но на цыпочках подбежал к Вороненкову и стал торопливо нашептывать ему что-то.

Подкрепив свою энергию добрым глотком сильного напитка, Михайло Силуяныч, не отходя от стола, опять начал пристально смотреть на Терехина.

— Голова! — вдруг закричал он. — Так это тот самый негодяй старичишка?

— Точно так-с, ваше высокоблагородие, — подобострастно отвечал Вороненков.

— Ах ты разбойник! — продолжал окружной, еще возвышая голос. — А подойди-ко сюда, вот ко мне-то, старый черт!..

— Напрасно так, — возразил Терехин, не сходя с места. — За что браните вы меня, ваше высокоблагородие?

Вопрос этот привел в бешенство окружного. Он почти бегом побежал к старику.

— Да как ты смел!.. Да как ты смел так отвечать мне! — кричал он.

Понахмурив брови, Прокофий опять молчал, а окружной бранил его неистово. Долго ругательства его и угрозы текли неудержимым потоком... Но наконец он начал уставать; охрипший голос его стал обрываться; он перестал уже ногами топать, перестал грозить кулаком и даже указательным пальцем. В эту минуту Вороненков, никак не желавший, чтобы «расправа» ограничилась только этим, подкрался с боку к Михайле Силуянычу и сказал ему:

— Он, ваше высокоблагородие, и идти-то сюда не хотел... насилу притащили... Вот он сказывает,— прибавил голова, указывая на писаря.

— Бездельник!..— вскричал окружной и со всего размаха ударил по лицу Терехина.

Старик весь вздрогнул и пошатнулся; лицо его страшно побледнело. И в то же мгновение глаза его загорелись и стали метать искры... Пошатнувшись, он едва было не упал; руки его опустились, глухой, протяжный стон вылетел из его груди. Но вдруг он вытянулся во весь рост и порывисто сделал несколько шагов вперед... С напряженным вниманием следили все за движениями старика, в которых было столько грозного и величественного.

Посредине комнаты Прокофий остановился и, подняв руку к образам, заговорил громким голосом:

— Видит господь!.. восьмой десяток идет мне!.. отродясь не бывало! Видит господь и взыщет обиду!

И голос его, задрожав, оборвался. Тогда как будто опомнился окружной.

— Что ж! — сказал он шибко дрожащим голосом, усаживаясь за стол.— А ты, тово... старый, ты... своевольничать хотел...

— Я хочу идти против вора-мироеда Тараски Вороненкова! — возразил грозно Терехин.— Не остановите вы меня побоями!.. Убейте, тогда остановите, а правда все выведет на свет.

— Замолчи ты, старый...

— Брани меня! — продолжал так же грозно Прокофий.— Брани, бей опять!.. Небось теперь, бей!.. Стар я, не мне самому за себя вступиться... Взыщет бог, помяни ты мое слово! А меня ничем не остановишь, не за себя, а за мир хочу стоять...

И, как бы призывая бога в свидетели этим словам своим, старик перекрестился. А между тем душевное волнение пре-

возмогло его физические силы: он опять побледнел, голова его стала качаться, и он вдруг замолчал.

Михайло Силуяныч начал ходить по горнице, не глядя ни на кого. Он видимо был взволнован и смущен. Через несколько минут подошел он к Терехину и тихо, почти ласково, сказал ему:

— Слушай, Терехин, уважая твою старость... ну, ты извини меня, как быть! погорячился я... За то и я уж нисколько не взыскиваю... А ты вот уважь меня, старик, в честь прошу: не заводи никаких кляузных дел... Ведь прежде ты жил так хорошо, ни в какие дрязги не вмешивался; ну, как это на старости лет?

— Нету! — возразил старик слабым голосом.— Сказал я: постою за правду до конца!.. А больше и говорить не хочу с тобой...

Окружной нахмурился, он быстро отошел к окну и стал сердито барабанить по стеклам.

— Ваше высокоблагородие! — прошептал Вороненков, подкравшись к окружному.— Вы не смотрите — сущий то есть разбойник... Не отпускайте его домой... Куда б засадить... как бы он, тово... Коли теперича не унять — беда...

— Эй вы! — закричал Михайло Силуяныч, опять приходя несколько в азарт.— Посадить его под арест!.. А там посмотрим...

— Пускай,— прошептал Терехин.

Писаря не посмели, однако, и теперь взять Прокофья, а все кинулись в сени за десятскими.

Рассыльный, опустив голову, отошел к сторонке. Когда вошли десятские, окружной сказал почти шепотом голове:

— Вели им...

Вороненков поспешно передал приказание, и десятские отвели старика в «темную».

Грозная сцена окончилась тихо. Но впечатление, произведенное ею на всех, особенно сильно отразилось на Михайле Силуяныче. Как ни был он опытен насчет «расправок», как ни мало привык обращать внимания на правоту дела, однако в настоящем случае совесть громко заговорила в нем По природе своей он был не злой человек, но воспитание, не давшее ему никаких правил, прежняя жизнь, гулливая и неразумная, а особенно деятельность не по закону, без всякого сознания долга,— испортили его совершенно. Изредка просыпалось в душе его тоскливое

чувство правды, но то бывало лишь на миг, и, конечно, он сам всячески старался подавить его в себе. Так было и теперь: чувство это опять пробудилось, и никогда, может быть, не сжимало оно так болезненно душу Михайла Силуяныча. Он сердито отказался от чаю, не велел подавать себе ужина и отпустил тотчас же всех, и голову, не сказав ему ни слова на прощанье. Затем он позвал к себе своего рассыльного.

— Спиридонов! — сказал он ему. — Приготовь мне постель поскорее, а потом... нет! после постель, а теперь отпусти домой Терехина, да вели проводить его...

— Слушаю-с,— отвечал сурово рассыльный.

Спиридонов не замедлил исполнить это приказание, но как ни скоро он повернулся, а Михайло Силуяныч остался недоволен медленностью рассыльного.

— Как ты долго! — заметил он брюзгливо.— Ну, что?.. как там?

— Отпустил Терехина,— отвечал рассыльный.

— Говорил он что-нибудь?..

— Ничего не говорил...

Худо спалось в эту ночь нашему администратору, дурные сны ему виделись.

Проснулся он рано и тотчас же приказал запрягать лошадей. Вороненкова он и теперь принял нехорошо: ни одного почти словечка не промолвил с ним, никаких приказаний не отдал и только что беспрестанно спрашивал: «Готовы ли лошади?» — а наконец и в дорогу отправился, не напившись даже чаю.

На дворе было уже светло, когда он выехал, и это сердило его тоже: почему-то неловко казалось ему ехать теперь на глазах байдаровцев; однако никто почти из них не попался ему на длинных улицах огромного селения: все жители Байдарова, бывшие на этих улицах, прятались по дворам при проезде окружного, он заметил это и еще более смутился.

«Скотина Вороненков! — стал он думать о вчерашней истории.— Пожалуй, и сам виноват в ссоре с Терехиным, а меня вот ввел... Жаловаться будет старик, наверное будет... Оно, конечно, ничего, ведь не съедят же за какую-нибудь оплеуху мужику... А все как-то...»

VII

В доме Терехиных, кроме детей Ивана да работника, никто не спал в ожидании возвращения старика. Катерина сидела в уголку у печки и шептала про себя какие-то молитвы. Неподалеку от ней сидела Алена и, задумавшись, гладила русую головку старшего сына своего, который спал себе спокойно на голой лавке. Иван же беспрестанно выбегал на двор и на улицу послушать и посмотреть, не идет ли отец. Никому из них не шло в голову домашнее дело, и ни за какую работу не могли они взяться, а все как будто ждали чего-то особенного, небывалого и страшного. Но вот мимо окон послышались тяжелые, медленные шаги, брякнуло кольцо у калитки, и заскрипела она, отворившись.

Иван опрометью бросился вон из горницы и на дворе еще встретил старика.

Прокофий вошел тихо, бледный и тяжко дыша от усталости. Не взглянув ни на кого из домашних, он прямо прошел к столу в переднем углу и уселся у края стола. Но через минуту он приподнялся, взглянул на образа, медленно перекрестился три раза и опять сел, закрыв глаза рукою.

— Что ты, Прокофий Григорьич? что ты это, родимый?.. али неможется тебе?.. — стала спрашивать Катерина, подойдя к нему.

— Вот, Катерина,— сказал он вдруг, подняв голову и устремив на жену свою глаза, горевшие лихорадочным огнем,— вот на старости лет, на восьмом десятке, может на самом-то конце, привелось мне за правду мирскую...

Он не мог договорить, и долгий стон закончил слова его.

— Господи! — воскликнула Катерина.— Что ж такое приключилось?

— Он ударил меня! — грозно молвил старик и встал с места и вытянул обе руки, как будто хотел схватиться с оскорбившим его человеком.— Слышите?.. ударил!.. О, господи!.. тяжко как!.. когда за правду хочу я стоять!..

— Кто ударил? кто? — вскричали Катерина и Иван.

— Окружной!.. Вороненков-злодей поругался над моей старостью... Он это заставил!..

Последние слова он насилу выговорил: так ослаб его го-

лос от волнения; он замолчал, опустил голову на руку и задумался. И никто не нашел слов, чтобы продолжать разговор с стариком. Катерина, тяжело дыша, глотала слезы и всячески старалась удержаться от стонов и рыданий. Иван стоял подле отца ни жив ни мертв: его, как гром, поразило это известие. Алена ушла в другую горницу; грудь ее разрывалась от тоски, и она горько плакала. Так прошло немало времени. Наконец старик подошел к Катерине и сказал ей:

— Спать тебе пора, Катерина, и всем пора!.. Не сокрушайся ты... Видно, так богу угодно... Ну, ступай же, Катерина, вот и я пойду... Помолюся пойду... авось-либо...

Он ушел в свою маленькую каморку и заперся там. Целую ночь он не спал. Голова его горела, ему крепко неможилось: то жаром, то холодом всего его обдавало. И горькие мысли беспрестанно волновали его душу. Он не мог отогнать их, не мог успокоиться хоть на минуту. Принялся было он за любимое свое чтение, псалтырь, но должен был отложить святую книгу: мрачная дума, как бы насильственно врываясь в его разгоревшуюся голову, влекла его к иным, житейским предметам.

Он стал вспоминать о всей своей жизни, о долгом труде, давшем ему довольство и покой,— все припомнил, и вдруг представилось ему, что он грешник великий, что трудился он для себя одного, позабывая сирого и нищего, не возлюбив их довольно по закону божию,— и правда его не вставала за правду мирскую, что за то бог и наказывал его смертью детей... И при таких мыслях унывала душа его, и он твердил покаянные псалмы и молитвы, которых много знал, по обычаю всех грамотных байдаровцев, обыкновенно под старость делающихся начетчиками.

А там припоминались ему: Абрамка-племянник, старый хворый отец его и всякие неправды Вороненкова, и гнев волновал его...

Долго шла эта ночь, и много надломила она силы крепкого старика.

К утру сон посетил его ненадолго. То был тревожный сон. Снилась ему темная ночь; в тесном пространстве, ограниченном мглою, двигались и мешались в диком, непонятном смятении, и все как будто на одном месте, ряды особенных голов человеческих, а лиц не видал он; и над этою тесною массой голов вдруг вскидывалось множество

рук, как будто то были утопленники, в последний раз всплывавшие наверх втягивавшей их в себя бездны... Это явление возмущало страшною тоской душу Прокофья. О, как жаль было ему и этих утопленников, и все эти головы! Все эти головы были родные ему!..

Но вот сквозь густую мглу внезапно мелькнул яркий луч... И Прокофий начал всматриваться в ту сторону. Там, далеко-далеко, явились пред ним другие толпы людей, и видны были ему лица их в слабых очертаниях. Широко расстилались там тучные пажити, луга пространные и зеленые; многоводные реки их орошали, и над всем пространством светозарно сиял свет незаходимый...

«О, свете тихий славы твоея, господи!» — с отрадою произнес старик несколько раз, и с этими словами проснулся.

Но светлое видение не воскресило его телесных сил. С самого утра болезнь так одолела Прокофья, что он не мог уже встать с постели. Страшно перепугалась Катерина, видя его в таком положении. Он заметил это и стал утешать ее.

— Ну, что ты это? словно впервой видишь больных-то? — говорил он ей.

— Да и то — ты впервой так-то.

— Ну, что ж!.. А ты без времени не тревожься. Ведь коли б конец мой пришел, я бы и сам чувствовал, а то нет, кажись... Вот погоди, Катерина, дела-то я еще не сделал... Живой об живом и думает,— примолвил он задумчиво.

Чуть только день занялся, соседи и родные почти беспрестанно стали навещать дом Терехиных. Шепотом расспрашивали они Катерину, Алену и Ивана о том, что такое вышло у старика с окружным. Все происшествие было известно им в подробности, но все-таки хотелось им узнать еще подосконально. «Ведь жалеючи вас спрошаем-то»,— говорили докучливые гости. Шепот в соседней горнице тревожил иной раз больного, и вспадало ему на мысль велеть, чтобы никого не пускали; однако он не сделал этого.

Один раз, как не было посторонних, Иван сказал ему:

— Батюшка, а лучше бы не пускать... Ты как скажешь? А то ведь оченно неспокойно тебе.

— Нет,— отвечал Прокофий,— оставь,— они не помеха.

«И то,— подумал он,— пускай их ходят: и надо им про все знать...»

Весь этот день он был очень слаб, но духом спокоен.

С домашними, даже с любимым своим внучком, он говорил мало. Думал все он, как бы поскорее оправиться, чтобы за дело приняться; мысль о деле никак не покидала его. А мысли о злобе Вороненкова и о вчерашнем оскорблении он отгонял от себя: на это он имел еще довольно душевной силы. Изредка вспоминал он об умерших детях и братьях, но и с этими грустными воспоминаниями он мог еще совладеть, прибегая тотчас же к молитве. Душа его отдыхала теперь.

Перед вечером, когда все посторонние разошлись наконец, он позвал к себе Ивана и велел ему читать вслух псалтырь. Все его мысли направились на молитву и с особенною отрадой останавливались на следующих стихах которые заставлял он повторять себе по нескольку раз:

«И изведет, яко свет, правду...»
«Господь крепость людям своим даст...»
«Кротции же наследят землю...»

Стало смеркаться, и Прокофий впал как будто в дремоту. Заметив это, Иван и Катерина, тоже слушавшая чтение, вышли потихоньку. Но дремота старика была только на несколько минут. Вдруг обхватило его тоскливое чувство; какая-то неясная, но грозная мысль пронеслась в душе его: великий ужас напал на нее: то было предчувствие смерти. В тоске он стал метаться и кликать: «Подите вы все сюда!.. подите скорей!..»

Когда взошли к нему Катерина, Иван, Алена и Гриша, старик велел подать побольше свету; зажгли две свечки, кроме лампады перед образами, но ему все было темно: глаза его беспрестанно застилались мраком.

— Ох! тяжко, жутко мне что-то... страшно...— говорил он чуть слышным голосом.

И, только положив руку на голову старшего внучка, которого подвела к нему Алена, он успокоился. Долго он молчал и не отвечал даже на робкие вопросы Гриши. Казалось, он опять несколько задремал. Так прошло часа два.

Но вдруг он порывисто приподнялся и, быстро смотря на всех, сказал Катерине:

— Катерина! помнишь, о чем я говорил тебе?.. Вот время пришло...

Она не поняла этих слов и не знала, что отвечать.

— Ты останься, а вы выдьте,— молвил он с некоторым нетерпением. Потом, как все вышли, он продолжал:— Час воли божьей!.. Катерина! я скоро умру, может ноне же...

Она вся задрожала от ужаса и скорби.

— Господь с тобою! — говорил он.— Воля божья великая, смерти не минуешь. Пошли за отцом Алексеем. Скорей, пока могу, пока память есть!.. Ох! коли б сподобил господь причаститься святых тайн!

Рыдая в голос, Катерина выбежала, чтобы послать за священником, а старик закрыл глаза и опять заметался в томлении.

Скоро пришел отец Алексей. Исповедуясь перед ним, Прокофий вспомнил все дела своей долговременной жизни, сознал прегрешения свои, раскаялся в них с сердечным сокрушением и всем врагам своим простил. Потом он причастился с чистой верою и любовью к богу, с твердой надеждою на великое милосердие его в будущей жизни. Умилительно совершился священный обряд. И после него стало легко на душе Прокофия.

Когда священник ушел, старик позвал к себе одного Ивана и сказал ему:

— Умираю, Ваня... послушай же меня перед концом моим. Слушал ты меня завсегда, а как меня схоронят-то, станешь ли помнить твердо, что скажу теперь?

— Батюшка! не выду из воли твоей николи! — отвечал Иван, плача.

— Буди же милость господня над тобою!.. Слушай, Ваня: дела не начинай с Вороненковым — тебе не под силу... Господь отплатит ему за все! Может, уж близко время, и не будет ходу таким-то злым неправдам. За меня не вступайся, Иван, а за мир вступиться — труд это великий; вот и мне пришелся он не под силу. О, господи! знать недостоин я был... Правду твою не скрыл в сердце моем, но поздно пришел в разум истины!..— Старик грустно задумался на минуту; потом опять начал говорить сыну: — Перепишися ты хоть в Суходол, в купцы; достаток у тебя будет немалый; там будет, кажись, повольготнее здешнего. Трудися честно и право, живи по закону, побожьи, никого не обидь, помогай сиру и нищу. Детей возрасти в страхе божием, да отдай их в науку хорошую, учение — свет и добро, с учением будет способней. Да бе-

реги ты Гришу-то, ради господа! Ну, позови теперича всех.

Благословивши семейных, он простился с ними и со всеми, кто тогда был из посторонних, снова набравшихся в дом Терехиных при известии, что старика причащали.

Но все труднее и труднее становилось ему говорить; черты лица его сделались неподвижны и мертвенны; только в глазах, иногда быстро оглядывавших все, еще светился луч жизни, но и они стали потухать. Прерывистым голосом сказал он, чтобы перенесли его под образа, да велел Ивану опять читать псалтырь у его изголовья.

Дрожа от великой скорби, Иван начал читать псалом за псалмом, и скоро посторонние присутствующие заметили, что старик как будто говорит что-то: то были отрывистые слова молитв.

— Память отошла... кончается...— шептали промеж себя соседи.

Между тем Катерина беспрестанно впадала в беспамятство. Горесть ее была неописанна. Соседи и родные решились насильно вывести ее в каморку Прокофьеву, чтобы она не помешала душе умирающего оставить тело. В горнице, где лежал умирающий, находились: Иван, все читавший псалтырь, Федот Суслов, горько плакавший в уголку, и еще человек шесть родных, которые хранили глубокое молчание, часто крестились и тяжело вздыхали, да иногда входила потихоньку Алена, которую влекла сюда какая-то необоримая сила; вместе с нею входил и Гриша, которого она не могла заставить оставаться с Катериною: так жалобно и убедительно просил он пустить его к дедушке.

И вот Грише показалось, что дедушка зовет его.

— Матушка! — шепнул он Алене.— Дедушка меня зовет.

— Почудилось тебе,— отвечала она.

Но в эту минуту глаза Прокофья широко раскрылись, ярко вспыхнули, быстро все оглядели — и он явственно для всех присутствующих произнес:

— Гриша' Алена! — нате... возьмите...

Гриша и Алена хотели было кинуться к нему, но несколько рук удержали их.

— Что ты, Алена? опомнись, да перекрестись! не подходите ни за что! — заболтали шепотом соседи и родные, усердно крестясь.— Господи Христе! чтой-то такое он

отдает? Чай, знаешь, что эвто худое дело!.. ох, родимые, худо!.. вот уж не чаяли, а старик-то, знать...

— Нате, возьмите!..— повторил умирающий, и в этих словах слышалось что-то грозное.

Алена мгновение колебалась, но, перекрестившись, она почти вырвалась от удерживавших ее людей и быстро подошла к Прокофью вместе с Гришею.

— Батюшка! — тихо сказала она, наклонившись над ним.— Мы здесь! Батюшка! во имя божие благослови нас!

— Господь над вами! — произнес он, для них только слышным голосом, и протянул руку свою, едва приподнимая ее, над их наклоненными головами. Иван тоже кинулся к нему, но в то же мгновение Прокофий испустил дух, и на устах его мелькнуло какое-то радостное чувство.

Жизнь и похождения Трифона Афанасьева

Повесть

I

В молодости моей знавал я крестьянина (звали его Трифоном Афанасьевым) из соседнего со мною сельца Пересветова. Мрачная доля этого человека всегда памятна мне. Я хочу теперь рассказать про его жизнь, замечательную в психологическом отношении страшным падением и внезапным высоким восстанием.

Сельцо Пересветово находится в лесном уголку одной из средних великороссийских губерний, в местности, где почва бедна и неблагодарна. В уголку этом, не лишенном, впрочем, средств для местной сельской промышленности, издавна существовал обычай отходить на сторону для заработков. Пересветовцы любили исстари свободу промыслов (или по крайней мере возможность свободно выбирать любой из них) и не отстали от этого обычая даже тогда, как в некоторых окольных селениях стала успешно развиваться фабричная промышленность. С ранних лет всякий почти пересветовец покидал родное селение и свою семью, шел в далекую сторону, жил там подолгу, обыкновенно до сорока или сорока пяти лет жизни, а иногда и состаревался на стороне. Так начал и Трифон Афанасьев. На четырнадцатом году он узнал чужую сторону. Был у него в Питере родной дядя, занимавшийся биржевым извозничеством, и мать Трифона, тотчас после смерти отца его, отправила к этому дяде своего сына. Само собою разумеется, дядя пристроил племянника по своей же части.

Нелегка эта часть, как и все почти промыслы наших русских людей, добывающих себе хлеб на стороне. Не по труду нелегка, не потому, что с раннего утра до глухой полночи, а иногда с вечера и вплоть и до утра извозчик-работник в стужу и непогодь все на улице и всегда занят, но нелегка она — по расчету за труд, потому, что работник этот в беспрерывном тяжком ответе перед хозяином. Хозяину нет возможности поверять его в выручке, а поэтому он сам учитывает его кое-как и всегда произвольно. Чаще же всего он так делает: отпуская с утра работника, он наперед назначает сумму, которую тот непременно должен выездить, а если не выездит — вычитает из его жалованья недостачу. Обращение хозяев с работниками — весьма тяжелое, справедливости не ищи; хозяева, считая себя постоянно обманутыми со стороны работников, и сами обманывают, притесняют их чуть не на каждом шагу; а работники, зная, что хозяева никогда не пощадят их, в свою очередь всячески стараются надувать хозяев. Круговая порука эта, допускающая только редкие исключения, не первый уже день ведется на Руси святой и от многих причин держится крепко-накрепко...

В первые годы своей жизни в Петербурге Трифон не очень много нужды вытерпел. Дядя не выпускал его из глаз своих, берег и всегда отстаивал, был к нему добр и ласков, учил усердно уму-разуму. Правда, не вся его наука могла быть кстати малому. Дядя — хоть и отличный извозчик — был охотник большой своровать все, что подойдет под руку, отчего нигде не уживался, и племянника, пока тот совсем в возраст не вошел, перетаскивал за собою с места на место. Однако Трифон не пошел по его следам, дурной и столь близкий пример не испортил его, — он, напротив, спозаранку отличался удивительной честностью. Во все житье свое в Питере не взял он на душу греха воровства и обмана. Может быть, от природы были живучи и сильны в душе его семена правды; может быть, поддерживало его воспоминание об отце, старике добром и честном, с которым он прожил дома все почти годы детства; а может быть, и жалкая доля дяди вселяла в Трифона отвращение к мошенническим проделкам.

Пантелею — так звали его дядю — вчастую доставалось за плутни. Не раз и в полицию его забирали, что недешево ему стоило; не раз и у хозяев подвергался он домашней тяжкой расправе; все это постоянно бывало на глазах Три-

фона. А когда было ему уже лет за двадцать, он увидал и бедственный конец дяди. За какую-то довольно неважную плутню строгий хозяин с работниками своими так избил провинившегося, что тот недель шесть вылежал в больнице. И жаловался он полицейским властям, только бокам его стало не легче оттого, что его обидчику пришлось поплатиться за самосуд.

Трифон сначала во всем обвинял одного дядю и даже сильно серчал на него.

«Вот, впервой, что ли, так-то? — думал он.— А все неймется!.. Раззарился, вишь, на чужое добро, а можно бы жить и без этого. И мне-то с ним какое житье!.. Урекают[1] тоже из-за него!.. Эх! кабы воля была!..»

Но Пантелей совсем зачах с этого разу. Скоро хворость его усилилась до крайней степени, и видно было, что уж не жилец он на свете. Жалеючи его, загоревал тогда Трифон, а вместе с тем он почувствовал сильную вражду к тем людям, которые так бесчеловечно поступили с его дядею.

«Вишь, как исколотили, в гроб вогнали! — рассуждал он сам с собою.— И даром им пройдет,— где уж теперича суда искать?.. А он-то помрет беспременно!..»

И точно: от этих жестоких побоев Пантелей душу отдал богу. Перед самым концом много каялся он во грехах перед племянником.

— Помирать, Триша, пришлось...— говорил он.— По грехам моим — сам то есть причинен!.. Триша! ты уж не забудь помин сделать по душе.

— Знамо, сделаю...— отвечал печально Трифон.

— Ох, тяжко! — продолжал Пантелей.— А ты не думай, Триша... не думай, что все зря только грешил, ради для баловства одного... Ведь сначала-то мекал, как бы побольше деньжонками сбиться... мало ль на что надобно было?.. а опосля думывал семье помочь... Сколько людей так-то нажилися!.. Лета мои уходили, домой надоть было сбираться — а с чем прийти?.. Не шло все в руку-то, оттого больше...

— Не надоть бы...— тихо заметил Трифон.

— Да, да... не надоть бы, сам вижу!.. Триша! ведь сыновья махонькие, подрастут тоже,— откупиться думал на волю... Давно хотелося откупиться, для этого больше и с братом Афанасьем разделился... Мало ль хлопот и греха было? Барин не позволял, уж насилу-то...

— Господи! — продолжал умирающий.— Помираю, а дети-то!.. Обижать, пожалуй, общество станет... кто за них заступится?.. Подрастут, думал с собою пристроить... а вот помираю!.. Триша! ради Христа, не покинь!.. пристрой, как подрастут!..

— Не покину,— отвечал Трифон.

— А ты меня прости... в чем согрешил супротив... Не покинь же, Триша, не покинь ты...

Повторяя беспрестанно эти просьбы не покинуть детей, он умер. Трифон много плакал о нем.

Он остался без всякой поддержки на чужой стороне. В первое время жутко и тяжко ему было, но потом он поустроил делишки. Он сам себе помог. Ловкой смышленостью и бойкой неутомимостью в работе он приобрел себе хорошую известность, тем более прочную, что нельзя же было его хозяевам не заметить его безукоризненной честности. Впрочем, был у него и недостаток довольно крупный, а в его положении особенно неудобный: он был своеобычлив и упрям; ему все хотелось быть посвободнее, делать по-своему, а иной раз он бывал чересчур грубоват.

Скоро случилось происшествие, взволновавшее сильно его впечатлительную, живую душу.

Я сказал уже, что Трифон отличался особенной смышленостью,— она-то помогла ему сослужить большую службу хозяину. Как-то осенью, когда настали темные ночи, подметил Трифон, что один из живших с ним двоих работников все что-то высматривает в хозяйских горницах и как будто особенно старается ознакомиться с той горницей, в которой спит хозяин.

Раз Трифон спросил этого работника:

— Ванюха! ты что это все высматриваешь?

— А чего мне высматривать!.. Что ты ко мне пристаешь?..— отвечал сердито Ванюха — и заругался.

Дня через два после того Трифон увидал нечаянно, что несколько досок в самом темном углу конюшни приподымаются и что под ними вырыта довольно большая яма.

«Хоть что хошь,— подумал он,— а работал это Ванька. Видно, дельце какое ни на есть затевает...»

Вместе с тем пришло ему на память, что Ванька в последние дни все шептался о чем-то с Ефремом, другим работником. Обо всех этих наблюдениях Трифон сбирался уже

сообщить хозяину, как вдруг у хозяина случилось большое горе: украли сундук, в котором берег он всю свою казну.

Покража была сделана смело, да притом явно — людьми близкими, хорошо знавшими расположение дома и всю домашнюю обстановку. И — странное дело — ни хозяин, ни жена его (их было только двое) не слыхали, как просверлили буравом дверь комнаты, где они спали, как отодвинули задвижку, как взошли, взяли и вынесли большой сундук. Проснувшись на другой день, по обыкновению, ранехонько, хозяин насилу голову приподнял от сильной боли, но как раз увидал, что драгоценный сундук исчез. Хоть и больной, он, однако, проворно распорядился: задержал всех работников дома и кинулся в полицию. Тотчас началось следствие, произвели осмотры и обыски, забрали работников и рассадили порознь.

Когда стали допрашивать Трифона, он объяснил, что сам в краже неповинен, а подозревает в ней Ваньку, с которым, может статься, участвовал и Ефрем. Это показание он сделал прямо, ясно и твердо. По рассказу его о подмеченной яме в углу конюшни кинулись туда и, точно, нашли пропавший и еще непочатый, на счастье хозяина, сундук. Эта улика была сильна и неотразима, но обвиняемые решительно заперлись во всем и в свою очередь стали путать Трифона.

Следователь, частный пристав, был великий скептик, как и подобает быть у нас полицейскому чиновнику. Он заподозрил тоже и доказчика если не в прямом преступлении, то по крайней мере в соучастии с Ванькой и Ефремом.

— Эге, друг! — говорил он, понюхивая табачок «для освежения мыслей».— Ты у меня не вертись! ты у меня и не думай вертеться... Я вашего брата знаю вдоль и поперек! Что ты думаешь — мало перебывало у меня воров и мошенников на разную стать? Эге! да еще какие мошеннички-то бывали! что твои гусли... Так-то, любезный! Ты вот постой, я тебе по пальцам все расскажу и растолкую.

Тут словоохотливый частный пристав приостановился, разом зарядил свой нос крупной порцией табачку, подошел вплоть к Трифону, дружески потрепал его по плечу, приподнял голову его вверх, стукнув, не совсем-то уж по-дружески, кулаком в подбородок,— и, беспрестанно подмигивая левым глазом да улыбаясь слегка и как-то особенно лукаво, начал говорить с подобающей важностью:

— Ну, братец ты мой, наперед тебе объявляю: сердце мое чует — ведь оно у меня вещун,— сердце мое чует, что будешь ты моим «крестничком». Так ты чем скорее сознаешься, тем для тебя же будет лучше,— что без толку время волочить?.. Теперь слушай внимательно да смотри мне прямехонько в глаза,— я, брат, очень люблю, коли мне в глаза прямо смотрят, а стоят чинно и смирно. Ты говоришь, что Ванька и Ефремка украли, а сам ни в чем не виноват, а я тебе скажу: быть сего не может!.. И вот почему...

Трифон не выдержал; его уж давно подмывало огрызнуться.

— Ан нету!..— прервал он, горячо размахивая руками.— Отродясь вором не был... вот однова дыхнуть!.. Вишь ты: я ж доказал на воров, а на меня вину валят!.. Да я...

Частный проворно подбежал к нему.

— Тсс!.. молчать! — вскричал он, зажимая широкой ладонью своей рот Трифона.— Что ты это?.. С ума никак сошел!.. Я лишь на первый раз решаюсь простить тебе такую предерзость. Начальство с тобой говорит, начальство доказывает тебе, начальство изволит тебе доказывать,— а ты рот свой мерзкий разеваешь, а ты руками смеешь размахивать! Ну, смотри у меня!.. В другой раз я не осмелюсь даже простить, а тут же должен буду... да, да!.. ни гугу! смотри!..

Вслед за этим он опять приподнял голову Трифона, два раза стукнул его кулаком в подбородок, так что у малого зубы во рту ходенем заходили. Такие убедительные доказательства подействовали на Трифона: с этого раза он уже не прерывал следователя.

— Ну, слушай же, малой,— начал опять частный пристав.— Я буду говорить доказательно, а дельце твое рассужу как по-писаному. Это страсть моя — объяснять всякому воришке, в чем его провинность состоит; надо же вас, мошенников, с законами знакомить. Вот как дело было у вас: все вы трое — я, брат, справедлив и знаю, что не ты один,— все вы трое заблаговременно сговорилися, умысел учинили, и яму вместе вырыли, и хозяев дурманом опоили,— ведь спали они как сурки и ничего не слыхали,— а потом сундук вместе украли... Ну, а наконец заделили друг друга, вот ты — в дележке, значит, обиженный — и показываешь теперь. А то с чего бы тебе знать и про яму, и

про все там? Невероятно! невероятно!.. Так, что ли, малой... ведь заделили тебя?..

— Нету, помилуйте!..— отвечал Трифон.— Как так заделили? Помилуйте!.. да сундук-то целехонек найден, не разбит и не отперт...

Возражение это озадачило частного. Он несколько раз повторил глубокомысленно: гм! гм!.. и несколько раз освежил свои соображения крепкими понюшками.

— Ты, однако, не сбивай меня, братец! — сердито сказал он.— Слышишь? не сбивай меня!.. Знаю я, что цел,— ну, так что ж такое! Всё же могли вы поссориться и разладить, хоть, например, из того, что один из вас, за большее участие в деле, хотел воспользоваться лучшею долею. Ну, сам скажи: могли поссориться? могли разладить?..

— А почем я знаю, чего не знаю! — возразил грубовато Трифон.

— Экой ты скот, братец ты мой! Экой ты скот... все-то запираешься...— промолвил как-то задумчиво частный — сила скептических его соображений опять заметно ослабела.— Ну, а что ты скажешь,— продолжал он, уже путаясь в словах,— что скажешь... вот, например, да!.. ну, о том, что хозяев-то дурманом за ужином опоили?..

Яркая мысль мгновенно озарила голову Трифона.

— Да и я с ними ужинал! — быстро вскричал он.— Ваше высокоблагородие! я тоже спал как убитый... Сам хозяин насилу меня добудился — вот извольте спросить... А Ванька и Ефрем не ужинали...

Слова эти и подтвердившие их показания хозяев повели к расследованиям. Ванька и Ефрем чрезвычайно спутались; сначала они заперлись было в том, что не ужинали, а потом разбились в речах: хозяева и Трифон во многом их уличили. Частный пристав оказался не только говоруном и скептиком, но и неумолимым преследователем преступления. Он загонял Ваньку и Ефрема полицейскими силлогизмами, для большей убедительности которых не пожалел и вспомогательных средств, то есть всяких угроз, обещаний, что ничего не будет за признанием, а особенно лихих «зубочисток», и наконец Ефрем сознался, А Трифон окончательно был оправдан в полицейском судилище.

Как видите, порок наказан, добродетель Трифона восторжествовала. Но восторжествовала добродетель эта не в гла-

зах частного пристава. В каком-то раздумье и с явным неудовольствием выпустил он из-под ареста Трифона.

— Ну, любезный,— молвил он при этом,— ловкий ты мошенник, из молодых, да ранний. А помяни мое слово — не сносить тебе головы: не мне, так другому попадешься и уже не отвертишься...

Но этим предсказанием он не ограничился. Получив от хозяина «благодарность» за благополучное окончание дела, он, в порыве своей благосклонности, счел долгом предупредить его насчет Трифона.

— Смотри ты в оба и как огня берегись этого малого,— сказал он хозяину.— Продувная бестия! На речах какой бойкий — мало встречал я подобных мошенников. Просто вот глаза отвел, из воды сух вышел. А все скажу: не может быть сего! Уж как-нибудь да участвовал он в этой краже.

Хозяин много кланялся за такое предупреждение. И не пропало оно даром. С этого разу он стал нападать на Трифона, во всем его подозревая; хозяйка тоже взъелась на него; взятые на место Ваньки и Ефрема работники искоса на него глядели и часто поговаривали, что «вот доносчику-то надо бы первый кнут». Не раз Трифон и сам упрекнул себя за то, что показал на бывших своих товарищей.

«А пожалуй, лучше б не показывать...— думал он,— и так бы дело-то сошло... Сундук вот... что ж!.. я-то им не покорыстовался бы, а хозяин сам бы, чай, нашел его, а то можно б ему было указать опосля... Вишь ты, за правду-то каково стоять!.. Поди-кась, напасть вышла какая! И мошенником тоже сочли,— и чем бы спасибо сказать, тут все как есть взъелись... Наустил меня лукавый!..»

Скоро опротивело ему такое житье; болезненно оскорбляли его эти несправедливые подозрения, эта вражда, эти попреки. Хозяин не сгонял его еще от себя, но ясно было, что он хочет от него отделаться,— Трифон сам решился перейти на другое место. Он потребовал расчета, а хозяин и тут его притеснил, обсчитав на несколько десятков рублей; крупно поругался с ним Трифон и объявил, что «до суда дойдет» из-за своей обиды.

— Эва! угрозил ты нам! — возразил хозяин.— Нас, брат, знают-то получше. Мы начальство-то уважаем, не однова сходим с поклоном, доступ ведь имеем... Да чем таким ты докажешь-то?..

Хозяин был прав. Частный пристав — старый наш знакомый — рассудил дело как следует.

— Экая ты бестия,— сказал он Трифону,— и бестия-то неугомонная!.. Из пустяков сущих к начальству лезешь, беспокоишь!.. Ты, мошенник, вспомнил бы старое-то дельце. Добрый еще человек твой хозяин, что тогда же не постарался запрятать тебя в острог, да еще сколько времени держал тебя после того... Пошел вон и не смей лезть на глаза из-за всякой дряни!..

Этот-то весьма обыкновенный случай имел большое влияние на развитие характера Трифона. Он раздражил его и поселил в нем недоверие к окружающим его людям и ко всему его положению. Положение это было таково, что часто приходилось ему встречаться с людской несправедливостью, а он не умел выносить и терпеть, не умел прилаживаться к обстоятельствам. От этого и он, подобно дядемошеннику, нигде не уживался. Правда, он не лишался чрез то работы. Русский люд, особенно промысловый, неприверeдлив, и, коли один хозяин, по какой ни на есть причине, расстается с работником, вчастую не добром расчетшись с ним, наверное сыщется другой, который тотчас же примет к себе прогнанного; однако для Трифона мало толку было в этом. Как только приходилось ему искать места, новый хозяин прижимал его, бывало, и давал плату неподходящую. Но делать было нечего — Трифон нанимался и за такую плату. Таким образом, цена с его работы, труда потового, сильно всегда упадала. Трифон был умен, он хорошо видел все это и знал досконально, по какой причине дело его «не выгорает», а все-таки невмочь было ему поправить беду: как быть, с таким нравом «ничего не поделаешь».

Между тем он женился у себя на родине, в Пересветове, и сделал это больше по требованию своей матери, чем по собственному желанию: матери его понадобилась помощница в доме, или, просто сказать, работница. Впрочем, жена ему попалась хорошая и добрая, только чересчур уже смирная,— а это последнее качество было не под стать характеру ее свекрови Афимьи, бабы малоумной и крайне сварливой. Трифон, хоть и обзавелся своей собственной семьею, редко и не надолго навещал Пересветово. И тяжело бывало ему проживать дома. Афимья обращалась с его женою всегда глупо и несправедливо, а иногда даже жестоко. Уж как хотелось ему вырвать из-под этого гнета бед-

ную жену, которую он очень любил! Сначала он порывался было взять ее с собою в Питер, вопреки обычаю и несмотря на то, что мать и слышать про это не хотела; но средства для его жизни с женою на стороне были недостаточны, да к тому же пошли у него дети,— и он должен был отложить свое намерение.

Вспомнил он тогда, как дядя Пантелей все добивался, чтобы откупиться на волю. Мысль о свободе стала вдруг любимою, дорогою, потаенною его мыслью. Он положил работать без устали для этой цели. Он рассчитывал, что как только откупится, то приютит с собою жену и детей, а дети, подрастая, помогать будут, и легче дело его пойдет, и, смотришь, под конец сам он сможет сделаться хозяином, хоть и не на большую руку.

«Лишь бы выбиться на «стремя»-то,— думывал он,— а там по воде уже легко будет плыть!..»

II

И стал Трифон Афанасьев жить да поживать все в Питере. Вообще не очень удачилось ему здесь, но он никак не хотел расстаться с привольным, бойким городом; «благо обжился, к месту пришелся»,— как он говаривал,— тут и свековать ему желалось. Да и во всяком случае он хоть и немного добывал в Питере, однако доставало ему из заработков своих уплачивать оброк исправно и в дом подавать ежегодно рублей сотню ассигнациями; а сверх того, во многие годы работы сколотил он и запасец порядочный.

Так прошло с лишком двадцать годов; Трифон же доживал свой четвертый десяток. К этому времени накопилось у него в запасце тысячи полторы рублей. Он не выпускал их из рук, хранил как зеницу ока и носил всегда на кресте.

«Вот,— думал он теперь частенько,— еще годика три-четыре поработаю, авось и еще рубликов пятьсот сколочу... А семья у меня небольшая,— может, барин и возьмет тысячки полторы... Приписаться будет стоить дороговько: ведь нашего брата тоже не помилуют... Больно мало останется у меня деньжонок, и обзавестись, почитай, будет не на что... да ничего!.. Юшка ведь на возрасте, а Мишутка авось

с помощью господней поправится... А право слово, барин возьмет полторы тысячи: он ведь добрый, хоша и бестолков маленько...»

Но во всю жизнь недобрая доля преследовала Трифона.

В последний год пребывания его в Питере получил он в начале лета известие из дому, что жена его умерла. Он тотчас же отправился в Пересветово и нашел осиротевшую семью свою в чрезвычайно плохом положении: старший сын его Ефим, малый лет уже пятнадцати, оказывался хворым и поэтому ненадежным к постоянной, усильной работе; дочь Аграфена в прошлую зиму потеряла ноги от сильной простуды и сидела калекой; младший его сын Михайло, семилетний мальчик, испуганный в детстве бабкою Афимьей, имел падучую болезнь, и уже теперь было заметно, что он на всю жизнь останется дурачком. Бедный Трифон был поражен таким положением семьи. Много тужил он о жене, еще больше горевал о детях и, ко всему этому, сильно не ладил с матерью, которую он не мог не попрекнуть за несчастье младшего сына своего и за дурное обращение с женою, захиревшей, может быть, через нее. Недели четыре только пробыл он дома и под конец этого времени усильно спешил отправиться в Петербург,— так тяжело и горько было ему дома глядеть на семью свою.

Он пришел в Петербург в праздничный день, к вечеру, и, при самом входе в город, встретился с двумя знакомыми извозчиками, земляками ему из соседней с Пересветовом деревни Загорья.

— Трифон, брат, здорово,— весело сказали они оба.— Из дому, что ли?

— Из дому,— отвечал Трифон.

— Подобру ль, поздорову побывал?

— Нету, братцы!..

И он рассказал им про свое домашнее горе. Земляки потужили, поохали, стали утешать его, как умели, а покончили утешения такими словами:

— Что ж, брат, делать-то? Воли божьей не минуешь, а уж оно, знать, так на роду тебе написано... А чем горевать-то, брат, пойдем-ка да выпьем маненько. Ты хоша и не больно охоч до вина, да все ж иногда пропускал, — мы ведь знаем... Так теперича-то и сам бог велел — с горя... А нам тебя, брат Трифон, вот же, ей-ей, до смерти жалко!..

— Спасибо, братцы, на добром слове,— отвечал Трифон,— а вина не надо... чай, и в душу не пойдет...

— Экой ты!.. говорим — надоть тебе беспременно теперича... Легче не в пример будет!.. Мы вот и сами, брат, с горя тоже,— с местов слетели, хозяин обидел, так оттого больше...

— Да как же,— возразил уже в каком-то раздумье Трифон, которому в ту минуту так вдруг захотелось испить винца, как никогда прежде не хотелось,— да как же, братцы... а я было думал прямо на фатеру к хозяину ночевать, да завтра с утра уж и за дело приниматься...

— Эва! — сказали, смеясь, оба приятеля.— Успеешь еще наработаться,— дело-то не медведь, в лес не уйдет, а нашему брату, ей же богу право, можно иной раз и отвернуться от дела хоть на часок... Вишь ты, ретивый какой!.. Ты пойдем-ко с нами да выпьем, брат,— а вот ночевать-то, ну, коли поздненько там будет али захмелеешь больно, так хоша с нами ночуешь...

Трифон не стал уже более возражать; он тем легче согласился на предложение земляков, что его самого так и подмывало пойти размыкать грусть-тоску; да к тому же земляки эти были люди хорошие и по душе ему.

Обыкновенно скупой на всякие напрасные траты, Трифон в харчевне раскутился не на шутку. Голова его затуманилась, он вдруг позабыл про свое горе, и легко стало у него на сердце; приятели его тоже весело кутили. Скоро пристал к ним еще товарищ на выпивку, тоже извозчик, знакомый несколько приятелям Трифона, парень молодой, разгульный и весельчак затейливый. Он подсел к Трифону и так подладил ему веселою речью, что под конец стал брататься с ним. Все наши гуляки выпили тут не мало и еще хотели бы выпить, но было уже поздно, и харчевник выпроводил их вон почти насильно.

На свежем воздухе голова хмельного Трифона еще больше затуманилась, а ноги у него так и подкашивались. Он смутно понимал, что в таком положении не следует ему идти к себе на квартиру, до которой было не близко.

— Кузьма, а Кузьма!..— сказал он одному из двух приятелей-земляков.— Я, брат, тово... уж и больно-то я захмелел теперича... Идти на фатеру — а нету, брат, никак вот не могу!.. и неблизкое место, право слово!.. Да вот что, брат,— прибавил он, понижая голос, но говоря, однако, так, что

все слова можно было слышать,— боюся, тово... как бы деньжонки, брат, кровные денежки — на кресте вот ношу откупиться приготовил — как бы то есть не отняли...

— А хошь?.. я тебя провожу!..— проворно вмешался разгульный парень.

— Ну, брат...— начал было Трифон.

— Нету!..— возразил Кузьма.— Пошел ты прочь, Андрюшка!.. Знаем мы тебя — заведешь ты его, пожалуй... Пойдем-ко, брат Трифон, с нами ночевать...

— Так и я с вами! — вызвался опять Андрюшка.

— Ну, куда еще!.. проваливай-ко!.. Там и так тесно будет,— отвечал товарищ Кузьмы, Петруха.

— Уж пожалуйста, братцы, не прогоняйте меня! сделайте такую милость!.. больно далече идти...

— А черт с тобой!.. иди, пожалуй,— вымолвил с неудовольствием Кузьма.

В большом душном и темном подвале, куда вошел теперь Трифон с своими товарищами, уже спало вповалку на полу довольно много всякого народу, и не без труда отыскали наши гуляки местечко себе посреди подвала. Трифон, Кузьма и Петруха скорехонько и крепко заснули, но Андрюшка не спал: он задумал раздобыться в эту ночь чужим добром. Уверившись, что товарищи его крепко разоспались, он ползком и потихоньку подкрался к Трифону, смело расстегнул ему ворот рубахи, вытащил из-за пазухи шнурок с крестом и кошельком и складным ножиком ловко перерезал шнурок. Затем он хотел было убираться вон из подвала, но вдруг пришла ему в голову затейливая мысль... он усмехнулся про себя, опять смело подобрался к Трифону и осторожно надел ему на шею свой крест с грязной ладанкою. Окончив счастливо эту опасную затею, он поспешил уйти и тут нечаянно спотыкнулся об ноги Кузьмы. Кузьма приподнялся на локоть и спросил спросонья:

— Кто это?

Андрюшка не отвечал, но невольно остановился.

— А, черт! ноги отдавил,— сказал сердито Кузьма.— Да кто такой?

— Я,— отвечал шепотом Андрюшка.

— Вишь ты, вор Андрюшка! — пробормотал уже почти бессознательно Кузьма и повалился опять спать, а вор проворно выбрался из подвала.

На другой день Трифон только что глаза открыл, как

по болезненному какому-то предчувствию прежде всего хватился за свои денежки — и не нашел их.

— Братцы! родимые! — стал он кричать, кидаясь между просыпавшимися рабочими.— Помогите! отдайте, братцы! Господи! за что погубить хотите? Двадцать лет работал! Братцы! отдайте!

Некоторые из рабочих начали расспрашивать, в чем дело, другие же, из разных опасений, стали уходить потихоньку,— может быть, и все скоро разошлись бы, если б Кузьма и Петруха, особенно испуганные этим происшествием, не закричали наконец:

— Стой, ребята! не расходись! никого не выпускай! человека обокрали... Начинай вот с нас обыскивать!

— Нет, не надо! братцы! что обыскивать? — говорил Трифон.— Ради Христа, так уж отдайте! не пойду до суда, бог с вами!.. Хоть долю какую возьмите, только отдайте, не губите души!.. Без ножа ведь зарезали...

Между тем обыск состоялся. После Кузьмы и Петрухи и все прочие, кто тут еще был, дали себя обыскать. Само собою разумеется, денег Трифоновых ни у кого не нашли. Тогда рабочие стали все расходиться, и только двое из них, видно особенно любопытные, оставались еще тут. С уходом рабочих последняя надежда Трифона исчезла, и отчаяние его возросло до высшей степени. Он заплакал такими горькими слезами, что разжалобил не только земляков своих, но и посторонних любопытных.

— Экой грех приключился! — толковали эти любопытные.— Вот как человека обездолили... И кто это злодей такой?..

— Знаешь, на кого я мекаю? — вдруг сказал Кузьма Петрухе.

— А на кого?

— На Андрюшку!.. Коли ты его не знаешь? Вор настоящий!.. И зачем это увязался за нами?.. Да вот еще — из ума было вон — ночью-то он ноги мне отдавил...

Дрожа всеми членами от волнения, Трифон прислушивался к этим словам.

— А что ж, малый,— стал советовать ему один из рабочих,— ступай-ко ты теперь же в часть да объяви... авось и разыщут...

— Как же! дожидайся! — заметил другой рабочий, покачав головою.— Где уж тут разыскать?.. Для кого другого, а для нашего брата...

Но Трифон тотчас же ухватился за этот совет и настойчиво стал просить Кузьму и Петруху, чтобы они сопровождали его в часть; а они и слышать об этом не хотели.

— Зачем нам идти? — говорили они.

— Да как же, братцы! — умолял Трифон.— Вот насчет Андрюшки-то...

— Эка, брат! мало ль что на человека думается, а на суду как доказывать?.. Нету, мы в свидетели супротив него не пойдем... Ведь, пожалуй, так-то и нас свяжут, и тебе не уйти!.. Что уж тут! Вишь, в свидетели зовет!.. Нет, ты уж сам как знаешь...

Долго спорил с ними Трифон, но они никакими доводами не убедились; слезно просил он их поддержать его в такой беде, но они все остались при своем. Двое рабочих были тут же и с видимым участием слушали эти переговоры; жаль им стало Трифона, и они не утерпели, чтобы не замолвить за него словечка.

— Что ж, братцы! — сказали они Кузьме и Петрухе.— Ведь вам и то можно бы... Вишь, и впрямь человек пропадает... Оно хоша и тово... да все ж никак вам можно бы... Уж и больно-то жалко...

— Вам вчуже-то легко говорить! — возразили с сердцем земляки Трифона.— А разве мы его не жалеем? Да ведь ничего не поделаешь!.. Как нас-то к делу притянут — легче, что ль, ему будет?.. Нету! мы ведь тоже виды видали... скажешь, ан и пропадешь!..

— Коли так, братцы,— обратился Трифон к рабочим,— так я на вас пошлюся,— вы слышали, как они вот говорили об Андрюшке...

— Ну вас к богу! — возразили рабочие.— Уходить надоть поскорей от вас... Вишь, как лесной зверь на всех кидается!.. Разбирайтеся как хотите — а чужим-то что?..

И они тотчас же ушли.

Трифон, конечно, пожаловался о своем деле. Ему ничего другого не оставалось, как прибегнуть к полицейскому правосудию,— утопающий и за соломинку хватается. Впрочем, на первых порах дело его пошло если не успешно, то скоро.

Андрюшку тотчас же отыскали и обыск у него произвели, «по которому ничего подозрительного не оказалось». Затем начались допросы и очные ставки.

С дерзкою самонадеянностью и с невозмутимым спокойствием отвечал при допросах Андрюшка: он отвергал не только обвинение Трифона в покраже у него денег, но не сознавался даже и в том, что он ночевал вместе с ним, с Кузьмою и Петрухою. У него нашлись трое свидетелей, утверждавших, что он ночевал с ними. Кузьма и Петруха, уличавшие его сначала, что он из кабака отправился ночевать с ними,— увидав свидетелей с его стороны, сильно струсили, сбились в показаниях и стали уже перевирать все обстоятельства,— что обратило на них особенно подозрение следователя. Само собою разумеется, подозрений своих насчет Андрюшки, высказанных Трифону, они не подтвердили теперь при следствии; из этого родилось новое противоречие — и дело еще больше запуталось. Наконец, на последней очной ставке Трифона с Андрюшкой, невинность Андрюшки окончательно восторжествовала в глазах следователя.

— Вот ты, бог тебе судья,— начал говорить Андрюшка против улик Трифона,— вот ты все лаешь, что у тебя деньги украл... Да ты скажи по крайности: как так мог я то есть украсть деньги твои: из кармана, что ль, вынул, аль они в шапке у тебя зашиты были, аль там в сапоге?..

— На кресте были,— отвечал Трифон в каком-то недоумении.

— На кресте! — возразил Андрюшка.— Ну хорошо, на кресте, так тому делу и быть... значит, срезал я у тебя крест-то твой?..

Трифон замялся. Следователь, которому уже сильно надоели эти очные ставки, стал теперь внимательно слушать.

— Ну, что ж ты? отвечай, братец! — прикрикнул он на Трифона.

— Да что отвечать-то? — молвил угрюмо Трифон.— Теперича вижу, что он из всех, чай, мошенников самый то есть первый мошенник... Точно, вот как перед богом, деньги на кресте у меня были, только моего-то креста нету, а что теперича на мне крест (он показал его при этом) как есть — не мой... должно быть, его, разбойника!..

— А ты, малой, не бранися,— возразил с торжествующим видом Андрюшка,— что браниться-то? ты толком говори — чай, ведь начальство рассудит нас... Так, значит, по-твоему, я ж и твой крест срезал, да я ж на тебя и свой-то надел опосля?.. Ваше высокоблагородие! статочное ли оно,

это дело?.. Я все это делал, а он ничего-таки не слыхал?.. Да и зачем бы крест-то надевать на него понадобилось?.. Ведь, чай, уж если украл деньги, так и бежать бы поскорее,— а то нет! для потехи, что ль, какой так вот я и остался тут да и стал надевать свой крест на него!.. должно быть, боялся я тогда, как бы черт душу его не унес без креста-то!..

Все присутствующие засмеялись. Следователь не вытерпел, подошел к Андрюшке, потрепал его по плечу и сказал: «Ну, брат,— молодец!»

А между тем сердце сильно заныло у Трифона. Мрачная злоба против лиходея Андрюшки одолевала его: так бы вот кинулся он на него, так бы и растерзал его тут же на месте! Но он удержался и молчал, опустив голову.

— Запишите все эти возражения Андрея Парамонова,— сказал следователь своему письмоводителю,— да, пожалуйста, повернее, именно так, как он говорил теперь,— это даже любопытно вышло!.. Ну, братец,— продолжал он, весьма сурово обращаясь к Трифону,— ты что ж молчишь?.. Видно, все песни пропел?.. То-то, дрянь ты эдакая... Если и были у тебя деньги, смотришь — пропил, прогулял или обронил, а по какой ни на есть злобе стал сваливать вот на него... Ну, как-таки не слыхать, как и шнурок с крестом обрезали, а потом чужой крест на тебя надевали?.. Да и в самом деле, на что было нужно вору надевать на тебя крест, терять время и даром подвергаться опасности быть пойманным на месте преступления?..

— Он, разбойник, сделал это, он! — возразил с ожесточением Трифон.— А не слыхал-то я оттого, что больно пьян был... Что ж это ему, вору, во всем верят!..

— Ну, ну! — закричал следователь.— У меня много не разговаривай!.. а на грубости и рта не смей разевать!.. А то смотри!..

— Власть ваша... я не грублю,— отвечал Трифон, пересиливая гнев свой.— Ваше высокоблагородие! вы вот извольте Кузьму-то спросить под присягою... авось тогда души не убьет. Сейчас умереть — а он говорил, что украл деньги Андрюшка!..

— Учи ты меня! — сказал следователь.— Под присягой Кузьму нельзя спрашивать: он прикосновенный к делу. Да и что тут еще толковать? История совершенно ясна... Убирайся-ко ты вон, пока цел!

Тем и покончилось это разбирательство; Андрюшку вы-

пустили, а Трифона чуть не засадили за предерзостные речи. Однако, не имея уже почти никаких надежд, он все-таки долго не кидал своего дела: страшный задор разбирал его при мысли, что так и канули, как ключ ко дну, его кровные денежки, что вор-лиходей прав совсем остался, что Кузьма и Петруха, земляки его и люди, казалось, хорошие, так бессовестно выдали его в самой сущей правде. С крайним упорством хлопотал Трифон по своему несчастному делу — и все хлопоты его, конечно, были напрасны. Истерял он только последние деньжонки, бывшие за хозяином, надоел смертельно полицейским, надоел и хозяину как просьбами о выдаче жалованья вперед, так и плохой работою. Наконец, из-за своего хлопотанья по делу этому, потерял он и место. В прежнее время такое знакомое ему обстоятельство нисколько не встревожило бы его, но теперь затронуло и оно его за живое: он крепко закручинился, расхворался не на шутку, и может, умер бы, если б не помог ему земляк-рабочий, в самую пору доставивший ему помещение в одной из больниц. Но только что оправился он от болезни — вдруг овладело им величайшее, непреодолимое отвращение к жизни в Петербурге, и он тотчас отправился домой.

Он ушел из Питера без всякой мысли о том, что будет делать дома, ушел оттого, что невыносимо стало ему жить там, где так много, тяжело и напрасно трудился он, где в одну несчастную минуту потерял все, что было накоплено долговременным трудом, где живут его злые недруги: вор, похитивший его кровное добро, и те люди, которые потакнули вору и правды не нашли при разборе дела.

III

Он пришел в Пересветово угрюмый, печальный, даже больной от печали, но живая, деятельная натура его не поддалась бессильному унынию; он скоро совсем оправился телом и духом: воздух родины подействовал на него животворно. Умно всмотрелся он в положение семьи своей, без него беспомощной, в свое собственное положение на родине и ни на минуту не захотел сложить руки для ленивого отдыха, под предлогом беды или немощи, но тотчас же стал

искать вокруг себя занятий, скоро нашел их и начал работать усердно.

Одно только тревожило его, и иногда сильно тревожило: это — неладица в доме от глупых распоряжений матери его, Афимьи, которая тоже нападала на него частехонько и бранила за то, что он пришел из Питера, гроша не имея в кармане, да пришел-то не на побывку, а затем, чтобы навсегда остаться дома. Старуха Афимья была горластая баба, привыкшая еще при жизни смирного своего мужа своевольничать в дому; не таковская была она, чтобы не высказать сыну всего, что ей на ум ни взбредет.

— Вишь ты, леший,— говорила она, обращаясь постоянно к Трифону с таким приветствием,— право слово, леший!.. жил-жил на стороне, а чего нажил?.. В дом-от подавал безделицу,— не могли мы, горькие, коровенки лишней завести, во всяк день хлеб один едали, а мясца, почитай, и не видывали... А ты-то, пес эдакой, чай, на стороне прохлаждался!.. Куда все деньги-то девал?.. а? куда девал-то?.. пропил-прогулял!.. Вот так я тебе и поверила, что, мол, отрезали денежки!.. Знаем-ста и мы, бабы, как вы, черти, на чужой стороне балуетесь!.. Ну, зачем теперя дома живешь?.. у чего тут жить?.. Вишь ты: мочи, что ль, не хватает?.. Дай вот срок: барин приедет, просить на тебя буду, безделушник эдакой!.. Вона Юшка, малый хворой, из силенки выбивается, рук не покладает: уж как все работает! А Мишутку-то всего родимец[2] изломал, а Грушка-то обезножела, пластом лежит!.. Ты, леший, сосчитал бы, сколько у нас ртов-то надоть кормить...

Но Трифон терпеливо сносил эту несправедливую брань, изредка только перекидываясь с матерью взаимным попреком,— и то лишь тогда, как она начинала бранить и клясть жену его покойницу. Несмотря на эту неладицу дома и на тяжкие труды для поддержания своей несчастной семьи, он полюбил жизнь домашнюю особенно потому, что часто сравнивал эту простую жизнь с мудреным, шумным житьем в Питере, где он встретил так много нужды, горя и неправды. Глубокая ненависть к тому житью навсегда в нем осталась.

В деревенском же быту характер его был вообще ровен. Спокойно занимался он сельскими работами, а в свободное от них время или извозничал, или приторговывал на месте по мелочи; довольно спокойно встречал и неудачи, по крайней мере никогда не говаривал соседям про худой

конец делишек, никому и ни на что не жаловался. При всем этом он был очень уживчив и сообщителен с своими односельцами: охотно совет подавал соседу и рассуждал о всяком деле, не отказывал и в посильной помощи; ни одной мирской сходки, бывало, не пропускал; любил тоже не на деле зайти к соседям и покалякать кой о чем; любил между делом побывать на базаре; о праздниках храмовых любил погулять в соседних деревнях и у себя в такие праздники вдоволь угостить хорошего человека чем бог послал.

Так прошло года три — и обжился совсем Трифон на родине. А тут произошла значительная перемена в отношениях его к односельцам.

Как-то летом владелец сельца Пересветова Иван Данилыч Одоньев жил-гостил в этом имении. Я сказал: «гостил» — недаром. У барина нашего «губа была не дура»: он был очень небогат, а все-таки не хуже больших бар любил понежиться и ничего не делать. Уж бог его знает, зачем он езжал иногда на житье в Пересветово: тут не было никакого господского хозяйства, да и в околотке жили такие соседи-помещики, хлебосольство и знакомство с которыми не представляло в себе ничего заманчивого. Пересветовцы совершенно понимали ненадобность и бесполезность деревенского житья своего барина. «Вот зачем опять припожаловал? — говаривали они при его приездах.— В степную вотчину бы ехал,— а тут чего делать?.. Усядется теперь!— без него-то все кабыть поваднее!..» Впрочем, Иван Данилыч ни в чем не был помехою для крестьян своих: жил он себе преспокойно, ни до чего не доходя, весьма в редких случаях даже разбирал он жалобы пересветовцев друг на друга; обыкновенно же отсылал их на суд старосты и мира. Вообще на жизнь, окружавшую его в деревне, жизнь тяжко-трудовую, темную и тесную, он обращал мало серьезного внимания, а если и взглядывал на нее, то мельком, случайно: ему казалось и того довольно, что крестьяне его в Пересветове были зажиточны. Вот и узнал он по случаю, что Трифон Афанасьев — мужик умный, бывалый и расторопный, по случаю тоже, нуждался он тогда в старосте, и случайно пришло ему в голову поставить старостою Трифона. Распоряжение это, хоть и случайное, казалось барину нашему как нельзя больше удачным — но вышло не совсем так.

На первых порах родные Трифона, да и все почти

крестьяне в Пересветове, очень обрадовались новому старосте. Все были уверены, что он всегда и во всем будет им мирволить — и, как ловкий человек, барина тоже на гнев не наведет. Более же всех надеялись на Трифона сыновья его дяди Пантелея — Максим и Никифор; они считали как бы правом своим ожидать от него всякого послабления. Однако как Максим и Никифор, так и прочие пересветовцы жестоко ошиблись в новом старосте.

С назначением в начальники сильно разыгралось в Трифоне честолюбие вместе с страстью к строгому порядку и справедливости. Он никому и ни в чем не делал поблажки, никому не спускал даже малейшей провинности. Так, Максиму и Никифору не простил он ни одной подводы, бабам их — ни одного аршина холста; а раз, застав Максима за воровскою рубкою в господском заказном лесу, так отпотчевал он двоюродного братца тут же, на месте преступления, что тот насилу домой доплелся. Надо заметить здесь, что Трифон Афанасьев особенно берег этот заказной лес, стоял за него как за свою собственность, и это было крепко не по нутру пересветовцам. И вообще новый староста провел над всеми своими подчиненными уровень самой суровой власти. Намерения его были хороши, он действовал по строгим внушениям совести — но уж чересчур требовательно во всем, даже в мелочах. Так, он хотел, чтобы крестьяне никуда и ни за чем не отлучались из вотчины без его спросу; чтобы никто в деревне шинков не держал и даже дома, про себя, вина не имел; чтобы с базаров мужики возвращались не пьяные; чтобы при встречах с ним непременно шапки снимали; а особенно — чтобы ни в чем не могли поперечить ему на мирских сходках.

Но община пересветовских крестьян, сыздавна состоявших на оброке, постоянно отличалась свободным духом в отношении своих старост, а с таким старостою, каков был Трифон, они всего менее могли быть уступчивы: ни за что не хотели они покориться затейливым новым порядкам.

— Вишь ты, чего захотел! — говорили они промеж себя.— Волю-то какую забрал!.. пуще барина, словно белены объелся... Да куда те барин?.. а вот словно мы к Трифону Афанасьичу в кабалу попали!.. Ан нет! шалишь, малый!.. ведь ты — наш же брат, крестьянин... Да чтой-то, ребята, мудрит он над нами? Коли теперича волю-то ему дать — в разор разорит!.. Вот так и поддалися мы ему!..

Однако до поры до времени пересветовцы ограничива-

лись лишь такими рассуждениями и всякими уловками, чтобы обойти приказания старосты да надуть его в чем бы то ни было половчее: им как будто со всех сторон хотелось его испробовать. Между тем Трифон все крепче и крепче держался за учрежденные им порядки и жестоко наказывал провинившихся из-за них.

Так прошло опять два года — и скоро пришлось Трифону расстаться с сельской властью. Все менее щадил он на миру своих родных, боясь, чтобы не заподозрили его в потаканье, а они-то пуще всех взъелись на него и наконец были причиною, что мир пересветовский избавился от строгого старосты.

Вот из-за какого дела восстали против него родные.

У Никифора Пантелеева была дочь невеста, которую он еще в прошлом году просватал за сына своего соседа, Василья Бочара. Свадьбу отложили до вешнего Николы, потому что невесте года еще не вышли. Для верности договора положено было между сватами, Никифором и Васильем, что если кто отступится от своего слова, то повинен отдать другой стороне корову. Пришел срок, назначенный для свадьбы,— вдруг Никифор заартачился и на вопрос Бочара: «За что такая немилость?» — «А не хочу,— говорит,— не хочу, да и шабаш!.. Сын твой — такой-сякой, пьяница, мотыга, верченый, на стороне больно избаловался, просто разбойник стал!.. Вот не выдам-таки за него дочери!..»

— Как же так! — возразил озадаченный Василий.— Уговор у нас был... уговор — лучше денег... Да и сын-от мой ничем как есть...

— Ну, неча и баить! — закричал Никифор.— Что ж! был у нас договор, я не отрекаюся — и бери вон корову... А дочери не отдам... Сын твой — пьяница, малый пропащий!..

Но совсем напрасно обидел Никифор Васильева сына, которого никто о сю пору ни в чем худом не заметил. Дело было в том, что, пока дожидались совершеннолетия невесты, присватался к ней другой жених, из чужой деревни, Иван Головач, которому дочь Никифорова очень полюбилась. Семья Головача слыла в околотке богатою, и сам Иван был парень ловкий и бывалый, хотя озорной, гуляка и чересчур рьяный. Он прельстил Никифора и жену его подарками и обещаниями, что дочь их будет жить за ним во всяком довольстве, «словно купчиха».

Такое вероломство Никифора крайне не нравилось Василью Бочару: безотменно нужна была ему сноха как работница в дому; сын его нарочно пришел со стороны для женитьбы; Василий таки порядочно уж исхарчился для свадьбы; да, наконец, и перед добрыми людьми было бы зазорно, коли б жениха так из-за напрасна охаяли; по всем этим причинам Василий отправился с жалобою к старосте, который сам находился на рукобитье и был свидетелем условия. Трифон велел тотчас же позвать своего двоюродного брата для очной ставки с Бочаром. Никифор явился как ни в чем не бывало: в этом деле, как семейном, а не барском и не мирском, он вполне обнадеживал себя, что староста примет его сторону.

— Ты зачем от речей своих отказываешься? — спросил его грозно Трифон.

— А что ж, Трифон Афанасьевич,— отвечал с видимой робостью Никифор,— оно вот по делу-то выходит...

— Чего там выходит?

— Сын-то его больно озорноват, сказывают... Вишь, хмелем зашибается шибко...

— А врешь ты! Никто про него худа не сказывает... Так это, с ветру, ты сам выдумал... Я разве не знаю?.. Ты говори у меня прямо, а не виляй душой-то...

— Что ж, Трифон Афанасьич,— отвечал Никифор, сильно путаясь в словах — барину ведь урона никакого не будет... Головачи за выкупом не постоят... Люди больно хорошие... и для тебя не постоят...

— Я те дам — хорошие! — закричал Трифон.— Какой хороший?.. Уж на что озорнее Ваньки Головача? Чай, во всем околотке не найти еще такого-то!.. Я те дам люди хорошие!.. Ты у меня и думать не моги!.. Коли свои женихи есть, так нешто след отдавать девок на сторону?.. Я те сказываю, чтобы свадьба в воскресенье была!

— Да как же,— начал было Никифор.

— А вот как же! — возразил Трифон и, схватив двоюродного брата своего за волосы, стал таскать его по всей избе, приговаривая: «Я ведь начальник! я ведь начальник!.. слушаться должон!.. слушаться должон!..»

Наконец Никифор взмолился благим матом.

— Батюшка! — кричал он.— Отдам дочь!.. отдам!.. Хоть сейчас берите!..

Трифон выпустил его, а затем, дрожащим еще от волнения голосом, сказал ему следующее наставление:

— Ты что думаешь-то?.. что ты братом двоюродным мне причитаешься, так, значит, по-твоему, и можешь каверзничать?.. Ан нету! ошибся!.. у меня никто спуску не жди!.. Барин меня старостой поставил, волю над вами дал — так и слушайтеся!.. Ты что думаешь-то?.. Ты уж мне как надоел-то! Вот еще в чем замечу, да и отпишу барину, чтобы он тебя, мошенника, в Делюхино перевел... а там, брат, степная сторона, барщина,— с жиру-то беситься не станешь!.. И вот ей-же-ей, право слово, коли так не сделаю!.. больно уж вы оба с Максимкой мне надоели!

Свадьба Бочарова сына состоялась в следующее же воскресенье; но с этих самых пор ненависть Никифора и Максима к Трифону возросла до высшей степени. Особенно эта угроза о переводе в Делюхино бесила и тревожила их. Они решились наконец сжить с рук лихого старосту. Всего более хлопотал об этом Максим, человек, более брата своего рьяный характером и прежде всех задетый Трифоном. Оба они стали беспрестанно толковать на миру, что нельзя больше терпеть притеснений старосты, что следует барину жаловаться, что следует неотступно просить барина о смене старосты. Такие предложения пришлись по душе пересветовцам. Лиха беда начать дело,— вызвался принести первую жалобу от всего мира Максим Пантелеев, а там, коли дело сразу не выгорит,— вызвался быть ходоком к барину и Никифор. Написали втихомолку послание к барину и отправили Максима. В первый раз, как и предвидели, дело не удалось: барин с глаз согнал Максима; но мир ведь упрям — и с этих пор жалобы на Трифона уже не прекращались. Чего-чего ни делал барин, чтобы заставить пересветовцев уважать свой выбор! Между прочим, однажды он весьма убедительно доказывал им на общей сходке, «что если и палку вздумается ему поставить над ними старостою,— они и палку обязаны почитать и слушать». Однако крестьяне не убедились и от жалоб не унялись, а при всякой оказии все настоятельнее просили «ослобонить» их от Трифона. Одоньеву надоело наконец донельзя это докучанье — и он решился сменить старосту. Сделал он это не без сожаления.

— Что делать, Трифон,— сказал он,— я был доволен тобою, да вот на мир ты не угодил... На меня ты не пеняй, пожалуйста.

— Батюшка! — отвечал печально Трифон.— Ведь хотелося, чтоб тоже порядки были...

IV

Это барское распоряжение чрезвычайно смутило Трифона; не того он надеялся за свою усердную, честную службу; он думывал иногда, что барин наградит его со временем вольною. Приуныл он крепко, а старуха Афимья, которая до сих пор уважала в нем сельскую власть и мудрую барскую волю, не переча ему даже тогда, как он сам за что-нибудь выговаривал ей, опять стала нападать на него за то, что не умел старостой остаться, а особенно за то, что не умел нажиться.

— Да разве ты, леший, годишься куда ни на есть! — прибавляла она с презрением.

Соседи Трифона, которых крайне забавлял безумный гнев старухи — смеху ради, а может, и из мести — еще больше подстрекали ее, рассказывая всякие нелепости про сына. Скоро и еще прибавилась причина к ее ожесточению. Любила она чрезвычайно внучка своего Юшку, а этого внучка Трифон отправил на сторону, несмотря на все возражения и даже просьбы Афимьи. С этого-то разу повела она с сыном своим уже постоянную войну. Бывало, не проснется он без брани с матерью, не пообедает, не поужинает, не ляжет спать без брани же с нею. Афимья чашку со щами ставит на стол перед ним с бранью и попреком. Афимья каши ему накладывает, тоже ругаясь,— за все про все раздор да ссоры... Вот однажды не вытерпел Трифон,— был он под хмельком на ту пору,— и, грешник великий, сам обругал ее и даже замахнулся на старуху-мать. К счастью, она проворно выбежала из избы и в ту ночь у соседей ночевала. На другой день Афимья ни за что не хотела простить раскаявшегося своего сына и отправилась жаловаться к новому старосте, который на ту пору сбирался ехать к барину с оброком. Староста этот был один из наиболее недовольных Трифоном, и такой случай был для него находкою.

— Уж ты, тетка Афимья, не сумлевайся,— сказал он старухе в ответ на ее жалобу,— жив не хочу быть, а сынка твоего усмирим важно!.. Он нам во как насолил,— так уж ты не сумлевайся...

И точно: староста представил дело Ивану Данилычу в самом черном виде; налгал ему с три короба, рассказав, что будто бы Трифон, после того как высадили его из старост, стал сильно вином зашибаться, а поэтому всякую

почти ночь спьяну выгоняет мать свою из избы, и что будто вся деревня опасается, как бы уголовщина не вышла в Трифоновом доме.

Это очень удивило барина.

— Да ты не клеплешь ли на него, Ермил? — сказал он старосте.

— Помилуйте, батюшка,— отвечал Ермил, крестясь усердно,— да на сем бы мне месте...

— Ну, ну! — перервал барин и стал ходить по комнате в раздумье.

— Так как же ты думаешь, Ермил? — спросил он его наконец.

— А насчет чего, батюшка?

— Да вот насчет Трифона... Я, право, не знаю... человек он не молодой, да и хороший мужик был.

— Прикажите, батюшка, на миру его наказать.

— То есть как же это?

— Да так, маненько розгами.

— Нет! я этого не хочу.

— И, батюшка! ведь его не убудет... а глядишь — и поумнеет... смирится эдак-то...

Барин опять позадумался. Ермилу было известно, что Иван Данилыч нраву нерешительного, но теперь, видя, что барин и об такой «мелочи» раздумывает да не решается,— он просто диву дался.

— Пускай мир рассудит хорошенько...— сказал наконец барин.— Если Трифон точно виноват, мир может назначить ему какое-нибудь наказание. Только ты, Ермил, скажи старикам, что я не желал бы розог.

— Слушаю-с, батюшка.

Тотчас же по приезде в Пересветово староста повестил всему миру, и старикам и молодым мужикам, чтобы собирались судить Трифона Афанасьева. С большою радостию сбежались все на эту сходку, даже немощные старики выползли, даже неуказанных лет парни явились. Не таковский был староста Ермил, чтобы передать старикам последнее приказание барина, да не таковский был и мир пересветовский, чтобы он, в случае, где мог выместить на человеке свое неудовольствие, послушался неопределенного приказания барина — если б оно и на полной сходке было объявлено. Еще до призыва Трифона на сходку вырывались уже почти у всех такие выражения, из которых видно было, что ему, бедному, хорошего нечего ждать.

— Что, малой,— кричал один,— а надоть его беспременно... унять надоть...

— Нами-то, вишь, крутил-мутил!

— Уж и черт ему не брат — мудрен больно!

— А вот, ребята, постегать хорошенько...

— Знамо, ребята: пускай мир уважает!

— А то ведь как зазнался!

— Спесь-то надоть сбить... Он-то умен, он-то разумен!

Наконец позвали на сходку Трифона и Афимью. Первый явился бледен и взволнован; этот суд на миру смущал его гораздо более, чем суд полицейский в Питере при двух немаловажных случаях его жизни. Вторая же, даром что была дура набитая, пришла с приличной, смиренной кротостью, пришла, вздыхая и охая, как будто сейчас еще вынесла тяжкие побои.

— Ну вот, тетка Афимья,— сказал староста,— барин приказ со мной прислал: рассудить тебя на миру с сыном-то.

— Касатики!.. родимые! — завопила Афимья.— Уж житья мне нет в дому!.. Измывается бесперечь. Терпела-терпела!.. А я ль его не родила, я ль не вспоила, не вскормила?.. Я ведь хлопотала, на сторону пристроила... А он-то, леший, пес эдакой!.. а он-то, разбойник, дом совсем кинул, ничего-то нам не давал, брал денежки, загребал, а нам хоть бы что; макова зерна не видали, чуть с голоду не померли!.. Жена-то его старый век мой заедала, а я все в доме делала, детей их призрела. Жена-то его уж такая была, а он хоша бы словечко за меня замолвил, все супротив! все супротив!.. Мочушки моей не стало!.. головушка бедная!..

И, подложив руку под щеку, Афимья заголосила на всю улицу. Однако все эти жалобы и при всем предубеждении мира не в пользу Трифона должны были показаться ему уж чересчур несправедливыми: всем было известно, что Трифон был работник исправный и всегда с охотою пособлял домашним, что жена его покойница была баба пресмирная и безответная. Поэтому, выслушав Афимью, судьи мирские молчали, изредка только в задних рядах схода кое-кто перешептывался. Между тем Трифон стоял, опустив низко голову, и, казалось, ни одного словечка не хотел вымолвить в свою защиту.

— Что ж ты молчишь? — прикрикнул на него староста.— Отвечать должон!

— А что говорить-то мне теперича? — отвечал Три-

фон.— На суду мирском супротив матери говорить не след...

— Как же так! нет, ты говори!.. сказано: отвечать должон,— возразил опять староста.

— Говори, говори! — раздались голоса в сходке.

— Бог видит правду, а больше нечего мне... право, нечего молвить,— проговорил тихим голосом Трифон.

В толпе пошел глухой говор. Казалось, и вечная правда, и здравый смысл начали уже действовать на предубежденных мирян. Но в эту самую минуту явился на сходку Никифор Пантелеев, только что воротившийся из лесу. Узнав, в чем дело, он стал кричать во все горло:

— Вы что, ребята, на него смотрите?.. Эх вы!.. тоже суд судить собрались!.. Аль не знаете, каков есть человек? мало ль мудрил над всем миром! Мне вот что понаделал... эх вы!.. А ты, тетка Афимья, дело говори!.. Ну, что стала? аль все уж позабыла и речей не найдешь?..

И злобная баба снова пустилась причитать:

— Батюшки!.. кормильцы!.. разберите, заступитесь. Со свету сжил! ни одного денька не проходит, все-то меня, горькую, пилит-пилит, ругает-ругает, а онамеднись чуть было не убил... у добрых людей ночевала!.. А я ль не вспоила, не вскормила его? я ль за детьми его не ходила, я ль... Он ведь всем родным злодей!.. Мало ль я его останавливала, как он был старостою-то. Я за весь мир заступалася, да он, разбойник, слушать не хотел!..

Тут поднялся такой шум на сходке, что уж нельзя было и расслышать дальнейших слов Афимьи. Вся сходка напала на Трифона, все бранили его неистово, отовсюду, слышались голоса, что наказать его нужно.

Не стану описывать мрачную сцену наказания. Не посмотрели на горькие мольбы Трифона, не помиловали его, человека уже пожилого, человека, не видавшего никогда на себе такого срама; мир вдоволь потешился над ним, высекли его жестоко...

После этого происшествия тяжкая скорбь налегла на душу Трифона. В первые дни он сна и пищи лишился; места нигде не мог найти себе от тоски; унизительное наказание не выходило у него из ума; трудно и стыдно было ему на людей смотреть. Немало времени прошло, пока он пересилил свою скорбь душевную, но, и осилив ее, он не успокоился. Он потерял бодрость духа, какое-то достоинство, проявлявшееся в его поступках; сделался молчалив, угрюм

и наконец, чтобы заглушить в себе горькую думу, стал мало-помалу попивать с горя...

V

Однако он не сделался пьяницей. Его спасла от злого запойства любовь к труду. Эта любовь была в нем чрезвычайно сильна и живуча. Правда, он и не думал идти опять на сторону; но не слабела в нем охота находить себе занятия и трудиться не по одному только домашнему, крестьянскому делу. Он видел, что и дома живучи, можно доставать себе прибыль хорошую,— он видел вообще дальше своих односельцев. Вот и вздумал он торговать лугами и снял несколько десятин поемного лугу в соседнем селе Боровом для распродажи в розницу; но дело это вышло неудачное: наемщики лугов убрали сено в дождливую погоду и, не стесняемые потерею малого задатка, отказались взять стога. Иван Данилыч Одоньев заступился было за Трифона и стал хлопотать об исполнении наемщиками условий, но оказалось, что все эти наемщики были помещичьи крестьяне, которым, без поручительства помещиков, можно было верить только на пять рублей ассигнациями. Трифон понес большой убыток, задолжал и очень порасстроился, так что и деньги, подаваемые Ефимом в дом, не помогли ему поправиться как следует.

Между тем прошло еще несколько лет. Старуха Афимья, одряхлевшая и совсем обессилевшая, перестала наконец вести с сыном своим яростные ссоры и только, лежа большую часть дня на печке, бормотала себе что-то под нос. Хозяйством стала заниматься расторопная бабенка, жена Ефимова. Сам Трифон устарел, ему за пятьдесят перевалило. К этому-то времени, с тяжелым чувством недоверчивости к самому себе, отказался он, с лишком на год, от всякой промысловой деятельности.

Под конец же этого «прогульного» времени опять стал он приглядываться, чем бы таким позаняться. Скоро пример соседа Михея Савостьянова, старика лет шестидесяти и тоже вдовца, соблазнил его: он решился, с помощью этого доброго соседа, приняться за пчеловодство. Захотелось ему быть пчеловодом оттого больше, что, занимаясь таким делом, мог он удаляться от своих односельцев, которых он уж очень не-

долюбливал: унизительное наказание не выходило из его памяти.

А мысль о новом промысле пришла ему в голову в самую пору: только что весна тогда наступала, весна теплая и благоприятная для роения пчел.

Однажды утром Трифон отправился к Михею Савостьянову на пчельник, находившийся в версте от Пересветова.

Место это было приютное. От холодного северо-западного ветра защищала его густая березовая роща; саженях в полутораста с другой стороны находился прекрасный липовый лесок, спускавшийся по отлогому склону извилистой речки, берега которой были опушены темнолистными ольховыми и светло-зелеными ивовыми кустами.

Самый пчельник Михея представлял собою рощицу из берез, липок, яблонь, рябин, черемух и других цветущих деревьев. Луг по речке был покрыт цветущими травами: душистым дятленником, зверобоем, медовою кашкою, и все это доставляло обильную пищу пчелам. Недаром Михей Савостьянов устроил себе здесь пчельник: кажется, во всем околотке не было места пригоднее.

Утро, когда Трифон пошел на этот пчельник, было тихое и жаркое. С самого восхода солнца начало парить. Иной раз солнышко заволакивали прозрачные нити весенних, скоробегущих облачков. Кой-где, в местах пониже, над речкой, над озерками, курился легкий пар; то там, то здесь по краям горизонта протягивались светло-синие дождевые полосы, и гром глухо, отрывисто, как будто гневно гремел в этих летучих тучках, быстро появлявшихся и так же быстро исчезавших. По временам сияние солнца ярко освещало иные места холмистой окрестности, а над другими в ту же пору бежали легкие тени. Над всею окрестностью и тени и лучи света играли в живых переливах.

Работа у пчел на Михеевом пчельнике шла живо и усиленно: они спешили воспользоваться до дождя роскошной данью цветов и растений. Гармонично жужжа, быстро сновали они по лугу; но такое ж движение было заметно и на самом пчельнике, где пчелы могли найти себе тоже много пищи.

Тихой поступью похаживал промеж ульев Михей Савостьянов, старик приземистый, широкоплечий и худощавый, старик седой как лунь, но еще бодрый, с живыми, светлыми глазами и даже с легким румянцем на щеках.

В руках у Михея не было курилки, голова его ничем не была покрыта. Пчелы беспрестанно садились ему на загорелую шею, на худощавые темные руки, на лицо — и не жалили его.

Входя в дверцы пчельника и увидав Михея, мирно занятого делом, Трифон внезапно почувствовал в душе горькую зависть, и тотчас же потом грустно стало ему.

— Бог в помочь, Михей Савостьяныч,— сказал он, подходя к старику.

— Милости просим, родимый,— отвечал радушно Михей.

— А я к тебе... за дельцем пришел...

— Ну, что ж, сказывай.

Но Трифон не тотчас стал говорить. Он исподлобья осмотрелся кругом, как будто опасаясь, чтобы кто-нибудь не подслушал их разговора, опустив угрюмо голову и словно позадумался.

— Что ж ты, сосед?.. сказывай,— повторил Михей, глядя с участьем на пригорюнившегося Трифона.

— Надоть бы мне,— начал печально Трифон,— надоть бы опять за дельцо какое приняться... От чужой стороны я уж отстал; зачем идти туда теперича?.. Что, Михей Савостьяныч! поздненько прежнее дело начинать сызнова... Дома-то хотелось бы делом позаняться... Да вот удачи все нет!..

— Богу надоть молиться...

— Оно, знамо... да я, кажись, тово... а все, вишь, дело мое впрок нейдет...

— Что ж делать, Трифон Афанасьич... воля божья!.. А ты все молися... богу молиться — вперед пригодится.

— Вот я, Михей Савостьяныч, к тебе пришел... Как ты мне скажешь: пчелок не завести ль мне?

— А с божьей помощью! Дело доброе; на что лучше?

— Коли ты советуешь, так и помоги по суседскому делу. Право слово, вот те Христос! по смерть не забуду.

— Отчего же не помочь?.. Пошли господи, чтоб дело-то в руку шло!.. Возьми улейка три, да что тут! пожалуй, и пяток возьми на разживу, а разживешься, отдашь.

— Спасибо, Михей Савостьяныч!.. Дай тебе господи во всем-то удачу,— сказал обрадованный Трифон,— да уж ты укажи, как и дело делать.

— А пожалуй, и поучу тебя... Дай только господи, чтоб в руку шло.

С этих пор Михей Савостьянов стал от всего сердца помогать Трифону. Указал он ему местечко хорошее для заведения пчельника — в стороне от своего пчельника, возле самой липовой рощицы; помог ему в ту же вёсну насадить ветел вокруг избранного места и огородить его; указал, каких кустов насадить и каких трав насеять; подарил из своего садика целый десяток молодых яблонь и дал на разживу пять колодок пчел. Скорехонько пошло в ход новое «дельцо» Трифона.

И точно: с легкой руки Михеевой оно пошло хорошо. На третью вёсну у Трифона было уже около тридцати ульев. Однако и такой успех не удовлетворял его. Скорая удача нового предприятия, разжигая в нем желание сколь возможно более усилить дело, которым он теперь занимался, пробудила в душе его старые надежды. Стал он страстно рассчитывать, что годков через пяток может выйти у него колодок полтораста; что продаст он тогда меду немало; что, наконец, и с лишком сотню колодок можно будет продать,— а таким образом выручится столько денег, что он может и откупиться со всей семьей — да, кроме того, останется еще довольно пчелы и впредь на разживу. А откупиться он желал больше прежнего: уж крепко не любил он своих односельцев; необходимым казалось ему расстаться с ними навсегда.

К осени он продал меду пудов с восемь. С какою радостью получил он деньги за этот мед! На ту пору и сын доставил ему в дом больше обыкновенного. Дела Трифона пошли отлично. К зиме он уже задумал такое дельцо, которое, по расчету его, должно было принести ему особенную пользу. Еще осенью же съездил он к барину и выпросил у него другое местечко под пчельник, гораздо попросторнее, именно возле березовой рощицы и как раз за пчельником Михея Савостьянова. Тогда же стал он приготовлять это место на вёсну: насадил всяких деревьев, кустов и растений. Несправедливость людская, от которой так много потерпел Трифон, вредно подействовала на его нравственную сторону; он утратил большую часть совестливости, которою отличались прежде его действия. Так и теперь пришел ему в голову лукавый помысел.

Когда увидал Михей работы Трифона, он сказал ему:

— Как же это, родимый,— никак, ты сюда хочешь пчельник свой перенести?

— Точно, Михей Савостьяныч,— отвечал Трифон,— барин позволил...

— Эко дело! — продолжал Михей.— Оно, пожалуй, и неладно будет...

— А что так?

— Да как же!.. либо моя пчела станет забиждать твою, либо твоя мою... ведь вкруг петрова дня будут все летать в липовую рощу...

— Э, дядя Михей, ничего это,— ну, там разберемся как-нибудь.

— А нет, Трифон Афанасьич!.. нам бы лучше по-божьи... ты уж лучше оставь это дело...

— Как бы не так! — возразил грубо Трифон.— Барин мне позволил,— так тому и быть!.. благо, позволил!..

Михей Савостьянов ничего не сказал больше и ушел домой закручинившись, а Трифон в ту же осень состроил себе такой пчельник, что любо было посмотреть.

Теперь у Трифона было свободных сотни три-четыре рублей ассигнациями, вот он и порешил: прикупить у соседних пчеловодов еще колодок под тридцать и к весне выставить пчельник, почти равный Михееву. Так он и сделал. Весною на его новом пчельнике деревья так хорошо принялись, что ни одно не погибло и все оделись богатой листвою. Трифон выставил колодок под шестьдесят.

Между тем у Михея Савостьянова дела шли плоховато. Прохворал он чуть не во всю зиму. Не было у него людей таких знающих и разумных, которые, постоянным уходом за пчелами в омшанике, сохранили бы их в хорошем положении и подготовили бы им благополучное появление на свет божий весною. Много потерял Михей по причине своей болезни. Весною он мог выставить ульев лишь около сорока. Это обстоятельство восхищало Трифона; недобрая радость особенно обуяла его, когда он подметил, что его пчела гораздо сильнее пчелы Михеевой. На его пчельнике шум пчелиный был густ, ровен и громок; он отзывался такою здоровою, сильною жизнью, а на Михеевом пчельнике пчела гудела жиденьким голоском, прерывисто, как-то вразбивку.

По нескольку раз на дню навещал Трифон пчельник соседа, который встречал его с явной неохотою, а сам к не-

му ни за чем не заходил; и всегда при этих посещениях сердце Трифона переполнялось гордым торжеством.

«Наша взяла! — рассуждал он сам с собою.— Изловчился я сразу,— ан дело и выгорело. Право слово, можно будет откупиться!.. А Михеев-то пчельник так и тает, так и тает,— и роятся плохо, и берут не берут... Пожалуй, и прогорит он скорехонько. Оно бы и жаль,— да ведь был его черед, был да и сплыл... Ну, и плох он пчелинец-то...»

Раз как-то пришел и Михей на Трифонов пчельник.

— Здорово, дядя Михей,— сказал ему весело Трифон,— ну, вот и ты ко мне зашел... Все ли подобру-поздорову?

— Слава те господи! бог грехам терпит,— отвечал Михей,— а я к тебе, Трифон Афанасьич... по-суседски...

— А милости просим... право слово, рад тебе. Вот погляди-ко на пчельничек мой... Ну что?.. живет?..

— Пчельник твой — оченно хорош... только уж тово... пчела-то твоя больно озорная...

— Вишь ты!.. а почему так?

— Я затем и пришел к тебе, Трифон Афанасьич... Ты уж бога побойся!.. Надо бы нам жить по-суседски, побожьи...

— А как бы это по-суседски да по-божьи? — возразил уже довольно сердито Трифон: — Я-то как же живу?.. Знамо, никого не обижаю — и тебя тоже; ну, чем таким тебя изобидел?

— Нету, родимый,— отвечал Михей,— больно ты меня изобидел... Вспомни-ка... помог я тебе дело начать,— право слово, по душе помог... а ты теперича что со мною сделал... Озорною пчелой мою пчелу забиваешь!.. Что ж, Трифон Афанасьич, ведь не по-божьи...

— Да я-то чем причинен?.. Неча греха таить: пчела, вишь, у тебя больно слабосильная...

— А то рассуди: ноне моя пчела слабосильна, а на лето, пожалуй, и твоя ослабеет... ведь она урочлива... Ну, что хорошего, как мы друг друга поедом будем есть?.. Ты уж, родимый, поправь дело...

— Как это поправить?..

— Дело немудреное... захоти только... А вот возьми да перенеси пчелу свою на старое место.

— И думать не моги!

— Трифон Афанасьич! в честь прошу... За что меня, ста-

рика, обижать будешь?.. Я ведь тебя ничем не изобидел...

— Сказано — и думать не моги! — возразил с ожесточением Трифон.— Ничего не сделаю — вот те Христос!.. Вишь ты!..

— Ну, бог с тобою! — отвечал печально Михей.— Только господь накажет тебя! На чужом добре не раздобудешься — помяни мое слово...

— Проваливай!.. проваливай!..

И Михей ушел. На другой же день стал он приискивать, куда бы перебраться со своего любимого пчельника. Скоро он нашел местечко у дьячка приходской своей церкви, который за пару целковых дозволил Михею поставить пчел в его садике до тех пор, пока повезет он их на гречиху. Прискорбно было Михею покидать свой приютный, укромный уголок, этот пчельник, в котором лет пятнадцать сряду трудился он честно. Но невольно сгрустнулось и Трифону, когда он увидал, что Михей не на шутку задумал оставить «обсиженное» место, что он покидает свой пчельник через него именно. Совесть заговорила в Трифоне. Он не вытерпел, пошел к соседу и стал уговаривать его остаться.

— Ну, что пустое толковать! — отвечал старик.— Ведь ты-то не переедешь на старое место... Что ж!.. Вот, кажись, и просторное место было, а смотри-кось, нам с тобою тесно стало. Оставайся ты здесь, а я найду уголок!..

И старик не захотел дольше слушать речей Трифона. Плюнул Трифон и прочь пошел, бормоча сердито про себя:

— Вишь ты, какой правной!.. словно барин-помещик... не сговоришь, и никаких речей не принимает! А и то молвить: была бы честь приложена, а от убытку бог избавил. Эка важность!.. Да вот постой маненько... как бы не пришлось Михею Савостьянычу и к нам прийти за помочью... Может, вот как станет кланяться?.. А коли придет — что ж! — и я помогу... Мы теперича в состоянии...

Следствия всего этого были очень неприятные для бедного Михея. Весь почти пчельник его уничтожился; к осени осталось у него только колодок десять, да и то плохих, тощих. Между тем и у Трифона к осени оказались дела не совсем хороши: потери, правда, не было, но и прибыли вышло мало. Как только Михей перебрался из соседства

Трифона, пчела Трифонова плохо стала брать отчего-то. Потом с конца мая пошли сильные дожди, которыми забило много пчелы; весь июнь и половину июля стояла погода, неблагоприятная для роения: холодная и с сильными ветрами; добыча на гречихе тоже была дурная, и, наконец, осень несвоевременно рано настала. К осени пчела Трифонова оказалась слаба и тоща. Но, увлекаясь своими задушевными планами, не имея притом настоящей опытности в пчеловодстве, Трифон решился пустить в зиму всю пчелу, которая осталась за выломкою меду. Последствия вышли печальные: слабая пчела не вынесла продолжительной зимы и плохого продовольствия. К следующей весне у Трифона оказалось только тринадцать колодок, годных на выставку,— столько же почти, сколько было теперь и у Михея. А затем в какие-нибудь два года и все его пчеловодство дотла извелось.

Погрешил он понапрасну против доброго соседа. И грех взял свое: въелся он глубоко в сердце Трифона.

VI

Много был опечален Трифон последнею неудачею. Да и как было не сокрушаться ему? В его года гибель заветных надежд, гибель перед самым их осуществлением, является особенно страшною.

Раза два-три порывался он пойти за помощью к Михею Савостьянову, у которого дела опять стали поправляться понемногу, но горькое сознание вины своей перед соседом, своей черной неблагодарности не допустило Трифона до этого. И остался он опять без дела.

Но беда одна не живет,— одна беда вызывает всегда другую; когда встает волна на море, идут за нею другие, еще более страшные волны. Так сталось и с Трифоном.

Не успел он еще привыкнуть к мысли, что последний труд его пропал безвозвратно, как новое несчастие окончательно поразило его: сын его Ефим умер на стороне. Недолго хворал он, бедняга, и с самого начала болезни предчувствовал смерть. Перед концом попросил он какого-то знакомого грамотея написать домой письмецо; слезно прощался он со всеми родными и наказывал им долго жить.

О, как горевал Трифон! Все на деревне, мужики и бабы, вчуже жалели о нем, все утешали его. Тяжкое положение Трифона всем бросалось в глаза: сам он — уже старик, мать его — старуха, обезумелая от старости и немощи, сын — малоумный, дочь — калека да две внучки, дочери Ефима, одна трех лет и другая меньше году, и на весь дом одна только настоящая работница, вдова Ефимова...

И стал беднеть Трифон с каждым днем, стал беднеть не по дням, а по часам. Некому было исправить, как надо, нужд домашних; подмоги неоткуда было ждать. Хоть бы внучка маленького дал бог на утешение, внучка, который, глядишь, годков через десяток эдак поднялся бы на ноги: сначала подсоблял бы по домашнему делу, а там и на сторону можно бы его отпустить... Совсем осиротел Трифон, а у него на шее обуза немалая.

Слыхал я от одного барина присловье, объясняющее, по его мнению, пословицу: «На Руси святой с голоду не умирают» — вот какое это присловье: «Русский мужик — что ракитовый куст, как ни стриги его, он опять обрастет...» Может, оно и правда в земле нашей, где водится так много всяких диковинок, только к Трифону это присловье не подходило. Обездолел он, горемычный, совершенно и во всем. И он потерял бодрость духа. Дума его, до сих пор почти беспрестанно подзывавшая его на новый труд, манившая надеждами, дума эта, прежде столь плодовитая, теперь стала твердить ему ежечасно, что незачем уже трудиться, что не на что надеяться, что впереди лишь — нужда да смерть.

Тотчас же после смерти Ефима барин освободил Трифона от оброка, от подвод и от всяких податей; но и это не помогло. Года в два перевелись у него все деньжонки, накопленные от пчеловодства и от заработков Ефимовых.

«Где тонко, там и рвется» — скоро и сам Трифон стал усиливать свое разорение невоздержанностью: принялся он опять за винцо, за пьянство, хоть и не безобразно, а все-таки частенько. В это время случилось с ним происшествие, доведшее его до гибели душевной.

Трифон не любил пьянствовать дома и у себя на деревне; любил он выпивку в соседнем огромном селе Боровом, где по субботам бывают базары. Всякую субботу отправлялся он в Боровое. Не было у него там никакого дела: продавать было нечего, да и покупать не на что, а он все-таки

постоянно езжал на базары. Он был мастер великий присоседиться к какому-нибудь пьянице и «погулять» на чужой счет. Только та беда, что и для такого мастерства приходилось делать издержки: надо было и самому поднести иной раз хоть один стаканчик. Стаканчик за стаканчиком, деньжонки-то и уплывали, деньжонки последние, истинно кровные. И Трифон не жалел их, он считал нужным пить, чего бы то ни стоило,— он пил теперь истинно с горя; во время пьянства горе легче становилось; нужда, столь близкая к нему, не так уже страшила его; смерть, тоже близкая, казалась желанною гостьею.

Скоро Трифон нашел себе в Боровом приятеля, деревенского портного Савелья Кондратьича, дворового человека соседнего помещика, который прогнал его от себя давно уже за пьянство; с ним-то он всего более пил-гулял. Савелий Кондратьич — человек лет уже с лишком пятидесяти, высокий, сухопарый, легкий на ногу — был горчайший пьяница. Все, что ни добудет, бывало, работая без устали чуть не целую неделю, пропивал он в субботу (базарный день) и в воскресенье, да так пропивал, что зачастую и опохмелиться в понедельник было не на что. Много труда, нужды, горя перенес и переносил на своем веку Савелий — и никогда не унывал. «С меня что кому взять?.. да и мне об чем таком кручиниться?.. вольная птица!..» — говаривал он сам про себя. Беззаботно трудился он, как умел, балясы точил за работою, пел во все горло, а пропивал труд свой еще беззаботнее. Хороший человек был Савелий Кондратьич. Одно только и было в нем не совсем хорошо: в хмелю бывал он неспокоен, не то чтобы задорен и буен, а уж чересчур болтлив и суетлив. С ним-то сошелся и очень подружился Трифон. С год были они друзьями закадычными, оттого больше, что сначала как-то ровно всегда пьянствовали; но к концу этого года Савелий Кондратьич плох стал оказываться; чересчур уж скоро пьянел, а иной раз «до чертиков» допивался.

Однажды Трифон много попрекал его за эту последнюю способность.

— Ну, что ты меня попрекаешь? — возразил Савелий Кондратьич.— Эх, брат Триша!.. ну, зачем ты попрекаешь меня, слабого человека?.. Вот погоди... как бы, брат, хуже чего с тобою не вышло...

И точно, скоро приключилась с Трифоном премудрая оказия.

Раз — это было в конце сентября — ехал он домой из Борового, нисколько не пьяный, а только немного навеселе; приятеля его Савелья Кондратьича не было на ту пору в Боровом, а ни с кем другим не похотелось Трифону выпить лишний стаканчик. Дело было к вечеру. Солнце только что село в небольшой темной тучке, края которой ярко еще золотила заря. Сквозь тонкие, в виде тумана, облака, заволакивавшие во многих местах бледно-голубое осеннее небо, недавно народившийся месяц тускло глядел на окрестность. Путь Трифона шел по широким лугам села Борового, начисто вытравленным тогда скотом, ходившим по отаве[3]. Легкий и зыбкий туман кой-где стоял над этими лугами. Сквозь туман просвечивала местами темно-сизая, как хорошо закаленная сталь, полоса захолодавшей большой реки, которая влеве прихотливо извивалась в бугристых песчаных берегах.

Трифон ехал потихоньку, нисколько не понукая тощую свою лошаденку, ехал и думал невеселую думу.

«Эх! — думал он. — Иным-то людям счастье какое!.. Вот хоша бы Зот Гордеич: приехал из Загорья на таком коне, — по базару давеча расхаживает, — и кто-кто не снимает перед ним шапку!.. и я тоже снял, — провалиться бы ему!.. так уж на белом свету испокон, чай, веку повелось, — знамо, богат человек, ну и кланяются. Никто в народе его не любит, — больно лют и не жалостлив, а поди-кось, как почитают!.. Вон я честно жил и работал, — чего ж такого нажил-то? кошель на шею нажил, да не себе одному, а всей семье!.. Господи! семья моя!.. А Зот Гордеич, сказывают, куда легко большие деньги добыл... Добыча эта, ох добыча!.. И добро бы умен был Зот Гордеич, да во всем-то ему удача была... и обманывал, и обкрадывал, и нажимал все с удачею, — воля какая ему теперича!.. вот и почитают его, боятся... Эх! хоша бы годик-другой пожить хорошенько!..»

На последней мысли дума Трифона оборвалась: телегу вдруг сильно тряхнуло, чуть не опрокинуло. Он взглянул вокруг себя. Месяц совсем заволокло: только малое желтоватое пятнышко осталось от него в белых, плотно скученных облаках. Впереди, и уже не так далеко, Трифон увидал небольшую черную полосу, резко отделяющуюся от туманного горизонта и от темного пространства лугов без травы: то было сельцо Пересветово, с его садиками и пчельниками.

Но тотчас же потом показалось Трифону, что вдали, на самом краю горизонта, встают словно волны какие-то...

С испугом он стал всматриваться — и почудилось ему: далекие волны эти тронулись и покатились в его сторону... Вот они всё ближе и ближе, вот затопили окрестность; луга потеряли свой темный оттенок и покрылись тускло светящимися рядами шибко бегущих волн... Замерло сердце у Трифона. Ему уж казалось, что телегу его заливает водою; что волны так и рвутся упасть на него, слиться над ним, что он должен непременно утонуть...

— Эй, постой-ка, брат!.. эко диво!.. стоит на коленях в телеге, озирается во все стороны, а ничего не видит,— произнес вдруг человек, очутившийся как раз с правой стороны телеги.

— С нами крестная сила! — вскричал Трифон, дрожа всеми членами.

— Да что ты, брат?.. словно ошалел совсем!.. Аль больно заспался?.. А то, может, хлебнул больно через край? — сказал встретившийся человек.

— Тьфу ты пропасть! — молвил наконец Трифон.— Да это ты, никак, Савелий?..

— А ты как бы думал?.. знамо, я, а не леший аль водяной.

При этих словах Трифон опять задрожал, перекрестился и осмотрелся кругом; но видения уже не было — волны исчезли. Пересветово было видно как на ладонке; огни мелькали в избах; собаки во всех дворах заливались звонким лаем.

— Диковина приключилась! — сказал как бы про себя Трифон.

— Что, брат, такое? — спросил любопытный Савелий Кондратьич.

— Опосля скажу... Ты куда, Саввушка?

— А ночевать в Боровое.

— И! что такую даль ночью... Поедем ко мне лучше, у меня почуем.

— Ну, что ж! пожалуй, поедем. Я и то хотел было давеча у тебя заночевать, да не застал тебя дома.

Приятели скорехонько добрались до Пересветова. Между тем небо потемнело; густой туман встал над болотистыми озерками и над рекою, совсем закрыв ее и бор, примыкающий к селу Боровому.

VII

Когда Трифон и Савелий Кондратьич вошли в избу, Анна, вдова Ефимова, сказала полушепотом свекору:

— Бабушке Афимье труднехонько... с чего-то вдруг поделялось... все металась на печке, больно стонала... А теперича, знать, полегчело, словно заснула, да все тяжко таково дышит...

— Ну!..— произнес задумчиво Трифон.

— А как бы не померла за ночь-то? — молвил Саввушка.

— Нету! — отвечал Трифон.— Она завсегда так-то с самой осени, да и зиму... знамо, человек старой, чай все кости болят...

— А что, малый? — потихоньку и будто робко спросил Савелий Кондратьич у Трифона.— Не пойти ль, тово, к Арине... выпить бы надо маненько... вот, вишь, у меня полтора целковеньких есть,— за работу в Мишине получил...

— Нету, в шинок не пойду,— угрюмо возразил Трифон.

— А сюда бы... тово... можно? — умильно спросил Саввушка.

Но Трифон ничего не отвечал на этот умильный вопрос.

— Что ж ты? — продолжал Саввушка.— Да!.. может... тово... помирать она собралась?

— Наладил с одним! — сердито отвечал Трифон.— Сказано, что завсегда так к осени.

— Ну, и то так... Я теперича пойду к Арине.

И Саввушка вышел.

Через минуту старуха Афимья громко и протяжно простонала. Трепет обдал Трифона, когда он услышал этот тяжкий стон. Анна проворно бросилась на печку к старухе, и в то же время показалась с полатей косматая голова полоумного Мишутки; он смотрел вниз, уставив на отца огромные, безжизненные глаза навыкате.

— Невестка, касатка,— промолвила на полатях глухим полушепотом дочь Трифона Аграфена,— никак, бабушка...

И она заплакала, громко всхлипывая

Слова Аграфены с пронзительной болью отозвались в сердце Трифона.

— Что там еще! — сказал он тихо, но очень сердито.— Эка дура! ничего не видя, хнычет... словно махонькая.

Груша тотчас же замолкла и притаила даже дыхание; в то же мгновение спряталась и голова Мишутки: в доме все очень боялись Трифона; со времени последних несчастий своих он стал к семье суров чрезвычайно, даже до жестокости.

Скоро спустилась с печи Анна.

— Ну? — спросил Трифон.

— Кажись, спит,— отвечала она.

Между тем прошло много времени, а Савелий Кондратьич все еще не возвращался. Трифон, однако, не замечал этого. Он был весь погружен в печальные мысли. Опять смерть стучалась в дверь его дома — и новая забота вставала опять для него, забота похоронить старуху: ведь на похороны да на поминки нужны расходы немалые. В избе же было все тихо, так тихо, что всякий звук можно было различить явственно: слышно было и ровное сопенье Мишутки и прерывистое дыхание старухи; тишину эту нарушало лишь изредка резкое вскрикивание сверчка под печкой.

Но наконец воротился и Саввушка. Тихонько отворил он дверь, просунул в нее свое узенькое рыльце и визгливым шепотом промолвил оттуда:

— Триша!.. а Триша!.. идти, что ль?..

— Да иди, провались ты! — отвечал вполголоса Трифон.

— А тетка-то... тетка Афимья?.. жива аль тово: померла уж?..

Зло взяло Трифона.

— Ах ты леший, пьяница!.. право слово, надоел до смерти,— проговорил он с ожесточением.

— Ну, ну... ты, Триша... за что? не ругайся! вот вишь... иду, иду...

И Саввушка вошел в избу, сильно покачиваясь. Бережно, словно клад какой, держал он за пазухой штоф вина; правая рука его лежала на драгоценной ноше, крепко прижимая ее к груди. Видно было, что Савелий Кондратьич не потерял даром времени: лицо его горело как маков цвет, а нос пылал словно полымя, глаза были сильно навыкате. Медленно заплетая ногами и ныряя беспрестанно всклокоченной головою, подошел он к столу, за которым сидел Трифон.

— Важно успел нахлюстаться,— сказал Трифон с презрением.

— А, а! что ж такое? — лепетал Саввушка.— Триша... ведь на свои денежки... кровные свои... ну, и тово... Да ты не тужи, брат... вишь, целый штоф? целый штофик принес! поживем, Триша...

— Эх ты!..

— Триша!.. слабый я человек... человек, тоись божий... а никого не изобидел... Вот ей-же-ей! никого как есть... смирный человек... и у господ служил... и то синя пороха...

И Саввушка — человек, показывавший во время пьянства большую чувствительность,— горько заплакал. Но через минуту слезы его иссякли.

— Триша,— вдруг спросил он, заикаясь,— а тетка Афимья?..

— Перестань поминать про нее! — грозно вымолвил Трифон.

— Ну, ну, не стану, — сказал пьяница. Потом уселся он у стола, поставил штоф и возле него два стакана — один большой, квасной, а другой маленький — и умильно улыбнулся.

— Родимый, милый ты человек! Триша! — залепетал опять Саввушка.— Ты смотри-ка, не изобидел тебя, выйдет, вот же ей, поровну; у Арины-то, с хорошим человеком, не утерпел... да, вишь, достал стаканчик-то один, смотри какой! это — тебе, брат Триша, а мне махонькой! а мне махонькой!..

Трифон ничего ему не отвечал; он сидел, опустя низко голову. А между тем Савелий Кондратьич и здесь не упускал времени: бормоча какую-то нескладицу, то громко, то шепотом, то с дребезжащим смехом, то с ребяческим плачем, он успел раз за разом вытянуть четыре стаканчика. Скоро голос его оборвался, он совсем осовел — и замолк. Так прошло с полчаса.

Но вдруг Саввушка порывисто приподнялся с лавки, вытянулся во весь длинный, нескладный рост, несколько секунд пошатался, застонал пронзительно-визгливо, как будто сквозь сильно стиснутые зубы, закинул голову назад, медленно повел вверх левую руку, словно хотел схватить себя за голову, еще раз отрывисто взвизгнул — и тяжело свалился на пол, ударившись головою о косяк лавки.

Трифон и Анна бросились поднимать Саввушку. Когда они положили его на лавку, он был уже бездыханен; губы были раскрыты, и через них выставлялись крепко стиснутые зубы; в открытых глазах не светилось и слабого луча

жизни; все лицо было синевато-багрового цвета. Из всех сил хлопотал Трифон около своего приятеля, и прыскал водой ему в лицо, и лил воду в рот, и обливал голову, и встряхивал его, но все было напрасно. С каждым мгновением все холоднее и окоченелее становились члены бедного Савелья Кондратьича. Но не хотелось Трифону расстаться с надеждой, что, может, он еще и не умер.

— Аннушка! — сказал он невестке.— Глянь-ко ты, ради Христа... авось он... вот грех-то приключился!..

Анна долго тоже хлопотала около Саввушки, но наконец она уверилась, что смерть его несомненна.

— Помер,— прошептала она, потом прибавила: — Батюшка свекор... взглянь-ко, вот у него на правом виске пятно какое-то...

И в самом деле, на виске у Саввушки было огромное темно-багровое пятно.

«Плохо дело! беда! — подумал Трифон.— Пожалуй, становой привяжется... откупиться нечем, сгниешь в остроге. Скажут — вместе пьянствовали — подрался, убил... вишь, пятно проклятое!..»

Крепко позадумался Трифон. Наконец вышел он потихоньку на улицу. Ночь была темна и глуха. Нигде у соседей огня уже не было; все на деревне спали крепко, даже собаки,— ни одна из них и спросонья не тявкнула. Воротившись на двор к себе, Трифон и тут постоял да подумал. Потом подошел он к задним воротам, полегоньку отодвинул задвижку, еще тише принялся отворять их — и отворились они, нисколько не заскрипев. Заглянул он за ворота: на задах двора его было еще тише и глуше, чем на улице.

Трифон мгновенно теперь решился — и все, что придумал, сделал осмотрительно и осторожно. Тихо подмазал он телегу, тихо запряг лошадь, собачонку свою, привыкшую сопровождать лаем выезд его со двора, запер в хлевушок и затем проворно воротился в избу.

— Надо прибрать,— сказал он отрывисто Анне, — помоги снести его в телегу...

— Батюшка свекор! — промолвила трепещущим голосом Анна.— Как бы...

— Что там еще?.. бери за ноги... ну!..

И вдвоем они легко вынесли Савелья Кондратьича: он и тут легок оказался, если не на ногу, так всей своей особой. Трифон выехал в задние ворота. На его счастье, ни одна

собачонка нигде не залаяла: он выбрался из Пересветова благополучно. Путь его лежал не далеко. Он решился спровадить приятеля своего в реку, в том самом месте, где она очень глубока.

Как ни тверда была эта решимость его — много страху он натерпелся дорогою. Его пугали теперь не опасения быть пойманным на таком страшном деле. Но ехать с мертвецом в глухую пору, чуть не в самую полночь, ехать по той же дороге, где на несколько часов перед тем являлись ему странные видения,— вот отчего беспрестанно дрожь пронимала Трифона и дыбом вставали волосы на его голове.

И все усиливало его страх. Беловато-мутная мгла, расстилавшаяся кругом, представлялась ему какою-то бездонною пропастью, в которую вот сейчас стремглав полетит он с телегой и с безгласным своим седоком. Лошадка Трифона должна была идти тихо, как же бежать с покойником по кочковатой луговой дорожке? Труп Саввушки, с открытыми потухшими глазами, от которых Трифон не мог оторвать взора своего, труп этот, подскакивавший беспрестанно в телеге от толчков, ужасал его невыразимо.

Наконец он достиг того места, где предположил похоронить Савелья Кондратьича. Это был довольно отлогий берег большой реки, опушенный здесь густыми кустами ракитника; у этого-то самого берега было чрезвычайно глубоко. Тут был омут, который в иные трескучие морозы никогда не замерзал.

Бережно навязал Трифон на шею Саввушки большой отломок жернового камня, захваченный им с собою из дому; бережно спустил труп из телеги наземь и поволок его за ноги через кусты. А в то же время с тяжким ужасом смотрел он на темное лицо своего бедного приятеля; тоска мучительно сжимала его сердце. Но вот он на самом краю берега... Положил он труп ногами к реке и потихоньку стал подвигать его в воду... Наконец он совсем спихнул его...

В то же мгновение почудилось ему, что в кустах кто-то простонал тяжело... Не помня себя от ужаса, он вскочил в телегу и погнал лошадь что есть мочи.

Воротился он домой еще до свету,— и так же незаметно, как выехал.

Все остальное время ночи он не мог уже заснуть. Душа его ныла; великая жалость к бедному Саввушке на-

полняла ее. Иной раз казалось, что он кинул в реку не труп его, но живого его, что он убил Саввушку...

Не спали в ту ночь и дочь его Аграфена, и невестка Анна: тихо и робко плакали они о чем-то. Только Мишутка да две девочки, Аннины дочери, спали безмятежно: да, казалось, спит и старуха Афимья, дыханье которой к концу ночи сделалось ровнее и легче.

Когда же стало рассветать на дворе, Афимья опять отрывисто, громко простонала и вслед за тем завозилась на печке. Анна поспешила к ней. Было заметно, что старуха проснулась,— если только спала,— но глаз она не открывала.

— Бабушка,— спросила потихоньку Анна,— испить не подать ли?..

— Не надоть,— отвечала Афимья густым и твердым голосом.— А пьяницу Савку куда схоронили? — вдруг спросила она так же громко.

Анна ничего не отвечала и только робко поглядывала на Трифона, а он, услышав слова матери, затрепетал всеми членами.

— Все слышала,— продолжала старуха,— куда же девали-то?.. а?.. ну, все равно!.. Аннушка! подай девчонок своих, Мишутку, Грушку, позови...

Когда Анна подала к ней потягивавшихся сквозь сон девочек, Афимья положила им на голову костлявые, горячие руки, перекрестила их и приложила холодные губы к разгоревшимся щечкам малюток. Потом перекрестила она Мишутку и Грушку.

— Ну, ступайте,— промолвила она уже хриплым голосом, а через минуту прибавила чуть слышным голосом: — Попа!..

Между тем Трифон подошел к печке.

— Матушка! — сказал он.— Аль тебе больно тяжко стало?..

Старуха не отвечала.

— Матушка! — повторил Трифон дрожащим голосом.— Аль помирать ты хочешь?.. Всех ты благословила... меня не забудь... благослови меня, матушка...

Но ответа не было. Трифон горько заплакал.

— Прости меня, Христа ради,— говорил он,— прости меня, окаянного!.. Наказал господь довольно... Благослови, как их-то благословила... Прости перед концом!..

Трифон обнимал и целовал ноги матери, брал руки ее,

но она ничего не отвечала. Заглянул он в лицо ей и ужаснулся. Расширенные чрезвычайно зрачки горели сверхъестественным огнем и пристально, грозно смотрели на него. Почерневшие губы были крепко сжаты; тонкий нос обвострился; в горле звонко бил «колоколец»[4]. Старуха была страшна несказанно.

Неотступно умолял Трифон мать свою о прощении, а она все не отвечала ему и томилась смертною мукою. Пришел священник. Он исповедал старуху «глухою исповедью»[5] и причастил. Перед причастием он долго убеждал ее простить сына, дать ему благословение крестным знамением, но старуха осталась непреклонна, и взор ее горел грозным огнем, когда устремлялся на сына.

И три дня так прошло, три дня страшных мучений для Трифона. Сна и пищи он лишился. Беспрестанно просил у матери благословения — и все понапрасну.

Пересветовцы, одни за другими, навещали избу Трифона, глядели на старуху, покачивали головой, шептались таинственно промеж себя — и много жалели Трифона. Наконец некоторые из стариков и старух посоветовали ему поднять «матицу»[6] в потолке.

— А то, вишь, она не кончается... душа не выходит,— говорили они.

Но Трифону не до того было, чтобы вслушиваться в разные советы; он почти обезумел от ужаса и от мучений душевных.

На третий день лицо старухи почернело. С утра стала она стонать без перерыву; «колоколец» бил в горле у ней уже неровно: то тихо, то громко. К полуночи стонала она так, что было слышно на улице и в соседних домах. А иногда стоны прекращались, и на несколько секунд как будто останавливалось и дыханье ее. Конец Афимьи уже был близок.

За несколько мгновений до ее смерти Трифон, не уставший умолять о прощении, наклонился над самым лицом матери и, рыдая, стал опять повторять:

— Матушка... прости, ради господа!.. прости!.. прости!..

— Прочь! — прошептала она для него только слышным голосом — и в ту же минуту испустила дух.

VIII

Трифон перенес страшные впечатления всех этих событий, но на некоторое время был поражен такой мрачной тоскою, что нельзя было видеть его без содрогания. Месяца два прохворал он в тяжкой болезни; крепкое, жилистое сложение его было надорвано душевным страданием. Однако все вынесла его натура. Через каких-нибудь полгода сгладились на нем наружные следы душевных мучений. Только для глубоко наблюдательного взора могли быть заметными резкие перемены в характере Трифона.

Он сделался чрезвычайно неровен во всех своих действиях: иногда слезно жаловался всякому на свои несчастья, иной же раз, весь погруженный в мрачное уныние, словечка не хотел вымолвить ни с кем и ни об чем. На базары он перестал совсем почти ездить, — разве-разве понадобится купить для домашнего дела соли или другое что нужное; к соседям перестал тоже захаживать; на праздники никуда уже не ходил и к себе не пускал; на мирские сходки сначала еще являлся, но когда спрашивали его о чем-нибудь, — бывало, рукой махнет да ответит: «А что тут?.. как мир хочет!.. мое дело сторона... изба моя с краю, ничего не знаю...»

Когда же случалось ему услыхать на сходке про какое-нибудь несчастие в соседстве, — например, про пожар, — он не присоединялся в общему хору сожалений, а всегда коротко возражал:

— Ну, сгорели так сгорели... опять выстроятся... Дело это поправное...

— Вишь ты, брат, как поговариваешь!.. А у тебя случися...

— Всего случалось, — отвечал, бывало, тихим голосом Трифон.

И, сказав слова эти, он уходил домой, повесив голову и ни на кого не глядя.

Наконец, даже по позывам стариков, он чрезвычайно редко стал являться на сходки: стал он все дома заниматься каким-нибудь пустым делом: то колышки какие-то, бывало, завостривает, то хворост обрубает для топки печи, то разберет какой-нибудь старенький хлевушок на дворе, и разберет-то его без надобности, да потом опять собирает...

Скоро мужики пересветовские начали как-то дичиться Трифона, избегали всяких разговоров с ним, перестали звать его не только на мирские сходки, но даже на крестины, на свадьбы и на другие пирушки.

— Словно какой «оглашенный» стал! — говорили они, рассуждая иной раз о Трифоне.— Никуда, вишь, не ходит и в церкви-то редко бывает... А опрежь того был совсем другой человек: делом все хотел заниматься...

— В руку, видишь, все ему не шло.

— Да больно уж затейлив был!.. оно бы попроще... ан и тово...

— И на базары частехонько езжал.

— А помнишь? с Саввушкой-то какие приятели были!

— Как же! как же!.. Да, малой! поди-кось, пропал вот Саввушка,— инда ни слуху ни духу...

— Да ведь, кажись, перед самой-то смертью Афимьи был Саввушка у нас в деревне! Сказывают, у Арины с Васькой Лимавским пьянствовал, а вот опосля того словно сквозь землю провалился.

— Поспрошать бы у Трифона: не заходил ли к нему в те поры!.. А то не ночевал ли?

— Эва! что его спрашивать? вишь, какой он стал!.. словно колдун настоящий!

— А и то молвить: кому нужда-то до Саввушки?.. Ни роду ни племени у него. Помер, чай, спьяну,— и приняла его просто-напросто мать сыра-земля...

О Савелье Кондратьиче, точно, не было никаких расспросов и разведываний. Он был безродный гулящий человек — и никто не заботился о нем. Лишь один Трифон часто о нем думывал.

В странной, но крепкой связи представлялись ему смерть и матери и смерть Саввушки; тайные похороны его в реке, с камнем на шее, и трехдневное, страшное боренье со смертью старухи Афимьи; какой-то тяжкий стон в кустах после похорон Саввушки и неумиримая воля матери, ее последнее слово: «Прочь!..»

При этих воспоминаниях, постоянно, чуть не каждую минуту грызших его, Трифон доходил иногда до такого отчаяния, что готов бывал наложить на себя руки,— и наложил бы, может статься, коли б не привязывала его к жизни какая-то горькая жалость, какая-то слепая любовь к полоумному Мишутке. В минуты страшной тоски вспоминал он всегда не про жалкую калеку дочь свою, не про бед-

ных маленьких внучек, а именно про Мишутку, который, однако, не показывал ему нисколько привязанности.

И с каждым днем росло также ожесточение Трифона. Он совсем удалился от знакомых своих, приятелей, родных. Стало невыносимо ему сообщество с людьми; невзлюбил он людей от всей души...

Раз как-то по зиме был он на базаре в Боровом. Искупив себе кой-чего для дома, а кой-чего нужного и не купив по недостаче денег, он возвращался домой, полегоньку плетясь на своей тощей лошаденке. Ехал он и думал все о том, к чему душа его обращалась ежечасно,— думал о сыне, безвременно умершем, о матери, не простившей его перед концом, о Саввушке, без покаяния погибшем и похороненном в реке, может быть, заживо...

Вдруг обогнал его вскачь, зацепившись за его сани и чуть не опрокинув их, крестьянин из деревни Загорья, Ларион Максимов, известный пьяница и приятель в прежнее время Саввушки.

— Эй, Кузька?.. разбойник! — закричал Ларион.— Ты, брат, тово... право, брат!.. Вот вместе бы... ну, я маненько сосну... а ты уж тово...

Ларион тотчас повалился на сено в санях и крепко заснул; слышно было, как он всхрапывал. Лошадь его тихо шла по дороге, за нею брела и Трифонова лошаденка.

И вдруг овладело Трифоном томительное чувство, до сих пор ему незнакомое; он весь дрожал, охваченный мрачным, тоскливым беспокойством: в голове его шумело, как от сильного угара. Какой-то странный голос стал нашептывать ему странные речи. И невольно с тяжким замиранием сердца Трифон прислушивался к этим темным речам.

«Что ж ты!.. чего смотришь, об чем еще думаешь?..— говорил голос.— Он не узнал тебя, Кузькой назвал!.. Никого нет ни впереди, ни назади... снег порошит, глянь, как стемнело,— никто не увидит!.. Смотри-кось: тулуп-то новехонькой... один рукав свесился, волочится по снегу... а вон и мешки... никто не увидит!.. не бойся!.. скорей только!.. скорей!..»

Сам не помня уже себя, вылез он из саней своих, подошел к саням Ларионовым, взял тулуп, взял один из мешков... и, задыхаясь от страшного волнения, кинулся в сани, изо всей мочи приударил свою клячонку и ускакал стремглав домой.

Только подъезжая к Пересветову, опомнился он несколько и сдержал лошадь. Он чувствовал страшную головную боль и совершенное изнеможение во всем теле.

Между тем совсем уже смерклось; снег валил хлопьями. Темно было на улице, когда Трифон въехал к себе на двор. С величайшею заботливостью зарыл он в сено тулуп и мешок Ларионовы и не допустил невестку взять из саней мелкие свои покупки. Ночью он вышел потихоньку из избы и зарыл украденные вещи на погребице. Всю эту ночь он не спал и несколько раз выходил на двор и на улицу чего-то посмотреть, чего-то послушать...

Но этот ребячий страх, эта тревога души были не надолго.

С того разу стало манить Трифона беспрестанно к воровству; он быстро освоился с новым ремеслом своим и начал красть смело, дерзко, ничем не стесняясь, ничего как будто не страшась. С особенным, порывистым ожесточением предавался он пороку. Правда, рядом с этим ожесточением, делавшим его опасным врагом обществу, жила в нем неумолчная совесть. Ничем не мог он заглушить ее: голос ее часто терзал душу его страшными мучениями; но на беду, ему уже недоставало сил духовных для того, чтобы побороть свое ожесточение. Горемычный старик видел гибель свою — и легко поддавался ей.

Вокруг себя он не мог найти помощь для восстания...

«Она прокляла меня,— думал он все о своей матери,— не замолишь... на том свете беспременно огонь вечный!.. Ох! доля моя пропащая!.. А дети-то?.. Мишутка!.. и они, может, погибнут... Бедность, нужда!.. Дай так еще поработаю,— хочу покудова пожить вольно!.. Они все супротив меня... так я сам!..»

Темная мысль о мщении людям за какую-то страшную вину их против него безотвязно вертелась в голове Трифона и непрестанно подстрекала его на преступления. Он воровал, несчастный, не из мелкой корысти, а под влиянием страстного, жгучего желания делать зло.

Скоро в Пересветове заметили, чем стал промышлять Трифон, и все диву дались.

— Эка оказия! — говорили пересветовцы.— Вишь ты: на старости-то вот и воровать пустился!

— Диковина, малой!..

— Чего тут диковина!.. ведь, чай, знаешь, каков человек? мать при смерти прокляла!..

— А и то: ведь он, разбойник, бивал ее, сердешную.

— Слышь, ребята: как бы и у нас не стал привораживать?.. Что тогда делать-то?..

— Да что?.. А барину можно...

— Эка!.. барину!.. ну, что он сделает?..

— Авось, малой, и не станет нас забиждать...

Пересветовцы после такого совещания стали обходиться с Трифоном очень осторожно. Встречаясь с ним, они не очень-то пускались в разговоры, зато всегда ласково кланялись, по имени и отчеству называли. Бабы же боялись его как огня. Они колдуном его считали и рассказывали про него странные вещи: будто, например, в дому его по ночам соседи слыхали громкие голоса, а в полуночную пору видали самого Трифона бродящим вокруг двора. Грозной таинственностью стала облекаться в глазах народа личность Трифона. И он сам старался усилить в народе боязнь к себе, признаки которой подметил. В позднее ночное время бродил он иногда вокруг двора своего, пугая собак и заставляя их выть.

Между тем он занялся своим новым промыслом так хорошо, как будто весь век им занимался: ум его, всегда искавший деятельности, теперь опять усильно работал. Трифон знал, что «один в поле — не воин», что «одному и у каши неспоро», — поэтому он завел знакомство с самыми ловкими ворами из неблизких деревень и часто принимал их к себе, никогда, однако, не позволяя им пьянствовать в своем доме. Вообще он хотел быть вором не на мелкую руку,— зато в два-три года и прославился во всем околотке.

Но все, что добывалось воровством, не впрок шло ему, да он и не старался, чтоб был прок. Малую часть из воровской добычи он употреблял на необходимый в дому обиход, другую часть, побольше,— на покупку гостинцев для внучек да красных рубах и нарядных кафтанов для Мишутки, затем все остальное из этой добычи шло на пьянство, хотя оно было и не по душе ему. С тяжелым принуждением принимался он за чарку и почти никогда не пьянел, сколько бы ни выпил. Он пил потому лишь, что во время пьянства заглушались его черные мысли и упреки совести да память тупела.

Кстати сказать здесь, что Трифон был очень счастлив в воровстве: почти всякой замысел его был удачен, да притом никогда и ни в чем он не попадался.

И мало было ему — воровать с товарищами, исстари зна-

комыми с опасным промыслом,— что-то подзывало его к тому, чтобы привлекать на свою сторону людей свежих, непричастных еще пороку. Так, в соседнем селе Мохове сделал он ворами двух мужиков и в самом Пересветове научил воровству молодого парня лет двадцати, Езыканку*.

Езыканка был малый простой чуть не до глупости. Семья у него была огромная: мать с шестью малолетними сестрами и братьями, и он — один работник на всю семью.

Раз и сказал ему Трифон:

— Эх ты, малый, простота! пришел бы ко мне да поклонился — а я сказал бы такое словцо... научил бы тебя уму-разуму.

И точно, через несколько времени он научил Езыканку уму-разуму по-свойски: малый стал вором притоманным и чрезвычайно преданным Трифону человеком. В последнюю беседу свою с Езыканкой, после которой парень этот всей душой ему покорился, вот что толковал Трифон:

— Ты, малый, губы-то не распускай, живучи на свете!.. Вот ты таперича скуден и малосилен, а помог ли тебе кто?.. Ни, ни! не моги и подумать о помощи!.. помогай же сам себе!.. Глянь, мужики в Загорье богачи какие! а поди-кось попроси у них малую безделицу на разживу — ни за что не дадут! А коли и дадут, так запрягут тебя в неволю-работу пуще лошади, загоняют до смерти, обочтут, обокрадут, наругаются... Нет! эдак-то лучше будет: под темную ночку поудить у них по клетям... ну, лошадки важные у них тоже, да мало ль что!.. надо только умненько дело делать.

Не в одном Пересветове боялись Трифона; боялись его особенно в Загорье, на которое он всего чаще нападал; все его боялись — и только один молодой парень, Иван Головач, клялся-божился, что нисколько не боится Трифона, что рано ли, поздно ли, а изведет он его, разбойника.

Но Трифон, до которого доходили эти похвальбы и угрозы Головача, ничего не опасался. Он мог страшиться лишь самого себя.

Как ни занят был ум его замыслами новых краж, но тоска душевная не умалялась. Сна у него почти не было; высох он, как кощей; глаза ввалились; черные круги обвели их и придавали им страшное выражение. Иной

---

* Иезекииль. *(Примеч. автора.)*

раз вспадали ему на мысль мрачные представления о пожарах, в которых горели и с громом падали большие дома, о мертвецах с перерезанными горлами...

Уже начинало манить его на большое зло...

IX

Раз, в конце декабря 1849 года, Иван Данилыч Одоньев получил от своего пересветовского старосты Потапа Максимова следующее донесение:

«Ваше высокоблагородие, милостивые наши отцы и покровители, Иван Данилыч и Катерина Николавна. Заочно вашей милости кланяюсь. При сем посылаю за крещенский срок оброку, всего 981 руб. 50 коп., по «ересту» с кого сколько. А Семен отказывается, говорит: денег нету, взять теперича негде, просит обождать до вешней первой путины*, а Василий Павлов сам отдаст, как поедет из Астрахани с рыбой; Федор уехал прежде к вашей милости. Еще осмелюсь доложить, ваше высокоблагородие Иван Данилыч, а у нас в вотчине не вовсе благополучно; вот на одной неделе в третьи приезжают с обыском в деревню, к Трифону Афанасьеву. Как вашей милости угодно, воля ваша,— а нам житья нету, боимся, как бы всем не быть в ответе. Онамеднись сам становой был, говорит: «Худо, дескать, всю вотчину порочит». А писарь станового так лается: «Вы, мол, все потатчики». А обыскивали из Загорья. Ничего тут и не поделаешь! А Констянтин при всем мире и меня обругал, говорит, что я — точно потатчик, вашей милости не доношу. Уж тут мы, батюшка, все как есть пропадаем. У Трифона синя пороха не нашли, а слава про него худая. Ваш слуга староста *Потап Максимов*».

Прочитав вслух это донесение ровным и, по-видимому, спокойным тоном, барин встал с кресел, вытянул правую руку, в которой было донесение, для какого-то, вероятно, грозного жеста,— потом тотчас же опять сел. Лицо его сильно покраснело; на лбу явственнее обозначились ломаные

* Время, когда крестьяне приречных сел нанимаются в коноводы к баркам. *(Примеч. автора.)*

морщины; в темно-серых глазах ярко блеснул огонь гнева. Но барин, видимо, хотел сдержать себя. Через несколько минут он опять встал, начал ходить по комнате и скоро, казалось, опять успокоился.

Барыня была тут же и слышала послание старосты. Заметив по лицу и по движениям мужа признаки гневной вспышки, она покинула свою работу и тревожно глядела на него.

Иван Данилыч первый заговорил о донесении:

— Вот, Катя, рассердило было меня письмо Потапа... Мерзавец Трифон! вором на старости лет сделался!.. А я-то еще жалел о нем, старался облегчить его положение!.. Ну, я ж его проучу! Вот на днях же нарочно поеду...

— Но, мой друг,— возразила Катерина Николаевна,— зачем же тебе самому ездить? Да и к чему тут личные распоряжения? По-моему, лучше удалить его из Пересветова,— ведь наказанием его не исправишь... Да и он — старик... Нельзя ли сослать его, чтобы он не портил всего имения?

— Э, ты ничего не знаешь!.. Не учи меня, что делать,— отвечал он сердито и вышел из комнаты.

Считаю нужным покороче познакомить читателей с Одоньевым.

Ему тогда было лет тридцать с чем-нибудь. Он был малого роста, толст и неуклюж. Его круглое красноватое лицо, вся невзрачная его фигура почти всегда производили неприятное впечатление. Во всей физиономии его, несмотря на разнообразную, какую-то летучую ее подвижность, было что-то жесткое. Черты же духовной натуры Одоньева отражались на лице его так смутно, что без особенно короткого знакомства с ним трудно было по одному наружному его виду вывести верное заключение даже о таких общих свойствах: добр или недобр он, умен или неумен.

Нельзя сказать, однако, чтобы духовные его свойства были неуловимо мелки; напротив, в сущности, они были резки и крупны, но они выражались в действиях как-то перепутанно, даже хаотично. Он был впечатлителен донельзя, пылок, порывист; подчас он бывал деятелен, но без толку, а всего чаще лень одолевала его, впрочем, оттого больше, что ему казалась бесплодною всякая его деятельность. Чересчур свободное и раннее развитие его способностей

дало им направление неравномерное, от этого в уме его, в характере, в чувствах была бездна самых разнообразных, самых противоположных оттенков. Он был очень добр, но доброта его была как-то бесцельна, а главное — она не имела в себе достаточно силы, чтобы стать твердым основанием всех его действий.

Его подвижная натура доступна была, чуть не на каждом шагу, влиянию других — хоть он и дичился постоянно людей посторонних, не доверяя им и опасаясь их, хоть и не обладал он терпимостью к людям, особенно потому, что сильно ненавидел в них собственные свои недостатки и пороки. И точно: он беспрестанно покорялся влиянию не только разных лиц, но и разных обстоятельств — а на беду влияние это большею частию выходило вредное, потому что сбивало с толку добрые его наклонности. Вообще г. Одоньев не умел управлять ни собою, ни своими делами.

Дела его были в расстроенном положении. Все беспорядки, какие существовали по управлению в его имении еще прежде него, держались крепко и при нем. Были в этом имении местные выгоды, которыми он и зная про них все-таки не умел воспользоваться; были у него тяжбы, тяжелые, беспокойные и убыточные, которых он не умел ни вести, ни покончить.

Имение его состояло на оброке. Оброк этот был очень легок; но крестьяне часто платили его неисправно, хотя по зажиточности своей имели полную возможность быть исправными. Одоньев, постоянно нуждавшийся в деньгах, крайне гневался на них за это, а все не мог заставить их платить как следует. Крестьяне сельца Пересветова нисколько не боялись гневных выходок своего барина, выражавшихся, впрочем, лишь в сильных бранных словах да в грозных приказах к старосте. Они даже любили Ивана Данилыча за кроткое его обращение, за правдивость его, за самую беспечность в управлении ими, за то, наконец, что он не походил на соседних, крепко занимавшихся «хозяйством» помещиков, которые очень не жаловали его.

— Пустой человек Иван Данилыч! — говаривали эти помещики. — Взгляните, как перебаловал крестьян своих, — просто ни на что не похоже!.. Вредный даже пример подает в уезде!.. А что бы можно сделать из его Пересветова! ведь это имение в хороших руках — золотое дно... Ну, да авось продавать будут, — обстоятельства его куда тонки!..

X

Однако барин наш, несмотря на то что сильно разгневался на Трифона Афанасьева, не скоро распорядился. Правда, в ответе своем на донесение старосты Потапа он целую страницу исписал о Трифоне и имя его всякий раз упоминал с каким-нибудь бранным прилагательным; но все-таки на странице этой ничего положительного не было, а были всё лишь такие фразы: «ты ему, негодяю, скажи на сходке», «ты строго-настрого объяви, моим именем, что я его не пощажу...», «ты, главное, растолкуй ему, что мне, его барину, все его мерзкие плутни и воровства хорошо известны...», «ты и сам, смотри у меня, не давай нисколько воли и потачки ему, старому мошеннику...» Кроме того, всякий раз, как приезжали к Ивану Данилычу за чем-нибудь крестьяне из Пересветова, он подолгу расспрашивал чуть не каждого мужика о Трифоне и всегда наказывал, при этой верной оказии, к старосте и ко всему пересветовскому миру, что, дескать, о Трифоне-мошеннике барин непременно и скорехонько сделает особенно строжайшее распоряжение.

Но проходили недели, месяцы — и все оставалось по-старому.

А Трифон Афанасьев, видно, не очень боялся заглазного гнева барина: нисколько не унимался он от воровства и продолжал ловко и бойко, не хуже молодого вора, промышлять по сторонам. В течение зимы, последовавшей за донесением Потапа Матвеева, три раза являлись из Загорья с обыском к Трифону, и хотя опять ничего не нашли, однако в Загорье, в самом Пересветове и во всем околотке мужики были твердо убеждены, что в трех покражах, по которым делались обыски, приложил тяжелую руку свою не кто другой, а именно Трифон Афанасьев.

Прошла зима, настала пора вешних сельских работ, и вдруг в начале мая явился к Ивану Данилычу староста его Потап. Он приехал лично доложить барину о самой свежей, самой мудреной проделке Трифона.

— Что ты, Потап? зачем это приехал? — спросил с некоторым удивлением Иван Данилыч своего тяжелого на подъем старосту, который из-за всего, бывало, вступал с барином в дипломатические сношения.

— А вот, батюшка Иван Данилыч, — отвечал По-

тап,— насчет это Трифона мир к вашей милости прислал...

— Что там еще?

— Да уж власть ваша,— а меня извольте из старост выставить, увольте, батюшка!.. Мочи моей не стало, такие то есть порядки пошли... Констянтин поедом ест, а все из-за Трифона, вишь, он сват мне доводится, так глаза все этим и колет, говорит: «Потакаешь Тришке», а мне как можно ему потакать?.. Да теперича Констянтин и мир-то весь замутил; все мужички упрекают меня теперича Тришкою-вором. Уж вы, Иван Данилыч, батюшка, явите божескую милость, ослобоните меня из старост!.. А я перед вашей милостью и перед миром ничем как есть не причинен.

— Ах ты господи! — сказал барин с сердцем.— Вот с три короба намолол, а ничего разобрать нельзя! Ты мне толком скажи, в чем дело-то,— право, олух настоящий!

— Да в чем дело-то? — отвечал староста.— Знамо, все из-за Трифона, мир теперича меня послал. Вот я по зиме три раза вашей милости отписывал, что к Трифону с обыском приходили...

— Ну, писал ты... Из Загорья все три раза обыскивали?..

— Из Загорья.

— Я и сделаю распоряжение... А теперь-то? — спросил барин несколько робко.— Нет ли еще чего-нибудь нового?..

— А как же, батюшка!.. есть...

— Так рассказывай же!..

— Да вот, батюшка, у Зота Гордеича в Загорье быка увели, и, надо быть,— Трифоново дельцо, да никак пособлял ему в этом Езыканка.

— Ах разбойник! — вскричал Одоньев с величайшим негодованием.— Сам, старый черт, вором сделался, да и других с пути сбивает!..

— Точно, батюшка!.. уж и не знаем мы, что и делать-то; все как есть теперича пропадаем из-за него, разбойника!..

— Ну, ну! дальше...

— Ну, и украли,— продолжал Потап Матвеев, с особенным каким-то ожесточением размахивая руками,— да и как важно украли-то, батюшка Иван Данилыч: в сапоги быка

обули, чтобы следу животины не видать было! — так и свели быка.

— Значит — поймали их?.. уличили?..

— Нету, где их поймать; уж такие-то воры темные, что на-поди!.. Так в народе только поговаривают, что, надо быть, быка в сапоги обули, ведь мокреть перед этим была, а следов-то бычьих не нашли...

— Следствие было?

— Как же, и следствие наводили, — становой приезжал, по всей деревне обыски делали, нас всех к допросу пригоняли, уж маяли, маяли... из того больше и мир зло взяло.

— Ну, а что Трифон и Езыканка?

— Да их долго все допрашивали, а там и в стан раза два гоняли — и то ничего!.. Трифон как есть оправдался; Зот Гордеич мало ль хлопотал, чтобы его в острог посадить, да нет! становой говорит: «Никак нельзя, улик никаких нету...» А вот Езыканка — так он разбился в речах: теперича в стану его держат; писарь станового Семен Дорофеич мне проговаривал — никак, в острог угодит Езыканка... а на Трифона он ничего не показывает. На Езыканку стало подозрение из того больше, что лошадь его больно перепала[7]: слухи есть, что они проводили быка в соседний уезд, в Сысоевку, где уж испокон веку воры, да на лошади-то Езыканкиной до свету домой и поспели — вот она и перепала.

— Ну, а сам ты допрашивал Трифона?.. Ты бы его от моего имени на сходке...

— А что его допрашивать? Разве он какие речи принимает? Слова-то ему как к стене горох... Как стали у нас из-за него обыски делать да к допросу всех таскать, в те поры мало ль всем миром на речах его тазали! Да ничего с ним не поделаешь...

— Что ж он говорит?

— Да что, батюшка Иван Данилыч? говорит он, что, дескать, знать не знаю, ведать не ведаю... А как больно приставать к нему стали, так он, охаверник[8] эдакой, лаяться начал, хуже, прости господи, всякой злой собаки... сожжет, боимся!..

— А ты бы ему мной пригрозил...

— И, батюшка, он вашу милость и в грош не ставит.

— Вот ты дурак какой!.. ну, как-таки он смеет?..

— Да уж вы не взыщите на простом слове. Он допрежь

того что, бывало, говаривал? «А что мне барин? Я его махонького из хохлацкой земли привез...» Не обессудьте, батюшка, ведь это он так-то похваляется.

— Экая шельма! — промолвил Одоньев.

— Ну, да теперича,— продолжал староста,— он много тише стал; сумлеваться, кажись, начал. Вот онамеднись мать Езыканкина, Афросинья,— уж как она, сердешная, по сыне убивается! — встрела на улице Тришку, встрела, да и стала его упрекать, что сына ее вором сделал, загубил, а сама так и заливается слезами!.. А он уставился эдак-то в землю, уставился, а ничего насупротив не сказал, да и прочь пошел молча... Вот с этого разу много тише стал, словно сумлеваться начал...

Под конец этого разговора Иван Данилыч разгневался чрезвычайно. Досталось и старосте Потапу за то, что он, «мошенник тоже», не исполняет в точности каких-то приказаний барских и не печется о порядке в вотчине. Но гнев этот на старосте и оборвался. Правда, Одоньев решился принять непременно «самые действительные» меры в отношении Трифона; но опять никаких распоряжений покуда не сделал и Потапа отпустил без всякого приказа.

Прошло еще недели две-три, Езыканку перевели, по хлопотам Зота Гордеича, в острог, и староста Потап, не решаясь уже на личный доклад, донес об этом барину письменно. Гнев Ивана Данилыча поневоле должен был обратиться на настоящего виновного. К тому же мать Езыканкина пришла к Одоньеву «просить милости», чтобы заступился за ее сына и выручил его из острога. С горькими слезами жаловалась она на Трифона.

— Батюшка! — вопила она.— Он, разбойник, загубил моего Езыканку!.. А малый допрежь того смиренный был,— малого ребенка николи не обидел!.. Родимый ты наш! смилуйся над нами, сиротами горькими!.. Батюшка! ни в чем-то мы не виновны!.. Тришка злодей, душегубец!.. Езыканку он загубил!.. Все-то мы теперича осиротели,— семеро нас!.. один был работник на всю семью, батюшка!..

Жалобные речи и горькие слезы Афросиньи наконец подействовали решительно на Ивана Данилыча: он тотчас же собрался ехать в деревню и, несмотря на возражения Катерины Николаевны, убеждавшей его опять отложить поездку на некоторое время, отправился в путь. Дорогою

он всячески подавал себе жару и кипятился страшно, совершенно забывая, что в летнее жаркое время никак не годилось бы ему, толстому увальню, кипятиться.

XI

Иван Данилыч приехал в сельцо Пересветово чрезмерно гневный, не на шутку грозный: придрался он к старосте и разбранил его в пух за то, что господский флигель нечисто содержан и нисколько не готов для приема владельца имения; оттаскал за вихор мальчишку-садовника из-за какой-то безделицы; прогнал от себя скотницу Мавру, затопав на нее изо всей мочи ногами, «словно какой оглашенный!», как потихоньку рассказывала потом Мавра; объявил с великим азартом всем мужикам-домохозяевам, которые, по обыкновению, собрались на встречу и на поклон барину, что он их, мошенников, чересчур уж избаловал, а теперь не намерен баловать и никаких беспорядков больше не потерпит; и, наконец, громогласно приказал позвать к себе «бездельника, вора, разбойника Тришку» — так-таки и назвал он его тут же.

Трифонов двор был неподалеку от флигеля, где так грозно распоряжался барин, и Трифон явился скорехонько, «как лист перед травой», именно как лист, потому что он дрожал всеми членами.

Надо сказать здесь, что гнев барский врасплох застал старого грешника.

Еще до первой жалобы на него старосты Потапа в письме к барину он уже нередко уставал от воровской жизни и впадал в какое-то бессилие: мысль его по-прежнему часто стремилась к грешным делам, но не всегда доставало воли его на совершение их; а чаще овладевали им прежние скорбные и страшные воспоминания о сыне, о гибели труда своего, о матери, о Саввушке — воспоминания, подавленные перед тем разнообразными впечатлениями воровского промысла и безотчетною печалью, но теперь надрывавшие в нем все силы душевные, все силы на зло и добро. Только после жалоб на него барину энергия его пробудилась, и он, не страшась ни гнева барского, ни упреканий старосты и всего мира, напротив раздражаемый этой борь-

бою, принялся вновь за воровство, принялся ловко и бойко, не хуже молодого вора. Но с самого посажения Езыканки в тюрьму душа его заныла страшной тоскою. Он горевал об Езыканке, как будто потерял последнего сына, последнюю опору и надежду в жизни. Совесть громко и непрестанно твердила ему, что он был причиною несчастия простоватого парня, причиною нищенства и бедствия его семьи. С великим ужасом сознал он, что, кроме матери, сына, семейных своих и бедного Саввушки, еще погубил человека.

Идя теперь на барский двор, Трифон был проникнут тяжелым ужасом. Ноги у него подкашивались; он брел медленно и неровной поступью.

Это был мужик высокого роста, худощавый и сгорбленный. Темноцветные впалые щеки его были покрыты редкими, седыми волосами; жидкая бородка торчала клином; черные с проседью волоса падали длинными прядями с головы, закрывая лоб и отчасти глаза. Он был одет бедно, в полинявшей ветхой свитке.

Когда он был уже на половине барского двора, Иван Данилыч выглянул из окна.

— Ну, ну! — закричал он. — Скорей, разбойник!.. Ах, ты!..

Но Трифон не ускорил шагу и головы не приподнял.

Переступая через порог флигеля, он запнулся, пошатнулся словно пьяный, на мгновение оперся о притолоку, потом, чуть не бегом, прямо без зова, вошел в ту комнату, где был Иван Данилыч, и низехонько поклонился он барину, отирая левым рукавом крупный пот, катившийся со лба. При этом он откинул пряди волос, набегавшие ему на глаза, и черты лица его совсем открылись. Трифон был старик, с виду слабый и дряхлый. Высокий лоб его был изрезан глубокими ломаными морщинами; его глаза, обведенные черными кругами, глядели необыкновенно робко и тревожно перебегали с предмета на предмет, ни на одном не останавливаясь. Брови его были напряженно приподняты и сдвинуты, а губы несколько раскрыты, как будто в ту же минуту сбирался он заговорить; жиденькая бородка его заметно тряслась. Во всем лице, во всей осанке его выражался резкими чертами совершенный упадок духа.

Жалкий вид старика мгновенно поразил Одоньева, и он никак не мог собраться с духом задать ему, на первых же порах, славный окрик, такой окрик, на который барин наш

был великий мастер,— благо судьба одарила его широкой грудью и звонким голосом. Мало того, что не мог крикнуть, Иван Данилыч почувствовал, что весь гнев его улетучивается, что в душу его проникает какая-то странная жалость к этому так оробевшему старику.

С минуту молча и пристально смотрел он на Трифона, а этот бедняк стоял посреди комнаты, сгорбившись, бродя вокруг отупелым, бессмысленным взором и вздрагивая по временам всем телом, как будто на ту пору мучила его самая злая из всех сорока сестер-лихоманок.

— Ну, так как же, Трифон? — сказал, наконец, барин негромким голосом, выражению которого, впрочем, он старался придать особенную суровость.— Ну, так как же?.. Что ж мне с тобой делать теперь?.. а?..

— Батюшка,— начал было дрожащим голосом Трифон, волнение которого, казалось, еще более усилилось.

— Да что «батюшка»?.. какой я тебе «батюшка»? — прервал Одоньев.— Ты сам скажи, что мне с тобой делать теперь...

Но Трифон молчал.

— Как!..— заговорил опять Иван Данилыч, шибко расхаживая по комнате.— Как!.. Господи боже мой!.. на старости лет, перед смертью, накануне, может, смерти, вором гнусным сделался!.. шестидесятый год пошел,— я нарочно по ревизской сказке справился... Да мало того, что сам вор, молодых парней еще с пути сбиваешь!.. Езыканка-то в острог попал!.. Афросинья да шестеро малых ребят круглыми сиротами опять остались!.. А кто их осиротил, пустил по миру? кто погубил простого и, может, доброго парня? Ты, старый вор! ты, вор проклятый!.. Да ты все имение у меня эдак можешь погубить!.. мир-то что от тебя, вора, выносит?.. За что обыски у невиноватых людей делают, к допросам таскают, отрывают от дела?.. За что на целой деревне лежит слава худая?.. Да что ж ты думаешь: могу я терпеть, чтобы все из-за тебя погибали?.. Ну, говори же!..

— Батюшка...— залепетал Трифон,— синя пороха... на деревне... не пропало...

— Ах ты разбойник!.. так ты еще считаешь благодеянием с своей стороны, что у своих не воруешь?.. Да знаешь ли ты? — продолжал Одоньев протяжно, подойдя к Трифону вплоть и положив руку на его вздрагивавшее плечо.— Да знаешь ли, что если б ты принялся воровать у своих и они

тебя своим судом рассудили бы да под ночку потемнее сбыли бы с рук, прибрали подальше... я... коли б и наверное узнал, что с тобою сделали,— я бы рукой махнул и сказал бы только: «Собаке собачья смерть!..» Поверь, я бы не выдал из-за тебя, вора гнусного, тех, кто разделался бы с тобою!..

Жестокие слова эти Иван Данилыч сказал порывисто и, конечно, необдуманно. Невольно дрожь пробежала у него между плеч; он замолчал, отошел к окну и призадумался.

Гневный порыв против Трифона вновь погас в душе его — и на этот раз погас совсем. Между тем Трифон стоял ни жив ни мертв.

— Слушай,— продолжал Одоньев уже довольно спокойно,— слушай хорошо; я помню тебя давно, давно знаю, что ты за человек. Ты был всегда неуживчив с людьми... но это еще что?.. ты мать не почитал, негодяй!.. старуха была кропотливая и малоумная, да ведь мать же!.. Помнишь, нечестивую руку свою ты осмелился поднять на нее?.. помнишь это? Ну, что — скажи, простила она тебя?.. простила и благословила?..

Старик молчал, упорно уставив взор в землю. Редкие слезы катились из глаз его.

— А, не отвечаешь! — сказал опять Иван Данилыч.— Знаю, что она не хотела благословить тебя, умерла, не простивши!.. И посмотри, что вышло: ты был крестьянином довольно зажиточным, а стал бобылем и бобылем останешься, ведь воровство не поможет, на него не разживешься... Сын твой, на которого ты много надеялся, в молодых годах умер да оставил двух детей малых, лишнюю обузу для семьи: другой сын — не в помочь, а в тягость; дочь — калека; жена умерла... Видишь ли, как господь наказует тебя за грехи? А ты святую руку его и не почувствовал?.. Бог ждал от тебя раскаяния, а ты раскаялся ли?.. Нехристь ты настоящий!.. Знаешь, почему ты под старость вором сделался? мать тебя не простила и прокляла,— бог покарал и отступился!.. И прикоснулся к мысли твоей, ко всем делам твоим сам дьявол... он тебя осéтил — и, накануне смерти, ты стал его верным слугою!

Слова эти, как громовой удар, поразили Трифона. Он упал, рыдая в голос, как женщина над гробом любимого детища.

Долго лежал он и не мог слова вымолвить. Тоска душев-

ная отзывалась во всем: в громких рыданиях, тяжело приподнимавших его старое тело, в глухих вздохах, в бессилье встать с полу. Невольно прошибла слеза и Одоньева. Душа его была умягчена совершенно, не оставалось в ней и тени гнева; напротив, она смущена была трепетным чувством сострадания к несчастному старику.

Он приподнял его. Старик стоял, шатаясь как пьяный, с смертной бледностью на лице, с помертвелым взором, с полураскрытым ртом.

— Полно, Трифон,— промолвил Одоньев тихим голосом.— Да простит тебя господь, да простит тебе все грехи твои... а я прощаю тебя!.. Не бойся, ничего тебе не сделаю,— бог тебе судья: ступай домой, не бойся!.. Ведь ты не станешь больше воровать? не станешь, скажи мне?.. Трифон! к клятвам не приневоливаю тебя, скажи только просто — не станешь воровать?..

Старик приподнял качавшуюся голову, взглянул на образа, перекрестился дрожащей рукою и прошептал:

— Не стану...

— Верю!.. ничего мне больше не надо. Да укрепит тебя бог великой милостью своею!.. Ступай домой!.. Молись!.. Милость божья велика!..

И Трифон вышел нетвердыми шагами. Опустив голову, тихо плача и тяжко вздыхая, побрел он домой...

Этим решением Ивана Данилыча очень недовольны остались мужички пересветовские. Они надеялись было, что барин по крайней мере подвергнет Трифона тяжелому телесному наказанию.

— Вот уж рассудил! — говорили они.— Смотри, малый, вот таперича-то начнет Тришка разбойничать!..

А что, если бы соседние помещики узнали о таком решении «их брата дворянина» Одоньева? Думаю, они еще более убедились бы в том, что «он вредный пример подает».

XII

Но Трифон Афанасьев после разговора своего с барином не только перестал воровать и прекратил всякие сношения с ворами, но и как будто совсем переродился.

Странным и неестественным, может быть, найдут многие это внезапное восстание глубоко павшего человека: но это действительно так было. Не возьмусь объяснять такое явление: укажу только на одно обстоятельство, которое, кажется мне, может навести на лучшее объяснение. Много раз случалось мне быть свидетелем удивительного действия самых немудрых лекарств на неиспорченную натуру больных простолюдинов; много раз также видал я у них быстрые и полные переходы от одного чувства к другому, от одной мысли к другой: вообще их радости и горе, их смех и печаль, их добрые и злые деяния — просты и несложны.

Итак, Трифон честно сдержал данное слово,— милость божия помогла ему в этом. Но в то же время одряхлел он чрезвычайно, и, вглядевшись в него попристальнее, нельзя было не заметить, что скоро он должен будет предстать пред последний, праведный суд.

Теперь, с семьей своей да с своей немощью, Трифон перебивался кое-как изо дня в день и тяжко маялся: иной раз не на что было соли купить, иной раз приходилось хоть кошель надеть да пойти по миру; но Трифон все сносил терпеливо, ни на что не жаловался, никого не просил о помощи. А положение его было истинно трудное, тем более что народная ненависть стала преследовать его постоянно и жестоко.

Покуда боялись Трифона, ненависть эта не обнаруживалась; но как только подметили, что нечего уже бояться его (а это подметили скоро), она резко выразилась и во всем околотке, и в самом Пересветове. В Пересветове стали притеснять и обижать его беспрестанно: всех чаще и без соблюдения очереди угоняли лошаденку Трифона под какие-нибудь подводы; всех чаще и его самого наряжали на разные общественные работы: дороги поправлять, мосты и гати чинить, луга и лес караулить. Не смотрели на его старость, дряхлость и скудность; не хотели нисколько уважить бедственного положения его семьи.

— А что его жалеть-то? — говорили пересветовцы.— Мало ль он, старый черт, измывался над нами!.. Пускай теперича сам узнает. А мы из-за него уж терпели, терпели!.. да как еще боялись-то его, разбойника!..

В Пересветове, впрочем, хорошо все знали, что Трифон больше не ворует, но в соседних селениях, а особенно в Загорье, не знали или не хотели знать этого. При всякой покраже шли, по старой привычке, обыскивать к Трифону,

и пересветовцы не только не мешали этим обыскам, но даже поощряли их своими толками.

— Вишь ты,— говаривали они,— глянь-ко, малый, до чего дожил старый черт Тришка!.. нету-таки ему веры, все к нему да к нему с обысками... право слово, старый черт!.. Славу худую на всю деревню положил, хоть бы околевал поскорее!..

— И, малый! проживет он до светопреставления!.. Ведь, чай, знаешь: мать прокляла,— земля-то его, нехристя, и не принимает.

— И то, знать, малый!.. а глянь, как иссох-то, инда почернел весь... Молиться, кажись, стал — да нету!.. не замолит теперича... где уж!.. мать прокляла!..

— Знамо, не замолит... Вон и отец Ермил говорит... Вот кабы сорокоуст заказал,— обедни бы надо почасту служить, да милостыню роздал бы по монастырям, да нищей братье... ну, так оно бы тово... полегче было бы,— ан на это кармана его не хватает! Ведь какие у него достатки? воровал, воровал, старый пес, а что толку вышло?.. Что наворует, бывало, все-то пропьет!..

— А куда смирён стал.

— Эка, смирён! — возражали приходившие с обысками сердитые загорцы.— Прикидывается, старый черт!.. Коли теперича сам не ворует, так краденое принимает аль сбывает куда... Знамо, не перестал вором быть: уж повадился кувшин по воду ходить, на том ему и голову сложить... Поопасливее только стал, разбойник!

А между тем Трифон изо всех сил старался поддержать в себе бодрость духа. Он видел себя одиноким, покинутым всеми, гонимым, заслуженно гонимым. Он скорбел и томился от всего этого, а пуще от жгучих укоров совести; но ожесточение уже оставило его, но мгла греховная уже рассеялась, и дух его восстал. Слова Ивана Данилыча: «Молись!.. милость божья велика!» — беспрестанно живительно звучали в сердце его, и начал он молиться богу, к нему лишь обращая немногие надежды свои. Молитва его была жарка и страстна, но проникнута великой печалью. Однако мало-помалу стал он почерпать из ней утешение для больной души: страшный призрак матери реже становился обок его, когда начинал он молиться. И крепка уже была в нем мысль о великом милосердии бога.

Всего чаще молился он по ночам, одинок с своею совестью, перед страшным оком вездесущего бога.

Позади двора его, в недальнем расстоянии, находился небольшой пригорок, на котором стоял старый и полузасохщий вяз и откуда видна была белая церковь села Мохова. Почти каждую ночь, как только засыпала жизнь в Пересветове, Трифон приходил на пригорок этот, прислонялся спиною к вязу, устремлял взоры на церковь и молился с великим сокрушением душевным...

Раз крестьянин деревни Загорья Иван Головач, о котором мы упоминали уже мельком, проезжая ночью неподалеку от Трифонова пригорка, увидал Трифона под вязом. Сначала Головач сильно перепугался, но скоро, всмотревшись, узнал старика. Подивился он и не знал, что подумать; но на другой день пришлось ему объяснить случай этот посвоему: поутру, глянь, увели у него со двора лучшую упряжную его лошадь. Головач как раз заподозрил в покраже Трифона, и хотя по обыску, тотчас же сделанному, ничего не нашли у него, однако Головач был твердо уверен, что обокрал его не кто другой, а Трифон.

Головач был человек рьяный и злобный; он в ту же ночь решился отомстить Трифону, «хорошенько намять ему бока доброй дубиной». Как только уснули в Загорье, он отправился с своей увесистой дубинкой к Пересветову и залег под плетнем, на задах Трифонова двора.

Вскоре он увидал, что Трифон выходит из задних ворот своих. С непокрытой, поникшей головою тихо прошел он мимо самого Головача прямо на пригорок. Головач хотел было тут же кинуться на него, но что-то удержало его.

«Дай посмотрю,— подумал он,— что Тришка делать будет... Вишь крадется... словно колдун какой!..»

Между тем старик, взойдя на пригорок, стал на колени и начал молиться. Потом упал он ниц на землю и долго-долго не приподнимал головы; тяжкие вздохи и прерывистые рыдания слышны были Головачу.

Изумился он чрезвычайно всему этому, и хоть не прошла злоба его на Трифона, однако он не решился уже теперь напасть на беззащитного молящегося старика.

«Вишь, Тришка проклятый! — сказал он самому себе.— Ну, счастлив твой бог!.. Где грехи-то вздумал замаливать!.. чудно, право... А в церковь, чай, редко ходит...»

Проходили дни, недели, месяцы — и опять весна настала, весна теплая, красная, благодатная для дерев и растений,

озарившая кротким светом надежд темные лица поселян,— весна, опять благоприятная для роения пчел.

Однажды выдался весь денек пасмурный и дождливый. Под вечер, эдак уже в сумерки, вдруг взошел на двор Трифонов старый знакомый наш Михей Савостьянов.

У полурастворенных задних ворот Трифон починивал борону.

— Бог в помочь, сосед! — сказал ему приветливо Михей.

Трифон с изумлением, почти с испугом посмотрел на доброго старика.

— Спасибо,— ответил он глухим голосом и ни слова больше не мог произнести.

— А что, родимый? — сказал как-то особенно весело Михей Савостьянович.— Я ведь за дельцом пришел теперича к тебе: ты вот пчелкой не хочешь ли опять позаняться?.. Ну, право слово, оно бы тово... Мне-то господь послал, у меня вдоволь, пожалуй, с радостью помочь могу.

Трифон ничего не отвечал. Крупные слезы потекли из глаз его.

Михей тотчас же заметил волнение соседа.

— Что ты! что ты?.. Господь с тобою! — говорил добрый старик.— Ты бы, родимый, перекрестился. Ну, об чем так-то плачешь, сокрушаешься?..

— Об окаянстве своем,— отвечал Трифон печально.— Нету, Михей Савостьяныч! не для чего теперича дело это затевать!.. Знаешь ты мою семью?.. Господь на меня прогневался!.. Знаешь — каков человек я был недавно?.. Ох! грешник окаянный!.. А мать-то... ведь она...

И старик не мог договорить.

— Господи помилуй! — молвил Михей и перекрестился.— А зачем ты тоску на себя напускаешь?.. Ну, как на бога не надеяться!.. Милость его велика!.. Молися о грехах со слезами, а не унывай... Господи тебя помилуй!.. что ты, право?.. Ты вот теперича потрудись честно, зависти не имей, потрудись, душу сберегаючи... Трифон! ведь бог-то любит честный труд!

— Не могу, Михей Савостьяныч! видит бог, не могу!.. Мне и жить-то здесь нельзя,— разве не знаешь?.. что людей еще на грех наводить?.. Все-то клянут меня... гонят, ненавидят...

— Что же делать-то?.. Богу молися!.. Дай срок, и они увидят, что надо по-божьи делать!

Но все возражения и утешения Михея Савостьянова бы-

ли тщетны: Трифон наотрез отказался от его благодушного предложения и в конце разговора высказал свою потаенную мысль.

— Вот что я задумал, Михей Савостьяныч: сказывают, барин приедет сюда вкруг троицына дня... думаю попросить его, — коли б перевел он меня в Делюхино!.. Далеко отселева... там не знают... не буду там и добрых людей на грех наводить... Напоследях-то авось мне полегче будет...

К троицыну дню барин, точно, приехал в сельцо Пересветово. Он был сильно не в духе на ту пору: пересветовцы опять неисправно заплатили оброк, да к тому же приходилось ленивому Ивану Данилычу позаняться, в течение нескольких дней, полюбовным размежеванием с соседними помещиками. Неудачно выбрал время Трифон Афанасьев для разговора своего с барином.

— Что ты?.. зачем еще? — спросил сурово Одоньев, увидав старика.

— К вашей милости, батюшка...

— Говори ты мне скорее... некогда тут возиться со всякими вашими глупостями!

— Батюшка, — сказал Трифон дрожащим голосом. — Сделайте божескую милость... переведите меня в Делюхино...

— Это зачем?

— Да невмоготу, батюшка, стало... невмоготу стало проживать здесь...

— Что за вздор!.. это пустяки!.. Объясни по крайней мере толком: отчего нельзя жить тебе здесь?

— Все обыскивают... понапрасну теперича... А видит бог...

И старик горько, горько заплакал. Жаль стало его Одоньеву.

— Взял бы я тебя во двор, — сказал он, несколько подумав, — но у тебя семья такая, ну да и дворня-то у меня... Нет, эдак не приходится.

— Куда хотите, батюшка, девайте, а отселева-то... сделайте божескую милость!.. увольте, батюшка...

— Но что ж ты будешь делать в Делюхине? — спросил Иван Данилыч.

— Кормить буду семью, батюшка.

— Ну, хорошо, хорошо, — так и быть! Однако верного обещания не даю, а подумаю... Подожди — вот увидим...

И барин наш, по обыкновению своему, не решил дела окончательно. Зато судьба скоро порешила участь Трифона.

XIII

На ильин день бывает храмовой праздник в селе Лимаве, в приходе которого состоит и деревня Загорье. Лимавские и, особенно, загорские крестьяне очень зажиточны и любят широко попировать, когда «праздник на их улицу заходит». Обыкновенно празднованье это продолжается три дня: в первый и второй дни собственно празднуют, а в третий провожают праздник, опохмеляясь и добром его поминаючи.

Накануне ильина дня зашел к Трифону отец его невестки Анны, Алексей, крестьянин из села Лимавы, человек небогатый, но радушный и добрый.

— Сват Трифон,— сказал Алексей,— о празднике к нам милости просим. Ты и Аннушку со внучками отпусти, хоша на завтрашний денек,— истопит дома печку, да и к нам, а к ночи вернется...

— Пожалуй, сват Алексей, невестку отпущу,— отвечал Трифон.

— Да ты сам-то беспременно приходи.

— Нету, сват Алексей!.. где мне по праздникам таскаться?.. Не могу... Спасибо...

Как ни просил Алексей, но Трифон наотрез отказался и только обещал прийти вечером, чтобы проводить домой невестку.

— Ты, сват, не забудь же, приди,— говорил Алексей, прощаясь с Трифоном,— ведь у меня некому будет проводить домой Аннушку; а пойдет она одна, так, пожалуй, загорские парни с хмелю-то изобидят... Ведь сам ты знаешь — озóрный они народ!..

Во всю ночь под ильин день не спал Трифон; он пробыл долго, долго на пригорке своем и жарко молился. В эту ночь душа его была исполнена смертной печалью; ныла и билась она под каким-то грозным предчувствием.

На самый праздник он был у заутрени и у обедни в селе Мохове. С появлением света дневного тоска его рас-

сеялась, и стало легко у него на душе, как давно уже не бывало. После обедни зашел он на кладбище и беспечально помолился: даже на могиле матери не гнела его прежняя душевная скорбь. Затем и во весь день он был спокоен.

Перед вечером зашел он к Михею Савостьянову на пчельник и пробыл там с часок. Старый пчелинец обрадовался, увидав, что Трифон спокоен духом. Трифон рассказал ему свои предположения о переходе в Делюхино и о житье там, Михей вполне одобрил их. Старики наговорились досыта и по душе. Но перед уходом Трифон задумался и тоскливо опустил голову.

— Что ты словно опять закручинился? — спросил Михей.

— А так,— отвечал тихо Трифон,— прощай, Михей Савостьяныч...— В дверях пчельника он остановился на мгновение и промолвил: — Уж такая тоска!.. Михей Савостьяныч!.. коли что со мной подеется... помолись ты о грешной душе моей...

— Да полно ты, полно!.. Господь с тобою!.. ну, что ты это?..

— Трудно оченно на душе стало,— прошептал Трифон.

Трифон прямо отправился в Лимаву.

Путь его шел на Загорье. Опасаясь, чтобы пьяные мужики не привязались к нему да не побили бы, он пошел не по деревне, а по задворьям. Деревня эта вытянута в одну длинную линию — и он миновал все пространство задворьев благополучно, не встретив ни одного человека.

Но на конце деревни встрелась ему небольшая толпа самых удалых, отчаянных гуляк: тут были молодые парни, сильно пьяные, да несколько баб молодых, большею частию солдаток, видимо тоже подгулявших. Надо заметить, что Загорье — селение большое и зажиточное по отходной и фабричной промышленности своих жителей и что жители эти, как мужчины, так и женщины, не отличаются нравственностью.

Толпа гуляк, встретившихся Трифону, была шумна и весела. Она шла медленно, с громкими песнями, а перед нею бойко отплясывал, с визгом и гиком, Иван Головач. Но, завидев Трифона, он вдруг перестал плясать и закричал ему:

— Эй ты, старый черт, вор Тришка!.. опять по задам

шатаешься!.. высматриваешь!.. Я тебя, старый черт!.. уж доконаю!..

Но в толпе послышались голоса, понуждающие Головача приняться за пляску, и он снова пустился выделывать ногами разные штуки; а Трифон прошел дальше, сторонкой.

У свата Алексея праздник оказался не в праздник. Жена его вдруг разнемоглась — и Трифон, оставив Анну при больной матери, отправился один домой.

Поздно уж было, когда он подошел опять к Загорью: В раздумье он остановился у околицы. «Где тут пройти? — думал он,— через деревню аль опять по задворьям?» Слышал он, что народ шибко гуляет на улице; с разных мест неслись буйно-веселые крики и звонкоголосое пенье... И с страшным замиранием сердца он решился идти по задворьям.

Ночь была не светлая; мутная мгла осталась от дневного зноя и потопляла всю окрестность; сквозь нее тускло кой-где мерцали звезды; с левой стороны, над краем горизонта, вставал месяц огромным темно-багровым шаром.

Трифон прошел уже половину дороги. На самой этой половине дорога делала изгиб, и, поворотив за него, старик очутился лицом к лицу с Головачом да с другим каким-то парнем, тщедушным и рыжеватеньким.

— Ах, ты!.. все не уймаешься! — молвил, стиснув зубы, Головач.— Поджидал я тебя, теперича не минуешь!..

И он со всего размаху ударил Трифона толстым колом по голове. Старик успел только приподнять немного руку, чтобы перекреститься, и упал на землю.

— Никак, тово... сразу...— сказал рыжеватенький парень, невольно содрогнувшись.

— Нет еще! — отвечал злобно Головач.— А вот теперича... доконать надо!..

И Головач нанес бездыханному старику еще два страшных удара по голове, но они были напрасны: Трифон первым ударом был уже убит...

Началось следствие — и было открыто только, что череп Трифона разбит на тридцать семь кусков. Следствие это шло долго; временное отделение земского суда производило

его со всем возможным для него усердием, — но все было напрасно: кровь Трифона осталась невзысканною с головы убийцы от суда людского.

Как-то тяжело изумились пересветовцы, сведав про злополучную долю Трифона. Память о нем еще до сих пор жива в Пересветове; о невинной смерти его часто толкуют крестьяне, и имя убийцы поминают с проклятием за то, что не пощадил старика...

Семью Трифона призрел и устроил Иван Данилыч. Барин сделал свое дело — и, конечно, никто и ни в чем не осудит его за Трифона...

История моего деда

Отрывки из записок

Не купи село, купи соседа.

Русская пословица

История моего деда, отца моей матери, несколько похожа на повесть Пушкина «Дубровский». Для более резкого сходства недостает в ней такого лица, каков сын Дубровского; был сын и у деда, только не являлся он мстителем за отца, да и человек он совсем других свойств, как будет видно из другого отрывка моих записок. В истории моих родичей, деда и дяди, отражается довольно яркими чертами оригинальная сторона внутренней русской жизни в конце прошлого столетия, которую совсем почти заслонили внешние исторические события.

Считаю нелишним сказать предварительно, что в этом рассказе все имена по большей части вымышленные.

I

Дед мой, Николай Михайлович Туренин, был дворянин Московской губернии, хотя не первостатейного боярского происхождения, однако же старинного дворянского рода. Рассказывала мне мать моя семейное предание, что, начиная с Ивана Туренина, с которого крымские татары содрали живьем кожу, не было ни одного из его потомков, кто бы повел и кончил жизнь спокойно. Теперь род этот уже пресекся со смертью Иосифа Туренина, самого несчастного, может быть, из всех его представителей.

После отца, убитого в прусской войне[1], дед мой остался четырехлетним ребенком, под опекою своей матери и родного дяди, Зиновия Туренина. Мать деда моего была из богатого и значительного рода Борисопольских, но женщина совершенно безграмотная, что в тогдашнее время, то есть в половине XVIII столетия, было еще не редкостью. Дядя же, Зиновий Туренин, был премьер-майор, когда-то занимавший в Сибири важное место и выехавший оттуда с большим обозом, у повозок которого, по преданию, всё что обыкновенно бывает из железа, было серебряное. Говорили, что Зиновий Туренин снарядил свой обоз таким образом потому, что правительство в тогдашнее время, когда еще не знали билетов сохранной казны[2] на неизвестного, обращало особенное внимание на выезжавших из Сибири чиновников. Должно быть, Зиновию Туренину, несмотря на строгие осмотры, удалось вывезти из Сибири большое богатство, конечно накраденное всяческим лихоимством; все знали об этом при его жизни, но по смерти его никто не наследовал его имущества — и куда оно девалось, никому не известно. Зиновий Туренин был старый холостяк, надменный, раздражительный до бешенства, скряга и мстительный. Он как раз повздорил с матерью моего деда, и ссорам и тяжбам между ними конца не было. В фамильном архиве, доставшемся мне вместе с бедным имением после родных, нашел я огромные кипы бумаг, относящихся до этой междоусобицы. Я имел терпение заглянуть в начало и конец этого тяжелого и темного процесса,— и каких диковинок не вскрылось передо мною! Тут есть обвинения в расточении и расхищении имения малолетнего, в беспорядочном образе жизни, в безграмотстве, малоумии, всяческой безнравственности, даже в безбожии,— и все это пересыпано жалобами на личные оскорбления, нанесенные укоризнами и ругательствами; выставляются свидетели против свидетелей, предъявляются отводы от показаний под присягою, и при этом выставлены, разумеется, в самом скандалезном виде целые биографии этих лиц. Пожива была подьячим[3] тогдашнего времени от такого дела! Чем оно кончилось, я не добрался, но, кажется, одолел Зиновий Туренин, ибо при жизни еще матери моего деда он был уже один опекуном ребенка. Следствия всего этого были самые неприятные для моего деда: сначала мать его была причиною потери значительного участка прекрасной луговой земли, с которой теперешний владелец, граф Т., получает хороший

доход; потом дед Зиновий не только заложил, но и продал самым бессовестным образом часть его имения. Это обстоятельство, как мы увидим дальше, будет причиною гибели молодого Туренина.

Про первое обстоятельство стоит тоже рассказать подробно. Это было вот как: возле имения моего деда, частичка которого принадлежит еще мне, находилось огромное поместье генерала И-ва, лица, получившего известность в самом начале царствования Екатерины II. Во время генерального межевания[4] поверенный генерала с землемерами сумели так хорошо распорядиться, что И-в оказался единственным владельцем общих дач, и владения его примкнули с одной стороны к самым почти окнам изб моего деда. Когда происходило такое ловкое межевание, мать деда моего выехала посмотреть, чем таким занимаются землемеры на ее лугах, и в акте об отмежевании дачи было записано, что «госпожа такая-то присутствовала при сем и никакого спора не предъявила».

Таким образом, по милости матери и дяди дед мой еще ребенком начал уже разоряться. Достигши девятнадцатилетнего возраста, он из сержантов гвардии, в которую, по обычаю того времени, был записан еще в колыбели, перешел, уж не знаю почему, в драгуны и, сделав поход до Серебряных прудов, селения Тульской губернии, вышел в отставку прапорщиком и уехал в Петербург. Между тем его мать и дядя Зиновий умерли, и, не стесняемый уже ничем, он начал вести крепко разгульную жизнь. Этот образ жизни, вероятно, скоро и окончательно разорил бы его, если бы не навязался ему на шею большой процесс с соседним помещиком Зарудиным, которому дядя Зиновий Туренин продал часть имения своего племянника во время его малолетства. Дед мой усердно занимался этим делом. Он был молодец собою, умен, ловок и, по временам, очень деятелен. Процесс он выиграл, но прежняя расточительная жизнь и издержки по делу чуть было не поглотили всего имения его. Женитьба спасла его вовремя. Он женился в Петербурге на прекрасной девушке, Надежде Ивановне Д-ной, и небольшое приданое ее помогло ему вывернуться из беды. А главное, жена его была женщина весьма умная и не без характера: она скоро дала понять своему мужу, что незачем да и не по средствам жить им в Петербурге, — и вот переехали они на житье в деревню.

Я забыл сказать, что у деда моего было имение незна-

чительное, всего каких-нибудь душ полтораста или около двухсот, раскиданных в разных местах. Была еще у него большая земля в Саратовской губернии, жалованная его предкам царями, но он продал ее, всю без остатка, как было сказано в акте, за двести рублей и полагал, что весьма выгодно сбыл с рук имение, не приносившее никакого дохода. Он поселился в своем старом, родовом сельце Малееве. Сельцо Малеево расположено невдалеке от великолепного села Драчева, в версте от Оки, по берегу маленькой речки, на которой построена дедом моим мельница. С правой стороны селения тянутся обширною равниною богатые луга, замыкающиеся вдали темной полосою дремучего бора; с другой стороны видны полосы обработанных полей, составляющих лучшую часть земли всего уезда. В иных местах возвышаются небольшие холмы с хорошо выстроенными деревнями, с живописно раскиданными зелеными рощами. Когда едешь из Драчева большою столбовой дорогою, изрытою весенними разливами Оки, виды, представляющиеся отовсюду, превосходны, полны тихой, идиллической прелести: большая река течет извилисто в песчаных, обрывистых берегах, кое-где покрытых густыми рощами; с высоты открывается разом и отчетливо девять окрестных селений, в том числе имение моего деда. Оно виднеется над широким пространством лугов, как зеленый островок, все затопленное развесистыми ивами и другими деревьями крестьянских садиков, сквозь которые весело прорезываются чистые, трехоконные домики, все крытые тесом; а по обеим сторонам от него рельефно выдаются белые каменные церкви сел Мохова и Лимавы. Задушевно и горячо люблю я эту сторонку и как подъезжаю к ней, чуть лишь завижу зеленый островок, всегда чувствую, что охватывает меня доброе, тихое, немножко грустное настроение.

В этом-то краю поселился мой дед с своею молодой, прекрасною женой. Казалось, это была благоразумная мера в его положении, но вышло не совсем так. Дед мой переехал на житье в деревню вовсе не с целью хозяйничать. Не таков был его характер, чтоб он мог весь предаться занятиям земледельческим, требующим терпеливого внимания, отчасти мелочно хлопотливым, отчасти скучным и весьма нередко у нас, даже в настоящее время, неблагодарным. Его воспитание, прежняя жизнь и привычки, а в особенности примеры окольных помещиков, нисколько не содействовали развитию в нем способности хозяйничать.

Самая жена его не могла в этом случае иметь на него влияния быстрого и прочного; может быть, впоследствии она полегоньку и преобразовала бы его, но на первых порах это было трудно. Я упомянул о примерах окольных помещиков. Эти, немногочисленные впрочем, помещики были почти все без изъятия гуляки и уж никак не люди, с толком занимавшиеся чем-нибудь дельным. Время было тогда такое, что между жившими в имениях помещиками, даже владевшими порядочным состоянием, вовсе не было людей образованных. В том крае большая часть имений была на оброке: притом близость Москвы и Рязани увлекала постоянно тамошних дворян в жизнь городскую, жизнь ничтожную, пустую и развратную, в которой безобразно смешивались невежественные, жестокие, грубые пороки древней Руси с полуутонченным развратом поверхностной образованности.

Вот как проводил жизнь дед мой: завел он большие стаи собак, борзых и гончих, большую часть мужчин нестройной деревни[5] нарядил в охотничьи костюмы и с увлечением пустился травить волков, лисиц и бедных зайцев. Конечно, не весь год можно было заниматься этим делом, зато у него были другие, подобные же занятия. В соседстве с ним жило несколько помещиков, таких же собачников, как и он, которые в пору, непригодную для охотничьих разъездов, частенько собирались к нему покозырять. Кроме того, раза два-три в год дед мой отправлялся с женою в губернский город к семейным праздникам тамошнего вице-губернатора[6] Петра Захарьевича Колымагина, который был очень дружен с ним. Петр Захарьевич уважал деда моего. Вообще в тогдашнем провинциальном обществе дед мой пользовался заметным значением. Не то чтоб он был богат, знатен или силен по связям своим; нет — состояние он имел, как уже выше сказано, незначительное, роду он был старинного дворянского, но не знатного, важных связей никогда не имел да и не хлопотал об них; несмотря на все это, повторяю, он пользовался всегда некоторым значением, и этим был обязан своему характеру.

Характер его был недюжинный. Он обладал прекрасными, даже высокими свойствами, такою добротою, что даже довольно многочисленные враги его признавали ее. Люди, нуждавшиеся в его помощи, никогда не встречали отказа. Иногда доброта эта походила на безрассудство, так что Надежда Ивановна, сама очень добрая женщина, должна была

подчас бороться с его влечением оказывать помощь всякому просящему. Дом его был наполнен странниками, бедными дворянами, дворянками и всякими приживальцами, кроме шутов, которых, вопреки тогдашним обычаям, он терпеть не мог. Главною чертою его характера была правдивость в действиях и словах да верность в дружбе, доходившая до самоотвержения; снискать же его дружбу было нелегко, хотя и легко было сойтись с ним за охотой, за игрой, за какою-нибудь пирушкой. Вообще он отличался необыкновенной терпимостью, пускал к себе в дом без разбору всех своих соседей,— а между ними немного было людей, выкупавших нравственными качествами полный недостаток образования, но он никому не оказывал пренебрежения. Со всем этим он был величаво смел и пылок; когда же страсть увлекала его к чему-нибудь, то не было препятствия, которое могло бы остановить его на полдороге.

Итак, дед мой, живя в своем имении, вовсе не хозяйничал. Кроме тех причин, на которые я указал выше, причин, зависевших от его характера и положения в тогдашнем обществе, была еще одна: страстно любимая им жена не давала ему долгое время детей, и он говаривал: «Не для кого беречь мне свое добро».

По соседству с дедом жили два человека, имевшие сильное влияние на его судьбу: один, Сергей Андреевич Берсенев, потомок знаменитого боярского роду, «захудевшего» со времен великого князя Василия Ивановича[7]; другой, князь Александр Александрович Любецкий.

Первый, живший от деда моего верстах в пятнадцати, был ему искренним другом, несмотря на то что характеры их во многом были различны. Сергей Андреевич, как и он, добрый, благородный человек, отличался игривым, насмешливым умом, тогда как в характере моего деда веселости было очень мало. Всегда почти неразлучные, вместе они охотились, пировали, вели жизнь свободную и разгульную, с той только разницей, что Берсенев хоть и имел уже за сорок лет, отдавался удовольствиям со всем увлечением молодости,— в деде же моем, моложе его годами десятью, и посреди разгула было что-то задумчивое.

Другой сосед деда, князь Любецкий, старый холостяк, живший от него верстах в двух, в селе Лимаве, был человек совсем иного разбору. Он имел девятнадцать тысяч душ крепостных крестьян и бригадирский чин[8], что в тогдашнее время придавало ему в том краю огромный вес. Зачем с

такими средствами жил он в деревне? Про это никому не было известно, но в деревне вел он жизнь роскошную, окруженный толпою бедных дворян, терпеливо и подобострастно сносивших за его хлеб-соль все причуды его надменного, властолюбивого, до бешенства вспыльчивого характера. Впрочем, сколько ни старались угождать ему люди, они немного тем выигрывали в его глазах. Как часто, бывало, пересолит в подлой лести своей какой-нибудь приживалец — и князь быстро, как коршун, налетит на него, смутит его наглою, злобно-насмешливою речью, осмеет, разобидит словами, мало того, прикажет еще своим холопам сделать какую-нибудь мерзость над несчастным приживальцем: потравить его, будто невзначай, собаками, напустить ночью на него медведя и тому подобное. Правда, что все это происходило не в самом доме князя, он не любил кутить, не любил чересчур шумных забав, в доме у него все было чинно и важно; все проделки с бедными, попавшими под княжескую опалу приживальцами, делались в одном из многочисленных грязных флигельков, где ночевывали они, или в каком-нибудь темном месте обширного парка. Парк этот составился из вековых громадных сосен и дубов бора, который, по народному преданию, вырос на крови татарской. Князь даже редко глядел на эти проделки; для его ленивого сплина довольно было убеждения, что приказание в точности исполнено. Несмотря на дурное обращение князя со своими приживальцами, которые видали от него и благостыню-то немногую, они, как ночные бабочки вокруг огня, так и толпились во дворе его, всячески подличая перед ним и всегда готовые по его приказанию чуть не в огонь и в воду. Таково было тогдашнее время. Бедным «малодушным» дворянам, жившим по соседству с такими сильными людьми, как князь Любецкий, нельзя было не поддаваться их власти. Хотя все в этих отношениях было пропитано духом рабства, лести и подлости, однако был в них и залог некоторого покровительства, некоторой двусмысленной безопасности против других владельцев, менее сильных, но все-таки опасных при неизбежном соседском столкновении с ними. По понятиям того времени, для бедняков такая роль не казалась нисколько предосудительною; хотя кто и «шляхетского» (как говорили тогда) был происхождения, однако все охотно, даже с радостью унижались перед патронами.

Дед мой и Сергей Андреевич Берсенев были тоже знакомы с князем Любецким; им нельзя было бы отделаться от этого знакомства, потому что в продолжение известного времени князь состоял уездным предводителем дворянства. Званием этим он как-то особенно гордился: никогда, бывало, при удобном случае не преминет выставить напоказ всем и каждому, что он, князь Любецкий, магнат, бригадир и вельможа и по роду, и по связям, и по богатству, взял на себя трудное звание уездного предводителя дворянства «собственно ради пользы общественной». Зато он и распоряжался деспотически в своем уезде. Уездные чиновники и дворяне (кроме деда моего и Берсенева) считали себя постоянно какими-то подчиненными князя, как бы вассалами его. Он вмешивался не только в дела, производившиеся в присутственных местах, но и во все то, что случалось в домашнем быту дворян; голос его почти всегда решал эти дела окончательно и безапелляционно. Такою ролью главного, *верховного* распорядителя в уезде князь, без сомнения, был обязан отчасти званию предводителя дворянства. Звание это, тогда недавно созданное и введенное в общественную жизнь, не совсем еще привилось к ней и было слишком неопределенно в своих границах, в своих отношениях к другим властям и местным учреждениям. Понятно, что такой человек, как князь Любецкий, облекшись в это новое и неопределенное звание, опираясь притом на свое имя, род, чин, богатство и на связи с тогдашним московским генерал-губернатором, графом О., постарался придать себе сколь возможно более значения. Впрочем, князь Любецкий ко всем помещикам своего уезда, не принимавшим на себя роль приживальцев, был большею частью вежлив и вообще довольно хорош. Он говаривал обыкновенно, что обязан, по званию своему, быть как можно вежливее с дворянами, избравшими его своим предводителем и «главою», и подавать им пример в жизни общественной. Во всяком случае, по тогдашнему времени он был человек образованный, по крайней мере, с внешней стороны; несколько поездок в молодости за границу, пребывание, хоть и недолгое, при дворе Екатерины, смягчили его обращение с людьми, не подходившими прямо под его влияние,— смягчили до того, что, будь дворяне его уезда посамостоятельнее, отношения к ним князя, несмотря на его природный характер, были бы не слишком тяжелы.

Дед мой и Берсенев далеко не были с князем Любецким

в таких отношениях, в каких были с ним все остальные помещики одинакового с ними состояния и положения. Оба они так умели поставить себя в глазах князя, что ему ни в каком случае не приходилось своевольничать с ними, а им терять когда-либо собственное достоинство. Как именно успели они в этом, не дошло до меня, но факт был положительный и тем более достоверный, что он повлек за собою много бедствий для деда.

Князь Любецкий заметно тяготился некоторым принуждением, которое невольно вкралось в обращение его с дедом и Берсеневым, но тем не менее поддерживал с обоими знакомство приязненное. Никогда не позволял он себе с ними ни одной из тех ядовито-насмешливых выходок, к которым влекла его не столько собственная неукротимость, сколько рабская угодливость и возмутительная терпеливость окружавших его клиентов. С дедом моим он в особенности был очень хорош; несмотря на свою надменность, он нередко посещал его дом, всегда был внимателен к жене его, старался делать ей маленькие угождения, почти ежедневно присылал узнавать о ее здоровье и весьма часто из прекрасных оранжерей своих отправлял к ней цветы и фрукты.

Итак, князь Любецкий и дед мой жили добрыми соседями. Однажды случилась между ними незначительная размолвка; она не повела за собою никаких особенных неприятностей, даже не прервала между соседями обычных отношений, но, кажется, именно с этой эпохи началась тайная вражда князя к деду. Сама по себе размолвка эта была так ничтожна, что про нее можно было бы и не упоминать здесь; но повод к ней, в котором есть характеристические черты тогдашнего времени, побуждает меня рассказать с некоторою подробностью все происшествие.

То было время замечательное. Только что уняли тогда яростные волны страшного пугачевского мятежа[9], но под улегшеюся поверхностью еще тлел огонь и кое-где прорывался порою. Во время весенних разливов рек на прибрежные селения нападали разбойничьи шайки, состоявшие нередко из пятидесяти и даже из ста человек. Часто шайки эти, которые свободно разъезжали по большим рекам в косных лодках[10], осмеливались пробираться в глубь страны, верст на десять и на пятнадцать от берега. Тогда в злополучных селениях, подвергавшихся разбойничьему посещению, редко избы крестьянские оставались целы; разграбив село, напившись допьяна и уходя к своим лодкам, разбой-

ники обыкновенно зажигали деревни с обоих концов. Помещикам и управляющим при наездах разбойничьих приходилось очень плохо: удалая шайка, нисколько их не жалеючи, мучила, пытала, терзала несчастных, вынуждая признания о скрытом имуществе, а иногда из единой только потехи. Случалось нередко, что злодеи-гости насмерть сжигали своих хозяев на малом огне. Конечно, такие проделки не проходили даром, начальство принимало строгие, по большей части действительные меры; но спокойствие и безопасность не скоро восстановились в нашем крае.

В то время, которое я описываю, по нескольким уездам губернии Московской и Рязанской знаменит был своими отважными, дерзкими до безумия разбойническими подвигами беглый крестьянин села Ловцова по прозванию Веревкин. Шайка его была не очень велика, всего человек пятнадцать; зато эта немногочисленность вознаграждалась дикою, стремительною отвагою тех, которые принадлежали к отчаянной шайке, в особенности самого Веревкина; случалось, что он один выходил на разбой. В тех краях, где он разбойничал, и теперь еще живут в памяти народной рассказы о его проделках. Говорят, что ему не раз приводилось быть окружену со всех сторон солдатами и понятыми, что однажды даже и совсем попался он в руки поимщиков,— только всегда, бывало, ловко вывертывался из беды, «глаза отводил» и пропадал на месте, словно сквозь землю проваливался.

Про эти поимки вот еще что рассказывают: на Веревкина часто выходили облавой; для этого обыкновенно собирали из всех сел по Оке очень много народу, иногда человек тысячи по две. Вот и окружат, бывало, понятые лес или часть леса, в которой предполагалось на ту пору местопребывания разбойника — но никто из чиновных людей никогда не сопровождал понятых; обыкновенно бедняки эти пускались в лес на поимку, а чиновный люд оставался в каком-нибудь ближнем селении; впрочем, для содействия поимщикам и для направления их поисков командировались сотские, десятские и даже человека два-три инвалидных солдат[11]. Разбредутся поимщики кучками по всему лесу, прошатаются в нем с раннего утра до глубокой ночи (и такие прогулки продолжались иногда по нескольку дней сряду) и воротятся голодные, усталые, измученные. Узнав о безуспешности поисков, чиновники страшно разгневаются на сотских и десятских, угостят их вдоволь добрыми тумаками, а подчас и горячими розгами, да и разъедутся по домам; в свое время

разразятся над ними самими за ту же безуспешность строжайшие выговоры высших начальников, а разбойник все погуливает на свободе... На одной из таких облав был странный случай, объяснимый только паническим страхом безоружных понятых, пущенных с одними кулаками на поимку отчаянного разбойника в те самые места, которые были преисполнены славою его молодецких подвигов. Побродив довольно по лесу, этак уже к вечеру, понятые собрались все в большую кучу и расположились на полянке потолковать о том о сем; вдруг из чащи леса выходит Веревкин, вооруженный кистенем и с парой пистолетов за поясом, но один-одинехонек, да как гаркнет зычным голосом: «Шапки долой, ребята!» — одним махом шапки слетели с голов. Тогда Веревкин вошел в самый круг понятых и, заметив между ними новые лица молодых парней, высланных в облаву заместо отцов, начал их расспрашивать, что, дескать, отцы-то ваши делают. Наговорившись с ними вдоволь, вздумал он спросить понятых: «А что, ребята, чай, помучились порядком, искавши меня?» — «Как же, батюшка,— отвечали они,— и то помучились. Вот вчерась и нонече бродили-бродили по лесу! А вышли-то ни свет ни заря, да и не евши весь день пробыли».— «А почто так?» — спросил опять разбойник. «Да не посмели без приказу сотского хлебушка с собой взять».— «Ах он, мироед этакой! — сказал Веревкин.— Да вот я разочтуся с ним... Розог ребята... давай-ка сюда сотского!..» И высек Веревкин бедного сотского не на живот, а на смерть.

Кто знает, по какой именно причине не отправлялись чиновники лично для поимок Веревкина? Задабривал ли он их наперед деньгами, или, что вернее мне кажется, боялись они его пуще огня, хорошо знавши безумную отвагу всей его шайки. Главный притон Веревкина был в глубине Рязанского уезда, в крае, называемом Мещерою, среди густых лесов, разросшихся на низменной, болотистой местности. Со вскрытием рек и до конца мая он разгуливал большею частью по Оке, около Коломны и богатых сел, расположенных по берегу. В это время ему случалось соединяться с другими шайками и предводительствовать над ними; тогда он становился дерзок и опасен до крайности. Против него высылались даже небольшие отряды солдат, но как-то всегда вовремя успевал он избегнуть погони и расставленных ему сетей. Восемь лет гулял он таким образом по белу свету, но наконец романическая прихоть погубила его: он

влюбился в жену к-ого помещика Беркутова, увез ее и был пойман оскорбленным мужем.

С этим-то разбойником столкнула судьба и моего деда. Ему вздумалось во что бы то ни стало поймать удальца. Вот случай, подавший повод деду моему принять на себя трудное дело изловления Веревкина.

Верстах в двенадцати от сельца Малеева, на самом берегу Оки, жил помещик Омшаров, считавшийся с дедом моим в каком-то родстве. Это был человек довольно богатый, разжившийся, как ходили толки в народе, по особенному случаю. В молодости своей, когда он служил еще в драгунах, довелось ему сопровождать в Сибирь партию разбойников, пойманных на Волге. Во время пути вздумал он покровительствовать одному из колодников, а тот, под пьяную руку, разболтал ему, где находится часть награбленных сокровищ. Само собою разумеется, что Омшаров воспользовался ими. Вероятно, вследствие этой причины (другой же нельзя предполагать) он несколько раз подвергался пожарам: гумно, деревня, леса его частенько поджигались. Но раз, во время половодья, сделано было более серьезное покушение на собственность и даже на жизнь Омшарова. В самое Фомино воскресенье[12], вечером, когда дворовые люди пошли в застольную[13] ужинать, а в господском доме осталось только при семействе Омшарова несколько старух да подрядчик-плотник, драчевский крестьянин Федор Иванов,— целая шайка разбойников нагрянула в гости к Омшарову. К счастью, все окна в нижнем этаже каменного дома были заперты изнутри железными ставнями, заведенными помещиком издавна и, как видно, недаром. Да к счастью тоже, перед самым этим нашествием напала на подрядчика Федора сильная оторопь: он и пошел запереть дубовые, обитые железными полосами двери в сенях. Только что вложил он вторую запорку, как вдруг услыхал стук в двери.

— Кто там? — спросил Федор.

— Отпирай! — раздался чей-то повелительный, громовой голос.— Отпирай!.. с указом от государыни!..

И вслед за этим Федор Иванов услышал на дворе движение большой толпы.

— Ступай в кухню,— отвечал он,— там люди ужинают. Пришли кого-нибудь оттуда доложить барину... А так не пущу... кто вас знает...

Раздались страшные ругательства и крики. Федор Иванов опрометью побежал к Омшарову.

— Арсений Иванович! — закричал он. — Разбойники пожаловали! Что делать!.. Пропали мы!..

Но Омшаров был человек с твердым характером; он нисколько не потерял головы. Схватив саблю и два пистолета, вооружив тоже Федора каким-то старым бердышом[14] и ружьем, он кинулся в верхний этаж и вовремя попал туда. В двух местах были приставлены лестницы к окнам. Скоро в окне, около которого расположился Омшаров, показался человек в треугольной офицерской шляпе с перевязью через плечо. Одним ударом огромной руки, на которой надета была перчатка с раструбами, он вышиб одиночную раму и хотел было прыгнуть в комнату, но Омшаров так сильно хватил саблею по этой руке, что она отделилась в комнату, а человек полетел наземь. Вслед за этим Федор Иванов выстрелил в толпу разбойников, и выстрел его был удачен: один из толпы повалился мертв на траву. На селе ударили в набат. Тогда раздался общий крик разбойников: «Вода! вода!»* — и все они стремительно бросились назад. На другой день на берегу Оки нашли след большой косной лодки и офицерскую треугольную шляпу.

Вот за это-то покушение на родных своих дед мой и вздумал изловить Веревкина, которому приписывались тогда все разбойничьи подвиги. Николай Михайлович объявил о своем намерении князю Любецкому, как предводителю дворянства; а ему поручено было тогда от генерал-губернатора[15] предложить дворянам принять особенные меры к ограждению поместий своих от нашествий разбойнических, держать дневные и ночные караулы по селениям, располагать на известных расстояниях пикеты. Услышав о намерении своего соседа, князь пришел в восторг. Зная его предприимчивость и решимость, князь наперед был уверен в успехе.

Не имею сведений, как именно принялся дед мой за свое предприятие, но знаю только, что оно не удалось ему. Разбойник решительно ускользнул от всех его поисков и, мало того, к крайней досаде деда, прислал ему записку, в которой объявлял насмешливо, что напрасно хлопочет Николай Михайлович, барин добрый и хороший, изловить его, Ваську

---

* Крик, означавший у разбойников, что предприятие не удалось и надо бежать. *(Примеч. автора.)*

Веревкина, который ему никакого худа не сделал, что Николай Михайлович век будет искать его, да не найдет, а он, Веревкин, если б захотел только, так не однажды мог бы убить его во время поисков и что, впрочем, он пощадил Николая Михайловича, жалеючи больше его барыню Надежду Ивановну, прекрасную собою и добрую к своим людям. Записку эту доставил деду старик Моксич, сидевший в драчевском бору на его пчельнике, к Моксичу же принес ее сам Веревкин. Дед, прочтя оригинальное послание, страшно разгневался, еще раз пустился искать Веревкина, но Веревкина и след простыл. Он перебрался в свой главный притон, в Рязанский уезд, и только через несколько месяцев был пойман помещиком Беркутовым.

Эта неудача в предприятии, сделавшаяся весьма гласною, много бесила деда, тем более что князь Любецкий вскоре после того в присутствии дворян, собравшихся в его доме, стал упрекать деда моего, говоря, что, рассчитывая на полный успех мер, принятых Николаем Михайловичем Турениным, он писал об этом к генерал-губернатору, но теперь, к крайнему прискорбию своему, видит надежды свои несбывшимися. Дед вспыхнул и довольно запальчиво отвечал, что он ловил разбойника по собственной воле, а не по препоручению начальства и по делу этому ни перед кем не считает себя в ответе.

Князь тотчас постарался замять разговор и успокоить деда. Но с этих пор некоторая холодность вкралась в их отношения: князю неприятно было выслушать дерзкий ответ своего соседа при многих свидетелях. Но года с полтора после этого происшествия все еще обстояло благополучно.

Незадолго до случая, имевшего столь пагубное влияние на бедного моего деда, раз, перед самым обедом — это было на первый Спас, то есть 1-го августа 178* года, — шибко вбежал в комнату деда юродивый Вася, крестьянин из села Драчева, и, подбежав к хозяину, который только что хотел садиться за стол, обнял его, прильнул к плечу его своею всклокоченною головою и горько заплакал. С трудом отделался дед от объятий юродивого, насилу унял этот горький, ребяческий плач и наконец из отрывочных диких речей Васи, беспрестанно прерываемых слезами и молитвами, едва мог разобрать зловещее предсказание... Беда грозила Васе и самому Туренину, но в чем должна была заключаться эта беда, нельзя было распознать из несвязных

слов юродивого. Этот случай произвел сильное впечатление на всех, бывших тут, и на деда, нисколько не изъятого от предрассудков народных. Особенно была потрясена этим Надежда Ивановна. К счастью, вечером приехал Сергей Андреевич Берсенев и всегдашнею своею веселостью разогнал хандру, навеянную пророчеством юродивого.

Прошло две недели. Все было тихо и спокойно. Жизнь деда текла по-прежнему. На успеньев день он ездил в село Мохово к заутрени, после которой отправился тотчас домой: священник не хотел служить ранней обедни, а собирался часа через четыре отслужить позднюю. Часу в восьмом утра опрометью прибежали к деду сильно перепуганные дворовые люди: «Батюшка, Николай Михайлыч!.. церковь горит!..» — кричали они. Дед в ту же минуту вскочил на лошадь и со всеми взрослыми людьми своей дворни кинулся в Мохово, которое, я забыл сказать выше, находится в одной только версте от сельца Малеева. Он прискакал туда, когда деревянная церковь еще не вся была объята пламенем, а колокольня стояла совершенно не тронутая огнем. Спасти строение без помощи пожарных инструментов не было никакой возможности: все, случившиеся на пожаре, старались только спасти церковную утварь. Добрый священник, отец Егор, действовал с тем самоотвержением, какое только могло быть внушено глубокою, сильною, горячею верою. Подвергая величайшей опасности жизнь свою, он вынес из алтаря святые дары и несколько местных образов. Другие, в том числе дед мой и юродивый Вася, тоже забыв об угрожавшей опасности, спасли много икон и церковных принадлежностей. Наконец пламень охватил всю церковь, и уже нельзя было не только войти в нее, но даже и стоять к ней близко. А между тем колокольня все еще оставалась цела. Тогда священник вместе с юродивым кинулся отвязывать колокола. Тщетно дед мой хотел остановить отца Егора, — он не стал слушать слов, вырвался из рук его и в каком-то отчаянном самозабвении бросился на явную смерть. Колокольня уже дымилась и чадила, когда они вошли в нее, чтобы спасать колокола. Несчастные успели отвязать только два колокола, как вдруг ветхое здание вспыхнуло, народ застонал от ужаса... Церковь и колокольня разгорались все ярче и ярче и скоро рухнули; страшно обезображенные тела священника и юродивого были вытащены из-под груды пылавших бревен. Юродивый был уже мертв, священник жил еще сутки. Он уже лишил-

ся способности говорить, черты лица его слились в одну безобразную массу, но в последние часы жизни своей бедный старик не забывал своего сана: чуть приподнимая правую руку, он складывал слабо пальцы свои в крестное знамение и беспрестанно благославлял предстоявших.

Потрясенный случившимся, подавленный смутным, мрачным предчувствием, дед мой к обеду воротился домой.

— Вот, Надя,— сказал он жене своей,— половина предсказаний Васи сбылась. Что-то теперь мне посылает господь!..

Надежда Ивановна заплакала.

— Не плачь! — продолжал он,— воли божией не минуешь... А быть беде...

В это время в доме у него было несколько соседей, и в том числе Сергей Андреевич Берсенев. За обедом дед ничего не ел и не пил. Он молчал, погруженный в печальное раздумье; никакие усилия Надежды Ивановны и Николая Андреевича не могли рассеять этой мрачной думы. Вечером соседи уселись играть в квинтич, любимую игру того времени. Дед не стал играть и ходил по комнатам, все о чем-то думая.

Часу в десятом ночи любимый слуга деда Николай Гуреев вбежал в комнату в страшных попыхах и рассказал, что цыгане табора, который за несколько времени перед тем расположился на землях князя Любецкого, любившего тешиться их песнями и плясками, явились на луга малеевские, навивают на воза сено, принадлежащее деду, и, конечно, пользуясь темнотою ночи, свезут воровски свою добычу. Такие проделки и не со стороны даже цыган были в то время нисколько не редкостью. Не редкостью также были и распоряжения, сделанные дедом тотчас же по выслушании рассказа о дерзком покушении на его собственность.

Как я уже сказал, дед мой имел характер весьма пылкий, предприимчивый, готовый на мгновенные решения. Было не в его духе воздержаться от наказания похитителей на том основании, что эти цыгане, нахлынувшие на луга его с воровскими намерениями, сидели некоторое время на землях князя, что князь любил их и жаловал гораздо больше, чем многих из дворян-приживальцев, что эти цыгане, конечно, не пустились бы на такое дерзкое предприятие, если бы не подметили неудовольствия князя на Туренина... Словом, дед решился, но нет, это выражение не годится тут, ибо можно подумать, что решению предшествовало рас-

суждение,— просто вздумал мгновенно распорядиться самосудом, отомстить безотлагательно за наглый набег.

Проворно собрал он своих дворовых, человек двадцать молодцов, велел всем им садиться на лошадей и вооружиться арапниками, а некоторым взять и охотничьи ружья, заряженные бекасинником[16]. Предводительствуя снаряженною таким образом партией, вместе с Сергеем Андреичем Берсеневым, который во что бы то ни стало хотел разделить с приятелем своим опасности похода и предстоявшие лавры победы, дед стремительно пустился на луга свои.

Ночь была безлунная и беззвездная. Туман, поднимавшийся от Оки и драчевских болот, затоплял густою, волнистою мглою луговую равнину, где происходило цыганское воровство. Моросил мелкий, но частый дождик. Словом, то была ночь, вполне пригодная для приключений. В такую пору, казалось бы, нетрудно было подобраться близехонько к похитителям и врасплох напасть на них, но топот с лишком двадцати лошадей вовремя долетел до чуткого цыганского слуха, и, бросив свою добычу, цыгане стремглав кинулись наутек. Они скакали врассыпную. Дед мой, может быть, удовольствовался бы столь дешево доставшейся победой, но вдруг, когда, наскучив преследованием, он начинал уже отставать, раздался выстрел из толпы бежавших, выстрел, вероятно, холостой, но все же явно направленный в противников. Это была искра, брошенная в порох. Опрометью кинулся опять дед со своим маленьким отрядом догонять дерзких цыган, но они видимо достигали уже места, где могли укрыться под надежную защиту: в каких-нибудь двухстах саженях виднелся освещенный дом князя Любецкого. Нельзя было перехватить цыган, и Николай Михайлович воинственно скомандовал своему отряду пустить несколько зарядов в догонку скакавшим без памяти грабителям. Расстояние между партиями оставалось уже невелико, и некоторые выстрелы, видно, были довольно удачны, потому что вслед за ними раздалось из толпы преследуемых несколько болезненных стонов.

Довольный вообще исходом дела, Туренин воротился домой в весьма хорошем расположении духа.

На другой день и в один почти час князь Любецкий и дед разменялись письмами по поводу вчерашнего происшествия. Дед горячо высказывал князю свое негодование на воров-цыган, настоятельно просил или, лучше сказать, требовал, чтоб он унял их. Сверх того, довольно

резко упрекнул он князя в том, что тот своими поблажками цыганам был сам некоторым образом причиною их дерзости. С своей стороны князь писал, что постичь не может, по какому случаю вчера ночью вблизи самого его дома раздавались выстрелы; что он, к крайнему удивлению своему, узнал от людей, будто бы это добрый сосед его, Николай Михайлович, с толпою вооруженной дворни, был на его землях и нарушил этими выстрелами спокойствие его владений. «Выстрелы эти не пропали даром,— прибавлял он в письме,— от них пострадали двое из цыган, живущих на моих землях и известных мне за людей чрезвычайно смирных и безответных. Я прошу Николая Михайловича объяснить мне всю эту историю как следует; я сам покуда никак не верю рассказам о том, что такой наезд на мои владения произведен добрым соседом. Но как бы там ни было, всякий может быть уверен, что я умею защищать находящихся под моим покровительством людей от своеволия тех безрассудных, которые действуют иной раз под влиянием винных паров, явного сумасшествия, а может быть и дурного общества». Письмо это, как видите, ни в чем не походило на письмо деда, где просто, без обиняков и полутемных намеков, высказывалось негодование на покушение воров-цыган, где откровенно был высказан общий взгляд деда на всю эту историю и где так же откровенно, хотя и немного грубо, требовалось прекращения дерзких поступков любимцев князя.

Легко можно было представить себе, каков был гнев Туренина при чтении письма князя Любецкого, и он тотчас же отвечал на это заносчивое послание с своею обычною прямотой: он начал с того, что на землях князя вчера ночью был никто иной, как он сам, Туренин, и по его-то именно приказанию пущено было вдогонку воров-цыган несколько ружейных выстрелов; потом изъявлял сожаление, что пострадало только двое негодяев; далее говорил, что на все клеветы князя глядит с презрением, и в заключение напрямик объявил, что не боится никаких угроз и, в случае нужды, уймет буянов, а если понадобится, так и самого князя.

Надежда Ивановна, все соседи и даже Сергей Андреевич Берсенев были вполне уверены, что дед теперь — пропащий человек. Князь, думали они, представит генерал-гу-

бернатору письмо его, в котором так откровенно, так рыцарски сознался Туренин в своем наезде с вооруженными людьми на княжеские земли. Дед и сам тревожно ожидал последствий. Но странная вещь! Князь никому не пожаловался, оставил второе его послание без ответа, и дело, грозившее сделаться весьма важным, окончилось ничем. Мало этого: казалось, оно принесло некоторую пользу обиженному, потому что с того времени крестьяне его стали жить гораздо спокойнее, избавясь от воровства *княжеских цыган*, которые нередко, бывало, похищали у них кур, уток, белье и прочее. Кроме того, поля и луга его уже не вытаптывались охотничьими наездами князя, которых в прежнее время нельзя было не терпеть. Итак, все шло благополучно, даже лучше, чем прежде, и только одно обстоятельство указывало на перемену отношений между соседями: они перестали видеться. С этих пор в доме князя никогда не упоминалось имени Туренина, между тем как Туренин с своим закадычным другом Берсеневым далеко не были так скромны: они везде порядком честили князя.

Прошел месяц; все было по-старому, как вдруг Надежда Ивановна опасно занемогла. На беду, лекарь попался плохой: не раз в день прилетал он на тройке деда из Коломны, лечил, казалось, усердно, а толку было мало. Наконец положение бедной больной стало так дурно, что уже не было почти никакой надежды на ее спасение, сам лекарь не скрывал этого. Дед мой пришел в отчаяние. Грозившая потеря была для него тем ужаснее, что со смертью жены не оставалось у него ни одной привязанности: ни детей, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни даже близких родственников у него не было.

В это-то тяжелое время он внезапно увидел участие с той стороны, откуда никак не мог ожидать его. У Любецкого уже несколько лет жил в имении немец-доктор, весьма искусный. Он явился к больной по поручению князя и привез от него к деду вежливое письмо. В этом письме князь изъявлял сожаление о болезни Надежды Ивановны, присовокупляя, что посылаемый им доктор, по всей вероятности, окажет ей пособие.

Разумеется, доктор князя, имевший вообще хорошую репутацию в околотке, был принят с величайшею радостью и действительно стал спасителем Надежды Ивановны. Он хлопотал около нее без устали, следил неусыпно за всеми явлениями болезни и спас ее. Через неделю после его по-

явления больная вышла из опасности и в непродолжительное время встала с постели. Безмерна была радость мужа ее: он плакал, как ребенок, глядя на выздоравливающую, которая, тихо оживая, расцветала с каждым днем прежнею красотой.

И, конечно, то не пора была для деда помнить какое-либо лихо на князя Любецкого. Напротив, он позабыл не только неприятные впечатления последней ссоры с ним, но даже и все дурные стороны гордого соседа. Теперь он охотно видел в нем человека доброго, который своим участием спас жизнь любимой жены его, спас через это все радости его жизни.

Князь и после этого был деликатен, как человек хорошо воспитанный, да при том он, верно, хотел досыта наиграться в великодушие. Узнав, что Надежда Ивановна совсем встала с постели и может принимать, он первый приехал к Турениным поздравить с счастливым исходом болезни. Нечего много рассказывать о том, как все это было принято Николаем Михайловичем; словом, прежние добрые, соседские отношения до такой степени упрочились, что уже никому не приходила на мысль возможность разрыва.

Через несколько времени после того, как Надежда Ивановна совсем выздоровела, дед мой с восторгом узнал, что месяцев через шесть-семь она будет матерью. Тогда жизнь стала представляться ему полною безграничного счастья. На ту пору и другие обстоятельства сильно его тешили. Урожай в имении был отличный. Он успел тогда же продать очень выгодно лес при к-ском имении и вырученными деньгами не только покрыл самые тяжелые долги, но их достало еще на выгодную покупку небольшой деревушки *Бучнеихи*, при которой было много отличного строевого леса. Впоследствии эта-то деревушка и спасла в самую пору Надежду Ивановну от окончательного разорения.

Услышав о беременности Надежды Ивановны, князь Любецкий сам назвался крестить ребенка. Казалось, судьба так устроила все обстоятельства вокруг моего деда, что его первенец должен был появиться на свет для полного счастия всей семьи.

Этот счастливый ребенок был горемычная мать моя, которая так нерадостно провела всю жизнь свою и так тяжело ее окончила.

II

«Мирный друг — не друг»,— говорит старая правдивая пословица. Скоро неважный случай нарушил навсегда доброе согласие между дедом моим и князем Любецким. Роковая ссора эта навлекла на деда моего много тяжелых, неотразимых бед.

Однажды, в начале сентября, князь пригласил деда и неразлучного с ним Берсенева отправиться в отъезжее поле[17]. Ежегодные осенние выезды князя на охоту всегда были великолепны. С ним выступали в поле огромные стаи отличных борзых и гончих собак, толпы прекрасно одетых псарей и доезжачих[18], множество приживальцев, которым на ту пору выдавались нарядные охотничьи кафтаны, и все вообще соседние дворяне; даже несколько человек старинных его знакомых, большею частью людей очень богатых, с своими охотниками и собаками, приезжали сюда издалека. Князь был страстно предан охоте; собакам его житье было гораздо лучше, чем приживальцам и даже любимым холопам.

И в этот раз он так же пышно, как и всегда, выехал в отъезжее поле. Погода стояла прекрасная; предположено было провесть на охоте дней шесть сряду, обедая, ужиная и ночуя в палатках. Тогдашние русские люди высшего сословия были не неженки: проводить по нескольку дней с раннего утра до темной ночи на коне, гоняться, скакать сломя голову за зайцами, волками и лисицами, ночевать в холодную пору в палатках или под открытым небом,— все это было в то время делом привычным, легким и чрезвычайно приятным.

Ровно шесть дней князь и его гости охотились отлично. Между тем вся обстановка охоты удалась превосходно: обеды и ужины были роскошны, палатки весьма удобны, погода постоянно благоприятна, даже морозов по ночам не было. Вечерами, перед ужином, часа два-три играли в карты; когда же князь принимал участие в игре, она принимала огромные размеры. Нельзя сказать, чтоб он любил это занятие,— вообще он играл редко, почти всегда проигрывал, но оставался невозмутимо хладнокровен при самых значительных проигрышах; тогда даже как-то особенно смягчался его характер, трудно узнать было в нем того человека, который во время охоты не мог сдерживать своего бешеного

пыла и от ничтожнейшей ошибки одного из несчастных псарей безумно предавался гневу.

Кстати будет здесь упомянуть о порывах его злобы. У него каждая вина была виновата, и потому он бесчеловечно и беспощадно терзал провинившихся слуг своих. От неистовых наказаний его не один несчастный сошел в могилу. С дворовыми, с крестьянами своими и вообще даже с простолюдинами, он был жесток по особенному убеждению. Часто говаривал он дворянам своего уезда, что если бы все они держали, подобно ему, крепостных своих в «ежовых рукавицах», разбойничьи шайки не были бы так велики. По его мнению, прощать виновного было бы опасно и несправедливо, ибо строгостью только может держаться порядок. Как предводитель благородного дворянства, он, князь Любецкий, считал себя обязанным внушать дворянам подобные правила для поддержания общественного спокойствия. Вследствие этого убеждения, князь, вообще не отличавшийся храбростью, не боялся быть строгим до жестокости... может быть, отчасти и потому, что вокруг его особы, кроме толпы приживальцев, всегда готовых душу свою положить за него, находилось множество шляхтичей польских, татар, цыган, арапов,— всякой подлой сволочи, безгранично ему преданной. В самом деле, невзирая на бесчеловечное обращение с своими крепостными, у него не было беглых. Давно как-то пробовали было бежать человек шесть из его дворовых, так барин употребил все возможные средства, ничего не щадил, ни хлопот, ни денег (а он вовсе не был расточителен), чтобы только беглых этих залучить опять в свои руки. Случай помог ему. Четверых из этих несчастных поймали вместе с небольшою шайкою воришек, к которой они пристали. Князю Любецкому, магнату-бригадиру и предводителю дворянства, стоило только захотеть, чтоб уездные власти отдали пойманных людей ему на расправу. В продолжение целой недели каждый день терзал он их для примера своей дворне орудиями пытки, бывшими в таком употреблении у наших помещиков во времена еще не очень давние. Истерзанных, еще дышащих бедняков отправили наконец в уездный острог, где они вскоре померли; семейства же их после долгого пребывания в тюрьме были сосланы в Сибирь. После этой страшной кары уже никто не смел бегать от князя Любецкого. Впрочем, надо сказать, что дворовые вообще были довольны своим князем: содержание им давалось отличное, а дела почти никакого,— чего же им больше?

Но возвратимся к охоте, которая на этот раз шла очень удачно. Князь был необыкновенно весел и доволен всеми своими псарями, доезжачими, приживальцами, а особенно собаками, которые, к великому его восхищению, обскакали и посрамили всех собак Туренина, Берсенева и всех прочих дворян, участвовавших в охоте; правда, проиграл он довольно большую сумму денег, но для него это ничего не значило.

Утром, на седьмой день, еще взяли небольшое поле, которое, впрочем, не совсем было удачно, и к обеду отправились уже на отдых в дом Любецкого.

Поезд возвращавшихся охотников был шумен и весел. Псари и доезжачие шагом ехали впереди и распевали песни; за ними тянулись приживальцы; потом важно и величественно ехал князь с своими гостями и товарищами. Дед мой и Берсенев никак не могли отделаться от обеда князя.

Сажень за сто до усадьбы хозяин опередил поезд. Ему хотелось приехать несколькими минутами прежде своих гостей, чтобы принять их. Между тем остальная толпа охотников медленно приближалась к дому.

Въехав на двор, гости были неприятно смущены представившеюся им сценой. У самого крыльца огромного дома князь бешено кричал и грозил. Перед ним стоял на коленях старик-псарь; он дрожал всеми членами; лицо его выражало совершенный ужас. Дело было в том, что любимая собака князя, порученная особенному присмотру старика, околела, может, и от недосмотра, оставив, впрочем, на утешение своего хозяина несколько слепых щенят. Несчастный псарь лепетал какие-то оправдания, которые трудно было разобрать; князь не хотел ничего слушать.

— Плетей! Кошек![19] — кричал он неистово.— Я тебя проучу! В плети его!

Несколько человек бросились опрометью на провинившегося товарища, и через минуту он уже лежал у ног князя, трепетно ожидая казни.

Между тем гости, подъехав к крыльцу, слезали с коней.

— Господа! — сказал им князь.— Прошу вас обождать несколько минут, пока я расправлюсь с этим проклятым...

Вероятно, он не хотел сказать последними словами, что просит гостей своих присутствовать при наказании псаря. Не думается мне, чтоб он желал сделать их невольными свидетелями отвратительной сцены, а, кажется, выразился

так неопределенно потому, что не время ему было приискивать и взвешивать выражения. Как бы то ни было, дед мой вспыхнул при словах князя и сказал громогласно:

— Да чего ж тут ждать? Я не привык и не хочу смотреть, как секут человека... Любоваться, что ль, этим?.. Смотри, кто хочет! Пойдем, Сергей Андреевич!

И они с Берсеневым пошли в дом, за ними и прочие гости, кроме приживальцев.

Князь промолчал, но зато бедного псаря снесли от крыльца на рогожках.

Вошед в дом и поздоровавшись с гостями, князь сказал наконец деду, по-видимому, совершенно спокойным тоном:

— Кстати, любезный сосед! Неужто в самом деле ты подумал, что я хочу угостить вас наказанием мерзавца — холопа? — Потом, не дав времени отвечать, он добавил: — Впрочем, я еще не знал до сих пор, что ты такой сердобольный человек...

— Грешен и я, в чем все грешны,— отвечал дед,— но уж как там ни провинись человек, а мучить я его не стану, да и мерзкой потехи из наказания не сделаю...

Князь опять ничего не возразил на эти слова, но лицо его изменилось, и, закусив губы, он поспешно отошел прочь. Со всеми в тот день он был чрезвычайно приветлив и будто совсем позабыл про размолвку с дедом. Сели за стол: обед шел как следует. Дед мой был, как всегда, беззаботен и добродушен; в памяти его не осталось никакого неприятного впечатления; он сделался даже к концу обеда оживленнее обыкновенного. Но князь с приметным усилием участвовал в общем разговоре. Его густые, седые брови хмурились не раз, и во впалых глазах вспыхивал зловещий огонь; он злобно и украдкою взглядывал на Туренина, который вовсе не замечал этих взглядов. Уже после окончательного разрыва, последовавшего за сценой, которую я описываю, Сергей Андреевич припомнил, что лицо князя во время обеда предвещало ужасную бурю.

Разговор все время шел, разумеется, об охоте. Князь восторженно хвалил свою околевшую собаку. Воспоминания его были истинно трогательны.

— И вот пропала, бедняжка,— говорил он плачевным голосом.— Ох уж этот мерзавец Сенька!.. Ну, да не пройдет еще ему это даром.

Дед опять не утерпел. Увлекаясь своим добродушием,

не размыслив, на беду, что заступничество за Сеньку еще сильнее повредит бедняку этому, он промолвил:

— Эх, князь! ведь уж наказан Сенька; чай, ведь как досталось! ну и довольно!.. С одного вола двух шкур не дерут...

Но видно, уж слишком много накипело злобы на душе князя, да и старая месть еще не умолкла; он не выдержал и, обратившись к деду, закричал страшным голосом:

— Да что ж это, государь мой!.. шутить, что ли, позволяешь ты со мной, или опекун ты мне достался?.. Как ты смеешь осуждать всякое мое действие, мешаться в мои дела, учить меня в моем доме?.. Ты опять забылся!..

— Как забылся? — возразил дед еще довольно хладнокровно.— Я всегда помню. Редко забываю, чего и другие стоят... Да и толковать тут нечего, скажу напрямик: собаки — все-таки псы поганые, и не подобает, грех великий перед богом, мучить людей за какую-нибудь дрянную собачонку.

Князь выслушал до конца этот ответ, но с последним словом он как бешеный вскочил со своего места.

— Ах ты нищий!.. мужик!..— кричал он.— Так-то платишь ты за мое терпение!.. Холопья душа твоя заставляет тебя вступаться за холопов!.. Вот я тебя!..

— Врешь ты!..— отвечал дед.— Душа моя не холопья... Я недаром русский дворянин исконный... Врешь ты, князишка!.. И не таковский я, чтобы терпеть обиды...

Ярость князя уже не знала пределов. Он рванулся было к своему противнику, хотел, казалось, растерзать его. Туренин поднялся с места и стал среди комнаты. Одна рука его сжалась в огромный кулак, другую он положил на свой охотничий большой нож, заткнутый за пояс. Атлетическая фигура деда и грозный вид его возбудили в князе инстинкт самосохранения. Он отскочил и в ту же минуту кинулся в другую комнату, крича как бешеный:

— Эй, люди!.. сюда!.. все ко мне!.. арапников!.. бей его!.. бей в мою голову!..

Между тем не только Берсенев примкнул к деду и обнажил свой охотничий нож, но его окружили и прочие гости, конечно кроме приживальцев, которые жались в уголке ни живы ни мертвы от страха. Вбежали люди князя, но видимо перепуганные, не зная, что делать, они толпились у дверей комнаты, в которой происходила эта сцена. Князь был решительно вне себя от ярости: он рвал на себе волосы,

топал ногами, кричал, как неистовый, и уже невозможно было разобрать, что заключали в себе его крики: брань ли, угрозы ли, или приказания слугам. Сцена видимо грозила быть кровавою. Услышав суматоху и шум в доме, люди деда, Берсенева и других дворян, вооруженные арапниками и охоничьими ножами, сбежались со всех сторон и, толпясь сзади людей князя, сильно напирали на них. Крестьяне и дворовые деда вообще очень любили его за милосердое с ними обращение. Легко можно было предвидеть, что при малейшей угрожающей ему опасности они кинутся очертя голову к нему на выручку. Тогда бог знает, что могло бы произойти.

Появление этого подкрепления и вообще грозные признаки бурной сцены подействовали на князя, и он перестал подстрекать к борьбе людей своих.

— Слушай ты, князь! — вскричал дед мой, покрывая громким голосом весь этот шум.— Ты ведь знаешь меня... знаешь, что не дамся живой никому в руки... На ругательства твои я плюю, да и счеты у нас равные... Но прогони ты сейчас же всю твою челядь, а не то, клянусь богом, расплачусь с тобою так, что будет памятно и другим князькам, тебе подобным!..

Вслед за этим раздались голоса Берсенева и других гостей:

— Полно, князь, полно ради господа!.. Что за грех такой!.. Да не стыдно ли?.. Ты и нас оскорбляешь... Мы не дадим его в обиду... Тут поножовщина выйдет... Да что ж это такое?..

Минуты с две князь простоял молча, потупив глаза в землю. Потом, молча же, махнул он рукой холопам своим. Они вышли вон.

— Господа!..— сказал князь, обращаясь к гостям.— Прошу у вас извинения. Сейчас все это кончится... Господа Туренин и Берсенев!.. Надеюсь, вы теперь оставите меня в покое... Но и вас, как хозяин дома, как христианин, прошу извинить меня... Прощайте! не поминайте лихом на прежнем хлебе-соли... Полагаю, что и вы, как я, считаете оконченным приязненное знакомство между нами...

Проговорив наскоро и глухим голосом эти слова, он вышел проворно из комнаты. Последняя речь его была очень ловка, однако не имела того действия, на какое он, может быть, рассчитывал.

— Старый лукавец!..— молвил дед вслед уходившему

князю.— Ох, как уж разумею я тебя!.. Нет, снявши голову, по волосам не плачут... я ли виноват в том, что здесь случилось? Извиняться вздумал!.. О, старая лиса! Да знакомство твое мне не нужно и дома твоего видеть не хочу... Ох, кабы ты не стар был!..

И, отыскав шапку, он побрел вон из комнаты; за ним пошел и Сергей Андреевич Берсенев; прочие же гости все еще стояли посередине комнаты, поглядывая друг на друга в явной нерешимости: оставаться ли им в доме Любецкого или последовать примеру Туренина и Берсенева.

В дверях комнаты Берсенев остановился.

— Ну что, господа? — сказал он насмешливо, обращаясь к нерешительной толпе дворян.— Разве вам хочется еще отведать хлеба-соли гостеприимного, ласкового сударь-князя Александра Александровича Любецкого?

Они ничего не отвечали на задирательный вопрос и попрежнему молча поглядывали друг на друга. Впрочем, на другой день двое из них ранехонько выбрались из усадьбы князя, приказав его дворецкому поблагодарить хозяина за хлеб-соль и доложить, что им никак нельзя оставаться долее и ждать пробуждения князя.

Так кончилась эта сцена, имевшая столь пагубное влияние на дела деда, на всю остальную жизнь его, и даже, может быть, на самую участь его рода.

Воротившись домой, он хотел было утаить от Надежды Ивановны новую ссору свою с князем; но по лицу мужа своего и людей, сопровождавших его на охоте, она все угадала, и Туренин не мог уже более скрывать от нее истины. Горько плакала она, слушая этот печальный рассказ; страшные предчувствия овладели мгновенно ее душой. После истории с цыганами она тоже опасалась дурных последствий, но далеко не так, как теперь. Напрасно дед и Берсенев уговаривали ее, тщетно повторяли они, что в настоящую минуту решительно бояться нечего, что история с цыганами могла бы кончиться гораздо хуже, если б пришлось разделываться законным порядком. Бедная Надежда Ивановна не слушала их; она каким-то инстинктом любви угадывала все горестные последствия этой новой ссоры.

Недели две спустя явился к деду заседатель нижнего земского суда Урываев и потребовал у него уплаты по предъявленной ко взысканию от князя Любецкого закладной на деревню Туренина Волтуховку, в которой было восемьдесят три души, со всею принадлежащею к ней землею,

лесом и «всякими угодьи». Закладная эта была дана князю покойным Зиновием Турениным.

Любопытна история этого акта.

Зиновий Туренин давным-давно еще, перед отъездом в Сибирь, продал отцу моего деда, а своему родному брату, всю часть имения, доставшуюся ему после отца; но впоследствии он наследовал (вместе с братом же) бывшую во владении родной сестры их Анны и состоявшую в деревне Волтуховке четырнадцатую часть того же имения. Эту часть братья не делили, потому что она была весьма невелика. Таким образом, Зиновий Туренин мог считать себя владельцем в известной части по Волтуховке. В конце своего попечительства над племянником своим он заложил всю вообще Волтуховку, как вполне принадлежащее ему имение, князю Любецкому за девять тысяч рублей и деньгами этими один воспользовался. Вскоре после этого он умер, и дед мой, не отказавшись заблаговременно от наследства, принимал через это на себя обязанность платить все его долги. Между тем он и не подозревал о существовании закладной на Волтуховку. Молодость, беспечность характера и совершенная неопытность в делах не допустили его, тотчас же по выходе из-под опеки, справиться, в каком положении находится его имение. К тому же князь, после совершения закладной, как будто позабыл о ней и ни разу, пока дед жил в Петербурге, не напомнил ему ни о платеже процентов, ни об уплате всей суммы. Конечно, такая забывчивость могла иметь основанием и чистый расчет, ибо заложенное имение было весьма ценно,— не по числу душ, но по строевому, отличному лесу, сбыт которого, по близости Оки, был очень удобен. По возвращении деда из Петербурга в имение князь сказал ему как-то полушутя, полусерьезно, что он имеет от Зиновия Туренина закладную на Волтуховку и что лишь недавно узнал, что Зиновий нисколько не имел права закладывать всего имения[20]. Затем князь добавил, что, конечно, никогда не воспользуется этим актом, хотя ему и прискорбно потерять довольно большую сумму по милости бессовестного обмана со стороны Зиновия Туренина. Дед с обычною своею пылкостью и добродушною правдивостью возразил князю, что и нельзя воспользоваться фальшивым актом, да притом он уверен, что князь, как человек благородный, никогда не позволит себе этого. Объяснившись таким образом, он и не подумал просить князя, чтобы тот, на всякий случай, формально признал

ничтожность фальшивого акта. Он считал все это дело совершенно поконченным.

К несчастью, теперь оказалось, что дело не было покончено. Хотя по самому существу закладной нельзя было иметь опасений касательно исхода тяжбы, тем более что и срок, поставленный законом для представления ко взысканию закладных, уже истек; однако же дед мой, не пренебрегая делом, оставив на этот раз обычную свою беспечность, взглянул на него серьезно. Ему хорошо было известно правосудие в тогдашней России. Он знал также, что если князь Любецкий задумал пустить в ход этот документ как имеющий действительную силу, то уж, конечно, не пожалеет никаких средств для достижения предположенной цели во что бы то ни стало разорить своего врага.

Он решился вести дело сколько возможно осторожнее, но на первых же порах поступил вовсе неосторожно: опять-таки не утерпел, чтобы в данном Урываеву отзыве на исковое прошение не выразиться весьма резко о намерениях князя воспользоваться чужою собственностью на основании незаконного документа.

Затем он тотчас же отправился в уездный город, чтобы переговорить о деле с уездными властями. Судья и капитан-исправник были люди хорошие в частной жизни, правдивые в отправлении обязанностей своих и честные, то есть не бравшие взяток, может быть, впрочем, потому, что оба имели достаточное состояние. По прежним отношениям к ним и вообще по их качествам деду казалось, что он может говорить с ними откровенно. Но оба они приняли его с крайнею принужденностью, выслушали с видимою робостью и унынием, все озираясь по сторонам, как будто у них за спиною стоял сам князь Любецкий, — и ничего положительного не обещали. Только судья, на которого дед особенно надеялся, с соболезнованием покачивая головою, сказал вполголоса, что дело, начатое князем, пожалуй, кончится не в пользу деда и что не лучше ли ему примириться как-нибудь с его сиятельством, испросив у него *прощение*. Дед запальчиво отвечал на последнее предложение и стал было допытываться, в чем состоят опасения судьи, но никакого толка не добился: судья решительно отказался от объяснений, даже заметно тяготился разговором. Туренин вспылил, попрекнул смущенного судью, назвал его законопродавцем и, как исступленный, вышел из комнаты.

Кстати сказать, что все чиновники того уезда, где состо-

ял предводителем князь Любецкий, были в полной у него подчиненности. Не столько его богатство, сколько имя, звание, связи с генерал-губернатором, наконец, характер крайне властолюбивый и настойчивый, приучили этих чиновников беспрекословно повиноваться ему. Еще тогда в России необоримо сильны были предания, предрассудки, произвол, злоупотребления, во всем обходившие закон; еще слаба, даже ничтожна была вера и старших представителей общества в собственное свое достоинство, в призвание человека, в долг честного гражданина... Вот, например, как происходили в К-ском уезде дворянские выборы с тех пор, как князь Любецкий стал предводителем: созовет он, бывало, к себе в дом всех дворян уезда и объявит им, что ему желательно иметь судьею, исправником и прочее вот таких-то и таких-то. Все тут же соглашались с ним (даже Туренин и Берсенев), и дело кончалось без протестаций и противоречий на самых выборах. Этот порядок избраний в К-ском уезде, нарушавший всякую личную свободу, возбуждал в губернском городе удивление в мудрой распорядительности князя Любецкого, который умел устранять все шумные и неприличные столкновения мнений*. Некоторые предводители стали стремиться к введению и в своих уездах такого же порядка, но немногие из них могли этого достигнуть: трудно было совокупить в себе разом, подобно князю Любецкому, столько качеств, внушавших подобострастное уважение в тогдашнем обществе. И вот избранные таким образом чиновники на первых же порах становились в полную зависимость от князя. Как же должны были смотреть эти чиновники на то дело, в котором князь Любецкий являлся истцом? Бедный дед напрасно попрекнул судью, назвав его законопродавцем: судья этот не был нисколько хуже других.

Вечером дед мой позвал к себе на совет знаменитого дельца, секретаря уездного суда, который поздно вечером, крадучись явился к нему на квартиру; но и от него не добился дед никакого толку, несмотря на то что тут же дал ему взятку и сильно подпоил. Секретарь наговорил ему с три короба всякой всячины, помянул многое множество указов, бестолково перебрал тьму статей и узаконений, рассказал несколько юридических фактов, вовсе не подходящих к настоящему делу, и закончил свои разглагольствования неопределительными уверениями, что, дескать, не-

* Повсюду встречающиеся в подобных случаях. *(Примеч. автора.)*

чего особенно бояться этого дела, но что, впрочем, многое будет зависеть и от того, как его поведут да как посудят...

Речи секретаря не могли успокоить деда, напротив, они внушили ему новые и живейшие опасения. Для него было ясно теперь, что князь Любецкий всех предупредил о своем иске, что кругом дела сплетена уже какая-то темная интрига, в которой чуть ли не замешаны все уездные власти, потому что ни один из чиновников не только не обещал взять его сторону, но и не намекнул ему ни на одну меру, за которую следует приняться, чтоб иметь какой-либо успех. Туренин возвратился в Малеево с горьким убеждением, что ему предстоит страшная, безнадежная тяжба.

Через неделю снова явился к деду Урываев и объявил ему, что отзыв его на исковое прошение князя оставлен судом без уважения за допущение укорительных выражений, а ему, Урываеву, поручено истребовать от г. Туренина на удовлетворение князя Любецкого полную сумму, в которой заложена Волтуховка со всеми причитающимися на сумму эту процентами и рекамбией[21], или же немедленно описать заложенное имение. В первую минуту гнева дед хотел было прогнать заседателя, но тот стал жалобно просить его не гневаться, а принять в уважение его несчастное положение и милостиво рассудить, может ли он не исполнить приказаний начальства. Деду нельзя было не согласиться с этим. Оставив мысль об изгнании Урываева с бесчестием, он попытался уговорить его отсрочить по крайней мере исполнение поручения, но бедный заседатель со слезами умолял Николая Михайловича не погубить его, несчастного, и дозволить описать имение, без чего нельзя будет ему и домой воротиться, униженно прибавляя, что его сиятельство князь Александр Александрович со света его сживет. Надежда Ивановна поддержала заседателя: она хорошо понимала, что ему невозможно не исполнить поручения, притом же она опасалась, как бы отсрочка в описи имения не повела еще к обвинению мужа ее в сопротивлении власти. Как ни кипело у деда на сердце, он решился уступить на первый раз своему врагу. Урываев приступил к описи имения, а Туренин тотчас же поскакал в Рязань на совет к Петру Захарьевичу Колымагину.

Колымагин принял горячее участие в положении деда. Он вполне понял все насилие, всю неправоту притязаний князя Любецкого; но вместе с тем видел, что под рукою у него нет никаких средств пособить приятелю, тем более

что и дело его должно было производиться в присутственных местах другой «провинции». Впрочем, он дал ему несколько наставлений, как вести дело: приказал составить для него несколько прошений и докладных записок, которые дед должен был представить разным лицам в Москве; Колымагин посоветовал ему немедленно отправиться туда, снабдив его письмами к своим московским знакомым, которые, по мнению его, могли быть полезны Туренину, и в заключение высказал моему деду, что лучше всего было бы примириться с князем. Дед хорошо знал Колымагина и потому не мог относить этого совета к неблагородным побуждениям, но отвечал на него решительным отказом.

В Москве Туренин хлопотал без устали,— но теперь он имел тяжбу уже не с Зарудиным, а с человеком чрезвычайно сильным; князь Любецкий и в Москве предупредил его. Дед везде был принят холодно: его выслушивали кое-как, не давали никакого совета, не делали никаких указаний, не высказывали своих мнений и выпроваживали его со словами: «А вот посмотрим! Пусть дело пойдет своим порядком, не перескакивайте инстанций, ведь там разберут дело» и тому подобное. Большая часть этих господ были важны, как языческие жрецы и, как они, выражались таинственно. И ни у одного из них не дрогнуло сердце при виде жертвы преследований сильного человека, ни в одном не пробудилось негодование на притеснителя и желание помочь угнетаемому; ни в одном не промелькнула мысль, как пагубно для целого общества такое нарушение права, такое наглое проявление произвола. До того ли им было? Их занимали иные вопросы: временные, жалкие, но близкие к их сердцу, не совсем-то благородные, но им дорогие.

Наученный горьким опытом, дед мой как раз понял речи этих господ и ясно увидел, что ему остается мало надежды на беспристрастие будущих судей своих. Скоро один знакомый Колымагина намекнул ему, каким образом действует здесь против него князь Любецкий: князь успел сильно очернить своего противника, рассказав в преувеличенном, лживом виде образ его жизни и характер, в особенности же его рыцарский наезд и погоню за цыганами. Этот поступок мог так легко представить деда в дурном свете, а вместе с тем выставить князя человеком необыкновенно великодушным. В подкрепление слов своих князь показывал отрывки писем Туренина, по правде сказать, несколько грубоватых и уже чересчур откровенных. Наконец, самый от-

зыв деда на исковое прошение князя мог внушить ложное понятие о характере Туренина.

Итак, бедный Туренин не много успел и в Москве, и он не стал уже дальше искать покровительства. Скрепя сердце и возложив все упование на бога, он стал питать какую-то смутную надежду на правосудие: иной раз ему думалось, что ведь есть же, должны же быть на Руси святой и законы, права оберегающие. В мрачном расположении духа воротился он домой. Новости, какие он узнал там, были свойства вовсе не успокоительного. Волтуховка была описана, оценена и уже назначена в продажу. Уездные власти поторопили делом беспримерно. Мошенник секретарь, с которым советовался дед мой, был главным поверенным князя и услуживал ему донельзя. Надо прибавить, что все чиновники, участвовавшие в этом процессе, остались премного довольны милостями великодушного князя.

Между тем князь Любецкий еще не вполне был доволен исходом дела. Он говорил: «Да если я и отниму у этого проклятого Туренина Волтуховку, так разве это достаточное наказание за все его дерзости? Нет, этого мало!.. Ведь он не один раз оскорблял меня... Я сказал, что он нищий, и докажу, что он нищий! Я доконаю его! Тут надо поступать по русской пословице: «Бей мужика не дубьем, а рублем...» Небось, это будет чувствительно ему, ведь уж дети пошли...»

Стали также поговаривать соседи, что будто при продаже Волтуховки не выручится на торгах вся сумма взыскания и как бы не пришлось тогда Николаю Михайловичу проститься и с Малеевом. Эти господа громко осуждали деда, утверждая, что сам он виноват в своем несчастии, зачем, дескать, осмелился он, ничтожный дворянин, затрогивать такое лицо. Редкий жалел горемычного Туренина, один только Сергей Андреевич горевал вместе с ним... Таким образом общественное мнение было не только на стороне силы, но даже насилия.

В это же самое время еще одно обстоятельство бесило деда. Цыгане князя стали почти каждую ночь производить хищнические набеги на его владения. Проученные им однажды, они делали теперь эти набеги так ловко и осторожно, что не было никакой возможности изловить их на месте преступления.

Скоро Волтуховка была продана. На торгах она, как и ожидали, не покрыла суммы взыскания и окончательно осталась за князем Любецким. Через месяц после этой про-

дажи он подал новое прошение, в котором говорилось, что Туренин с намерением нарушить его интересы продал лес, принадлежащий Волтуховке, и довел имение до малоценности; поэтому князь просил произвести дознание о продаже упомянутого леса, а для полного удовлетворения его претензии подвергнуть описи другое имение Николая, Михайлова сына, Туренина. Это второе дело было еще незаконнее первого, но и оно получило свой ход. Однако князь не спешил им: цель его была, очевидно, достигнута, ему хотелось дотла истощить все средства деда, донять его, сжечь на медленном огне.

И пошло это новое дело тянуться да тянуться. Начались беспрерывные дознания, исследования, доследования, переследования, освидетельствования порубок, выправки, справки, требования объяснений, доказательств, и стало все это свиваться и путаться в нескончаемой массе бумаг. Дед мой должен был беспрестанно кататься то в свой уездный город, то в Москву, то бог знает куда для справок по архивам, для подачи прошений, разных отзывов и докладных записок. Но все это как-то не удавалось ему, то дадут ему справку не полную, то совсем почти не относящуюся к делу. Неудачными оказывались тоже прошения и отзывы, ему возвращали их с надписью то за неправильное написание высочайшего титула, то за необозначение местожительства и имени того, кто сочинял и набело переписывал эти несчастные прошения. Проклятая приказная челядь, писавшая и переписывавшая их, бывало, как назло, оставит да оставит какую-нибудь лазейку для юридической придирки, и вовсе неожиданно окажется какая-нибудь почистка в титуле или неоговоренная поправка в самом тексте прошения. Я забыл сказать, что дело по новым притязаниям князя Любецкого шло вместе с старым процессом о закладной; дед мой ни за что не хотел оставить его, потеря Волтуховки еще более подстрекала его к отыскиванию своего права на нее.

К этим двум делам прибавилось еще несколько других. Сначала пошел в ход иск секретаря уездного суда о причиненном ему оскорблении. Уверенный, что вся приказная путаница происходит от недобросовестности этого секретаря, дед мой не вытерпел: обругал его довольно жестко, погрозился даже обломать всю свою палку о его согнутую спину. Потом началось дело о порубках, производимых малеевскими крестьянами в лесных дачах Волтуховки. Троих из этих крестьян поймали и засадили в острог. Все это

страшно взволновало бедного деда, оттого больше, что он сознавал болезненно свое бессилие отомстить за обиды и защитить людей, ему подвластных, от несправедливого угнетения. Словно зверь в клетке ходил он теперь, весь опутанный юридическими, хитро сплетенными сетями.

Средства Туренина истощались; ему нечем было жить. Заложить имение он не мог: вследствие неполного удовлетворения упомянутого иска наложено было запрещение на все имение Туренина. В это время у несчастного уже было трое детей,— и стал он крепко задумываться. Он видел уже близко беду неминучую. О себе одном он не стал бы тужить —одна голова не бедна,— но страшна казалась ему бедность, потому что от нее страдали еще четыре дорогие ему существа. Кинул совсем он свои прежние забавы: псовую охоту, рыбную ловлю и пчеловодство. Прежде так он любил все это! Он сделался угрюм и молчалив; целые дни ходил по комнате молча, понурив голову. Неохотно говорил он даже с женою своею и Берсеневым.

А время между тем шло, минуло уже три года. Князь Любецкий стал заметно стареть и слабеть, но не слабела ненависть его к соседу. Он распространил это злобное чувство на всех крестьян Волтуховки за их добрую память о прежнем помещике. Раз, заехав в свое завоеванное имение, он приказал созвать мир.

— Ну, братцы! — сказал он крестьянам ласковым голосом.— Вот и я к вам приехал. Рады ли вы иметь меня помещиком?

— Слушаем-ста, батюшка государь, ваше осиятельство,— отвечали все они простодушно.

— Ах вы сиволапые, неучи! — закричал князь.— Я вас спрашиваю: рады ли вы мне?..

— Как же!.. как же, батюшка!.. оченно рады,— отвечали робким голосом передние мужики.

Князь замолк и сел на завалинку избы, принадлежавшей старосте. Подумав несколько минут, он снова спросил их:

— А не имеет ли кто-нибудь из вас жалоб на Николая Туренина, вашего прежнего помещика? Если он кого-нибудь изобидел, скажите мне, я ваш теперь владелец и заступник... И сила у меня есть, все сдеру с него!

— Много были довольны мы прежним-то помещиком, ваше осиятельство! — возразил староста Митрофан.— Отцом родным был завсегда... да сотвори ему господи всякую милость!.. Так, что ли, ребята?

— Так! так! — крикнули крестьяне хором.— Создай ему господи!.. Отца бы с ним не надоть, вот уж барин-то был!..

Князь свирепо взглянул на них, проворно встал с завалинки и уехал домой. Он уже никогда после того не заглядывал в Волтуховку.

Тотчас после этого посещения стали выгонять поголовно на работу в дальнее село старого и малого, мужика и бабу из Волтуховки. При деде они были на оброке, князь оброк усилил, да обложил еще тяжелыми повинностями. А тем крестьянам, которых дед любил или которые его особенно добром помнили, куда как тяжело приходилось! Староста Митрофан был сменен тотчас же после вышеописанного случая; в избу его, где он жил зажиточным крестьянином, был переведен лимавский бобыль; пчельник у прежнего старосты отобрали, сам он был сделан на старости лет пастухом, а дочь его, Аксинья, крестница Надежды Ивановны, отдана была в работу секретарю. Как болело сердце бедного деда, глядя на такую участь волтуховцев! Но не было средств помочь им. Скоро еще случилось в имении князя происшествие, удвоившее страдания этих людей.

Был у деда кучер, уроженец волтуховский, по имени Антон Никитин, малый молодой и, как говорится, разбитной. Любил он дочь старосты Митрофана, Аксинью, да, на беду, не успел жениться на ней, пока Волтуховка принадлежала Туренину. Когда деревня эта перешла к князю, он посадил Антона во двор, обложив его оброком, и не дозволил ему жениться на Аксинье. За явную приверженность его к деду, выражавшуюся и в речах, и в частых отлучках в Малеево, Любецкий возложил на Антона свою княжескую опалу и несколько раз сек его немилосердно. Но это не прошло даром.

Однажды к вечеру — это было в мае 179* года — князь Любецкий вздумал отправиться за десять верст в Г... монастырь на богомолье. Ночью загорелся его огромный дом в Лимаве. Люди, бывшие с ним, увидели далекое, но сильное зарево и догадались, что пожар у них в имении. Узнав об этом, князь поскакал в обратный путь, но уже было поздно, дом догорал, и вся огромная масса строений, составлявших усадьбу, жарко пылала. К большему еще огорчению князя, сгорела и его большая любимая собака, какой-то особенной породы, которая, неизвестно почему, сама бросилась в огонь.

На другой день князь начал домашнее следствие. Ока-

залось, что пожар произошел от явного поджога. Подозрение пало на Антона; его схватили и чего-чего ни делали, чтоб исторгнуть признание: секли кошками по нескольку раз на день, кормили селедкой в жарко натопленной бане, а пить не давали. Сам барин много раз допрашивал его, обязываясь честным словом, что ничего не сделает ему в случае признания.

— Твое, твое это дело! — говорил князь. — Ты поджег дом мой!.. Ну, да бог с тобой... сознайся только. Ведь я знаю, поджег ты меня не по своему разуму, а по научению злодея моего, Николая Туренина. Скажи только всю правду, дам награду тебе.

Но Антон не пожелал его наград, не сознался ни ему, ни чиновникам, приезжавшим в Лимаву для официального исследования; под конец даже вовсе перестал отвечать на вопросы. Затем посадили Антона в острог, попал туда и бедный старик Митрофан.

От этой истории плохо пришлось и малеевским крестьянам. Их затаскали на допросы по подозрению в соучастии с Антоном. На самого деда князь не посмел изъявлять подозрения потому ли, что во время пожара Туренин находился в Москве, или уже побоялся чересчур преследовать свою жертву. Скоро Любецкий выстроил себе новый великолепный дом, а в парке поставил прекрасный памятник своей погибшей собаке, которая, по его уверению, пожертвовала жизнью для спасения своего хозяина.

Соседи деда толковали об этом событии по-своему. Они удивлялись великодушию князя, не изъявившего подозрений на заклятого врага своего. Надо сказать здесь, что все соседи (конечно, кроме Берсенева) уже давно начали удаляться от моего деда. Удивляться ли этому? Он перестал быть их товарищем и не разделял более забав, которым предавались они; разорение слишком заметно отражалось в его домашнем быту и хозяйстве; это был опальный человек, который смело, но безуспешно боролся с гигантом... а сердце человеческое так устроено вообще, что отчего бы ни происходило несчастие человека, оно всегда имеет в себе что-то отталкивающее. Таковы по крайней мере чувства грубой толпы. Но дед еще раз вздумал попробовать счастья. Решился он отправиться в Москву, а там, может быть, и *подалее*, чтобы принести жалобу на князя Любецкого, высказать в этой жалобе все, что на душе его лежало камнем, невыносимо тяжелым.

В Москве тогда было очень весело. Особенно оживляли ее беспутные, дерзкие, почти безумные, но удалые похождения двух лиц. Один был И-в[22], об котором я буду говорить сейчас; другой знаменитый князь З.[23], брат еще более знаменитого человека в конце царствования императрицы Екатерины II. Одна уже игра его производила страшное впечатление: он ставил иногда семпелем[24], на одну карту, по десять тысяч червонцев. Удаль, красота, приветливость и щедрость его привлекали к нему каждого, не исключая и простолюдинов. В свете он имел огромный вес и делал иногда добро. Около него постоянно увивались, изгибаясь, люди различных положений в обществе. Деду посоветовали первоначально обратиться к нему; но он не решался, душа у него не лежала к заискиванию милостей у патронов, которые, по внешним нормам своим, все-таки смахивали на князя Любецкого. Покуда дед раздумывал, идти или не ходить к князю З., случилось происшествие, которое имело окончательное влияние на его раздумье.

В происшествии этом играл главную роль И-в. Это был человек замечательный. Впоследствии когда-нибудь я постараюсь познакомить с ним читателей покороче, а теперь скажу о нем только несколько слов. Ему было тогда с небольшим двадцать лет; он был очень хорош собою, широкоплеч, высок ростом, сложен богатырски; с круглым румяным лицом, с вьющимися русыми волосами, с глазами темно-голубыми и бойкими; этот молодой человек представлял собою вполне русский тип; его родственники возлагали на него большие надежды... И они могли легко сбыться, как сбывались в то время подобные надежды. Состояние он имел огромное, и замечательно то, что, тратя безумно деньги, он все-таки не разорился. Его окружала везде толпа молодых негодяев-паразитов, крупных и мелких. Он был страшно развращен; с самых ранних лет научился презирать человечество и никогда не знал чувство долга. Одно ему нужно было: забавы и потехи; он искал их во всем и повсюду. Самые дерзкие, как и самые обыкновенные, его поступки имели всегда вид какой-то особенной удали; но крупные потехи его редко были безвредного свойства. Бояться ему было нечего: он имел такую родню, которая вытащила бы его со дна морского; притом и дружба его с князем З. придавала ему не малое значение в обществе.

Около этого времени И-в назвался обедать к купцу первой гильдии, весьма богатому фабриканту, у которого он

частенько занимал деньги. И-в очень любил русские песни; после обеда, чтоб угодить своему знатному гостю, хозяин приказал позвать песельников, своих фабричных. Этот хор очень понравился И-ву; он кинул им на водку пятьсот рублей.

— Ай да спасибо! утешил! — говорил он, трепля купца по плечу.— Постой же, и я тебя угощу!

И тотчас же послал за своими песельниками, псарями. Они мигом явились, отлично пропели несколько русских песен, привели в восторг всех слушателей.

— Ну, брат,— сказал И-в хозяину, когда псари окончили пение,— давай же денег моим песельникам!

— Слушаем-с, батюшка, Лев Дмитриевич, извольте, и наша денежка не щербата,— отвечал купец, вынув из кармана *золотой.*

— Как! — вскричал запальчиво И-в.— Я твоим пятьсот рублей дал, а ты!.. Дай по крайней мере столько же! Экая ты скотина бородатая, братец!

Купец начал кланяться и улыбаться.

— Да помилуйте-с,— несвязно говорил он,— ведь оно-с, эдаким-то манером, многонько будет...— Но, видя, что И-в начинает гневаться, поспешно прибавил: — Если вашей милости угодно, так не соблаговолите ли сами из той суммы-с, которую изволите быть должны мне, а то, ей же богу, мы теперича не при деньгах.

— Ах ты подлец, купчишка! — закричал разъяренный И-в.— Вот проучу я тебя, жидомор! Эй вы! в арапники его! да хорошенько!..

И песельники И-ва пребольно высекли бедного купца.

На другой день много было разговоров об этой истории. Купец хотел жаловаться, кричал: «Жив не хочу быть, коли моя верх не возьмет!» Даже родные И-ва несколько струсили, но князь З. обработал это дело по-своему. З. призвал к себе купца и объявил ему, что если он осмелится рот разинуть, то как раз найдет себе место там, «куда Макар телят не гоняет». Купец хорошо знал, что такое князь З., и история кончилась ничем. О такой благополучной развязке весь город, к забаве своей, узнал на другой же день.

Деда же моего не тешило это происшествие. Он тут же принял решение не искать покровительства у князя З. и никуда не жаловаться на Любецкого, но это многого стоило ему. Трое суток сряду он никуда не показывался, а все ходил, задумавшись, по комнате, не говоря ни слова, почти

не принимая пищи, и не засыпая ни на минуту; наконец собрался он ехать домой и перед отъездом купил себе двуствольное ружье и пару пистолетов. В это короткое время он весь поседел, глаза его ввалились, лицо осунулось и приняло какой-то болезненный темный цвет.

Дома он стал заниматься стрельбою в цель, что сильно озаботило Надежду Ивановну. Ей не понравилось новое занятие мужа, и, предчувствуя недоброе, она стала неусыпно наблюдать за всеми поступками мужа. Не решаясь сама войти с ним в объяснения, она обратилась к Сергею Андреевичу Берсеневу, рассказала ему свои опасения, не скрыла своих печальных предчувствий и просила у него совета. Берсенев встревожился. Новые занятия друга показались ему очень странными. Зная душевное его расстройство, он пустился было в расспросы, но не добился никакого толку от Туренина. Тогда ужасные подозрения запали в сердце Берсенева, он уже не скрывал их от Надежды Ивановны, и они решились вместе и постоянно наблюдать за Николаем Михайловичем.

К увеличению их тревоги дед стал часто отлучаться из дому, то верхом, то пешком, вооруженный ружьем и пистолетами, и жена его с ужасом заметила, что он по большей части направляется к имению Любецкого. Нельзя было предполагать, чтоб охота была целью его прогулок: он и в прежнее время не любил охотиться с ружьем, да и зачем бы ему заряжать его пулями? Как только исчезал он из дому, сердце бедной Надежды Ивановны сжималось смертельною тоскою; она в отчаянии бросалась на колени перед образом Спасителя и долго, усердно молилась об избавлении мужа ее от гибели.

Настала осень, время, в которое князь Любецкий любил когда-то охотиться; теперь он сильно одряхлел и уже редко пускался в открытое поле. Осень эта была дождливая и неблагоприятная для охоты; но однажды выдался денек, вполне для нее пригодный. В этот день дед опять стал собираться куда-то. Он приказал оседлать лошадь, взял ружье, пистолеты; он торопился куда-то... Тогда страшная тоска овладела Надеждой Ивановной; она не выдержала. Стремительно кинулась к мужу и, дрожа всеми членами, стала уговаривать его остаться дома.

— Что ты, Надя?..— возразил он с неудовольствием.— Перестань говорить пустое. Мне нужно... Я еду прогуляться, я поохочусь...

Надежда Ивановна горько заплакала, уговаривая его.

— Ради господа! — говорила она, рыдая.— Послушайся меня, останься!.. Нет, не могу я терпеть такой муки...

Деду стало жаль ее; он взял за руку Надежду Ивановну и повел ее в другую комнату. Там начал он уговаривать ее, но она не слушала его увещаний и все продолжала плакать и просить, чтоб он остался дома. «Нет, нет! я поеду!» — упорно твердил он. Она кинулась перед ним на колени и, обхватив его ноги, с воплем твердила, что не пустит его. Гнев начинал одолевать Турениным, он хотел было оттолкнуть ее, но не мог: у него на это недостало духу.

— Да что ты, в самом деле, Надя? — сказал он, смягчаясь.— Опомнись! Бог с тобою!

— Я знаю, куда ты идешь! — исступленно вскрикнула она.— Я все угадала! Ты убить его хочешь!..

Он вздрогнул и страшно побледнел. Голова его опустилась на грудь. Между тем Надежда Ивановна стояла на коленях и со слезами обнимала его ноги.

— Ох, все знаю! — изнемогая, твердила бедная женщина.— Да что ж ты хочешь с нами-то сделать!.. Не губи себя... не губи детей малых... меня, горькую!.. Пощади нас!..

Глубокая печаль наполнила душу деда. Он колебался, сила воли покидала его, невмочь становилось ему бороться со скорбью любимой жены, матери его детей. И он сказал ей с смущением:

— Слушай, Надя... не стану перед тобою таиться. Правда, я задумал... Но, ради господа, пойми ты!.. Ведь нет другого средства отделаться от врага заклятого... Ну, пропаду я, да вас избавлю от гонения. Наследники, наверное, не будут вести такого дела... Пропаду я, да вы-то не останетесь без куска хлеба!.. Вижу, что не совладаешь с ним законным образом, так надо своим судом рассудить...

— Нет! нет!.. спаси тебя господи от такой мысли! — с жаром возразила она.— Не поможешь ты нам... душу свою только загубишь!.. Да разве мне можно будет жить после этого!.. А что с детьми будет? Нет, убей меня лучше! не сойду с этого места и тебя не пущу!.. Поклянись мне!.. Господи!.. помоги мне вразумить его!..

Потом, обхватив еще крепче его ноги, она стала кричать: «Нянька! нянька! Наталья!.. Дети!.. Приведите сюда детей!..» Обессиленная душевным волнением, она упала на пол; он мог теперь свободно уйти, но надо было быть зверем, чтоб это сделать; он остался. Надежда Ивановна почти

без чувств лежала у ног его; между тем привели мать мою и двух других малюток. Туренин не выдержал, слезы хлынули из глаз его, и он дал жене торжественную клятву.

Сцена эта не прошла даром для Надежды Ивановны: она заплатила за нее нервическою горячкой. Болезнь была тяжела и опасна, но она вынесла ее. Легко можно представить себе, что все это страшно подействовало на душу деда; положение его было истинно жалкое. Грусть, доходившая по временам до совершенного отчаяния, ненависть к непримиримому врагу, печальная картина лишений, на которые обречено было его семейство,— все это омрачало ум его и наполняло душу невыносимыми, жестокими страданиями. Самая клятва, данная жене,— не мстить врагу, ложилась на сердце его тоскою невыразимою. Расстроенному его воображению беспрестанно представлялись все бедствия и полная гибель семьи.

Между тем Надежда Ивановна оправилась от болезни. С великою горестью увидела она, в каком страшном состоянии находится ее муж. Ничто не могло извлечь его из мрачного уныния; он перестал заниматься процессом; целые дни ходил, бывало, по комнатам, бледный, утомленный и с всклокоченными волосами; по ночам почти не спал или забывался только на несколько минут сном тяжелым и прерывистым. На вопросы отвечал односложными словами и часто несвязно, сам же никогда и ни о чем не спрашивал. Перестал он ласкать детей своих, перестал даже молиться, только, расхаживая по комнатам, шептал про себя: *«Дух праздности... уныния...»* Видно, он уже начинал смутно сознавать, что одолевавшее его уныние окончательно погубит его.

Посоветовавшись с Сергеем Андреевичем, Надежда Ивановна решилась уговорить мужа ехать в Рязань, с тою будто бы целью, чтобы посоветоваться о деле с Колымагиным. Конечно, она нисколько не рассчитывала на пользу такого совещания, но думала, что поездка порассеет глубокую задумчивость, в которой находился ее муж. Она упросила Берсенева ехать вместе с ним. Не без труда склонили деда на поездку. Несчастная Надежда Ивановна не воображала, что ускоряет страшную развязку, которой инстинктивно боялась.

В начале декабря Туренин отправился в Рязань. Само собою раумеется, что Колымагин не мог оказать ему никакой помощи по делу, принявшему самый дурной оборот;

оставалось только жалеть о горестном положении, до которого был доведен его приятель.

На ту пору в Рязани были дворянские выборы, время и теперь весьма шумное, но тогда еще более бестолковое, потому что на выборы стекалось иногда тысяч до двух дворян. Претенденты на главные должности, бывшие тогда в удивительном почете, привозили с собою целые толпы избирателей, которых они на ту пору, на свой счет, одевали, кормили и поили.

Итак, в Рязани было шумно и весело. Берсенев старался по мере возможности рассеивать своего друга; случалось им быть в собрании и в театре, который и тогда уже существовал в Рязани; но все эти увеселения не только не тешили и не развлекали Туренина, напротив, еще усугубляли его хандру. Однажды Сергей Андреевич убедил его принять участие в одной из попоек; но винные пары до такой степени усилили мрачность духа деда, что всю ночь надо было присматривать за ним из опасения, чтоб он не наложил на себя рук.

Выборы кончились; жизнь губернская потекла по-старому. Дед мой и Берсенев собирались уже домой, как однажды — это было дня за четыре до рождества Христова — их обоих пригласили на вечер к одному из главных служебных лиц губернского мира. Когда они воротились оттуда, с несчастным дедом моим сделался в ту ночь первый припадок сумасшествия, той страшной болезни, которою он прострадал около двенадцати лет. Старик Петр Леонтьев, слуга его, бывший с ним в Рязани, рассказывал мне, что это сумасшествие произошло от особенной причины. Передаю этот рассказ, как любопытное предание. В том доме, куда отправились дед и Берсенев на вечер, кто-то был сердит на Сергея Андреевича за его невыносимую насмешливость. Дед, окончив игру, сел в уголок, задумался и спросил себе стакан воды. Слуга, который подал воду, войдя в переднюю проговорил будто бы: «Эх, жаль! не тому попалось. Думали, что Сергей Андреевич спрашивает!..» По мнению Петра Леонтьева, болезнь деда произошла именно от этого стакана воды, предназначенного Берсеневу. Но, конечно, причина сумасшествия Туренина заключалась в той страшной печали, которая овладела им во время несчастного процесса.

По первому известию о болезни мужа Надежда Ивановна прискакала в Рязань и с ужасом увидела, что сталось с ним. Он не узнавал ее! Ум его совершенно затмился.

Его беспрестанно мучили видения. Он воображал себя призванным для отмщения какому-то странному существу, которое мелькало перед ним, беспрерывно изменяясь и извиваясь, как змей, а он все гнался за этим видением, все готовился нанести ему удар, но оно исчезало, и больной впадал в исступленное состояние.

Но мне трудно и больно останавливаться на этих воспоминаниях: они слишком близки моему сердцу.

Безмерна была печаль Надежды Ивановны. Однако, несмотря на то что душа ее так болела, бедная женщина не теряла присутствия духа и, воротившись домой с помешанным мужем, сделала все необходимые распоряжения. Сергей Андреевич вызвался провожать их; Колымагин дал своих людей. И привезли безумного Туренина в Малеево, где он не узнал детей своих, так дорогих и милых ему в былые дни.

Впрочем, старшая дочь его, то есть моя мать, всегда имела на него чрезвычайное влияние. Сперва она боялась его, но впоследствии почувствовала своим детским инстинктом, что он не сделает ей вреда; и малютка могла удерживать его от порывов бешенства. Надежда Ивановна обрадовалась этому и старалась воспользоваться благодетельным влиянием своей дочери на несчастного. Не раз спасала она его от больших бед. Расскажу один случай: прошло несколько лет после помешательства деда, мать моя подросла, ей было уже десять лет, и влияние ее на больного отца с каждым днем все усиливалось. Раз гуляла она в саду и вдруг увидела ужасную сцену. Отец ее, подкравшись сзади к дворовому человеку, который рубил дрова, выхватил у него топор и, одолев его после недолгой борьбы, пригнул его голову к колоде и занес над ней топор. К счастью, победа слишком восхитила его. Он медлил и улыбался с торжеством, озираясь кругом. В эту минуту мать успела подбежать к нему и спасти человека от явной смерти. Больной, услышав голос дочери, выронил из рук топор.

Каких средств не употребляла Надежда Ивановна для излечения мужа!.. Сколько раз предпринимала она с ним поездки ко святым мощам, горячо молилась, говела и делала посильные приношения! Не раз возила его в Москву для совета с тамошними докторами. Эти предприятия стоили ей чрезвычайных пожертвований; не однажды подвергалась она опасности лишиться жизни, потому что с несчастным мужем ее делались такие припадки бешенства в дороге, что

одна только помощь божия могла спасти ее от погибели. Все усилия остались тщетными,— ни молитвы, ни правильное лечение у докторов, ни симпатические средства[25], к которым она считала необходимым прибегать. Болезнь была упорна; впрочем, раз или два в год она покидала деда на самое короткое время; он приходил в себя, но не на радость для семейства: тело и дух его были так слабы, что никто не узнал бы в нем прежнего Туренина, которого прямой и сильный ум уважался всеми.

В припадках же сумасшествия он обладал необыкновенною физическою силой. Разные странности рассказывала мне про него мать моя. Часто осенью в дождливую погоду или зимою в сильный мороз он выбегал из дому в одной байковой куртке, останавливался у какой-нибудь стены или сарая и простаивал таким образом суток по двое, не сходя с места, не принимая пищи, устремив глаза к небу и произнося какие-то непонятные речи. Свести его с места силою не было никакой возможности, а от увещаний он приходил в ужасную ярость...

К концу одиннадцатого года страшно напряженный организм его стал заметно ослабевать, и самые припадки сделались гораздо тише. Жена начала надеяться и опять повезла его в Москву. Но бедной женщине как будто суждено было своими распоряжениями ускорять роковую развязку.

В Москве она остановилась на каком-то подворье. Комната, в которой поместили деда, имела одно из окон прямо над воротами; на дворе стояло несколько возов с сеном, и одна из телег приходилась как раз под окном комнаты, которую занимал дед. Больного оставили одного. Он воспользовался этим и, выбив раму, выпрыгнул из окна. Конечно, он не мог ушибиться, упав на сено; но на возу лежало несколько сухих хворостин, и какой-то острый сучок попал ему по челюсти и пронзил насквозь правую щеку. Больного в беспамятстве сняли с воза; рана оказалась не опасною; когда же привезли его домой, она сильно разболелась. Скоро вся челюсть отвалилась у несчастного, и он в тяжких страданиях скончался. Недели за полторы до его смерти Надежда Ивановна имела утешение видеть, что муж ее совершенно пришел в себя и мог приобщиться святых тайн.

Надо прибавить для полной верности рассказа, что все члены этого семейства, измученные страшною болезнью деда, чрезвычайно были огорчены его кончиною.

С этих пор стала Надежда Ивановна кое-как доживать

свой век, нередко претерпевая недостатки, но уже избавленная от крайней бедности. Со времени помешательства деда князь Любецкий прекратил свои преследования и, удовольствовавшись одной Волтуховкой, оставил тяжбу. Этот надменный человек умер года за три до кончины погубленного им соседа. Огромное имение его не пошло в прок его наследникам.

Бедная бабка моя при небольшом состоянии могла однако же существовать; одно только тревожило ее — это долг помещику Поскребкину. В одну из своих поездок в Москву для лечения мужа она принуждена была занять у Поскребкина восемьсот рублей. В течение двенадцати лет сумма эта выросла с лишком до восьми тысяч, потому что г. Поскребкин никогда не соглашался, по истечение срока, брать от Надежды Ивановны проценты*, но переписывал заемное письмо, присоединяя проценты к сумме займа. Действуя таким образом, он имел в виду завладеть Малеевом, которое называл «золотым дном»; но оно, к счастью, не досталось ему. Надежда Ивановна сумела впоследствии, конечно не без пожертвований, отвратить замыслы г. Поскребкина.

---

* Проценты между тем были огромные. (Примеч. автора.)

Генерал Измайлов и его дворня

(Очерк помещичьего быта первой четверти нынешнего столетия)

Не очень признавая наследственность родовых качеств, тем не менее я не решаюсь отступить от общепринятых приемов в биографиях и прежде всего упомяну о роде и предках моего героя. Пожалуй, так и легче будет начать рассказ: словно спокойнее подойдешь к настоящему делу.

Лев Дмитриевич Измайлов происходил из старого дворянского рода, вышедшего, по преданию, из Аравии. Род этот был не из первостатейных, и представителей его до времени царя Михаила Федоровича[1] не видно на исторической сцене. При царе же Михаиле окольничий Артемий Измайлов выдвинулся было вперед: он был вторым воеводою[2] в московском войске, осаждавшем Смоленск в 1633 году. Но осада была неудачна, и воеводы боярин Михаил Борисович Шеин и окольничий[3] Артемий Измайлов поплатились головами. Казнь, которой подверглись сыновья Измайлова Василий и Семен, была не за неуспешность осады, а за измену. Предсмертная сказка, т. е. смертный приговор, обвиняет Василия Измайлова в измене больше всех, а именно: в предательских сношениях с литовскими людьми и с русскими изменниками, в презрительных отзывах о русской силе («как против такого великого государя-монарха (т. е. польского короля) нашему московскому плюгавству биться?») и, наконец, в «воровских, непригожих» словах о смерти государя-патриарха Филарета Никитича[4]. Конечно, в тогдашнее время о казненных Измайловых можно

было бы и не так рассуждать: не они же первые бывали в изменах, «в шатости и позыбаниях»; но, впрочем, на шатость и на позыбания настало тогда время суровое: русские люди, уже целым миром, захотели отстать от всего этого и за измену уже не было прощения.

С тех пор род Измайловых, хотя представители его служили и дослуживались до крупных чинов, не выставлял особенно замечательных личностей, кроме дяди героя моего и, наконец, самого Льва Дмитриевича. О первом, однако, упомяну мельком. Деятельность этого человека проявилась как-то двусмысленно при перевороте 1762 года[5]. Сначала, по преданиям, он был в числе преданных императору Петру Третьему, но тем не менее от преемницы его получил он в награду очень большое имение, село Еднново (Дединово, как в старину писалось) в Зарайском уезде Рязанской губернии*.

Этот дядя Льва Дмитриевича Измайлова был его воспитателем и оставил ему в наследство все свое имение. Как же он воспитывал и образовывал блажного своего племянника, про то подлинно я не знаю. Впрочем, к определению степени образованности Льва Дмитриевича может служить следующий факт: последние следователи по его делу не нашли в его доме (скажем, пожалуй, в тех комнатах, где он сам жил) ни одной самой ничтожной книжонки, о чем и сочли необходимым занести в протокол свой об осмотре измайловской усадьбы. Что же касается до воспитания, то замечу вообще, что в развитии тогдашних русских помещичьих характеров всего более сильно и неотразимо участвовали: домашняя обстановка, складывавшаяся в известном смысле под влиянием так называемого патриархального крепостного быта, равно и общественная среда, вся проникнутая теми же самыми влияниями.

Лев Дмитриевич Измайлов рано выдвинулся на общественную деятельность. Из формулярного его списка видно, что он вступил в службу, в гвардейский Семеновский полк, в 1770 году; судя же по тому, что во время дачи им ответов на «вопросные пункты» Рязанского уездного суда, в 1828 году, ему было уже шестьдесят четыре года, оказывается, что он поступил, то есть был зачислен на службу семи лет от роду. Впрочем, такие примеры

* Так, по крайней мере, сказывали мне еднновцы на расспросы мои о том, когда именно досталось село их Измайловым. *(Примеч. автора.)*

добывания военных чинов чуть не в колыбели были тогда очень нередки даже и в незначительных дворянских родах. Но первый офицерский чин Измайлов получил, когда ему уже было около 20-ти лет, именно в 1783 году. Затем и следующие чины шли ему довольно туго: только в 1791 году он был выпущен из капитанов гвардии в конно-юнкерский гренадерский полк подполковником. В 1794 году, в чине уже полковника, он был назначен командиром Кинбурнского драгунского полка, из которого в 1797 году переведен в гусарский Шевичев полк, тоже полковым командиром. Вскоре после того, в царствование императора Павла Первого, Измайлов вышел в отставку и, как известно по преданию, оттого, что принадлежал к Зубовской[6] партии, постоянно ему покровительствовавшей. Тотчас по вступлении на престол Александра Первого, Измайлов опять является на службе, уже в чине генерал-майора. Но в 1801 году он почему-то уволен от службы. Измайлов нюхал-таки порох: он участвовал в шведской войне при Екатерине[7], и тут за мужество в каком-то сражении пожалован орденом св. Георгия 4-й степени. А кроме того в польскую войну, в 1794 году[8], служил он волонтером и был во многих сражениях. К этому, признаюсь, крайне сухому перечню военной и боевой деятельности моего героя остается еще прибавить, что в должности уже рязанского губернского предводителя дворянства он формировал в 1806 году земское войско (милицию) Рязанской губернии, за что получил орден св. Анны первой степени, а в 1812 году рязанское дворянство избрало его в начальники своего ополчения, с которым он сделал поход в Германию, где находился под Гамбургом и при блокаде многих крепостей. За эту последнюю службу он получил чин генерал-лейтенанта и осыпанную бриллиантами табакерку с портретом государя.

Теперь я могу покончить с официальной стороной биографии моего героя. Да и цель моя вовсе не в том, чтобы заниматься ею. Перехожу прямо к описанию жизни Л. Д. Измайлова по частным, достоверным сведениям о ней.

Пора молодости прошла у Измайлова шумно и бурно. Страстям своим он рано стал давать широкий простор и довел их до полной разнузданности, благо обстоятельства тому не мешали. Его поступки в эту молодую пору его жизни имели тот характер дерзкого, грубого, а вместе с тем фальшивого молодечества, которым еще не так давно и повсюду у нас очень любили похвастаться люди привиле-

гированных сословий. О том, как молодечествовал и тешился Измайлов, ходит много рассказов, но я приведу из них лишь те, которые особенно характеристично представляют отношения этого человека не к отдельным частным людям, а к лицам официальным или же к целому обществу. И в самом деле, что тут интересного, что какой-нибудь буян, так называемый молодец, будь он корнет или генерал, такого-то купца в собственном его дому высек, стольким-то мещанам бороды вырвал, стольким-то евреям пейсы опалил, над таким-то помещиком, произвольно пошедшим к нему в шуты, с особенной замысловатостью надругался,— все это делывал мой блаженный герой, но то же делывали и тогдашние буяны, гораздо его попроще.

Измайлов был очень богат. Он рано получил в полное свое распоряжение большие имения: и собственное, и своего дяди. Притом он имел чрезвычайно сильные связи как по родству, так и образовавшиеся из отношений его с Зубовым. Ему сходили с рук проделки весьма не невинного свойства. Оно и немудрено: тогда пора была для всяческой разнузданности. Впрочем, недаром же переводили Измайлова так часто из полка в полк: по преданиям, все это происходило вследствие молодеческих его подвигов, вроде тех, о которых выше я мельком упоминал. Недаром тоже он все как-то сторонился от столиц: должно быть, чувствовал, что в глухих губернских и уездных городах свободнее ему проживать с обычными его потехами, с его произвольничаньем во всем и со всеми.

Но особенно привольно было ему в собственных имениях. Там-то всего более он любил жить и тешиться. Там-то и выработался из него типический помещик-крепостник тогдашнего времени.

По выходе в отставку в 1801 году Измайлов (ему тогда было 37 или 38 лет от роду) проживал в тульском своем имении, в селе Хитровщине. Скоро бесчинные его поступки, там совершаемые, сделались известными верховной власти. Что они огласились так скоро и так далеко — нельзя не признать за прогресс для того времени.

В высочайшем рескрипте от 23 марта 1801 года, данном на имя тульского губернатора Иванова, сказано: «До сведения моего дошло, что отставной генерал-майор Лев Измайлов, имеющий в Тульской губернии вотчину, село Хитровщину, ведя распутную и всем порокам отверзтую жизнь, приносит любострастию своему самые постыдные и для

крестьян утеснительные жертвы. Я поручаю вам о справедливости сих слухов разведать без огласки и мне с достоверностию донести, без всякого лицеприятия, по долгу совести и чести».

По какому именно поводу последовало это высочайшее повеление, с таким строгим достоинством напоминавшее губернатору Иванову о долге совести и чести, что донес губернатор государю, а также поусмирился ли после того Измайлов хоть на время,— все это остается неизвестным. Впрочем, о поводе к вышеприведенному рескрипту можно догадываться по одному факту, представленному совершенно эпизодично в последнем следствии о поступках Измайлова с его крепостными людьми. Происшествие, о котором ниже будет рассказано, относится как раз к тому времени, когда был дан высочайший рескрипт 23 марта 1801 года.

При Хитровщинской помещичьей усадьбе находился постоянно крепостной крестьянин Измайлова из деревни Ковалевки по прозванию Гусек. Обязанность Гуська в том состояла, чтобы на тройке собственных своих лошадей, которые содержались, однако, на помещичьем корму, разъезжать по деревням измайловским для сбора девок на «генеральские игрища». Однажды Измайлов затеял такое игрище в принадлежавшем ему сельце Жмурове. Тут были с ним толпы его псарей, его «казаков» и всякой другой дворовой челяди; сюда же были привезены в особом экипаже, называвшемся «лодкою», песенницы и плясуньи, дворовые и крестьянские девушки и женщины. Сборище это, по всей вероятности, пополнялось многими приживальцами и окрестными помещиками, хотя о них и не говорится в следственном деле. Но предводителю сборища показалось, что женского люда мало при нем, и он отправил Гуська еще за девками в свою же деревню Кашину. Дело было к ночи. Под прикрытием ее люди кашинские стали смелее, многие девушки попрятались в коноплях, а из одного дома, именно крестьянина Евдокима Денисова, просто не выдали девушку, да и самого Гуська в темноте кто-то так ударил по лбу ножкою от конопельной мялки, что рассек ему бровь.

Воротившись спешно в Жмурово, Гусек донес барину о случившейся с ним неприятности.

Сильно прогневался блажной барин и немедленно со всей своей свитою отправился в деревню Кашину для наказания провинившихся. Гнев его прежде всего обрушился на Евдокима Денисова. Изба несчастного крестьянина тотчас же

разметана была по бревнам. Затем псари сложили солому с избы на улице в два омета, зажгли их, а промеж горящих ометов положили старика Денисова и старуху, жену его, и так жестоко высекли их арапниками[9], что через три месяца после того захиревшая с наказания старуха скончалась. Но барский гнев еще не утолился: Измайлов приказал зажечь двор и остатки избы Евдокима Денисова, сломанной только по окна,—и если б не «игрица» Афросинья, безумное приказание, конечно, было бы исполнено. Афросинья два раза кидалась в ноги взбалмошному генералу, умоляя с неудержимыми рыданиями отменить приказание. Почему-то она была убеждена, что двое маленьких внуков несчастного Денисова спрятались со страху где-то на дворе или в избе. И в самом деле, великодушное заступничество игрицы спасло жизнь одного из мальчиков, который забился тогда в передний угол подпечья разметанной избы, откуда и не могли достать его шестами генеральские люди, которым велено было разыскать спрятавшихся внучат Денисова.

И опять-таки, карательные распоряжения в деревне Кашиной не удовлетворили Измайлова: он в ту же ночь отправился еще на дальний покос кашинцев, где заночевала большая часть из взрослого рабочего населения; там он пересек жестоко из крестьян — третьего, а из баб — десятую.

Вероятно, я не ошибаюсь, приписывая и вышеописанному происшествию то, что наконец было обращено внимание на поступки генерала Измайлова...

Но как бы там ни было, еще в 1802 г. генерал Измайлов вдруг переменил самую сцену своих подвигов, покинул совсем и надолго Тульскую губернию. 1 января 1802 года он был избран губернским предводителем дворянства Рязанской губернии и в этом звании, по последовательным избраниям, пробыл он сряду двенадцать лет, живя (кроме похода 1812—1813 годов) то в Рязани, то в рязанских своих деревнях, то — собственно, по зимам — в Москве.

* * *

Я нахожу необходимым описать довольно подробно, не минуя и анекдотов, время общественной деятельности Льва Дмитриевича Измайлова, когда в 1812 году он формировал рязанское ополчение и командовал им. Тогда именно обра-

зовалось то особенное влияние его на общество, какое сохранил он даже по оставлении звания губернского предводителя.

По огромному своему состоянию, по связям своим со знатью, по личным тоже свойствам своего широко разгульного характера, он и прежде, когда был еще очень юн, имел влияние на дворян. Многие из них, преимущественно же рязанские, так и льнули к нему, составляя постоянную его свиту, сопровождая его толпами на картежную игру, на псовую охоту, на скачки, на «игрища»,— всюду, где он изволил тешиться. Но именно со времени ополчения он сделался для дворянства каким-то героем, всякие поступки которого были уже недоступны для осуждения,— и собственно, этим оправдываются до некоторой степени общеодобрительные, даже хвалебные отзывы дворян рязанских и тульских об Измайлове, когда шло последнее следствие, явно направленное уже не в пользу его.

Из дальнейшего моего рассказа видно, как образовалось *особенное* влияние Измайлова на дворян,— именно во время ополчения, о котором, кстати сказать, сохранилось в Рязанской губернии много воспоминаний. Но прежде всего следует привести здесь следующий случай, где, как мне кажется, влияние это отразилось тоже характерно.

В июне месяце 1812 года рязанские уездные предводители дворянства, по мысли Измайлова, отправились в Москву для заявления готовности рязанского дворянства собрать на свой счет ополчение ввиду предстоявшей опасной войны с Наполеоном; но они были приняты весьма дурно министром полиции генералом Балашовым[10], который даже выслал их из Москвы за то, что «они осмелились явиться без спросу с таким предложением»*. И что же? Этот поступок[11] Балашова вовсе не оскорбил рязанских дворян, о нем даже не сохранилось воспоминания между ними,— и все это потому, вероятно, что не оскорбился из-за каких-то собственных расчетов их губернский предводитель...

При формировании рязанского ополчения генерал Измайлов выказал большую распорядительность. Он действовал быстро, умно и энергично. Правда, к этим его действиям примешивалось и много особенностей, выставляющих не с хорошей стороны отношение его как начальника ополче-

* Об этом рассказывается и в записках Жихарева [12], но с малыми, неясными подробностями. *(Примеч. автора.)*

ния к подчиненным дворянам-офицерам в этом земском войске. Но как быть! Время было такое, что и вообще отношения начальников к подчиненным, равно как помещиков богатых и знатных к дворянам мелким и нечиновным, имели почти тот же характер, каким отличались при упадке Речи Посполитой отношения панов-магнатов к простым шляхтичам,— сходство, впрочем, весьма естественное: развитие быта дворян у нас происходило не без влияния польских образцов.

Я знавал в Рязани небогатого тамошнего дворянина Сумбулова, который любил рассказывать об ополчении, и рассказывал очень интересно. Этот почтенный, хотя и сердитый, старик был помешан на странной идее, что всех детей в Рязани отравляют какие-то злые люди, «закидывая самый вредоносный яд с дома на дом». Но во всем остальном, кроме этой идеи, обличавшей страстную любовь его к детям, Сумбулов был, как и все прочие. Память его была свежа. По доброму чувству, ему свойственному, он судил о людях здраво. Особенно тверды были его воспоминания о бывшем его начальнике по ополчению, генерале Измайлове.

«Лев Дмитрич,— рассказывал он своим отрывистым языком, часто повторяя эпитеты,— Лев Дмитрич Измайлов был прекраснейший начальник. Характерен был покойник, крут, очень крут, частенько причудлив,— а для большого дела надо было его взять. С ним все были как один человек, завсегда одну мысль имели: он у нас головою был!.. Каждый божий день ополченские дворяне-офицеры обедали и ужинали у него поголовно: хлеба-соли и вина было вдоволь про всех. Полтораста троек, лихих, лихих троек, все ведь собственно генеральских, находились в распоряжении ополченских офицеров,— катайся, сколько душе угодно! Только уж и дело делай, на лету подхватывай генеральские приказания да выслушивай их ушами, а не пятками, да исполняй-то их буквально, скоро-скорехонько, а то не пеняй, худо будет: не любил генерал потачки давать никому Вот у него все так и выходило, что и весело и спористо дело делалось... А свои людишки, крепостные-то, как по струнке у него ходили; ну, тут уж Лев Дмитрич — кто богу не грешен, царю не виноват — частенько греха на душу прихватывал».

Многие из ополченских офицеров содержались на всем «коште» Измайлова: он снабжал их вооружением, обмунди

рованием, всяческим продовольствием в походе, даже давал денег, «взаймы без отдачи», как он говаривал. Зато он брал и свое. Все его подчиненные должны были безоговорочно, самым точным образом исполнять не только служебные его приказания, на что, конечно, он имел полное право, но и участвовать, по его назначениям, в различных его потехах, которых никак не хотел он покинуть и в то суровое время. Одним словом, подчиненные его должны были быть готовыми на все, что ему было угодно. И не чинился он с ними: за неудовлетворительное, по его оценке, участие в потехах провинившиеся наказывались как знаменитым *Лебедем*, огромной пуншевой чашею, которую приходилось осушить в один прием, так и арестом на хлебе и воде. Само собою разумеется, не нежные речи слыхали эти господа от причудливого своего генерала. Он частехонько бранивал их, как, бывало, ему вздумается,— и только что не бивал, да и то лишь потому, что, как он сам выражался, «уважал в каждом дворянине-ополченце слугу на ту пору государю и отечеству».

Вообще, генерал Измайлов весело формировал рязанское ополчение. По его мнению, и надо было весело готовиться на борьбу со всесветным врагом, Бонапартом. Собственно, этим «расчетом» он и объяснял причину, почему не покинул тогда ни одной из любимых потех своих.

Он был разнообразен и очень затейлив на выдумывание своих потех.

Так, однажды он пригласил многочисленное общество: всех ополченских офицеров, многих из соседних дворян, не могших по старости или по слабосилию служить в ополчении, кой-кого из чиновников рязанских (чиновников вообще он недолюбливал), на ужин, в село Ильинское, где находилась тогда почтовая станция на упраздненном уже ныне почтовом тракте из Москвы, через Зарайск, Рязань, Ряжск, Козлов и далее, до Астрахани. Приготовления к пиру были огромные. Почтовая станция превратилась в великолепную залу, а к ней были приделаны из кокор (барочных[13] досок) какие-то таинственные пристройки, очень задевавшие любопытство гостей Измайлова. Но прислуге строжайше было заказано пропускать кого бы то ни было внутрь пристройки. Между же тем почтовые лошади и ямщики с их «диктатором»[14] были переведены в особо выстроенное помещение в полуверсте от почтовой станции, ставшей пиршественною залой.

В назначенное время гости съехались аккуратно. К удовольствию своему, они увидели, что ужина придется ждать недолго: столы были уже накрыты и сервированы, стулья придвинуты к приборам, уставленная редкостными деревьями и цветами зала ярко освещена. Казалось, все было готово, а время шло да шло по-пустому. Измайлов, несмотря на темь осенней ночи — дело было в конце августа, чуть ли не в самый день Бородинской битвы,— водил своих гостей и на село, и вокруг села, и в поле, и на кухни, наконец, очевидно, все было готово у многочисленных и расторопных поваров; но ужина все-таки не подавали, не подавали и закуски перед ужином, чтобы, по крайней мере, «заморить червячка». Это очень озабочивало гостей, особенно сильно проголодавшихся от скучных прогулок с генералом.

И вот наконец особые столы в простенках устанавливаются водками и различными закусками, а важный дворецкий помещается у своего стола с посудою — значит, можно и червячка заморить и затем приступить к ужину.

В эту минуту послышался перебивчатый звон колокольчика. Слышно было, что мчится во всю прыть какая-нибудь лихая тройка.

— Должно быть, фельдъегерь[15],— провозгласил явившийся в залу адъютант начальника ополчения.

— Может быть, к вашему превосходительству,— отозвались некоторые из гостей, относясь к хозяину.

— Всего вероятнее, к губернатору,— отвечал Измайлов,— теперь из армии и из Питера беспрестанно мчатся фельдъегеря. Может, от главнокомандующего... Не покончил ли светлейший[16] сразу со всесветным злодеем?.. Это ведь не немец!.. Эх, жаль, что фельдъегерь проскочит мимо нас к станции, а мы не догадались оставить там кого-нибудь на случай,— так и не узнаем теперь никаких новостей

Но вдруг у самого крыльца пиршественной залы остановилась измученная курьерская тройка. Сильно шатаясь и бесцеремонно расталкивая столпившихся на крыльце гостей, фельдъегерь ввалился в залу. Видно было, что он пьянпьянехонек.

— Лошадей!..— крикнул он во все горло.— Где смотритель?.. Вот я тебя!..

К нему подскочили адъютанты и ополченские офицеры и начали объяснять, что почтовая станция переведена отсюда недалеко, что лошади там готовы, что здесь — его пре-

восходительство начальник рязанского ополчения изволит давать ужин для своих гостей.

В ответ на все это фельдъегерь разразился самыми крупными ругательствами. Досталось и всем гостям, и самому его превосходительству. К ужасу гостей, Измайлов пришел в бешенство. «Меня ругать! — закричал он.— Так я ж тебя проучу!.. Плетей! Арапниками его! Бей насмерть!..» Тут произошла страшнейшая сумятица. Фельдъегерь кинулся с пистолетом на Измайлова. Когда же адъютант и офицеры загородили своего генерала, фельдъегерь схватил скатерть с главного стола — и вот все приборы, ножи, вилки, тарелки, стаканы, рюмки, вазы с цветами — все полетело на пол... Смятение в зале достигло высшей степени. Ужас гостей стал сменяться яростью. За оскорбление, нанесенное такому хозяину, каков был генерал Измайлов, а всего более за истребление столь желанного ужина, они были готовы кинуться на буйного фельдъегеря — но вдруг новая неожиданность поразила их. Раздались звуки роговой музыки — и в стене, прилегающей к таинственной пристройке, растворились огромные, до сего времени искусно скрытые двери, а за ними представилась другая пиршественная зала, тоже ярко освещенная, тоже вся уставленная великолепно убранными столами.

Оказалось, что настоящий ужин был приготовлен именно в этой зале и что фельдъегерь был вовсе не фельдъегерь, а какой-то приживалец измайловский, ловко разыгравший роль свою...

Я живо помню восторг, с которым рассказывал мне один из свидетелей этой потехи про все мельчайшие подробности. Должно быть, и многим, многим из тогдашних дворян-помещиков пришлась она крепко по нраву, хотя, казалось бы, наглая, грубая хвастливость ее по отношению к гостям, а главное, совершенная ее неуместность по тогдашнему трудному времени для России должны были бы возбудить сильное негодование против любителя подобных потех.

Кстати, об измайловских потехах. По его мнению, они тем были хороши и безупречны, что имели будто бы чисто русский характер, а он недаром хотел быть и слыть всегда «истым русским барином». Ничего «заморского», ничего утонченного он не жаловал. Так, театры с доморощенными артистами и артистками из крепостных, чем тогда любили щеголять наши богатые помещики, так, музыку — кроме

роговой — считал он тоже заморскими, непристойными русскому барину затеями. Любил он только простые, исконно русские потехи: псовую охоту, скачки на длинные расстояния и непременно по обыкновенным почтовым и проселочным дорогам со всеми их удобствами и прелестями, какие еще и теперь не совсем у нас вывелись, да кулачные бои и борьбу, да попойки и гулянки напролет по целым ночам, с песнями и плясками, с диким, неугомонным разгулом.

Не жалуя все заморское, он и из европейских народов уважал только одних англичан, которые, как говаривал он, «хотя и торгаши, однако лихой народ: из-за торговли своей не забывают же, как надо вести борьбу с Бонапартом, и ведут ее без устали, бодро и весело». Нравились ему тоже английские эксцентричности, а особенно страсть англичан к пари. Так, и он был готов биться об заклад из-за всего, хоть бы из-за того даже, кто дальше плюнет (рассказывают, что однажды он проплевал ловкому специалисту по этой части восемнадцать тысяч рублей). Вот тоже относящийся ко времени формирования ополчения характеристический анекдот о страсти Измайлова к пари.

Раз ехал он откуда-то по весьма неровной, гористой местности. С ним был адъютант его, дворянин Рязанского уезда, Павел Семенович Кублицкий*. По обыкновению своему, Измайлов скакал сломя голову: строго-настрого было наказано кучеру «лететь» как по гладкому месту, так с горы и в гору, не разбирая, удобна или неудобна дорога для такой езды и не жалея барских лошадей, лишь бы им ровно всем доставалось. Адъютант, человек не из храбрых, сильно трусил всю дорогу: он того и ждал, что вот-вот опрокинется коляска, запряженная шестериком лихих и страшно разгоряченных лошадей. Но наконец горы и овраги с косогорами миновали, пошла все ровная дорога вдоль по высокому берегу Оки. Адъютант успокоился и не утерпел, чтобы не выразить своего удовольствия.

— Слава богу! — промолвил он с невольным вздохом.—

* В нашем северо-западном крае Кублицких (Пиотухи) довольно много. Они считают себя польскими дворянами, потому что католики. Некоторые из них были крупно замешаны в польском мятеже 1830—31 годов. Но рязанские Кублицкие (тоже Пиотухи, стало быть, одного рода) — православные с издавна, даже не помнят предков своих католиками или униатами, а в рязанской губернии считаются они помещиками с конца семнадцатого столетия. *(Примеч. автора.)*

Теперь вплоть до дому гор уже не будет.

— Как не будет, надо, чтоб были! — возразил Измайлов.— Давай пари, что и еще раз придется спускаться с крутой горы.

— Помилуйте, ваше превосходительство, я хорошо помню: гор больше не будет.

Но Измайлов все настаивал на своем. Адъютант, к которому он пристал неотвязчиво с предложением о закладе, должен был принять его. Тогда взбалмошный генерал крикнул кучеру:

— Эй, Терешка! бери направо, спускай с горы прямо-таки в Оку!

Измайловские люди были так наметаны, что никогда не осмеливались задумываться над исполнением барских приказаний: кучер подобрал вожжи, крикнул на форейтора[17], а тот, не оглядываясь, в самом деле направил своих «уносных», чтоб спускать в реку. Немедленно же Кублицкий признал себя проигравшим пари.

— То-то же! — сказал Измайлов в назидание своему адъютанту.— Твердо-на́твердо знай, что генерал твой, Лев Дмитрич Измайлов, завсегда прав,— и, коли захочет, у него всюду горы окажутся.

Содержание Измайловым на свой счет многих офицеров ополченских, изобильные обеды и ужины у него, веселое отправление всяких действий по ополчению вперемежку с гульбою и разнообразнейшими потехами,— все эти эксцентричности, вроде вышеописанных, привлекали к нему сердца невзыскательных дворян до такой степени, что они уже не оскорблялись дикими, наглыми его выходками с некоторыми из них. Напротив, эти выходки как будто еще более располагали их к нему, должно быть, потому, что в них выражалось какое-то своеобразное, впрочем, весьма грубое, остроумие. Приведу здесь одну из таких выходок, которая, несмотря на весь возмутительный ее характер, много забавляла рязанских дворян.

Как-то, все во время ополчения же, генерал Измайлов был в усадьбе своей, в сельце Горках (Рязанской губернии, Зарайского уезда). Туда приехал к нему из-за какой-то официальной надобности зарайский земский исправник, человек бедный, с большим семейством, для прокормления которого он и был избран на эту должность.

Причудливый генерал принял исправника ласково, нисколько не глумился над ним во время каких-то служеб-

ных объяснений (а это глумление над чиновниками Измайлов позволял себе постоянно) и удостоил его чести приглашения на обед.

— Вот как будто по нраву мне ты пришелся,— сказал Измайлов исправнику после обеда,— а потому желаю угодить тебе. Заметно, братец, что ты еще не оперился: лошаденки у тебя больно плохи да и ездишь-то в простой телеге. Я поправлю это дело. Разживайся-ко с моей легкой руки.

И он велел подать к крыльцу тройку очень хороших лошадей, запряженную в большие крытые дрожки.

— Дарю тебе,— продолжал Измайлов,— лошадки, как видишь, добрые, да и дрожки не дурны.

После жарких изъявлений благодарности восхищенный исправник не утерпел, чтобы не полюбоваться вблизи на сделанный ему подарок: он выбежал к крыльцу и там, на беду свою, вздумал осведомиться о летах подаренных лошадей, стал смотреть им в зубы.

— Ну, братец, дурак же ты! — крикнул Измайлов в окно.— Да разве дареному коню в зубы смотрят? Это никак нельзя оставить без наказания. Эй! отпрягайте лошадей, ведите их назад в конюшню. А дрожки, господин исправник, твои, благо к ним пословица не прилаживается. Но только запрягайся-ко в них сам и сию же минуту долой с моего двора!

Исправник не дерзнул ослушаться: взялся за оглобли и, понатужившись, вывез тяжелые дрожки со двора генеральского.

— А худо было бы ему, если б он этого не сделал,— прибавляли обыкновенно веселые дворяне, рассказывавшие мне этот анекдот.

Они были правы, эти веселые дворяне: ну, как было не бояться генерала Измайлова?

* * *

Тульский гражданский губернатор фон-Трейблут и тамошний губернский предводитель дворянства Мансуров, производившие по высочайшему повелению последнее следствие о генерале Измайлове, в особой записке к министру внутренних дел делают следующее заключение о его отношениях к чиновникам и дворянам: «Генерал Измайлов,— говорят они,— действовал на многих чиновников интересом

и страхом: одни из них боялись запальчивого и дерзкого его нрава, а другие — богатства и связей; соседи же дворяне избегали всякого с ним знакомства, и только те с ним были знакомы, которые искали связи этой из-за корысти, за что и позволяли Измайлову делать с ними все, что ему угодно».

Такое заключение в отношении собственно местных, а особенно уездных чиновников, конечно, справедливо. Оно оправдывается не только вышерассказанным, совершенно достоверным анекдотом о зарайском исправнике, но и многими другими фактами следственного дела, на основании которого я веду тоже свой рассказ. Так, из показаний дворовых Хитровщинской усадьбы видно, что чиновники земской полиции нередко видели людей измайловских заключенными в страшной арестантской комнате при имении, в тяжелых ножных кандалах, с мучительными железными «рогатками» на шеях, и вообще досконально знали, каким истязаниям подвергаются эти несчастные люди; видели и знали, — а все-таки не принимали никаких мер к прекращению вопиющих злоупотреблений помещичьей власти, даже не обращали на них внимания, как будто бы все такое было самым естественным, законным делом. И вот что замечательно: эти снисходительные чиновники не очень-то были задабриваемы со стороны генерала Измайлова, хоть бы, например, ласковым с ними обращением; нет! он мало с ними церемонился. Так, в большие праздники, когда уездные чиновники как бы из-за обязанности наезжали к нему в его деревенскую усадьбу с поздравлениями, он не всех их удостаивал приглашением к своему столу: имели честь обедать с ним при таких случаях только уездные предводители, судьи и исправники, а все прочие, т. е. уездные стряпчие, заседатели уездного и земского судов и секретари разных присутственных мест пробавлялись генеральским угощением в отдельном флигеле. Несомненно, что все эти чиновники получали в определенные ли сроки или при особых случаях какие-нибудь подачки от Измайлова; но это уж так по порядку, как и везде и у всех бывало. Но, главнейше, отношения Измайлова к чиновникам и их к нему определялись не этими подачками, а именно тем, что они были запуганы им, боялись его богатства, его связей, его буйного, мстительного нрава.

Но другое дело — дворяне-помещики, соседи и не соседи с Измайловым. Мне кажется, что нельзя согласиться с заключением губернатора фон-Трейблута и губернского пред-

водителя Мансурова, что соседи-дворяне уклонялись от знакомства с Измайловым и что только те были знакомы, которые рассчитывали на какую-нибудь корысть от него. Во-первых, из следственного же дела видно, что весьма многие помещики посещали его, что дом его почти никогда не оставался без гостей, что гости эти участвовали и в псовой охоте, и в других разных забавах и потехах его, что наконец, некоторые из дворян отдавали к нему в дом *на воспитание* не только сыновей, но и дочерей своих. <...>

Что же касается до жесточайшего деспотизма Измайлова с крепостными своими людьми, то деспотизм этот не имел ровно никакого значения в глазах значительнейшего большинства дворян уже по тому одному, что, по тогдашним понятиям, всякий помещик мог делать в своих имениях почти все, что было ему угодно. А ввиду того, как обращался подчас взбалмошный генерал с высшими административными лицами губернии, дворяне сносили его бесцеремонное и иногда в высшей степени наглое обращение с некоторыми из мелкотравчатых их собратий, людей необразованных и ничтожных по характеру и нравственным качествам. И нипочем было им слышать и даже видеть, что из-за гнева генеральского либо просто ради одной потехи такой-то мелкотравчатый был привязан к крылу ветряной мельницы и, после непроизвольной прогулки по воздуху, снят еле живым, что другой подобный же дворянин был протащен подо льдом из проруби в прорубь[18], что такого-то дворянина-соседа зашивали в медвежью шкуру и, в качестве крупного зверя, чуть было совсем не затравили собаками, а такого-то, окунутого в деготь и затем вываляннного в пуху, водили по окольным деревням с барабанным боем и со всенародным объявлением о какой-то провинности перед генералом.

Впрочем, к чести самого Измайлова надо сказать, что те — немногие, однако,— лица, у которых доставало духу не поддаться ему и даже его припугнуть, делались задушевными его друзьями. Раз бедный дворянин, отставной майор Голишев, сподвижник Суворова в итальянском походе, провинился в чем-то на измайловской пирушке и отказался за такую провинность выпить *Лебедя*. Измайлов захотел и с Голишевым обойтись по-своему: он велел было насильно влить ему в горло забористый напиток. Но Голишев хотя и кутила, но никогда не забывавший своего человеческого достоинства, тотчас же пустил в дело свою чрезвычайную силу. Он выругал крепко Измайлова и, кинувшись стре-

мительно к нему, схватил его за горло могучими руками.

— Слушай, Лев Дмитрич! — сказал он.— Не дам я тебе издеваться надо мной! Пикни только словечко — задушу, не то кости переломаю. А попустит бог, вывернешься и людишки твои одолеют меня,— доконаю тебя после, везде, где только встренемся, разве живой отсюда не выберусь!..

Измайлов немедленно попросил извинения. А после того он долго добивался дружбы Голишева и, добившись, чрезвычайно дорожил ею. Он уважал молодца-ветерана тем более, что Голишев никогда не хотел пользоваться никаким от него вспоможением.

И, однако, дворяне не подметили, что генерал Измайлов, этот ярый защитник прав предводимого им «передового» сословия, не ладил с губернаторами больше всего из собственных своих взглядов и расчетов. Не угодит, бывало, ему даже в каких-нибудь пустяках губернатор, он немедленно начинает войну с ним, придираясь ко всякому случаю, чтобы свалить своего противника, не задумываясь для этого ни перед какими средствами. Так, он «повалил» несколько губернаторов. Для примера, из-за чего, бывало, становилась борьба, расскажу случай с рязанским губернатором Д. С. Ш-вым, родным братом известного адмирала и статс-секретаря[19].

Как-то раз Измайлов был у него на вечере и играл с ним в карты. Игра, как видно, не очень занимала его: он много говорил и в речах своих нисколько не сдерживался. Самое резкое осуждение общего хода дел в тогдашней России, самые резкие порицания действий тогдашних русских государственных людей так и сыпались с его неугомонного языка. Губернатор, человек весьма добрый и кроткий, молчал некоторое время, но наконец, почувствовав всю неловкость и небезопасность своего положения при таком разговоре, решился остановить Измайлова. Завязался спор между ними, который, однако, скоро покончился, когда Ш-в, на беду свою, промолвил:

— Эх, Лев Дмитрич, у меня-то, по крайней мере, не должно бы тебе так говорить...

— А почему? — спросил Измайлов.

— Да потому,— отвечал губернатор,— потому, во-первых, что я все-таки начальник губернии и даже за картами не теряю своего официального положения, а во-вторых — ну, почем ты знаешь? может ведь статься, что ты находишься у меня несколько и под надзором.

Губернатор явно обмолвился. Он хотел было смягчить выражение «о надзоре», но это ему совсем не удалось. Повторив с различной интонацией: «А! я под надзором, под надзором нахожусь!» — Измайлов не хотел и слушать дальнейших объяснений губернатора и затем, мрачно насупившись, все молчал и молчал. Докончив игру, он не остался ужинать, очень сухо распрощался с смущенным хозяином и, в ту же ночь, ускакал в Петербург.

Дурные последствия вышли из этой истории для губернатора Ш-ва: он скорехонько потерял место и, конечно, по стараниям Измайлова.

В среде местного дворянства такая история должна была придавать Измайлову чрезвычайное значение. Да и шутка ли, в самом деле: губернатор, особенно же тогдашнего времени губернатор, да притом родной брат человека, достигшего одной из высших степеней в служебной иерархии, обмолвился в домашней беседе с Измайловым неловким выражением и — потерял место! Дворяне смотрели на это происшествие, как на собственную свою победу.

В связи со всем вышеописанным было и еще одно особенное обстоятельство, усиливавшее в глазах всех дворян значение генерала Измайлова: грубому дворянскому тщеславию чрезвычайно льстило то, что этот взбалмошный человек *прославился* своими помещичьими выходками даже в чужих краях.

Предводительствуя рязанским ополчением, Измайлов отправился в заграничный поход, в Германию, как в такое заграничное путешествие, цели которого единственно — удовольствия и развлечения, причем еще имеется в виду не столько чужих людей посмотреть, сколько себя показать.

Время тогда было суровое, истинно трудное: только что кончилось изгнание страшного врага из России, измученной великими на тот подвиг усилиями. Вслед за тем, на другой почве, должна была начаться с этим же страшным врагом новая, кровавая борьба... Но роковые события, столь полные трагического значения и для отдельных великих личностей, и для целых народов, не отвлекали генерала Измайлова от желания во что бы то ни стало сделать свой заграничный поход как можно веселее, потешнее. Мне рассказывали, да отчасти и из следственного дела это видно, что все, к чему он привык дома, чем только «прохлаждался» и тешился в широком домашнем быту своем, все это находилось с ним и в походе. С лишком пятьдесят человек из крепостных

служителей: камердинеры, официанты, простые лакеи, *казаки*, кучера, конюхи, псари разных должностей и наименований — сопровождали его. Не забыл он тоже взять с собою несколько лиц из женской *прислуги*, об особенном печальном значении которых нечего и распространяться. Охотничьих его собак, борзых и гончих, везли в больших фургонах. Лучшие из этих собак имели особенный костюм: какие-то епанечки на спинах, какие-то шапочки на головах.

Измайловская псовая охота, измайловские лихие тройки с кровными рысаками или с иноходцами в корню, с завивающимися, «развратными», как их назвал Гоголь, кажется, пристяжными, измайловская огромная свита из крепостной его прислуги и из подобострастно исполнявших его распоряжения и приказания многих ополченских офицеров — все это производило чрезвычайное впечатление на чинных немцев. Измайлов был, что называется, львом для них в ту пору. Конечно, он не мог не заметить этого и все делал, чтобы усилить произведенное им впечатление.

Когда военная гроза посвалила с почвы Германии, а главные тамошние крепости сданы уже были французами, он стал задавать пиры про целые немецкие города. Затейливо тешил он немецких бюргеров и вдоволь сам понатешился над ними. Там, рассказывают, в одном городке городское общество устроило бал для него и его офицеров, а он выкинул при этом шутовскую проделку, за которую расплатился щедрым пиром для целого города: музыканты местного оркестра были подкуплены и подпоены, и, когда бал открылся по тогдашнему обычаю чинным полонезом, вместо того чтобы играть, они вдруг отложили инструменты в сторону, высунули языки и обеими руками сделали носы изумленной публике. Немецкая публика очень оскорбилась таким, по правде сказать, глупым нарушением общественных приличий, но Измайлов как раз успокоил ее, приказав внести корзины с вином и тут же пригласив на пир к себе как всех присутствовавших на балу, так и всех вообще граждан города.

Но и на этом пиру не обошлось без барской потехи. У некоторых из немецких пожилых дам вдруг вспыхнули пышно накрахмаленные чепчики. Такая проделка была уже не очень невинного свойства. Но «пожар» чепчиков был скорехонько потушен, напуганные немки тотчас же получили ценные подарки, и добродушные немцы остались, говорят, весьма довольны шутливым чересчур, зато щедрым русским генералом.

Может быть, эти помещичьи рассказы о проделках Измайлова с немцами преувеличены или даже вовсе выдуманы, но несомненно как то, что заграничный свой поход, весь наполненный только участием в блокаде некоторых занятых французами крепостей, Измайлов старался обставить всеми принадлежностями своего домашнего помещичьего быта, так и то, что он истратил на ополчение и на заграничный поход из собственных своих средств громадную для того времени сумму — миллион рублей ассигнациями. Итак, было чем произвести впечатление и на немцев, и на ополченских офицеров. И недаром же долго-долго и все с восхищением любили они, эти офицеры, любили также и детки их рассказывать, как командовал ополчением, как пировал и тешился в заграничном походе Лев Дмитриевич Измайлов.

* * *

Теперь будет кстати упомянуть об имениях генерала Измайлова и о доходах, какие он получал с них. <...>

В 1834 году, когда Измайлов умер, все имение его, как видно из духовного его завещания, заключало в себе до одиннадцати тысяч душ, и в том числе благоприобретенных считалось только шестьсот с чем-то душ.

Генерал Измайлов, по числу крепостных своих, пожалуй был и не из особенно крупных русских помещиков тогдашнего времени: граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский[20], почти его современник, говаривал, что не понимает, как может жить только безбедно русский дворянин, если не имеет, по крайней мере, пяти тысяч душ. Но главные измайловские имения: рязанское село Дедново и тульское село Хитровщина — славились чрезвычайной доходностью. Таким образом, герой мой, к его, конечно, удовольствию, мог, по всей справедливости, считать себя уже не безбедным дворянином, а очень крупным помещиком.

Прежде всего, я хочу рассказать о селе Деднове. Оно хорошо мне знакомо. Имение, принадлежавшее исстари роду моей матери, находится от села Дедново только в шести-семи верстах. В этих местах протекло мое детство, сюда, все через Дедново же, ездил я часто и когда учился, и когда служил. Здесь, в этом большом селе, в первый раз поразили меня резкие контрасты, столь свойственные именно великолепным имениям крупных русских помещиков. Здесь же слу-

чай доставил мне полную возможность досконально узнать, отчего зависят эти контрасты, а также и то, к чему доводили иногда и крепостная неволя, и постоянное, страстное стремление избавиться от нее. Вряд ли доведется мне еще говорить о селе Деднове, а между тем факты, которые я знаю о нем, весьма интересны – и вот почему я решаюсь здесь на небольшое отступление от рассказа о моем герое.

Дедново — самое большое селение в Рязанской губернии после села Ижевского в Спасском уезде и села Белоомута в Зарайском: в нем в настоящее время считается уже с лишком четыре тысячи душ мужского пола. Стало быть, село это почти с десятитысячным населением обоего пола, что впору было бы у нас и уездному городу. Но оно замечательно тоже и по способности его жителей к промыслам, и по преданиям о старом, просторном житье-бытье, и по той роли, какая выпала ему в недавнее время, перед самой крестьянской реформой.

История дедновцев как крестьян крепких земле, вообще, не из очень печальных историй. Не будь у них такого барина, каков был взбалмошный Лев Дмитриевич, да не случись еще «экзекуции» 1857 года, им, пожалуй, и нечего было бы поминать лихом свое прошлое.

Испокон веку, кроме периода времени от шестидесятых годов прошлого столетия по 1861 год, они знали себя некрепостными. Их село считалось дворцовым, и ежегодно, вместо всякого поземельного денежного оброка, они обязаны были доставлять «для государского обиходу» сколько-то рыбы, которую достать было вовсе не трудно из реки Оки, текущей мимо самого их села и довольно далеко по их дачам. В то время им жилось привольно и спокойно. Да и еще бы не так: хотя при селе Деднове нет вовсе пахотной земли, однако дедновская дача великолепна. Тут, кроме усадебной земли и пастбищ, около восьми тысяч десятин лугу поемного, расположенного по обеим сторонам Оки. Тут есть такие луговые пространства, что каждая так называемая хозяйственная десятина (мерою в 3200 квадратных сажень)[21] дает, без всякого искусственного удобрения, до семисот пудов прекраснейшего сена: так хорошо удобриваются дедновские луга ежегодными разливами Оки.

Понятно, что на таком просторе, да когда он еще весь был под властной рукою дедновцев, им жилось и привольно, и спокойно. Недаром же есть у них горделивые воспоминания о том, как в тогдашнее золотое время сами цари — да еще

какие цари! — Иван Васильевич Грозный[22] и Петр Алексеевич Великий[23] знали и жаловали их, дедновцев.

Иван Васильевич наезжал в дедновские места на охоту и раз, как говорит предание, вышел с ним в Деднове такой случай.

Заехал грозный царь с охоты к знакомому мужичку Федору Суслову, чтобы поотдохнуть и позавтракать. Хозяин и все его домашние разметались из избы, кто для исполнения разных требований царских людей, а кто из-за страха. И вот в избе остались только царь да двухлетний мальчик, самый младший сынишка Суслова. Царь Иван Васильевич сидел в переднем углу, под образами, а мальчик все бродил по лавкам. И подобрался сынишка Суслова к царю да и схватил его ручонками за бороду.

На Ивана Васильевича грозный стих нашел: сильно он прогневался и приказал тотчас же казнить мальчика.

Кинулся в ноги царю старик Суслов и стал молить о помиловании.

— Помилуй нас, надежа-государь,— говорит он,— сынишко-то мой мал-неразумен... А провинился он, недомысля... Прикажи испытать его: на одно блюдо пущай насыпят золота, а на другое горячих угольев. Вот и пущай выберет, к чему смысл его потянет...

Царю понравился этот способ испытания, так и повелел он сделать.

Недомысленный ребенок протянул ручонки к горячим угольям, по которым переливались разноцветные огоньки.

Царь простил ребенка.

С лишком через сотню лет после того другой грозный царь, чуть ли еще не погрознее Ивана Васильевича, Петр Алексеевич Великий проезжал через Деднове в Воронеж. Человек с десять лучших стариков дедновских поднесли ему хлеб-соль. Он милостиво принял ее и промолвил несколько ласковых слов о селе Деднове. Потом, обратившись к старику, подносившему хлеб-соль, спросил: как зовут его?

— А Макаром зовут, надежа-государь,— отвечал старик, весело при том улыбнувшись.

Царю понравились и ответ, и добродушная улыбка старика.

— Хорошо, Макар! Ай да Макар ты у меня,— молвил он. И затем стал ходить перед дедновцами, как будто о чем-то раздумывая, а в то же время иногда повторяя: «Ай да Макар! Хорошо, Макар!»

Наконец остановился он опять перед дедновскими депутатами и спросил следующего за передовым, как и его зовут?

— А и меня Макаром зовут, надежа-государь,— отвечал и этот старик так же просто и весело, как и прежний.

— Ну, хорошо, Макар так Макар,— молвил царь и спросил третьего о имени.

Оказалось, что и третий, да и все прочие депутаты назывались тоже Макарами.

Петр Алексеевич удивился было, но как раз догадался, что все эти простодушные депутаты стали Макарами ради царского его удовольствия, выраженного им при имени старика, подносившего хлеб-соль.

— От сей поры,— молвил государь, засмеявшись,— будьте же вы, дедновцы, навсегда и все — Макары!

Так и осталось. Везде на Руси, где только промышляют дедновцы, знают их под именем «Макаров». Это наименование упоминается даже в каких-то грамотах, данных дедновцам на право ловить рыбу в некоторых местах по Оке, лежащих вне их дачи.

Со времени поступления дедновцев в крепостную зависимость экономическое положение их тотчас же и весьма резко изменилось. Крепостное право принесло им все свои принадлежности. Только благодаря характеристическим свойствам своей коренной дачи, т. е. неимению вовсе пахотной земли, не познакомились дедновцы у себя на миру с тем, что такое барщина, хотя один вид ее, подводную повинность[24], Лев Дмитриевич Измайлов ввел-таки к ним, именно для доставления сена, убранного на господских дедновских лугах, в хитровщинский конный завод.

Исстари дедновцы славились своей способностью к промыслам и зажиточностью. Но прежде они промышляли все больше дома, а с начала помещичьего управления стала их кормить особенно уже чужая сторона. Попривыкали и они покидать просторные родимые места и зарабатывать деньгу́ преимущественно отходной промышленностью в должностях по питейным откупам и по судоходной части: из них выходили ловкие «целовальники»[25], поверенные и ревизоры, а также хорошие «водоливы»[26] и лоцмана.

Дома же сидели они, казалось бы, все на привольных таких местах: по обеим берегам большой судоходной реки, имея под рукою и обширные пространства прекрасных поемных лугов, и множество рыбных озер, раскиданных по всей даче их села. Но эти богатые, просторные места имели только

одно сильное и явное влияние на жизнь дедновцев: они несомненно развили в них смышленость, бойкость характера, заметную всегда наклонность к некоторой независимости. При существовании у них крепостного права указанные мною свойства их особенно бросались в глаза. Недаром же Измайлов крепко недолюбливал дедновцев, хотя из них-то именно формировал своих «казаков», недаром никогда не решался он обзавестись усадьбой среди прекрасного села и даже весьма редко посещал его на самое короткое время.

«Мало ль, что глаз видит, да зуб неймет!» — могли бы с основанием сказать дедновцы, глядя на свои привольные места.

Рыбная ловля в Оке и озерах по дедновской даче состояла уже все за помещиком и отдавалась от него в аренду. Прекрасные поемные луга стали тоже не в прибыль дедновцам и, живя кругом в лугах, они не могли развить у себя хорошего, даже достаточного скотоводства: значительнейшая и лучшая часть этих лугов принадлежала все же помещику; именно от лугов помещик и имел главнейший свой доход с Деднова. <...>

При таких условиях жизни, при таких порядках только труд на чужой стороне и мог выручать дедновское народонаселение. Этот труд и выручал, но далеко не всех.

Замечательно, что барский оброк с дедновцев, по отбыванию его, имел вид прогрессивного налога. Смотря по степени своей зажиточности и, вообще, состоятельности к платежу оброка, дедновцы были разделены на несколько категорий: были между ними такие домохозяева, с которых сходило в год по нескольку сот рублей, но и такие были, которые платили весьма мало или даже и вовсе ничего не платили. Но такое распределение дедновцев по платежу барского оброка зависело не от барской сообразительности. Раскладка оброка промеж домохозяев производилась самим «миром», конечно, по верховным указаниям помещика на счет суммы оброка с целого «мира» и, конечно же, под наблюдением поставленного помещиком бурмистра. «Мир» обязан был тянуть известное количество тягол[27], и в этом отношении действовали непререкаемо помещичьи указания, а тягла накладывались на семейства уже по усмотрению самого «мира», и тут принимались в соображение не столько рабочие силы семьи, сколько наличные финансовые ее средства, которые от «мира» утаить было никак нельзя. <...>

Лев Дмитриевич Измайлов умер в 1834 году. Все имение

свое, кроме благоприобретенного, он завещал, помимо ближайших своих родственников, графу Александру Дмитриевичу Толстому... Духовное завещание Измайлова было утверждено, хотя некоторые условия его, а между прочим одно, относившееся до дедновцев, были уничтожены.

Условие, касавшееся дедновцев, заключалось в следующем: Измайлов в духовном завещании выражал свою волю, чтобы в случае смерти графа А. Д. Толстого без прямых наследников крестьяне всего завещаемого им родового имения (в том числе, конечно, и дедновцы) поступали в звание свободных хлебопашцев, причем должны были перейти в их полную собственность все земли, к тому имению принадлежащие. Но государственный совет, приняв во внимание, что родовое имение Измайлова поступило все-таки в род, нашел, что завещатель не имел права стеснять волю своего наследника, почему и уничтожил вышеуказанное условие, предоставив Толстому выразиться относительно его, в случае, если у него не будет прямых наследников, то есть детей, по своему усмотрению.

Граф Александр Дмитриевич Толстой скончался внезапно в августе 1856 года, без прямых наследников, то есть без детей. После него не осталось никаких распоряжений относительно наследования имением, дошедшим к нему по завещанию от Измайлова. Родные братья покойного, графы Михаил и Павел Дмитриевичи Толстые, на основании общих законов о наследстве, предъявили права свои и вступили во владения вышеозначенным имением. Но одновременно с этим надумались дедновцы отыскивать свободу из крепостной зависимости, домогаясь, на основании завещания измайловского, прав свободных хлебопашцев, поселенных на собственных землях. Неизвестно, как именно образовалась у дедновцев мысль о том, чтобы начать это <...> дело. Можно, однако, предполагать, что проживающие в Петербурге дедновцы (их там находится на постоянном жительстве до двухсот душ, и при помещике был у них в Петербурге особый староста) принимали в этом деле особенное участие. По крайней мере, в таком предположении утверждает то обстоятельство, что дедновцы первоначально избрали своим поверенным крестьянина Ивана Жаркова, постоянно проживающего в Петербурге.

Осенью 1856 года крестьяне дедновские составили приговор, которым уполномочивали Ивана Жаркова ходатайствовать по делу об отыскании свободы из крепостной зависи-

мости, и односелец их, Василий Юсов, на основании этого приговора, совершил в Коломенском уезде формальную доверенность, которую вместе с приговором и отвез Жаркову. Но Жарков отказался быть поверенным. Тогда дедновцы, проживающие в Петербурге, дали доверенность, совершенную в Царскосельском уездном суде, самому Юсову, человеку бойкому, бывалому, долго служившему в разных местах и должностях по кабацкой части.

В начале мая 1857 года Юсов возвратился в Дедново и тотчас съездил в Рязань, где получил из гражданской палаты засвидетельствованную копию с духовного завещания генерала Измайлова. Затем Юсов отправился в Москву, где подал в московскую гражданскую палату прошение о том, чтобы приостановлен был ввод во владение за наследников покойного графа Толстого имения измайловского, и наконец уже в июле месяце он вернулся опять в Дедново. <...>

Главноуправляющий всеми имениями графов Толстых предписал бурмистру села Деднова взять Юсова и еще другого дедновского крестьянина, Николая Копылова, принимавшего тогда заметное участие в хлопотах по делу об отыскивании свободы, но потом от дела этого совсем устранившегося, и отправить их в отдаленное имение Толстых, в село Онуфриево, Полтавской губернии. Это было как раз к возвращению Юсова в Дедново.

На беду, излишняя предусмотрительность бурмистра повредила еще более делу. Опасаясь волнения крестьян, он решился распорядиться ночью (с 18 на 19 июня), и такое распоряжение произвело действительное волнение. Когда пришли братья Василья Юсова, соседи его разом спроведали об этом и, догадываясь, что в отношении «мирского» поверенного вотчинное начальство[28] затеяло что-то недоброе, кинулись было к лодкам и челнам, чтобы переправиться на другую сторону Оки, где расположено главное население Деднова и где находится вотчинная контора. Но лодки и челны, по предварительному приказанию бурмистра, еще перед арестованием Юсова были уведены с того берега, на котором жил Юсов. Тогда соседи юсовские возымели еще сильнейшие опасения и ударили в набат. А между тем достали где-то два челна и на них переправились на другую сторону села. Набатный звон переполошил всех в селе, народ высыпал на улицы, думая, что где-нибудь начался пожар. Но соседи Юсова растолковали, в чем дело, и тревога не уменьшилась от того, а увеличилась.

Ударили в набат и в других церквах дедновских. Все народное сборище двинулось к вотчинной конторе, куда уже были доставлены Юсов и Копылов. Вид приготовленной для отправления их телеги, в которой оказались кандалы и какой-то кол, еще более взволновал народ. Стали шумно требовать от бурмистра как объяснения о причине арестования Юсова и Копылова «не в указанное время», так и немедленной выдачи их «миру». При этом двое или трое из крестьян обращались с угрозами к бурмистру. Бурмистр же, сказав наскоро народу, что «если хотят, то пускай берут себе арестантов», ускользнул в другую горницу, а оттуда выпрыгнул в огород и часа через два совсем скрылся из села.

Между тем крестьяне не освободили, однако, Юсова и Копылова из-под ареста, да и другие соображения начали тогда представляться им. Так, явилась было мысль поверить тотчас же «мирскую» кассу, хранившуюся в вотчинной конторе. Стали требовать ключи от этой кассы и конторскую печать, но староста, у которого они были, не дал их, и крестьяне не настаивали. Затем послали за священниками всех церквей для того, чтобы они засвидетельствовали от себя в особой бумаге о поступке бурмистра относительно Юсова и Копылова. Наконец составлено было «объявление» от мира обо всем происшествии, которое подписали все бывшие тут же бессрочно отпускные солдаты и лишь немногие крестьяне. Объявление это было доставлено в становую квартиру (14 верст от Деднова, в деревне Луховичах) тысяцким Поповым и крестьянином Егором Брониным, который в первый еще раз тогда является на сцену по общему «мирскому» делу.

Сначала в Рязани взглянули на вышеописанное происшествие снисходительно и просто. Губернатор Новосильцев ограничился в своих распоряжениях тем, что командировал в Деднова своего чиновника для особых поручений Казначеева без всякого письменного предписания, приказав только на словах посмотреть, что там такое делается, и «образумить» крестьян. К счастью, чиновник при исполнении этого поручения не счел нужным проникнуться особенным рвением. Он начал с того, что тотчас же выпустил Юсова и Копылова из-под ареста, под которым они все время содержались. После этого ему было уже легко «образумливать» крестьян, то есть высказать на сходке при общем молчании, что никак не следовало им шуметь, в набат бить, а пуще всего бурмистра пугать. Затем чиновник скорехонько уехал из села.

А впрочем, с того разу народ дедновский действительно

успокоился, так что воротившийся в село бурмистр стал преспокойно распоряжаться по-прежнему, и «мир» ни в чем ему не перечил. Казалось тогда, что из описанного происшествия больше ничего и не выйдет, кроме обыкновенного следственного «дела», которое так и сгаснет бесследно в уездном суде. Но вышло далеко не так. Можно полагать, что этому были две причины, на беду одновременно действовавшие: во-первых, появление у дедновцев нового на место старика Юсова поверенного, а во-вторых — уездные и губернские административные распоряжения, с одной стороны, представившие самые простые действия крестьян села Деднова в виде бунта, а с другой — как бы рассчитанные — ввиду уже распространявшихся тогда повсюду слухов о готовящемся освобождении крестьян от крепостной зависимости — именно на то, чтобы быстрым и «энергическим» подавлением бунта в селе, которое было известно не только в Рязанской губернии, но и в нескольких соседних, подавить и «беспокойное» влияние вышеупомянутых слухов.

События шли, однако, сначала самым простым ходом. Временное отделение Зарайского суда произвело следствие о происшествиях по поводу арестования дедновским бурмистром Юсова и Копылова и, озаглавив его «делом о набатном бое в селе Деднове», представило его на рассмотрение и решение в Зарайский уездный суд. А тем временем Василий Юсов съездил опять в Петербург для хлопот об отыскиваемой свободе. Но на этот раз хлопоты эти привели неприятные для него последствия: по распоряжению петербургской администрации он был арестован и впоследствии, когда уже началось дело о неповиновении дедновских крестьян помещичьей власти, был прислан арестованным сначала в рязанский острог, а потом в зарайский. Кстати будет упомянуть о его товарище, Копылове: проученный арестованием в ночь с 18 на 19 июня, он совсем отказался от участия в деле о свободе, чему также содействовало, говорят, и то обстоятельство, что он в это время успел породниться с дедновским бурмистром. Осенью 1857 года человек восемь или девять из крестьян, прикосновенных к делу «о набатном бое», и в том числе Егор Бронин, были вызваны в Зарайский уездный суд для отобрания от них отзывов: подтверждают ли они показания свои, данные временному отделению при производстве следствия, и, по допросе, немедленно отпущены домой.

Пока происходило все это самым простым, естественным,

нисколько не тревожным образом, определилось окончательное значение Егора Бронина в дедновском обществе. Когда дедновцы узнали, что прежний их поверенный Юсов арестован, они тотчас выбрали на место его Бронина и в январе месяце 1858 года составили приговор, уполномочивавший Бронина ходатайствовать по делу об отыскивании свободы. Бронин, как человек молодой (ему было тогда с небольшим тридцать лет), довольно грамотный, бывалый по промыслу на стороне, стал действовать очень смело, не ограничиваясь одною ролью поверенного по вышеозначенному делу, но сделавшись руководителем своих односельцев почти во всех общественных их делах. Так, без ведома бурмистра он начал собирать мирские сходки, на которых мнения и советы его имели непререкаемую силу. Всему этому способствовало особенно следующее обстоятельство: Бронин где-то достал или, как сам после показывал, получил из Петербурга листок Рязанских губернских ведомостей, в котором было пропечатано о вызове в Рязанскую гражданскую палату наследников покойного графа Александра Дмитриевича Толстого по делу об имении, после него оставшемся. По объяснениям Бронина на крестьянских сходках, листок этот именно доказывал, что затеянное дедновцами дело о свободе еще в ходу и, стало быть, отнюдь не следует доверять объявлениям земской полиции о том, что дедновцам уже везде отказано в их домогательстве.

В половине января Бронин по мирскому делу съездил в Петербург и возвратился оттуда с новыми затеями. На собранном им в конце того же месяца сходе он предложил крестьянам потребовать от бурмистра объяснения: по чьей именно доверенности заведывает и управляет он Дедновом? По доверенности ли покойного графа Толстого или же одного из его братьев. Вместе с тем, говорят, Бронин советовал сходу учесть бурмистра в употреблении «мирских» сумм и даже сменить его с должности. Но на этот раз требовать бурмистра к объяснениям перед сходом, учитывать его было уже не так-то легко. В селе Деднове стояла тогда на зимних квартирах рота стрелкового батальона. Проученный происшествием с «набатным боем», бурмистр надоумился прибегнуть к воинской защите. Ему удалось получить ее. Когда крестьяне, увлеченные предложениями Бронина насчет бурмистра, двинулись было к господской конторе, они вдруг увидели, что там стоит уже довольно много солдат стрелковой роты, что солдаты и еще собираются. Крестьяне тотчас

же воротились на место прежнего своего схода, а затем скоро и совсем разошлись.

На другой день после того Егор Бронин в сопровождении нескольких крестьян приходил к ротному командиру и просил его объяснить, по какой именно причине ходили в прошлую ночь по всему селу солдатские патрули, чем, по словам Бронина, крестьяне дедновские очень встревожены и напуганы. Но, как водится, ротный командир вместо всякого объяснения прогнал Бронина и его ассистентов. Действительно ли же ходили в ту пору патрули по селу Деднову и было ли это мерой особой предосторожности, принятою для охранения спокойствия в селе,— об этом в следственном деле нет никаких указаний.

Последняя выходка Бронина произвела роковые последствия.

Ротный командир немедленно донес по своему начальству о дерзком поступке дедновского крестьянина Егора Бронина, осмелившегося требовать от него объяснения насчет патрулей. С своей стороны и дедновский бурмистр в рапорте к зарайскому исправнику Улитину изложил все вышеописанные обстоятельства и выразился в заключение, что Бронин явно старается взбунтовать народ в имении, что он, бурмистр, опасается, как бы не нарушился в имении порядок и как бы не взволновался народ, что для пресечения столь вредных событий он просит принять меры к удалению Бронина из имения и что власть его самого уже недостаточна для водворения спокойствия.

Исправник Улитин тотчас же предписал местному становому приставу Дубенскому отправиться в село Дедново, «благоразумно и осторожно» взять Бронина и лично представить его в земский суд. Поручение это, конечно, было важно и затруднительно. Но становой пристав при исполнении его по-своему понимал меры благоразумия и осторожности, ему указанные: как видно из рапорта его исправнику, он придумал взять Бронина под тем предлогом, что он нужен для снятия с него в Зарайском уездном суде подтвердительного допроса по делу «о набатном бое». Но Бронин, разумеется, хорошо помнивший, что с него «снимали» уже в суде такой допрос, не поддался влиянию «благоразумных и осторожных» мер станового Дубенского: он напрямик отвечал, что не поедет в Зарайск, что даже и не может ехать без разрешения общества, от которого имеет приговор, уполномочивающий его ходатайствовать по мирскому делу.

Становой решился попытать, что скажет «мир». Он приказал собрать сход — и тут объявил крестьянам, что Бронин, их поверенный, требуется в уездный суд.

— Незачем ему туда ехать,— отвечали крестьяне.— Егор Бронин нужен нам для нашего мирского дела, а мы всюду занесли прошения.

Но переговоры между становым и дедновскими крестьянами тем не кончились. Крестьяне стали спрашивать, на каком основании управляет ими бурмистр. Становой объявил, что бурмистр заведывает имением по доверенности одного из новых их помещиков, графа Михаила Дмитриевича Толстого.

— Нет! — возразили на это некоторые из крестьян.— У нас был граф, да умер, а теперь мы ищем свободы и будем ждать, чем кончится дело.

Становой пристав в донесении своем исправнику подробно описал все вышеизложенное, а в заключении донесения добавил, что «при таком направлении крестьян села Деднова и при явном упорстве Бронина взять его невозможно».

Немедленно уездная администрация приступила к дальнейшим своим мерам.

Исправник предложил земскому суду составить временное отделение. Оно отправилось в Деднове в составе трех членов: самого исправника Улитина, станового пристава Дубенского и уездного стряпчего Алякринского.

Сначала действия временного отделения были довольно успешны. По вызову через сотского Бронин тотчас же явился на квартиру чиновников. Тут ему опять сказали, что он должен отправиться в Зарайск для снятия с него в уездном суде подтвердительного допроса по делу «о набатном бое». Но Бронин отвечал, как и приставу Дубенскому, и наотрез отказался ехать. Исправник приказал посадить его под арест. Никто не препятствовал этому распоряжению, сам Бронин тоже не ослушался, и сотские упрятали его в арестантскую.

Но вскоре после того в квартире временного отделения собралась толпа человек в триста. Стоя все время на морозе, без шапок, крестьяне неотступно просили выходивших к ним то вместе, то поодиночке чиновников отпустить им поверенного их Бронина. Просьбы эти выражаемы были в самом смиренном духе. Не раз вся толпа становилась на колени. Продолжая все умолять об отпуске Бронина, крестьяне поговаривали тоже, что если Бронин нужен не по ихнему мирскому делу, то пускай возьмут его, в противном же

случае пусть забирают с ним вместе их всех, так как дело у них общее, мирское.

Так прошло несколько часов. Ввиду настойчивых просьб крестьян, ввиду надвинувшейся ночи, вместе с которою, по всей вероятности, разыгрались у чиновников всякие страхи, становой пристав и уездный стряпчий отпустили Бронина из-под ареста.

Впрочем, все тогдашние происшествия в журнале временного отделения записаны не совсем так. <...> По мысли членов временного отделения, особенная сила «журнала» должна была заключаться не столько в верной передаче событий, сколько в выводах из них. Выводы эти изложены в таких выражениях: «Крестьяне села Деднова решительно не признают, что принадлежат помещику, ожесточенно вооружены против бурмистра и увлечены мыслью, что им никакая власть ничего сделать не может, что они могут делать все, что хотят, и что если они и удерживаются еще от решительного бунта, то, собственно, из-за боязни роты стрелкового батальона, находящейся на постое». <...>

Как только получено было в Рязани донесение зарайского исправника, в котором, конечно, были повторены все произвольные заключения о направлении умов дедновских крестьян и о положении дел в селе Деднове, губернатор Новосельцев немедленно же распорядился: в первых числах февраля 1858 года весь стрелковый батальон, расположенный в городе Зарайске и в Зарайском уезде был двинут в село Дедново. 8 февраля явился туда губернатор с большою чиновничьей свитой. Уж не знаю, говорилось ли тогда что-нибудь в увещание и вразумление дедновских крестьян, но мне известны другие факты «экзекуции»: наказано было по указаниям бурмистра и членов земской полиции всего двадцать шесть человек, и наказание было такое, что действительно возбудило чувство ужаса и в дедновцах, и во всех окрестных селениях, и везде, где было слышно о наказании... Да и было от чего ужасаться: с лишком через два месяца после наказания спины десятерых наказанных крестьян, сидевших тогда в Зарайском остроге, все еще болели, я сам это видел; мало этого, один из наказанных, Степан Свирин, бывший церковный староста, старик, которому было уже от роду шестьдесят девять лет, притом человек весьма уважаемый в селе за свое благочестие, честность и чистоту жизни, был так высечен, что, говорят, когда после наказания отправили его в Зарайск для посажения в острог, он скончался в дороге, не доезжая

до города... Говорят также, что и в то еще крепко глухое время горожане зарайские толпами провожали к могиле гроб этого покойника...

А Егора Бронина судьба предохранила от «экзекуции»: тотчас же после отъезда из Деднова временного отделения, он отправился для подачи какого-то нового прошения в Петербург, где и был, к счастью его, задержан. <...>

Но я уже слишком долго рассказывал о селе Деднове. Пора перейти к истории о моем герое, генерале Измайлове. <...>

* * *

По возвращении в начале 1815 года из-за границы общественная деятельность Измайлова совсем прекращается. Рязанское ополчение было распущено, и начальник его, Измайлов, вышел в отставку из военной службы. Но через несколько месяцев после того он отказался и от звания губернского предводителя дворянства. На последовавших за распущением ополчения дворянских выборах в Рязанской губернии, с самого начала их, он встретил оппозицию в лице трех братьев Елагиных, которые из-за чего-то смело ораторствовали против него. Измайлов чрезвычайно оскорбился как потому, что дотоле никогда еще не встречал себе противодействия на выборах, на которых и распоряжался обыкновенно, как полновластный барин, так и потому, что дворяне слушали речи Елагиных с некоторым вниманием, по крайней мере, не прерывали их шумом и ревом в знак своего неудовольствия. Очень сожалею, что не удалось мне собрать сведений об этой оппозиции Елагиных, заслуживающей внимания уже потому, что из-за нее, собственно, отказался Измайлов от звания, дававшего ему столь большое значение в среде дворянства.

Оставшись частным человеком, не более, герой мой в течение некоторого времени вел довольно непоседную жизнь; летом он разъезжал по своим имениям, часто притом посещая губернские города: Рязань, Тулу, Тамбов — и непременно каждый год бывая на Липецких водах и на Лебедянских ярмарках. Зимою же проживал в Москве, где у него, как и у всех почти крупных тогдашних помещиков, был собственный дом.

С переменой деятельности характер Измайлова не изме-

нился. Так же страстно жаждал он шумных и разгульных удовольствий. Ради них именно любил он посещать Лебедянские ярмарки, тогда знаменитые по торговле лошадьми, для покупки и продажи которых стекались в Лебедянь ремонтеры кавалерийских полков и помещики Тамбовской и соседних губерний, почти все считавшие обязанностью играть здесь бешено в карты, пьянствовать, кутить и буянствовать напропалую. И недаром любил Измайлов Лебедянские ярмарки: тут он мог выказать во всей красе перед многими достойными зрителями свою бестолковую помещичью роскошь, свое крайне разнузданное самодурство.

Одна старушка, с детства воспитывавшаяся в доме моего героя, рассказала мне следующий пример его произвольничанья в Лебедяни.

Раз он несколько опоздал на осеннюю ярмарку и приехал уже тогда, как все гостиницы и постоялые дворы были битком набиты приезжими и отыскать сколько-нибудь просторное помещение, особенно же для генерала Измайлова, приезжавшего всегда с огромной свитой, не было никакой возможности. Но Измайлов по-своему распорядился. Он приказал своим «казакам», псарям, конюхам и прочему бывшему с ним люду немедленно очистить от хозяев и постояльцев, буде таковые окажутся, первый приглянувшийся ему купеческий дом, что и было исполнено, несмотря на просьбы и возражения домовладельца. Поместившись в этом завоеванном доме, как в своем собственном, герой мой прожил в нем все время ярмарки. Впрочем, он щедро, хоть и по своему усмотрению, расплатился с домовладельцем, который и не подумал жаловаться на то, что так, невзначай, был выгнан из собственного дома, причем и пожитки его были выброшены из обоих этажей прямо на улицу.

. . . .

Но нельзя же весь свой век «весело» жить, какие бы ни были средства на это. Стала одолевать понемногу Измайлова «благородная болезнь», безотвязная подагра, да и старость-таки подходила. Тогда засел он дома, наслаждаясь деревенскою, по-своему устроенною жизнью, и только по зимам перебирался в Москву, прочее же время года он проводил обыкновенно в селе Хитровщине Епифанского уезда Тульской губернии.

Преклонные годы и хроническая болезнь, однако, не сов-

сем уняли его. Характер его сделался жестче, прихоти избалованной воли стали чаще и сильнее, а в отношении приближенных к нему людей они тем тяжелее были, что круг их влияния ограничивался уже одним только домашним бытом. Вообще в отношении этих людей, как крепостных, так и некрепостных, он стал гораздо хуже, чем был до войны 1812 года. На то была, конечно, причина. После широкой своей деятельности, очутившись просто частным человеком без всякого непосредственного влияния на общественные дела, да еще будучи присужден болезнью жить по большей части в деревне, он скучал чрезвычайно и всячески старался разнообразить свой домашний быт, развлечь чем-нибудь свою хандру (для этого, например, он приказывал иногда ночью бить в набат на колокольне своей сельской церкви, чтобы сбегался народ из окольных деревень, «чтобы вокруг было людей побольше»). А тут привычка его командовать многими людьми, командовать, как тогда вообще командовали, должна была неминуемо отзываться тяжкими последствиями на всех, кто имел несчастие находиться близко к нему...

Просмотренное мною дело дает возможность восстановить в достаточной ясности почти все черты домашней жизни генерала Измайлова с возвращения его из заграничного похода и вплоть до 1827 года, когда началось упомянутое дело.

* * *

С 1820 и по 1827 год главная резиденция генерала Измайлова находилась в тульском его имении, в селе Хитровщине. В недальнем расстоянии от этого большого селения были расположены и другие его имения, состоявшие в Епифанском и Михайловском уездах. Село Хитровщина было как раз в центре их.

Я не был в Хитровщине и не могу описать ни характера тамошней местности, ни положения, в каком были и теперь находятся тамошние крестьянские усадьбы. Надо думать, впрочем, что не красота местоположения и не особенные даже удобства заставляли Измайлова проживать более в Хитровщине: ибо, судя по характеру местности Михайловского уезда, от границы которого, как сказывали мне, это селение находится недалеко, тут должны быть всё гладкие поля и нет ни крутоберегих больших рек, ни живописных гор и холмов,

ни старых, густых лесов. Конечно, село Дедново, расположенное своим обширным поселением по обоим берегам многоводной Оки и даже сельцо Горки в полуверсте от Перевицкой горы, построенное на высоком, обрывистом берегу Оки же, больше могли бы удовлетворять эстетическим вкусам Измайлова, если бы такие вкусы у него были... Но, как я уже говорил, он не любил Деднова за постоянно выказываемый дедновцами дух некоторой независимости. А главное, Хитровщина состояла исстари на барщине, барщинские же крестьяне, как известно, были всегда более тихого, покорного свойства, чем оброчные, особенно же оброчные из больших селений, откуда обыкновенно большинство рабочего населения уходит для промыслов «на сторону». И вот почему, по всей вероятности, Измайлов выбрал своею постоянною резиденциею именно село Хитровщину.

Там была у него обширная господская усадьба: барский каменный дом, сельскохозяйственные, промышленные и другие разные заведения и постройки, много изб и избушек, в которых помещались дворовые люди. 23 октября 1827 года тульский гражданский губернатор фон-Трейблут и губернский предводитель тульского дворянства Мансуров, при исследовании по высочайшему повелению поступков генерала Измайлова с дворовыми его людьми, сделали подробный осмотр Хитровщинской усадьбы и нашли ее в таком положении.

Барский каменный дом (из которого незадолго перед тем выехал помещик) да и все вообще усадебные строения — в чрезвычайном запущении: «Наружная штукатурка дома во многих местах обвалилась». «Некоторые комнаты в нем отделаны чисто, но другие — в крайнем небрежении и нечистоте», особенно же прихожая, «в которой все стены, покуда рост человеческий досягать может, опачканы нечистотою, так что невозможно узнать, какого были они некогда цвета».

По обе стороны дома находились два каменные флигеля. В первом, имевшем особый выход, помещались канцелярия и *арестантская*; во втором содержались горничные девушки, комнаты которых с вставленными в окна решетками имели сообщение с двором только через внутренние комнаты господского дома; в особом отделении второго флигеля находились комнаты для приезжавших к генералу гостей. Оба флигеля были неотштукатурены и «как внутри, так и снаружи представляли крайнюю небрежность и нечистоту». Упомянутая выше арестантская, которую измайловские дворовые

люди называли в показаниях своих *черною и казенною*, произвела на губернатора и губернского предводителя впечатление «ужаса и отвращения» даже одним видом своим, несмотря на то что из нее уже были убраны по распоряжению еще самого Измайлова те особые ее принадлежности, о мрачном значении которых я расскажу дальше. Арестантская была содержана «крайне нечисто» и имела пространства, за исключением печи, только *пятьдесят семь квадратных аршин*, а тут нередко помещалось до *тридцати* человек домашних арестантов из дворовых людей и крестьян, в числе которых бывали и женщины. Окно арестантской заложено было железной решеткой, в стенах были вделаны цепи.

Дальше в усадьбе шли кухни и прочие хозяйственные, тоже каменные, строения, «еще более запущенные, запачканные; внутренняя нечистота их совершенно соответствовала их наружному отвратительному виду».

Затем шли: лазарет, богадельня, суконная фабрика, поташный, кирпичный, конский и овчарный заводы, псарный двор и избы дворовых людей.

Лазарет — каменное, неотштукатуренное строение с двумя рядами больших комнат; в середине — широкий темный коридор, «в котором от недостатка свободного сообщения со свежим воздухом постоянно гнездился неприятный, тяжелый запах». Все это здание было запущено как внутри, так и снаружи; мебель в нем была ветхая и худая (здесь-то, по выезде Измайлова в конце июля 1827 года из Хитровщинской усадьбы, содержались арестанты, дворовые люди, «прикосновенные» к делу о составленном будто бы против Измайлова заговоре). Аптека при лазарете была запечатана... и хотя к ней приставлен был какой-то фельдшер, однако он никого и ничем не «пользовал». Несмотря на это, в лазарет, ставший уже настоящей тюрьмой, все-таки присылались дворовые и крестьяне, те именно, которые под предлогом болезни или по действительной болезни отказывались работать на барщине... Хитровщинский лазарет был учрежден не столько для человеколюбивых, сколько для барско-административных целей.

Богадельнею называлась «крестьянская, полусгнившая хижина», имевшая внутреннего пространства, за исключением печи, *шестьдесят три квадратных аршина.* Тут помещались тридцать четыре женщины. «Ужасно заглянуть в сие жилище нищеты и бедствия,— сказано в «акте» осмотра сле-

дователями Хитровщинской усадьбы.— Стены и потолок покрыты сажею, а несчастные обитательницы — рубищами и лохмотьями. Каждая женщина имеет, за исключением необходимого прохода, не более одного квадратного аршина для помещения. А на содержание пищею выдается каждой по одному пуду ржаной муки на месяц». Сюда отсылаются также *за наказание* и другие женщины, которые и употребляются в разные работы. В другой хижине на дворе тоже на пространстве *двадцати пяти с половиною квадратных аршин* помещаются *шестеро* мужчин и *двенадцать* женщин. ...В эти богадельни попадали преимущественно или захиревшие в своем тереме при барском доме, или надоевшие барину, или же провинившиеся перед ним бывшие его наложницы, женщины несколько избалованные содержанием во время своего «фавору». Легко себе представить, как невыносимо тяжко было этим несчастным коротать свою горькую жизнь в ужасных жилищах «нищеты и бедствия».

Суконная фабрика помещалась в старом деревянном строении, «сквозь стены которого свободно проходил ветер». И здесь замечалось то же, что было повсюду в Хитровщинской усадьбе: чрезвычайная теснота, запущенность и нечистота. На суконной фабрике работали дворовые женщины и девушки, попадавшие в эту работу по большей части все *за наказание*. На простых ручных прялках пряли они шерсть шпанскую и от смешанных пород и сукна тоже ткали, которые для валянья, окраски и вообще отделки отсылались на московские фабрики.

На поташном заводе вываривали поташ «только для домашнего употребления, и то в небольшом размере». В акте об осмотре Хитровщинской усадьбы предполагается, и многие факты следственного дела о поступках Измайлова подтверждают такое предположение, что завод существовал единственно «в наказание» дворовым людям. Поташный завод запущен был донéльзя.

На кирпичном заводе тоже резко замечались «небрежéние и разрушение». Кирпич с этого завода не имел сбыта куда-нибудь на сторону; он употреблялся только в усадебном хозяйстве Измайлова. Но работа на кирпичном заводе происходила постоянно, и она обусловливалась — как должно предполагать по многим фактам измайловского дела — опять-таки особенными помещичьими соображениями: Измайлову надобилось лишнее место для наказания дворовых людей — и кирпичный завод удовлетворял этой надобности.

Конский завод состоял, собственно, в Зарайском уезде, но на зиму перегоняли его весьма часто в Хитровщинскую усадьбу, и, кстати сказать, перегоны эти сопровождались иногда крупными происшествиями: так, однажды сгорело с лишком двести лошадей на постоялом дворе, в селе Поливанове, Михайловского уезда. Всех лошадей в измайловском конном заводе было более тысячи голов, и странно: ни одна лошадь не пускалась в продажу. Само собою разумеется, что при таком способе пользования конным заводом с лишком в тысячу голов убытки от него были огромные.

При Хитровщинской господской усадьбе находилось тоже до пятисот голов очень хорошего рогатого скота холмогорской и английской пород; но, «по недостатку в Хитровщине выгонов, скот этот был всегда тощ и держался только для домашнего обихода».

В овчарном заводе было до пяти тысяч овец, в том числе триста баранов чистой породы. «По недостатку хорошего присмотра,— говорится в акте об осмотре измайловской усадьбы,— овчарный завод не приносит той пользы, какую можно было бы от него ожидать».

Стало быть, все хозяйство генерала Измайлова, заведенное на весьма широкую руку, шло чрезвычайно худо.

А между тем, странное дело: Измайлов наблюдал тут за всем постоянно и большею частью лично. Из показаний приближенных к нему дворовых и из других фактов, занесенных в следственное дело, видно, что без приказания самого Измайлова в помещичьем его хозяйстве ничего не делалось. Недаром же он говаривал, что он у себя «сам и приказчик, сам и рассыльщик». Вообще при наблюдении за ходом хозяйственных дел дома, в усадьбах, по сельским барщинным работам он всегда выказывал большую деятельность и распорядительность. Несмотря на болезненное свое положение от докучной, все усиливавшейся подагры, почти каждодневно и во всякую погоду он осматривал сельскохозяйственные и разные домашние свои заведения, хозяйский глаз его был на все обращен: он наблюдал лично и за пахотою, и за покосом, и за уборкой хлебов, и за молотьбою, и за положением скирдов на гумнах, и даже за состоянием проселочных дорог, соединявших его имения. Но из всей этой деятельности и распорядительности ничего путного не выходило — и тут, главнейше, уже не Измайлов был виноват.

Безгранично властвовал он в домашнем и хозяйственном своем быту. Опираясь во всю силу своего энергического ха-

рактера на крепостное право, с ранних лет его воспитавшее и баловавшее, а притом дававшее ему такой простор для произвольничанья, он не встречал ни в чем противоречия своим прихотям и потехам; но он встретил полное себе противодействие в более серьезном, чем прихоти и потехи, деле, именно в том деле, в котором, казалось бы, всего менее он должен был его встретить. В хозяйстве-то его и шло все не так, как он желал и добивался всячески. Несмотря на его личное, постоянное наблюдение за ходом всего хозяйства, несмотря на жестокие наказания за ослушание его приказаний, все его обманывали, обкрадывали, все делали не по его воле, а по своей собственной, постоянно направленной не в пользу ему. Крепостное-то право и нарушало его интересы во всем и повсюду.

Кстати будет привести здесь отрывки из некоторых «приказов» Измайлова, посланных из Москвы в Хитровщину к бурмистру Овсянкину и главному писарю Краснухину. Приказы эти замечательны. Не очень-то грамотны они, не говоря уж о логичности изложения. Зато в них много выразительных черт, обрисовывающих отношения моего героя и к хозяйству его, и к исполнителям его приказаний.

«Ты пишешь,— говорится в одном приказе бурмистру Овсянкину,— что муки крупичатой недостает. Оставлено было десять пудов, по контракту — что следует садовнику и провизору; из того числа остается семь пудов для доктора: нельзя, чтобы для доктора вся эта вышла, а это раскрали, и потому, за несмотрение твое, ты должен купить. Не забудь: *со второго августа* сеют рожь; если не будет в свое время посеяно — я посею на тебе. Для дрожек и бричек совсем не нужен тес, а вели напилить из осины или березы тоненьких досок. Неужели до вас не дошли слухи, что всех мошенников велено ссылать в Сибирь? Объяви мастеровым, чтоб они были осторожны и не плутовали, а то...— Тебе приказано от меня, чтоб у мельниц дворцы были сделаны из кирпича, а потом их обшить досками дубовыми, а ты ничего не делаешь; а потому знай: приезд мой для тебя будет неприятен. Неужели липовый цвет позабыли собрать? Там лип достаточно в зверинце <...>».

«Смотреть тебе и Овсянкину,— пишет Измайлов в другом приказе к главному писарю Хитровщинской вотчиной конторы Краснухину,— за всем неусыпно. Слушеву прикажи, чтобы сено не воровали; это все на нем взыщется. А Овсянкин, чтобы ездил по сельцам и смотрел бы за всем и старостам

подтверждал бы, что они за все будут отвечать. Что же касается до лугов, что скосили на конюшню, я этого не понимаю, как можно так сделать? Это не иначе — какие-нибудь плутни».

«Доктору четыре курицы дать,— говорится в третьем приказе на имя бурмистра Овсянкина,— карасей в львовском пруду наловить и доктору отпускать, также теленка для него отпустить, попоя несколько...»

Итак, распоряжения крупного помещика Измайлова касались всего, доходили до мельчайших подробностей хозяйственного его быта, и, несмотря на это, в хозяйстве его все не спорилось. Он угрожал беспрестанно, взыскивал строго, наказывал беспощадно, а тем не менее его обкрадывали и обманывали на каждом шагу, приказания его не исполняли постоянно. Конечно, от всего этого всякое хозяйственное дело шло из рук вон плохо: повсюду были заметны крайняя небрежность, крайняя запущенность, крайний беспорядок. Да и сам Измайлов, этот внимательный и строгий хозяин, сбивался тут с толку беспрерывно. Неточное и небрежное исполнение его приказаний, воровство и обманы не ускользали от его проницательности, но исправлять дурные последствия от всего этого, не допускать их на будущее время он решительно не умел: он отыскивал тут только новые поводы для истязаний провинившихся перед ним людей, система же всего хозяйства, всех отношений его, как помещика, к крепостным его людям ни в чем не изменялась, и вокруг него оставались все те же люди, которых он излавливал в беспрерывных провинностях. И выходила из всего этого страшнейшая безурядица, но безурядица, к несчастью, такого свойства, что от нее страдало слишком много людей...

Зато псовая охота измайловская была в великолепном положении, и герой мой, по справедливости, мог гордиться ею. В акте осмотра Хитровщинской господской усадьбы хорошо описана и тамошняя псарня.

На псарне этой находилось *шестьсот семдесят три* собаки разных пород. Не надо забывать, что кроме хитровщинской псарни собаки были и при других измайловских усадьбах: так, при Горецкой усадьбе, как мне рассказывали, всегда было до трехсот собак. «Они жили,— говорится в акте,— в хороших домах. Для каждой (собаки) было сделано особое гнездо, которое набивалось всегда свежею соломою. На корм этим собакам выходило ежегодно более тысячи шестисот четвертей овса».

К псовой охоте Измайлова было приставлено в Хитровщине с лишком сорок человек собственных его крепостных, а также и вольных людей по найму (тридцать девять псарей — из них трое наемных — да шестеро наварщиков[29] и щенятников).

Не дешево стоила Измайлову любимая его забава: кроме тысячи шестисот четвертей овса, которые шли на прокорм собак, он тратил ежегодно до десяти тысяч рублей ассигнациями только на жалованье своим и наемным псарям, да на особые награды им за удачные травли. Прибавьте тоже к этому немалые расходы на ремонт зданий, где помещались собаки, на обмундирование и содержание людей, состоявших при охоте, на содержание лошадей под псарями и стремянными[30], на продовольствие и угощение всегда приглашаемых к «отъезжим полям» помещиков, соседей и не соседей, с их охотами и псарями,— и выйдет, что статья расхода на псовую охоту занимала в годовом бюджете генерала Измайлова очень видное место.

Он так любил собак, что ценил их гораздо выше людей. На это есть в следственном деле два замечательные указания.

Раз небогатому помещику Шебякину променял он на четыре борзые собаки четверых дворовых людей, и таких еще, которые в глазах его самого должны же были иметь немалую ценность, а именно: камердинера, повара, кучера и конюха. Кстати, случай этот был задолго до начатия дела о заговоре людей Хитровщинской усадьбы против их помещика и о поступках его самого с ними, но он сильно врезался в память измайловских дворовых; многие из них, и не однажды, рассказывали всем вообще следователям, как променял Измайлов четверых дворовых на четырех собак: так поразило их презрительное помещичье отношение к человеческой личности.

Другой случай, указывающий на чрезмерную любовь Измайлова к собакам, тоже замечателен: однажды, во время обеда, когда камердинер Николай Птицын из своих рук кормил барина, начинавшего уже страдать хирагрою[31], он вдруг спросил Птицына и тут же прислуживавшего дворового мальчика Льва Хорошевского: «А кто лучше: собака или человек?» Птицын отвечал, что как же, дескать, можно сравнивать человека с собакою, с бессловесным, неразумным животным. Мальчик же, всегда чрезвычайно боявшийся своего барина и совсем растерявшийся от его вопроса, пролепетал, что собака лучше человека. И за это Измайлов

подарил мальчику рубль серебряный, а камердинеру Птицыну проткнул вилкою руку.

Страстную любовь Измайлова к псовой охоте должно объяснять не тем только, что охота эта была тогда в общем ходу у помещиков крупных и мелких, но тем особенно, что она наполняла скучную, деревенскую его жизнь столь необходимыми для него, шумными и раздольными впечатлениями широкой боевой его деятельности: на просторном поле, перерезанном кое-где оврагами, притонами хитрых, увертливых лисиц, у опушки рощ и лесов гомозится сильно за «исто барским, веселым делом»,— как выражался о нем мой герой,— под главным распоряжением самого барина разнообразный люд, всегда составляющий в таких случаях его многочисленную свиту: свои псари, доезжачие, стремянные, конюхи, казаки, приживальцы, да и помещики тоже разных сортов, соседи и не соседи, богатые и бедные с их собаками и псарями. Заливаются в «островах» звонким, частым лаем гончие, выгоняя зверя на широкий простор поля; мечутся за добычей в разные стороны борзые, а псари, доезжачие, казаки, приживальцы, гости-помещики порскают, атукают, трубят в рога, скачут сломя голову... Да! Все это должно было доставлять истинное наслаждение Измайлову, должно было вполне удовлетворить его задорному, неугомонному нраву. Тут исчезали границы его владений: «отъезжим полем», где он один командовал, бывала и его собственная, и чужая земля. Тут он распоряжался полновластно всем движением разнохарактерной толпы, состоявшей уже не из одних его крепостных, тут он чувствовал себя больше, чем помещиком, тут он казнил и жаловал...

Один из рязанских дворян, помещик села Негоможи, находящегося от Горецкой усадьбы в расстоянии 7—8 верст, Иван Арсеньевич Чаплыгин, в детстве своем однажды видевший измайловскую охоту, так рассказывал мне про этот случай:

«В пасмурный, но не дождливый день, под конец лета, я с братом моим и гувернером гуляли в поле довольно далеко от усадьбы. Вдруг видим: едет навстречу нам большая толпа охотников в нарядных кафтанах. На сворах у них было множество гончих и борзых собак. За толпой этой тянулся целый ряд линеек тройками, а на одной линейке, особенно длинной, лежал человек, весь закутанный, под голову которого, чтобы лучше было ему смотреть в

поле, высоко подложены были подушки. То был Лев Дмитриевич Измайлов, сосед наш не очень близкий, живший от Негоможи верстах в восьми, а может и поболее. При нем было тогда несколько соседей помещиков верхами. Мы посторонились, чтобы дать дорогу длинному поезду, двигавшемуся на ту пору очень тихо. И когда проезжала мимо нас линейка, на которой лежал Измайлов, я мог хорошо рассмотреть физиономию этого человека. Лицо его было одутловато и багрово; большие глаза горели ярким огнем*. Почему-то он очень пристально поглядел в нашу сторону и, как мне показалось тогда, именно на меня,— и чрезвычайно тяжелое впечатление произвел на меня взор его, в котором, как хорошо помню и теперь, было что-то необыкновенно жестокое, суровое и повелительное.

Воротившись домой, я рассказал за обедом отцу о встрече нашей с Измайловской охотой. Отец сильно поморщился.

— Да,— сказал он,— этот наезд генеральской охоты на наши поля, смотришь, обойдется мне рублей в пятьсот, а пожалуй, и больше...

И точно: так как яровые хлеба в то время были еще не убраны, то измайловская охота проходом через наши поля и особенно угонками по зверю, без чего, конечно, не обошлось, должна была понаделать в них много вреда».

Описанный случай наезда на чужие владения не был единственным в своем роде. Но помещики, через поля и луга которых проходила отнюдь не безвредная охота, никогда, сколько мне известно, не жаловались на это... Где уж тут было жаловаться, когда и нечаянная встреча с измайловской охотой не обходилась без неприятностей, если встреча эта малейшим чем-нибудь помешала травле по зверю. Вот, например, что однажды случилось: Измайлов охотился в отъезжем поле около села Григорьевского (в Зарайском уезде, Рязанской губернии). Собаки и псари жарко травили матерую лисицу; травля успела отбить ее от оврагов и перелесков, стало быть, еще несколько угонок по полю — и «красный» зверь достался бы в добычу. Но тут, как на

* Про неестественно яркий огонь этих глаз упоминается и в актах медицинских освидетельствований генерала Измайлова, которые проводились ежемесячно по поводу вышеуказанного высочайшего повеления о высылке Измайлова из имения. *(Примеч. автора.)*

грех, шибко проезжала дорожная карета шестериком и пересекла дорогу скакавшим с собаками псарям. Собаки заметались, промахнулись. Лисица увернулась от них и быстро скрылась из виду. Взбешенный такою неудачей, Измайлов велел остановить карету. В ней сидела женщина богатая и родовитая*, но Измайлов ни на что не посмотрел и решил немедленно отплатить за неудачу в травле таким образом: он приказал растворить дверцы кареты с обеих сторон, и затем все охотники и все собаки, бывшие тогда в отъезжем поле, прошли через карету, конечно, растревоживши этим донельзя бедную барыню. Она пожаловалась, но никакого удовлетворения не добилась. Случай этот так и остался анекдотом, много потешавшим провинцию. ⟨...⟩

* * *

При Хитровщинской господской усадьбе состояла громадная дворня. К половине 1827 года в ней считалось двести семьдесят один человек мужчин и двести тридцать одна женщина. Но то было далеко не всё. Приведенные выше цифры показаны в ведомости, представленной поверенным генерала Измайлова... В ведомость эту вошло лишь взрослое население Хитровщинской дворни, но все малолетки обоего пола, равно как и *заштатные* старики и старухи, совсем в ней не обозначены. Итак, кажется, я не ошибусь, если определю весь состав Хитровщинской дворни, считая тут и малолетков, и стариков обоего пола, а также наемных людей и приживальцев, в восемьсот человек. <...>

Замечательно, что в числе собственно дворовых Хитровщинской усадьбы находились люди, вовсе не принадлежащие Измайлову, например, незаконнорожденные от солдаток. Несмотря на то что они не были даже записаны по ревизии за Измайловым, положение их решительно ничем не разнилось от положения настоящих крепостных. Блажной генерал помыкал ими, как хотел, назначал их по своему усмотрению в разные должности и работы, распоряжался ими вообще, как собственными своими крепостными людьми, и нисколько и ни в чем в отношении их не стесняясь,

---

* Это была, как я слышал, г-жа Левашова, одна из образованнейших женщин тогдашнего московского общества. С ней был очень дружен П. Я. Чаадаев. *(Примеч. автора.)*

наказывал их, как и прочих дворовых. Так, солдатский сын Степан Попов был разлучен, по воле барской, с женою своею, на которой он и повенчался-то не по собственному желанию, а по принуждению госпожи Д-вой, любовницы Измайлова, управляющей его имениями в то время, как он был в заграничном походе.

Но особенно внушительным примером того, как тяжко приходилось людям, отыскивавшим свободу из владений генерала Измайлова, мог служить бывший приказчик его, Храбров.

Пармен Храбров происходил, как это усматривается из одного его прошения, от поляка, по всей вероятности, шляхтича какой-либо из западных наших губерний, еще в малолетстве полоненного и вывезенного кем-то в Орловскую губернию. Поляк этот приходился дедом Пармену Храброву.

В малолетстве же поляк-«полонянник» попал в крепостные к какому-то орловскому помещику. Возмужав, он стал хлопотать «об освобождении из рабства», и дело об этом производилось в разных местах, но чем оно кончилось — про то Пармен Храбров ничего не говорит, а надо думать, что дед его все-таки не добился «освобождения из рабства». Жил этот дед в Брянском уезде, там женился и детей прижил. Сын его Гаврило, отец Пармена Храброва, тоже задумал отыскать свободу, «о чем и объяснился с помещиком своим Зиновьевым». Но помещику Зиновьеву «такое объяснение крепко не понравилось» — он велел сковать Гаврилу, а сам уехал в Москву, где служил в военной коллегии асессором. Затем привезли Гаврилу в Москву и там, несмотря на заявления его, что он отыскивает свободу, сдали его тотчас же в солдаты, и Зиновьев получил за него рекрутскую квитанцию. Однако этим не порешилась судьба Гаврилы. Первый член московской военной коллегии, генерал-майор Михайло Львович Измайлов, взял его из военной службы и отправил в тульское свое имение. Причиною такой перемены в жизни Гаврилы было следующее, по словам сына его, Пармена Храброва, обстоятельство: он был «художник сады разводить и, вообще, строить», а поэтому Михайло Львович Измайлов захотел воспользоваться его искусством и «обещал ему за труды его отставку». Впоследствии, без ведома Гаврилы, М. Л. Измайлов отдал в военную службу, на перемену его, своего крепостного человека, и уж бог весть как это сделалось,

только в военной коллегии М. Л. Измайлов «выправил себе на Гаврилу владенный указ». <...>

Пармен Храбров несколько времени был в милости у Льва Дмитриевича Измайлова и служил ему приказчиком в Хитровщине, но наконец провинился он перед барином, за что был разжалован из приказчиков, а притом сидел долго в кандалах, содержался в домашней тюрьме, и все имущество его было отобрано на помещика. В тяжком тюремном заключении он надумался и, успев как-то вырваться *из черной*, арестантской, немедленно же возобновил родовое свое дело об отыскании свободы из крепостной неволи. Но в то же самое время повел и генерал Измайлов дело против Пармена Храброва о растрате им, Храбровым, как помещичьих, так и мирских крестьянских денег, а также «в лихоимстве с крестьян». Пармен Храбров оказался по суду виновным. По решению правительственного Сената, он был наказан за это плетьми, а затем, впредь до окончания дела об отыскиваемой им свободе, отдан Измайлову во владение.

Тогда-то именно и довелось Пармену Храброву вытерпеть страшное угнетение. Измайлов по-своему пожелал применить к нему условно предоставленное ему право владения. Он тотчас же засадил его в особую комнату при хитровщинском лазарете, то есть в тюрьму. В этой комнате Пармен был постоянно под замком, а зимою дня по два ее не топили. При этом не отпускалось Пармену Храброву ни белья, ни верхней одежды и обуви, иногда же не давалось ему и пищи.

Пармен Храбров, столь неутомимо перед тем добивавшийся свободы, не выдержал наконец и несколько раз, через доктора Виэля, почему-то принимавшего в нем участие, просил прощения у Измайлова, клятвенно обещаясь отказаться навсегда от мысли ходатайствовать о свободе и уже служить помещику своему «верою и правдою». Но суровый помещик велел отвечать от своего имени Храброву, что прощения ему никогда не будет. И мало того, когда началось дело «о скопе и заговоре», составленном будто бы хитровщинскими дворовыми людьми, первоначально действовавшие следователи, члены временного отделения Епифанского земского суда, и советник Тульского губернского правления Трофимов всячески добивались, и конечно по настоянию самого Измайлова, открыть в Пармене Храброве главного зачинщика и руководителя пред-

полагаемого «скопа и заговора». Правда, Пармен Храбров принимал в деле, затеянном дворовыми, некоторое участие, но отнюдь не главное; собственно говоря, он только знал о том, что дворовые решились наконец всюду жаловаться на поступки с ними страшного их помещика. И если бы верховная власть не обратила на Измайлова своего высокого внимания, по всей вероятности, подлые, злодейские интриги, направленные к тому, чтобы представить Храброва главным бунтовщиком и руководителем других к бунту, окончились бы совершенной погибелью этого несчастного искателя свободы.

Но что всего замечательнее — наряду со всеми дворовыми Хитровщинской усадьбы находились тоже и незаконнорожденные дети самого Измайлова. Участь двоих из этих детей особенно интересна.

Николай Нагаев, сын Измайлова от дворовой его девушки, до семилетнего возраста своего воспитывался в господских комнатах. За ним, как за настоящим барчонком, ходили кормилицы и няньки. Сам Измайлов передо всеми признавал его своим сыном. Но потом Николай Нагаев был удален внезапно из барского дома и, назначенный писарем при хитровщинской господской канцелярии, разделил решительно во всем общую долю хитровщинских дворовых. Тяжка и горька была эта доля до нестерпимости,— и Николай Нагаев сделался одним из главных, неутомимых доносителей на своего помещика-отца. Впрочем, презренная роль доносчика на отца смягчается в Нагаеве тем именно, что причиной, обусловившей его жалобы, он выставляет отнюдь не прежнее свое положение в барском доме, про что он говорит только мельком, а вообще жестокие поступки Измайлова с дворовыми. Кстати замечу: Николай Нагаев, как видно из дела, сохранил, тайно от отца, искренне добрые отношения с дочерьми Измайлова от Д-вой, особенно же со старшей, девушкой в высшей степени достойной,— и это обстоятельство доказывает, что Нагаев не участвовал в том общем разврате, которому предавалась широко вся измайловская дворня.

Лев Хорошевский, тот самый мальчик, который отвечал Измайлову со страху, что собака лучше человека, за что и удостоился награждения целковым, был тоже незаконнорожденный сын Измайлова от другой дворовой его девушки. О нем сам барин говаривал: «Вот этот, так настоящий мой сын». До девятилетнего возраста Лев Хорошевский, подобно

Николаю Нагаеву, воспитывался в господском доме, но потом, как Нагаев же, по воле своего отца-барина, смешался безразлично с толпою прочих дворовых людей, разделив общую во всем с ними участь, и опять, как Нагаев же, сделался доносителем на своего отца. <...>

* * *

Я дохожу теперь до особенно неприятного для меня места в моем рассказе, до описания наказаний, каким подвергал хитровщинский помещик горемычных своих дворовых.

Мне придется здесь войти в подробности, изображать которые нелегко...

Но я не могу отказаться от этого.

Если грозила человеку на каком-нибудь месте великая опасность, по миновании ее он непременно оглянется на то место и долго будет глядеть: повлечет его к тому непреодолимая сила. Так и тут: крепостное право, грозившее при дальнейшем своем существовании убить окончательно силы народного духа,— такое место в русской народной жизни, на которое невольно, часто и долго придется оглядываться...

Просмотренное мною дело в отношениях помещика Измайлова к дворовым его людям представляет со всех сторон, до чего могла доходить практика крепостного права, и вот почему, мне кажется, не следует обходить никаких подробностей при изложении этого дела, как бы ни тяжело было их описание.

Лев Дмитриевич Измайлов, может быть, и не был зол от природы. Его общительность, гостеприимство, широкая щедрость, его искреннее уважение к людям решительным и благородным — все это черты несомненно хорошего характера. Но характер этот был глубоко испорчен сначала воспитанием, а потом положением в обществе. Воспитание Измайлова, при крайне недостаточном образовании, при совершенном отсутствии нравственного направления, было вообще такое, что с самых ранних лет не знал он себе ни в чем удержу, отчего и приобык своевольничать, как ему только хотелось. А положение его в обществе, как при самом вступлении в него, так и долго впоследствии, тем

положительно определилось, что у него, человека пылкого, страстного, своевольного и дерзко-шаловливого, оказывались всегда и везде в нужных случаях такая родня, такая протекция, которые могли выручить с самого дна морского.

К тому ж судьба не послала Измайлову никаких уроков в жизни. Служба, военная и гражданская, окончательно сложившаяся для него как-то особенно своеобразно, еще больше испортила его характер. Неудача же иной раз по службе, нежелательные для него переводы из полка в полк, неожиданные отставки не были для него уроками: они только ожесточали его, делали раздражительнее и своевольнее, что и отражалось, прежде всего, на домашнем его быту. Богатый, знатный, влиятельный и по связям своим, и по собственному характеру, властолюбивому и энергическому, умный, но необразованный, а притом без всяких нравственных основ и для гражданской деятельности, и вообще для жизни, генерал Измайлов имел для всего своего обиходу только две цели: потешиться да покомандовать. Ему все было нипочем, он никого никогда не боялся: по крайней мере, так было до следствия, произведенного о нем по высочайшему повелению тульским губернатором и губернским предводителем. Он привык, он хотел и мог произвольничать во все стороны. Эта привычка командовать, как он с незапамятных для него времен и дома, и везде командовал, развила в нем глубокое презрение к людям, ему подчиненным, особенно же крепостным. Можно положительно сказать, что он твердо был убежден в высшем своем назначении: приказывать и наказывать.

Он и всю жизнь свою подладил под это высшее свое назначение.

Даже в то время, когда подагра уже сильно его одолевала, он почти каждодневно выезжал в поле для охоты или для хозяйственных обзоров, а то осматривал различные заведения при господской усадьбе. И везде сопровождали его доморощенные его казаки, снабженные нагайками. Эти молодые, сильные, бойкие люди имели специальною обязанностью чинить расправу на месте над всяким провинившимся в глазах причудливого и неугомонного барина.

Но расправа над провинившимися всего чаще производилась в самом господском доме. Тут заведовали этой расправою уже другие исполнители барской воли: измайлов-

ские камердинеры постоянно ходили с пучками розог за поясом.

И всем этим исполнителям наказаний: казакам, камердинерам, конюхам — крепко доставалось, если они, как казалось иногда Измайлову, не больно секли провинившихся. Характеристически выразился в своем показании один из несчастных казаков, Иван Лапкин, что, дескать, у него, Лапкина, «почти в том только время проходило, что он или других сек, или его самого секли».

Генерал Измайлов не церемонился наказывать — сечь и бить — людей своих даже при гостях. Несчастных часто истязали в гостиной, в кабинете, в залах, в самой барской спальне. А когда случалось, что люди эти наказывались не под барскими глазами, то все-таки иногда их приводили к барину для того, чтобы он мог наглядно удостовериться, достаточно ли они наказаны.

И не было меры в истязаниях. У иных после наказаний спины гнили по нескольку месяцев, иные, все оттого же, долго-долго чахли в хитровщинском госпитале, иные умирали преждевременно. Недаром в измайловской дворне весьма мало было стариков.

Относительно наказаний измайловским дворовым не доводилось друг другу завидовать: тут все были сравнены. Спрошенные последними следователями крестьяне села Хитровщины показали, что «редкий из дворовых и из них, крестьян, обошелся без какого-нибудь наказания». Да и по делу это видно: не наберешь и десяти человек из дворовых, которые показали бы, что они не были наказаны.

Впрочем, тут были и своеобразные оттенки.

Чаще и больше всего подвергались истязаниям те люди, которые по должностям своим стояли ближе других к барину; но, по крайней мере, им шло хорошее содержание, они могли утешаться даже некоторой роскошью, а притом у них редко наказания розгами, палками и плетьми сопровождались другими, тоже чрезвычайно тяжелыми истязаниями. Пролетарии же хитровщинской дворни, попадая под розги, плети и палки, почти всегда с тем вместе подвергались и другим мукам: на них надевали, по большей части на долгое время, рогатки, ножные железа, так называемые стулья, их сажали на стенные цепи, у них отнимали их жалкое, скудное имущество, какую-нибудь коровенку, какую-нибудь домашнюю птицу, полусгнившие до-

мишки, даже одежду и обувь, им уменьшали ежедневную пищу, их употребляли в невыносимые работы.

Наказывались же люди за все про все.

Так, собаки — борзые, гончие, лягавые — так, лошади упряжные и верховые, так, домашний скот: коровы, овцы, свиньи, так, зверь для псовой травли: лисицы, волки и даже невинные зайцы, так, даже петухи и куры бывали причиною многих истязаний.

Сорвется, например, у Семена Краснухина борзая собака со своры — и дерут его арапниками так, что спина у него гниет полтора месяца; а в другой раз не успел он же, Краснухин, обскакать болото, а оттого заяц ушел — и за это высекли неловкого псаря форейторской плетью, от какового наказания пролежал он в больнице долгое время. Привел Макар Жаринов из зверинца десяток зайцев для садки[32], но один из них вовсе не побежал: за такую покорность судьбе со стороны зайца высекли Жаринова плетьми да надели ему на шею рогатку, а на другой день опять высекли и посадили на стенную цепь. У Никиты Жукова борзая собака выбежала из круга; у Никиты Колкунова собаки перекусались; сзади Ермила Юсова собака вдруг взвизгнула,— и Жуков, Колкунов, Юсов были жестоко наказаны. У Павла Белова борзая собака кашлянула. Измайлов спросил: «Отчего это?» А Белов отвечал: «От волоса и от цепей». Но Измайлов возразил, что он не приказывал держать борзых собак на цепях. И за ответ свой, в котором барин нашел, должно быть, какой-нибудь намек, пришлось Белову носить мучительную рогатку. Лягавые собаки съели как-то трех кур — и Епифан Жатой был высечен за это плетью, да к тому же надета на него рогатка. Мальчик дворовый, кормивший щенков, в один и тот же день был высечен троекратно за то, что одна из его собак ушибла себе ногу. Двадцать человек из псарей однажды были все пересечены «за недочет собак по шерстям». Да и все вообще псари чрезвычайно часто подвергались наказаниям за собак: за нечистоту, за худобу, за какое-либо повреждение их. А во время охоты в отъезжих полях несчастным псарям этим уже и никак нельзя было уберечься от наказаний: Измайлов придирался к самым ничтожным случаям, чтобы распорядиться тут по-своему. Вот наиболее резкие примеры тому: раз у мальчика-псаренка слетел картуз с головы — и барин пересек за то поголовно всех бывших с ним тогда на охоте псарей своих. А то казак Иван Лапкин трое-

кратно в один и тот же день был высечен за то, во-первых, что лошадь, на которой он был верхом, коснулась хвостом барского экипажа, за то еще, что не заприметил он, Лапкин, лежавшего в борозде пашни зайца, и за то, наконец, что стоял с собаками слишком близко от лошадей, отчего лошади эти могли будто бы зашибить собак.

Конюхам, кучерам, коровникам, овчарам, птичникам, столярам, слесарям да и всем прочим рабочим людям Хитровщинской господской усадьбы было отнюдь не легче: их, как и псарей, наказывали и часто, и жестоко, наказывали и за провинности, и без всякой их вины — «лишь ради того, что барину что-нибудь не так показалось».

Так, другой Краснухин, Никифор, был высечен плетью за то, что у одной лошади его табуна не подстрижены были ноги у копыт. Так, Никифор Мареев — многократно наказанный за нечистоту и худобу лошадей, что, однако, зависело не от небрежности его, а от большой грязи на конном дворе, а также и от недостатка кормов, — сечен был, наконец, казацкими плетьми пять дней сряду, отчего был болен тяжко и «в безумии находился» ровно четыре недели. Но и этим не окончилось его мучение: три года он содержался в хитровщинской арестантской избе, откуда ежедневно посылали его на разные тяжелые работы. Степан Сало, конюх, тоже весьма часто подвергавшийся наказаниям, высечен был, между прочим, и за то, что продержал в поле свой табун более двух часов, да еще за то, что ошибся в летах лошади, когда Измайлов спросил его об этом. Григорий Фетисов многократно был высечен и носил рогатку все за то, что не успевал иногда вычистить всех верховых лошадей. Ермолай Макаров высечен был и за то также, что табун его шел на водопой кучею, а Макар Жаринов, тот самый, который так сильно пострадал за зайца, не побежавшего на садке, подвергся наказанию и за то, что Измайлову показалось, будто у Жаринова одно стремя короче другого и он косо сидит на лошади. <...>

У Якова Мурыгина, когда ему было двенадцать лет от роду и ходил он за птицею, павлин заболел: за это Мурыгин был высечен розгами и «сослан» вместе со своей матерью на поташный завод, где целый год содержался на хлебе и воде, а мать его пробыла на заводе ровно пять лет. Минай Соколов попал в рогатку за то, что у него один баран подошел к колодезю пить после других. <...>

Приказчик Иван Овсянкин, чуть ли не самый доверенный человек Измайлова, когда он поселился окончательно в Хитровщине, все-таки вдоволь натерпелся. Три раза носил он рогатку, а телесно наказан был много раз. Так, например, троекратно в один и тот же день секли его в гостиной за то, что не успел он всю рожь обмолотить до весны. Любопытен следующий случай, относящийся к концу 1825 года: присягали государю-цесаревичу Константину Павловичу, Овсянкин пошел в церковь, но без спроса у барина — и за это, по возвращении домой, тотчас был высечен плетью. Но Овсянкину доставалось и совсем беспричинно: например, какой-то конюх донес барину, что староста деревни Клобучков пьянствовал. Так за то, что Овсянкин не доложил о пьянстве старосты, про которое он, впрочем, ничего не знал, бит он был по зубам, таскан за волосы по полу, и — мало того — высечен розгами. <...>

Лакей Николай Бояринов, лакей Андрей Соколов, казаки: Иван Рыбаловский, Павел Самойлов, Николай Сурков — все люди приближенные к Измайлову, подвергались наказаниям весьма часто, особенно же казаки из нелюбимых Измайловым дедновцев. И престранные иногда были поводы для наказаний вышеупомянутых людей. Так, первый из них был высечен и за то, что не скоро будто бы подал доктору духов для обмытия рук; второй за то, что, прислонившись к стене, замарал кафтан свой мелом; третий — за то, что потакнул земляку своему, дедновскому бурмистру, небольно бил его по щекам, да еще за то, что, насладившись чересчур красной своей жизнью в измайловских казаках, попросился в солдаты; четвертый за то, что получил однажды от воспитывавшейся в барском доме незаконнорожденной дочери помещика Богданова записочку, в которой она просила его дать ей каких-нибудь книжек для прочтения; пятый, наконец, был посажен на стенную цепь за то, что на зов барина не скоро явился, да еще носил он трое суток ножные железа за нюханье табаку...

Замечательное дело: эти приближенные к Измайлову люди оказывались в глазах его так часто виноватыми. Зачем же держал он их при себе постоянно? Почему не заменил их другими из своих крепостных, которых у него было так много, или же, что всего было бы лучше, наемными? Из дела видно, что Измайлов опасался чего-то от своих дворовых; да и еще бы не так: ведь он должен был сознавать, что все эти люди, беспрестанно, жестоко им наказы-

ваемые, не могут не питать к нему ненависти. Поэтому-то, вероятно, жили у него в доме постоянно татарские князья и дворяне-приживальцы, а кроме них он имел много и наемной прислуги... И тем не менее, вокруг него кишела толпа своих крепостных дворовых, которые во всем его обманывали и обкрадывали, которых он презирал и ненавидел, от которых ждал беспрестанно покушений на свою жизнь... Тут несомненно действовала та привычка его приказывать и наказывать, про которую я выше писал: он мог применять ее вполне только к своим крепостным, поэтому-то, должно быть, он и не отпускал от себя этих несчастных... По крайней мере, я знаю только двоих провинившихся из приближенных к нему людей, которых он окончательно прогнал с глаз своих: это, во-первых, Пармен Храбров, а во-вторых, — камердинер Андрей Гущин, который подвергся сильнейшему барскому гневу за то лишь будто бы, что мало окурил фланель, которою завертывали Измайлову ноги...

Здесь следует рассказать с некоторою подробностью об одном орудии наказания, бывшем особенно часто в ходу у генерала Измайлова, то есть — *о рогатках.* Их было в Хитровщинской господской усадьбе *сто восемьдесят шесть.* Иные из них были весом в пять-шесть фунтов[33], а некоторые в десять — пятнадцать и даже в двадцать фунтов; все — о шести рогах, а каждый рог был до шести вершков[34] длиною. Эти рогатки, когда надевались на караемых ими, запирались на шее висячими замками или же просто заклепывались на наковальне. Постичь невозможно даже то, как надевались и укреплялись на шее — особенно же как заклепывались на наковальне — эти страшные, железные, длиннорогие, тяжелые орудия наказания... А между тем несомненно по весьма многим свидетельствам, не говоря уже о самом факте их нахождения в Хитровщинской усадьбе, что измайловские крестьяне и дворовые, как мужчины, так и женщины, действительно носили рогатки по месяцу, по полугоду, даже по году. Есть тоже показание, что один из дворовых <...> ходил будто бы в рогатке сряду восемь годов. Из многих показаний видно, что все, наказывавшиеся рогатками, страдали чрезвычайно от бессонницы. Надо притом заметить, что дворовым людям было гораздо тяжелее от рогаток, чем крестьянам: дворовые были постоянно на глазах у барина, и если попадали в рогатки, то уже никак не могли от них отделаться без барского прощения; но крестьяне иногда сбивали их с себя да уж кстати и истребляли,

отчего, как говорит в своем показании слесарь Сандунов, очень часто приходилось делать новые рогатки. И еще замечательно: рогатки надевались на провинившихся не только по воле самого Измайлова, но и по распоряжениям его приказчиков, его главного псаря, его главного повара, так называемого кухмистера и проч.

* * *

После всего рассказанного, можно легко себе представить, какова была нравственность измайловских дворовых при этом страшном обращении с ними, при этом постоянном и чрезвычайном унижении человеческого их достоинства.

В «объяснении» своем, данном следователю Трофимову (по всей вероятности, составленном самим же Трофимовым, генерал Измайлов так говорит о наказаниях, какие употреблялись у него в отношении дворовых его людей:

«...Хотя люди наказывались телесно и бывали на некоторых рогатки и железа, но могут ли сии наказания или употребление железных вещей назваться строгими и истязательными, когда первые (то есть телесные наказания) производились человеколюбиво и соответственно винам каждого, для единого только страха, а последние (то есть рогатки и другие «железные вещи»), по легкости их, служили только к воздержанию от пьянства, буйства, побегов и прочих поступков и, следовательно, совсем не безвинно. Да сего и по здравому рассудку быть не могло, ибо не должно быть действия без причины... Я предоставляю всякому на рассуждение: где же в государстве не приемлется исправительных и побудительных мер к повиновению каждого установленным властям, обузданию пороков, пресечению разврата, молодости свойственного, и, словом сказать, к поселению во всех, колико возможно, доброй нравственности? И неужели сии меры, во всем согласные с действиями моими, без которых при таком большом количестве людей, какое находится у меня во дворе, и обойтись никак не возможно, суть бесчеловечные истязания, как наименовали сим изречением клеветники, пославшие на меня всеподданнейшую просьбу?..»

Итак, генерал Измайлов, по собственному его мнению, обходился человеколюбиво, чисто отечески с своими крепостными, дворовыми и крестьянами, даже больше того, что он действовал в отношении подвластного ему люда, имея постоянно в виду чуть-чуть не государственные цели! Он наказывал — это правда; он наказывал всячески, то есть плетьми, розгами, палками (недаром он умалчивает про орудия наказаний), у него употреблялись и так называемые «железные вещи», уже давно законом воспрещенные, но ведь все это он делал «для обуздания пороков, для пресечения разврата, молодости свойственного, для поселения во всех, колико возможно, доброй нравственности»!.. И выходит, что этот генерал Измайлов, живущий после отставки своей от государственной жизни у себя в имении чисто патриархально, на русский лад, замечательный общественный деятель, которому и правительство, и общество обязаны величайшей благодарностью... Невольно охватывает вас чувство сильнейшего негодования при чтении этого красноречивого произведения приказного дельца того времени.

Плоды великолепные принесла измайловская система обуздания и пресечения пороков, поселения во всех доброй нравственности. В просмотренном мною деле беспрестанно встречаются указания на изветы, доносы, клеветы хитровщинских дворовых людей друг на друга. А пьянство, воровство, обманы всяческие, разврат были развиты между этими людьми до чрезвычайной степени.

Но не одни дико произвольные, бесчеловечные «исправительные и побудительные» меры, не одни наказания довели эту громадную дворню до такого состояния. Сам генерал Измайлов как бы сознательно и систематически развращал ее. Это — ничуть не натянутое заключение с моей стороны: есть факты, неминуемо к нему приводящие.

Во-первых, измайловским дворовым людям положительно и строжайше было запрещено от барина вступать в браки.

Во время похода генерала Измайлова с рязанским ополчением за границу управляла имением его госпожа Д-ва. Вероятно, из ревности в иных случаях, а то уж бог весть по каким расчетам она переженила в Хитровщине некоторых из дворовых людей. Так, например, дозволила она Николаю Лебедеву жениться на дворовой девушке. По возвращении Измайлова из похода Николай Лебедев, в наказание за этот брак, был отослан в работу на винокуренный завод, а жена

его отправлена на поташный. Через три месяца после того генерал изволил простить Лебедевым их великую провинность, но с тем вместе приказчик объявил мужу строжайшее приказание барина, чтобы он отнюдь не имел свиданий с женою. А как видно, Лебедевы любили друг друга: они переступили-таки строжайшее барское приказание и иногда виделись по ночам, и, конечно, в такой мерзостной дворне, какова была хитровщинская, нашлись люди, донесшие об этом,— несчастный муж за такое новое свое преступление подвергся жесточайшему наказанию... Другой брак, совершенный во время заграничного похода Измайлова, еще замечательнее: по распоряжению г-жи Д-вой дворовая девушка была выдана насильно замуж за отъявленного пьяницу, конюха Шерстнева, который и сам не очень-то хотел жениться; по окончании брачного обряда Шерстневы, как только вышли из церкви, тотчас же разошлись в разные стороны. Шерстнева чувствовала к мужу глубокое отвращение; она сама заявила при следствии, что по этому именно отвращению и теперь никак не может жить с мужем. Тем не менее, однако, Измайлов и Шерстневых наказал за брак: мужа сослал на винокуренный завод, а жену — на поташный, где они и оставались постоянно, не удостоиваясь барского прощения.

Во время производства последнего следствия, незаконнорожденных в Хитровщинской усадьбе оказалось с лишком *сто* человек, что по отношению к общему числу хитровщинских дворовых (около пятисот человек обоего пола) представляло чрезвычайно значительную цифру. Надо, впрочем, заметить к чести измайловских дворовых, что некоторые из них, и преимущественно из дворовых-пролетариев, весьма тяготились тем, что через недозволение жениться были доведены они до разврата. Только аристократы дворовые, должно быть, были довольны этим всеобщим развратом в дворне: они, подобно своему барину, имели у себя любовниц и нередко вместе с ними угощались из барского погреба.

Даже крестьяне генерала Измайлова могли вступать в браки только по особым от него дозволениям. Но дозволения эти давались очень редко, а оттого и в деревнях измайловских сильно был развит разврат.

Измайлов, повторяю, как будто сознательно, преднамеренно добивался того, чтобы так именно шли у него дела в дворне и в деревнях: во-первых, он нисколько и никогда

не взыскивал за блудные связи своих дворовых, если только не были замешаны тут те несчастные женщины, которые служили для его собственных барских наслаждений, а во-вторых, он даже поощрял разврат. По крайней мере, вот случай, который разительно подтверждает последнее заключение: в то самое время, когда только что началось дело Измайлова с его дворовыми людьми, вытребована была в село Хитровщину и размещена по дворовым и крестьянским избам рота Ярославского пехотного полка. А вскоре затем замужняя бабенка, крестьянка, свела связь с одним из солдат, да к тому же стала и приворовывать в своей семье: так, однажды украла она у своих домашних два холста, которые и передала своему любовнику-солдату; домашние не стерпели наконец, пожаловались барину: но барин дал бабенке золотой с таким наставлением, чтобы часть из этого золотого употребила она на расплату за покраденные холсты, а затем остальные деньги взяла бы себе, должно быть, в виде награды за хорошее поведение в семье.

Впрочем, у Измайлова была как будто и экономическая причина для запрещения дворовым людям жениться: он говаривал, что «коли мне переженить всю эту моль (т. е. дворовых), так она съест меня совсем». Само собою разумеется, что, как умный человек, он не должен бы был сам верить такой причине: ведь дворовые у него хоть и не женились, а все-таки обильно плодились; да и вольно же ему было держать столько этой «моли», дворовых.

Что же касается до недозволения собственно крестьянам жениться, то для этого не было уже никакого основания. Напротив, не говоря уже о нравственном вреде, через это самое недозволение наносился крестьянам весьма существенный вред и в экономическом отношении. Известно, что в крестьянском семейном быту браки совершаются при твердом соображении рабочих сил семьи; женщина, вступающая через брак в крестьянскую семью, увеличивает ее силы для предлежащего ей труда; без браков же рабочие силы в семействах измайловских крестьян должны были неминуемо сокращаться. Но уж таков был барский произвол Измайлова, руководимый тоже, по всей вероятности, и особенным развратным расчетом.

Предположение, что Измайлов как бы сознательно, преднамеренно развращал свою дворню, подтверждается и еще следующим особо характеристическим обстоятельством

Он не хотел, чтобы его дворовые люди ходили в церковь... и это нежелание его было равнозначительно прямому запрещению... Было ли все это у Измайлова следствием вольнодумства или же — следствием крайней ожесточенности в порочной жизни, определить этого я не возьмусь. Впрочем, кажется, что второе предположение будет вернее. Если бы Измайлов был отъявленным вольнодумцем, так не было бы того, на что достоверно указывают его камердинеры и священнослужители села Хитровщины: по словам камердинеров, Измайлов хоть и редко и мало, а все-таки иногда молился (обыкновенно по утрам); по словам же лиц церковного причта, в доме у него под большие праздники производилось богослужение. Вольнодумство тогдашнего времени у многих лиц высшего общества было почерпнуто из французских философских сочинений восемнадцатого столетия. Но генерал Измайлов, как показывали последним следователям приближенные его люди, никогда и ничего не читал, да и книг у него в доме вовсе не было. Стало быть, он и в отношении религиозном просто-напросто капризничал и самодурствовал.

И самодурство его не знало тут пределов... Однажды, объезжая господские поля, Измайлов заметил, что один молодой крестьянин, бывший на барщинной работе, кормит лошадь свою овсом, и, почему-то вообразив, что этот овес непременно господский, что он украден тем крестьянином, он тотчас же приказал надеть на бедного мужика рогатку. Когда возвращался он после этого домой, подошел к нему отец наказанного парня и стал просить о помиловании... ради Христа. На последнюю мольбу Измайлов выразился так богохульно, что я считаю невозможным привести здесь эти слова...

Этот случай произвел чрезвычайное впечатление на дворовых, тут находившихся, и оно осталось в памяти их в несколько мистической форме. Дворовые показывают, что лишь только произнес генерал свои богохульные слова, как весь шестерик лошадей его экипажа, лошадей, отлично выезженных, обыкновенно очень смирных и управляемых сильным, знающим свое дело кучером, внезапно взбесился и начал страшно бить, что насилу могли остановить его...

* * *

Истинно страшна была участь дворовых девушек, находившихся при господском доме в Хитровщине. Самым насильственным, наглым, варварским, подлым образом губилась тут их молодость, их красота, их честь, их человеческое достоинство, даже их здоровье.

И днем и ночью все они были на замке. В окнах их комнат были вставлены решетки. Несчастные эти девушки выпускались из этого своего терема или, лучше сказать, из постоянной своей тюрьмы, только для недолговременной прогулки в барском саду или же для поездки в наглухо закрытых фургонах в баню. С самыми близкими родными, не только что с братьями и сестрами, но даже и с родителями не дозволялось им иметь свиданий. Бывали случаи, что дворовые люди, проходившие мимо их окон и поклонившиеся им издали, наказывались за это жестоко.

Многие из этих девушек — их было всего тридцать, число же это, как постоянный комплект, никогда не изменялось, хотя лица, его составлявшие, переменялись весьма часто,— поступали в барский дом с самого малолетства, надо думать, потому, что обещали быть в свое время красавицами. Почти все они на шестнадцатом году и даже раньше попадали в барские наложницы,— всегда исподневольно, а нередко и посредством насилия.

Но и после того в этом положении наложниц, даже когда Измайлов привыкал к иным из них в течение нескольких лет, он ничуть не щадил их. За малейшую провинность, за провинность, значение и степень которой определялись жестокой прихотью, бедные девушки подвергались, наравне с мужским населением хитровщинской дворни, наказаниям не только розгами, но и плетьми, и палками, и рогатками.

Часто и вырывались они из своего мрачного, страшного терема, но вместе с тем попадали в положение чуть ли еще не более бедственное: их ссылали на суконную фабрику или на поташный завод, где они терпели вдоволь и холоду и голоду, где даже не имели они достаточной одежды. И такому бедственному концу своей горькой доли подвергались они за то, например, что повидались тайком с родственниками, или же за то, что на лукавый вопрос барина: «Не желают ли они совсем от него домой?» — простодушно отвечали, что «очень того желают». Те же из этих несчастных, которые утрачивали свою красоту или же постоянно болели, отсыла-

лись в богадельню, которая, как выше было показано, стоила тоже всякой тюрьмы.

Считаю нужным привести здесь несколько наиболее разительных примеров участи этих заключенниц Хитровщинской господской усадьбы, обойдя, впрочем, многие подробности, особенно же касающиеся начала их грустной «карьеры».

Любовь Каменская, родная сестра Пармена Храброва, с самого рождения своего находилась в барском доме. На тринадцатом году она попала в наложницы... а ровно через два года после того неизвестно по какой причине была отправлена в прачечную, где провела семь лет; но и оттуда сослали ее — кормить свиней. Каменская однажды была высечена при целой сходке плетьми и так жестоко, что была поднята замертво, а провинилась она тогда тем, что ходила в гости к повару; в другой раз двое суток она содержалась на стенной цепи, уже не за свою вину, а за то, собственно, что генерал Измайлов прогневался на братьев ее, Храбровых, начавших иск свой о свободе; тут же не дозволено было никого к ней пускать, даже малого ее ребенка.

Авдотья Чернышева четыре года была наложницей, попавши в это положение на шестнадцатом году... Вместе с прочими девушками и она содержалась за замками и решетками, но «по слабому смотрению в тогдашнее время», сошлась она с каким-то дворовым человеком и забеременела от него. За это Измайлов сослал ее на поташный завод. Через несколько времени она попросилась жить у себя дома — и за такую просьбу была наказана палками, а в то же время надеты были ей на ноги колодки, с которыми и ходила она на работу два или три дня.

Акулина Горохова на пятнадцатом году стала наложницею... Впрочем, Измайлов тотчас же отпустил было ее домой. На семнадцатом году назначили ее в прачечную. Как-то Измайлов собирался ехать в Москву и брал Горохову как прачку с собою; тогда она попросила, чтобы барин позволил ей взять ее ребенка или же приказал, по крайней мере, чтобы в Хитровщине выдавали ему на прокормление молока. За эту просьбу попала она в рогатку и сослана была на поташный завод. А то еще раз носила она рогатку целые полгода и работала на кирпичном заводе за то, что ходила по лугу с двоюродным своим братом.

Лукерья Горшкова и Анна Разинова, родные сестры, по временам были принуждены вместе переносить свой позор...

Что это нелегко им было, доказывает то именно, что, хоть и порознь спрошенные, они обе умолчали о таком факте...

Обе они подвергались тоже разным наказаниям, а между прочим, были высечены арапником и за то, что хаживали прясть к г-же Д-вой, любовнице Измайлова. Наконец, Лукерья Горшкова попала на суконную фабрику, а сестра ее Анна Разинова, видно менее выносливая,— в богадельню.

Несколько легче была участь двух других родных сестер: Марьи Кузнецовой и Катерины Орловой.

Марья Кузнецова, мать Николая Нагаева, о котором выше было рассказано довольно подробно, семь лет сряду была наложницей Измайлова и, по ее словам, во все это время пользовалась милостями барскими: получала жалованье, имела прислугу. Но заметив наконец, что барин уже не хочет иметь ее наложницею, она попросила выдать ее замуж. Измайлов было согласился и предложил ей в мужья старого человека, но она стала просить выдать ее за «ровню» — и он отказал. Тогда она свела связь с дворовым человеком. Узнав об этом, Измайлов очень прогневался, собственноручно высек Кузнецову и отправил ее в село Дедново, где три с половиною месяца содержалась она под караулом, а затем была сослана в деревню Кудашеву, где и жила постоянно с своей матерью, получая месячную дачу и не неся притом никакой работы.

Сестра ее, Катерина Орлова, три года была наложницею барина, а потом была выдана замуж беременною.

Несомненно, что обе эти сестры перед другими девушками Хитровщинской господской усадьбы могли казаться счастливыми уже потому, что участь их окончилась в крестьянском семействе.

Авдотья Коноплева, Наталья Загрядская, Ольга Шелупенкова, Аграфена Шанская — все наложницы Измайловские неоднократно подвергались наказаниям. <...>

Марья Ахахлина, взятая в господский дом десяти лет от роду, поступила в барские наложницы на пятнадцатом году. Об участи Ахахлиной известна одна только подробность: как-то заболела она, и ее отправили в хитровщинский лазарет, в то же время мать ее была сослана в деревню Клобучки, где, по приказу барина, все имущество обеих Ахахлиных, матери и дочери, было выброшено из избы, а вся их скотина была отнята и выгнана в поле. За что именно последовало

такое разорение хозяйства бедных женщин, о том в показаниях дворовых не объясняется.

Но особенно страшна участь двух сестер Хомяковых и Нимфодоры Хорошевской.

Старшая из сестер Хомяковых, Афросинья, та самая *игрица*, которая великодушным заступничеством своим спасла жизнь внука крестьянина деревни Кашиной Евдокима Денисова, была взята в господский дом тринадцати лет от роду и через месяц после того Измайлов растлил ее насильно: «Она не хотела идти к нему для его прихотей, но среди бела дня притащили ее к барину из комнат его дочерей двое лакеев, зажав ей рот и избив плетью». Четырнадцать лет сряду Афросинья Хомякова была наложницею Измайлова — и в этом положении, пользуясь всем барским фавором, ознакомилась-таки и со всеми прелестями жизни в Хитровщинской господской усадьбе. Многократно была сечена она розгами и плетьми, а раз целую неделю носила рогатку. Наконец надоела ей, как видно, до нестерпимости эта жизнь, дикая смесь непрерывного разврата и разгула со всяческими истязаниями, с величайшим унижением человеческого достоинства, и она, по словам матери, вместе с прочими девушками, а есть основание полагать, что во главе их, обратилась к барину с настойчивою просьбою о дозволении их родственникам видеться с ними хоть сквозь решетку окна. За это *преступление* Афросинья тотчас же была наказана пятьюдесятью ударами плети, сослана на поташный завод и употреблена во всякие тяжелые работы. При этом она получала в пищу один только хлеб, а одежды уже вовсе ей не выдавалось. На поташном заводе она должна была вместе с родной своей сестрой Марьей каждодневно принести сто ушатов воды, столько же коробов сухой золы из чанов. Эта тяжкая, поистине египетская работа была до того не по силам сестрам Хомяковым, что весьма часто делались с ними обмороки. Но и в таком страшном положении Афросинья, как видно, не совсем еще утратила жизненные силы,— недаром же в свое время она была первою из измайловских игриц: молодость взяла свое, и несчастная женщина, на большую беду себе, свела связь с проживавшим в хитровщинской усадьбе вольным человеком. Узнав об этом, генерал Измайлов велел наказать ее ста ударами плетей. Тогда же и за то же преступление Афросиньи мать ее была сослана в деревню, а третья сестра, должно быть некрасивая лицом, или же совсем еще малолетняя, взята была на суконную фабрику.

Однажды Измайлов осматривал поташный завод. На ту пору Афросинья Хомякова была больна и не находилась на работе. Измайлов приказал немедленно притащить ее, оттаскать за волосы и, невзирая на действительную болезнь, заставил ее работать. Афросинья Хомякова показала при следствии, что мужчины и женщины, находившиеся на поташном заводе под наказанием, осенью, в холодное время, посылались чистить реку, в которой должны были обнажаться до пояса. На эту работу нередко выезжал смотреть сам барин. Вид всех этих несчастных доставлял ему много, должно быть, удовольствия: смотря на них, Измайлов обыкновенно смеялся. Афросинья же показывает, что, когда она еще была наложницею барина, «по окончании прихотей своих», от отсылал ее от себя иногда с насмешками и ругательствами. Надо заметить при этом, что, когда шло следствие советника Трофимова, при всей уверенности в направлении его, Измайлов все-таки не приказал допускать к допросу Афросинью Хомякову: он опасался, «что она уж слишком много наболтает».

Сестра Афросиньи Хомяковой, Марья, была взята в господский дом на тринадцатом же году, а через год сделалась наложницею Измайлова, конечно, не по воле своей. Она тоже вдоволь натерпелась: так, однажды высекли ее плетью за то, что покраснела от срамных слов барина, а в другой раз подверглась такому же наказанию за то, что в окно дождем набрызгало. Пребывание ее в измайловском гареме окончилось вследствие одного замечательного случая: воспитывавшаяся в доме Измайлова дворянка Ольга Богданова написала тайком письмо к своей матери. Марье Хомяковой поставлено было в вину, что она не донесла об этом. Она была наказана двадцатью пятью ударами плети и затем, тотчас же, сослана в тяжелые работы. Тут свела она связь с дворовым человеком и сделалась беременною. Узнав об этом, Измайлов приказал надеть на нее рогатку. На другой день после того он осматривал, по обыкновению, свои заведения и увидал Марью Хомякову в рогатке. Но ему показалось, что рогатка эта слишком легка, в ней было весу только пять фунтов. «Надо дать ей такую, от которой она издохла бы в три дня!» — изволил промолвить Измайлов, и на несчастную немедленно же надели рогатку весом в десять с четвертью фунтов. И ровно три месяца носила Марья Хомякова эту мучительную рогатку, которая стерла ей шею до крови. Брат Афросиньи и Марьи Хомяковых, Федор Хомяков, иногда приносил им

из дому обедать. Об этом донесли барину: Федора Хомякова высекли розгами и сослали пасти овец.

Нимфодора Харитоновна Хорошевская (*Нимфа*, как называли ее в своих показаниях дворовые люди, вероятно, по примеру барина) родилась в то время, как мать ее содержалась в барском дому взаперти, за решетками... Измайлов растлил ее четырнадцати лет от роду. Она напоминала ему при этом, что крещена его матерью. Страшно циническое, мерзостное выражение его «Нимфе» невозможно здесь привести... В тот же день Нимфу опять позвали в барскую спальню. Измайлов стал допрашивать ее: кто виноват в том, что он не нашел ее девственною? Подробности объяснений бедной девушки о ее невинности, о том, что сделал с нею сам барин, когда она была еще ребенком лет восьми-девяти (все это подробно изложено в показании Нимфодоры Хорошевской, данном последним следователям) — слишком возмутительны для передачи в печати... Барский допрос нехорошо кончился для Нимфы: сначала ее высекли плетью, потом арапником и в продолжение двух дней семь раз ее секли. После этих наказаний три месяца находилась она по-прежнему в запертом гареме Хитровщинской усадьбы и во все это время была наложницею барина. Наконец он приревновал ее к кондитеру. Кондитер этот был немедленно отдан в солдаты, а Нимфа, по наказании ее плетьми в гостиной, трое суток просидела на стенной цепи в арестантской. Затем она была сослана на поташный завод в тяжелые работы, где и пробыла семь лет. На третий день по ссылке на завод остригли ей голову. Через несколько месяцев попала она в рогатку за то, что поташу вышло мало. Рогатку эту она носила три недели. С поташного завода перевели ее на суконную фабрику, и тогда же Измайлов приказал ей выйти замуж за простого мужика. Но Нимфа не согласилась и за то трое суток была скована. Наконец с суконной фабрики ее сослали в деревню Кудашеву, где, конечно, должна была она несколько отдохнуть от своей каторжной жизни у Измайлова.

Из показаний других хитровщинских заключенниц оказывается, что генерал Измайлов был тоже гостеприимен по-своему: к гостям его всегда водили на ночь девушек, а для гостей значительных или же в первый раз еще приехавших выбирались невинные, хотя бы они были лет двенадцати от роду. И тут не обходилось без всяческого горя для этих несчастных жертв грубейшего помещичьего разврата: так, солдатка Мавра Феофанова рассказывает, что на трина-

дцатом году своей жизни она была взята насильно из дому отца своего, крестьянина, и ее растлил гость Измайлова, Степан Федорович Козлов. Она вырвалась было от этого помещика, но ее поймали и, по приказанию барина, жестоко избили палкою...

* * *

Замечательное дело: находились дворяне, которые отдавали детей своих, мальчиков и девочек, в дом Измайлова на воспитание. Правда, нет ни одного показания, из которого можно было бы заключить, что Измайлов с принятыми им на воспитание девочками, по возрасте их, поступал так же, как с своими крепостными девушками. Но сомнительно, чтобы не действовала на таких воспитанниц самым пагубным образом та страшно растленная сфера, в которой они постоянно находились в измайловском доме. Если не прямо, то по на́слуху, конечно, доходило до них многое, что неминуемо должно было иметь вредное влияние в нравственном отношении. Да и то надо заметить: в числе лиц, составлявших штат Хитровщинской господской усадьбы, не было вовсе ни гувернеров, ни гувернанток, ни простых каких-нибудь учителей, а выше было уже указано, как на ту общую характеристическую особенность дома генерала Измайлова, что в нем нельзя было найти ни одной книжки, так и на частный случай, когда измайловская воспитанница, дворянка Ольга Богданова, обратилась с просьбой достать ей каких-нибудь книг для прочтения к ка́заку Павлу Самойлову, который и понес наказание за такую блажь барышни. Стало быть, дом измайловский ничуть не был снабжен какими-нибудь образовательными средствами. В чем же после этого заключалось *воспитание* всех этих несчастных мальчиков и девочек, которых родители их, дворяне, отдавали к Измайлову?.. Нельзя не пожалеть, что этот факт не разъяснен нисколько последними следователями.

Воспитанницы Измайлова, жившие вместе с побочными дочерьми его от госпожи Д-вой, содержались, как и эти дочери, точно в тюрьме: на ночь их запирали; днем не смели они никуда выйти, только весною и летом, с особого дозволения Измайлова, выпускали их в сад на недолгую прогулку; в церковь они тоже не могли ходить. Хорошо бы-

ло то, по крайней мере, что их не заставляли участвовать в каких-нибудь забавах и увеселениях Измайлова. Вообще он держал всех этих девушек весьма строго, по-своему оберегая их честь и нравственность. Так, например, никто из мужчин в Хитровщинской усадьбе не смел показываться в терему барышень, даже никто, проходя по двору мимо их комнат, не смел оглянуться на окна. Отъезжая в Москву на зимнее житье, Измайлов брал с собою, обыкновенно, и дочерей и воспитанниц своих; и вот в дороге они оберегались от мужского глаза точно так же, как и дома: экипаж их закрывался наглухо, а когда надобно было им выходить из него на почтовых станциях,— все мужчины генеральской свиты должны были далеко отходить в сторону. <...>

Старшая дочь Измайлова от Д-вой, Анна Львовна, была чрезвычайно худощава и постоянно жаловалась на боль в груди и в боку. Камердинер Николай Птицын, всего больше сообщивший сведений об Анне Львовне, предполагал, что болезнь ее зависела как оттого, что она всегда находилась взаперти, так и от «суровых поступков отца с нею».

Странны как-то, загадочны эти суровые поступки...

Приближенные к Измайлову люди и некоторые дворовые девушки не раз видали, что Анна Львовна, выходя из спальни отца, куда каждое утро должна была приходить, чтобы поздороваться с ним, горько плачет... Часто слыхали эти люди, что он грозит сослать ее в монастырь, что ругает самыми мерзкими словами, теми именно, которыми русский народ так опоганил свой прекрасный язык... Мало того, он угрожал ей не раз и плетьми, и однажды, при камердинере Птицыне, даже принесены были для нее плети, но, став на колени, она упросила-таки помиловать ее... Впрочем, часть дисциплинарных мер, бывших в таком ходу в Хитровщинской усадьбе, была вполне знакома Анне Львовне: однажды она была заперта на несколько дней в темный чулан, а то нередко доводилось ей оставаться на хлебе и воде.

За что же так часто и так сильно гневался Измайлов на свою старшую дочь, девушку по прекрасным качествам ее ума и сердца вполне достойную родительской любви? Тут есть какая-то тайна, не разъясненная вовсе следствием, и, может быть, хорошо, что не разъясненная... <...>

* * *

Я уже говорил, что по возвращении генерала Измайлова из заграничного похода, а особенно после того, как он окончательно поселился в Хитровщине, положение его дворовых людей сделалось гораздо хуже прежнего. Оно и не могло быть иначе. По свидетельству наиболее приближенных к Измайлову людей, в то время «он уже редкий день был не во гневе».

Невоздержанная жизнь привела за собою неотвязную, все чаще и чаще мучившую его подагру. При тяжких припадках ее, изменивших прежний порядок жизни, когда он, бывало, часто покидал свой дом, отправляясь в разные города, разъезжая в гости по соседям, когда он вообще кутил, гулял и веселился,— всё скучней и скучней становилось для него однообразное деревенское житье-бытье.

Мрачны должны были быть его воспоминания о прежней широкой, влиятельной общественной деятельности, так удовлетворявшей его самолюбию, его привычке командовать.

Еще мрачнее должны были быть его воспоминания о жизни своей, проведенной в необузданном разврате, в постоянном мучительстве для многих. Недаром камердинеры его, к великому своему изумлению, видели иногда, как он, этот отъявленный вольнодумец, дерзкий богохульник, ожесточенный до того, что всех своих домашних не допускал до молитвы,— молится поутру у себя в спальне. Но эти порывы сознания, раскаяния не унимали его яростной раздражительности. <...>

В старости и в болезни Измайлов не изменился душою, хоть и терзали ее по временам упреки совести. Воля его все оставалась развращенною, жестокою, страшно дерзкою. Гулять и веселиться, как прежде гуливал и веселился, было ему уже не под силу. Зато тем больше желал он командовать, приказывать и наказывать — и в этом только искал себе развлечения и от скуки, и от душевной тоски. <...>

Тогда особенно терпели наиболее приближенные к нему люди, постоянно находившиеся у него на глазах: почти каждому из них доставалось тогда на долю какое-нибудь наказание. Положение всех этих приближенных к Измайлову людей со времени его домоседства в Хитровщине, сделалось действительно невыносимым — и вот они-то

именно и затеяли дело, которое должно было наконец унять неугомонного помещика. <...>

Мне остается рассказать немногое только о том, как отнеслась к измайловскому делу тогдашняя судебная власть. <...>

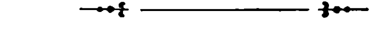
...Измайловское дело было рассмотрено во 2-м отделении шестого департамента правительствующего сената. Решением своим сенат полагал:

«Как имение Измайлова уже взято в опеку и сам он, по образу обращения его с своими людьми, не может быть допущен до управления того имения, то оное оставить в опеке; и хотя было бы неуместно иметь Измайлову пребывание в своем имении, но так как он, по уважению к его тяжкой болезни, оставлен в настоящем месте пребывания, то дозволить ему находиться там до выздоровления». <...>

Так кончилось измайловское дело... Сам Измайлов, несмотря на высочайшее повеление о высылке его в Рязань или в Тулу, все-таки до самой смерти своей прожил в Горецкой усадьбе.

Измайлов умер в 1834 году, в сельце Горках, а похоронен в селе Деднове.

Комментарии



Илья Васильевич Селиванов

ПЕРЕВОЗ

Рассказ

Печатается по тексту первой публикации в журн. Современник, 1857, № 2.

[1] *Гашник* — шнурок, продернутый в верхней части штанов.

[2] *Целовальник* — продавец в питейном заведении.

[3] *Откуп* — исключительное право на продажу вина, предоставлявшееся государством за определенную плату частным лицам.

[4] *Подорожная* — проездное свидетельство при езде «по казенной надобности», дававшее право на внеочередное обеспечение лошадьми, пользование переправами и т. д.

[5] *Исправник* — глава уездной полиции.

[6] *Открытое предписание* — письменное распоряжение, приказ на расследование какого-либо дела.

[7] *Чуйка* — длинный, до колен, суконный кафтан.

[8] *Красненькая* — ассигнация десятирублевого достоинства.

[9] *Я мещанин... и без депутата, вы, то есь, спрашивать меня не можете-с.* — Депутатом в царской России называлось лицо, избираемое отдельным сословием (мещанством, дворянством, крестьянством и т. п.) и посылаемое для порученных ему сословных дел.

[10] *Сотник* — офицерский чин в казачьих войсках русской армии, соответствовавший чину поручика в регулярных войсках. Здесь — в значении выборного лица от сотни крестьянских дворов.

[11] *Десятник* (десятский) — выборное должностное лицо из крестьян для выполнения полицейских и других общественных обязанностей. Обычно избирался на десять крестьянских дворов.

[12] *Удельные земли* — земли, составлявшие собственность царской семьи.
[13] *Арапчик* — голландский червонец.

ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Рассказ

Печатается по тексту первой публикации в журн. Современник, 1857, № 4.

[1] *Сотский* — выборное от ста дворов должностное лицо для выполнения общественных и полицейских обязанностей.
[2] *Становой пристав* — полицейское должностное лицо, заведовавшее *станом* (административно-полицейским округом из нескольких волостей; в уездах было по два-три стана). Назначался губернатором, подчинялся исправнику.
[3] *Стряпчий* — чиновник, занимавшийся контролем за правильностью хода следственных и судебных дел.
[4] *Непременный* заседатель — должностное лицо, принимавшее участие в работе местных судебных учреждений. *Непременный* чин обладал правом решающего голоса в присутственном месте (суде и т. д.).
[5] Имеется в виду распространенная немецкая песня «Мой милый Августин» на мотив вальса — типичное выражение духа немецкого мещанства с его пошлой сентиментальностью.

ПОЛЕСОВЩИКИ

Рассказ

Печатается по тексту первой публикации в журн. Современник, 1857, № 4.

[1] *Притоманно* — истинно, подлинно.
[2] *Тазать* — журить, бранить, бить, таскать за волосы.
[3] *Роспуски* — дроги для возки дров и другой клади.
[4] *Щечить* — теребить, тормошить, таскать украдкой.
[5] *Треуха съесть* — получить оплеуху, пощечину.
[6] *Облыжной* — лживый.

ОПЕКУНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рассказ

Печатается по тексту первой публикации — Современник, 1857, № 5, отд. 1, с. 5—42.

[1] *Опека* — официальный надзор, учреждавшийся правительством для попечения о лице или имуществе. В царской России опекунские управления организовывались по сословному принципу: дворянское, купеческое и т. п. Опека назначалась в случаях несовершеннолетия или сумасшествия владельцев и наследников, нарушения владельцами гражданского права, затянувшихся между наследниками споров о разделе имения. Если в завещании владельца имя опекуна не называлось, то опекуны избирались и назначались опекунским управлением. Чиновники опеки часто злоупотребляли своим служебным положением.

[2] *Губернское правление* состояло из присутствия под председательством губернатора и вице-губернатора, занималось обсуждением вопросов, касающихся администрации губернии, а также судебными делами — например, отдачей чиновников под суд.

[3] *Присутствующими* назывались чиновники опеки, уездного суда, принимавшие участие в официальных заседаниях того или иного учреждения («присутствиях»).

[4] Имеется в виду губернская судебная палата по гражданским делам.

[5] *Столоначальник* — здесь чиновник губернской палаты, зведовавший «столом», т. е. особым разрядом дел.

[6] *Предводитель* — здесь уездный предводитель дворянства, избиравшийся сроком на три года. Являлся официальным председателем дворянского опекунского управления. При отсутствии уездного предводителя его должность временно исправлял уездный судья.

[7] *Заседатель* — выборное лицо, присутствующее в судебном учреждении наряду с «коронными» судьями.

[8] *Благоприобретенное имущество* — имущество, приобретенное личным трудом и средствами, а не по наследству.

[9] *Выкуп* — здесь имеется в виду так называемый «родовой выкуп», т. е. право родственников выкупить недвижимость, проданную постороннему лицу. В этих случаях заинтересованный в продаже человек умышленно завышал официально объявленную стоимость недвижимого имущества.

[10] *Начет* — недочет, растрата, обнаруженная при проверке счетов и подлежащая компенсации.

[11] *Бургомистр* — представитель купеческого сословия, выбранный из его среды. В России это звание было введено Петром I.

[12] *Темляк* — серебряная тесьма с кистью, навязанная на рукоятку шпаги.

[13] *Журнальное постановление* — т. е. протокольная запись в специальном журнале заседаний уездного суда или другого учреждения.
[14] *Дудки* — шахты, колодцы в рудниках.
[15] *Вагранки* — печь, употребляемая для вторичной расплавки чугуна для отливки мелких изделий.
[16] *Исправник* — начальник уездной полиции.
[17] *Задельная плата* — поштучная плата рабочему за изготовленное им изделие.
[18] *Заторжка* (приторжка, приторгованье) — предварительные условия продажи и покупки. *Заторжная цена* — начальная цена, не последняя, не окончательная, хотя и с уступкою против запросной цены.
[19] *Кричный молот* — тяжелый молот, с помощью которого переплавленное на древесном угле железо обращалось в полосы.
[20] *Вешняки* — подъемные ворота в плотинах.
[21] *Флюс* — известковое вещество, примешиваемое к руде для лучшего плавления.
[22] *Заподряд* — договор на поставку чего-либо.

Степан Тимофеевич Славутинский

МИРСКАЯ БЕДА

Рассказ

Впервые — Современник, 1859, № 6, печатается по изд. Повести и рассказы С. Т. Славутинского. М., 1860.

[1] Кличка, данная по аналогии с шутом Балакиревым, излюбленным героем народных лубочных картин.
[2] *Свековать* — отжить, состариться.

ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ТРИФОНА АФАНАСЬЕВА

ПОВЕСТЬ

Впервые — Современник, 1859, № 9. Печатается по изд. Жизнь и похождения Трифона Афанасьева. Повесть С. Т. Славутинского. М., 1860.

[1] *Урекать* — укорять, попрекать.

[2] *Родимец* — эпилепсия.
[3] *Отава* — трава, в тот же год выросшая на месте скошенной.
[4] *«Колокольцом»* в народе называли хриплое, предсмертное дыхание умирающего.
[5] *«Глухая исповедь»* — исповедь, при которой больной, лишенный языка, словами отвечать не может.
[6] *Матица* — балка, брус поперек избы, на котором настлан потолок.
[7] *...лошадь его больно перепала...* — похудела, спала с тела.
[8] *Охáверник* — срамник, нахал, озорник, буян.

ИСТОРИЯ МОЕГО ДЕДА

Отрывки из записок

Печатается по изд: Славутинский С. Т. Повести и рассказы. М., 1860.

Документальная основа этого произведения С. Т. Славутинского раскрывается в позднее написанном очерке писателя «Генерал Измайлов и его дворня». В «Истории моего деда» антикрепостнический пафос несколько приглушен. Это связано с особыми цензурными условиями: накануне реформы 1861 года в печать не допускались произведения с резкой антикрепостнической направленностью.

[1] Имеются в виду события Семилетней войны 1756—1763 гг.
[2] *Сохранная казна* — учреждение, куда можно было сдавать деньги на хранение с выдачею официального свидетельства (билета) в приеме этих денег.
[3] *Подьячие* — чиновники, занимавшиеся ведением письменных дел.
[4] *Генеральное межевание* началось в России в 1755 г. Его целью было укрепление собственности помещиков через определение и юридическое оформление границ земельных владений.
[5] *Нестройная деревня* — здесь в значении неустроенной, распущенной, беспорядочно ведущей хозяйство.
[6] *Вице-губернатор* — помощник губернатора по всем частям управления, в случае надобности заменяющий его.
[7] Имеется в виду Василий Иванович Шуйский (1552—1612). Возглавлял тайную оппозицию Борису Годунову и поддержал Лжедмитрия I. С 1606 по 1610 г. был русским царем, вызывавшим недоверие у патриотически настроенных бояр и народа. После поражения восстания Болотникова многие бояре, поддерживавшие восставших, оказались в опале.
[8] *Бригадир* — офицерский чин в русской армии XVIII в. (до 1799 г.), промежуточный между полковником и генерал-майором.

[9] Пугачевское восстание было подавлено в сентябре 1774 г.

[10] *Косная лодка, или косушка* — гребная лодка, имеющая снимающиеся мачты и косые паруса.

[11] *Инвалидные солдаты* — в 1796 году из солдат, лишенных возможности продолжать военную службу вследствие преклонных лет, ран или увечий были сформированы инвалидные роты при гарнизонных батальонах.

[12] *Фомино воскресенье* — воскресенье на первой неделе по пасхе.

[13] *Застольной* называлась комната в усадьбе, где обедали вместе дворовые люди.

[14] *Бердыш* — старинное оружие в виде продолговатого топора на длинном древке.

[15] *Генерал-губернатор* — главный начальник губернии, имевший право издавать обязательные постановления, за нарушение которых приговаривать к заключению в тюрьме до трех месяцев; мог высылать административно, приостанавливать периодические издания во время военного положения и т. п.

[16] *Бекасинник* — очень мелкая дробь, предназначенная для охоты на мелкую болотную дичь.

[17] *Отъезжее поле* — псовая охота вдали от жилья, в отдаленных угодьях.

[18] *Доезжачий* — главный псарь, ловчий, дрессирующий собак и управляющий ими на охоте.

[19] *Кошка* — здесь трехвостная плеть, которая в старину употреблялась в качестве жестокого орудия наказания.

[20] Между частными лицами закладывать имение могло только такое лицо, чьей собственностью с правом отчуждения это имение являлось.

[21] *Рекамбия* — неустойка по векселю, опротестованному за неплатеж; вознаграждение убытков, от этого происшедших, сверх валюты векселя.

[22] Имеется в виду Л. Д. Измайлов, документальному описанию жизни которого С. Т. Славутинский посвятил впоследствии антикрепостнический очерк «Генерал Измайлов и его дворня».

[23] Подразумевается Валериан Александрович Зубов (1771—1804), брат Платона Александровича Зубова (1767—1822), фаворита Екатерины II.

[24] *Семпель* (от французского «простой») — в банке и других азартных играх простая ставка, без угла, транспорта или добавочного куша.

[25] *Симпатические средства* — лечение различными таинственными средствами: амулетами, заговорами и т. п. Основывается на твердой вере больного в их действие, чем возбуждается надежда на выздоровление. Считалось, что такое лечение чаще всего удается в нервных и душевных болезнях.

ГЕНЕРАЛ ИЗМАЙЛОВ И ЕГО ДВОРНЯ

(Очерк помещичьего быта первой четверти нынешнего столетия)

Печатается по тексту первой публикации — Древняя и новая Россия, 1876, № 9, с. 38—50; № 10, с. 157—170; № 11, с. 255—283; № 12, с. 349—384.

Очерк публикуется со значительными сокращениями: опущены подробности судебного разбирательства по делу Измайлова. По преданию, Л. Д. Измайлова имел в виду А. С. Грибоедов в обличительном монологе Чацкого «А судьи кто?..»:

Не тот ли вы, к кому меня еще с пелен
Для замыслов каких-то непонятных
Дитёй возили на поклон?
Тот Нестор негодяев знатных,
Толпою окруженный слуг;
Усердствуя, они в часы вина и драки
И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг
На них он выменял борзые три собаки!!!

* * *

[1] *Михаил Федорович Романов* (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых, дальний родственник царя Федора Иоанновича. 21 февраля 1613 г. избран на престол земским собором, собравшимся после изгнания из Москвы польских интервентов.

[2] *Воевода* — военачальник, правитель у славянских народов. На Руси этот чин известен с X в. Воеводы назначались во главе полка, города, провинции.

[3] *Окольничий* — древнерусский чин, дававшийся приближенным к царю боярам, не имевшим постоянных должностей.

[4] *Филарет* (Федор Никитич Романов; ок. 1554/55—1633), русский патриарх, отец царя Михаила Федоровича. Приближенный царя Федора Иоанновича, при Борисе Годунове — в опале, пострижен в монахи. С 1619 г.— фактический правитель страны.

[5] Имеется в виду приход к власти в 1762 г. Екатерины II, которая с помощью гвардии свергла с престола Петра III.

[6] Имеется в виду Платон Александрович Зубов (1767—1822), русский государственный деятель, последний из фаворитов Екатерины II. Интриган и бездарный администратор, он тем не менее пользовался огромной властью. Смерть Екатерины II (1796) положила конец его карьере. Но при Александре I он вновь был членом Государственного совета.

[7] Речь идет о русско-шведской войне 1788—1790 гг., завершившейся поражением Швеции и подписанием 3 августа 1790 г. Верельского договора, подтверждавшего территориальные приобретения России.

[8] Подавление русскими войсками польского восстания 1794 г. За поражением восстания последовал третий раздел Польши 1795 г. и окончательная ликвидация Польского государства.

[9] *Арапник* — длинная плеть, сплетенная из тонких ремней, употреблялась псовыми охотниками.

[10] *Балашов* Александр Дмитриевич (1770—1837), русский государственный деятель. С 1804 по 1809 г.— московский, затем петербургский обер-полицмейстер. С 1810 г.— министр полиции.

[11] Дворянское ополчение созывалось высочайшими государственными манифестами и распускалось по миновании в нем надобности высшей государственной властью.

[12] *Жихарев* Степан Петрович (1788—1860), русский литератор, драматург, переводчик. Автор «Записок современника» (См.: Ж и х а р е в С. П. Записки современника. М.— Л., 1955).

[13] *Барка* — речное плоскодонное деревянное судно облегченной конструкции. Имело небольшую прочность и использовалось обычно на одну навигацию. Затем разбиралось, и барочный тес шел на различные хозяйственные нужды.

[14] Из стихотворения П. А. Вяземского «Станция» (1829):

Когда губернский регистратор
Почтовой станции диктатор.

Эти строки А. С. Пушкин поставил эпиграфом к повести «Станционный смотритель», изменив умышленно «губернский регистратор» на «коллежский регистратор», так как станционные смотрители пользовались чином 14-го класса, по названию «коллежский регистратор», а чина «губернский регистратор» в табели о рангах не было.

[15] *Фельдъегерь* — курьер для доставки важных депеш и для дежурства в некоторых местах государственного управления.

[16] Имеется в виду Михаил Илларионович Кутузов (1745—1813), светлейший князь Смоленский (1812). В Отечественную войну 1812 г. главнокомандующий русской армией.

[17] *Форейтор* — человек, сидящий верхом на передней лошади и управляющий переднею парою лошадей при запряжке цугом (ездой, при которой лошади запрягаются попарно или по одной в ряд, причем пар таких две или три).

[18] Ср. рассказ Н. А. Некрасова о бесчинствах князя Утятина:

Приехал в отпуск князюшка
И, подгулявши, выкупал
Меня, раба последнего,
Зимою в проруби!
Да так чудно! Две проруби:
В одну опустит в неводе,
В другую мигом вытянет —
И водки поднесет.

(Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: в 15-ти т. Л., 1982, т. 5, с. 95).

[19] Брат Шишкова Александра Семеновича (1754—1841), русского государственного деятеля, адмирала, статс-секретаря Александра I, писателя.

[20] Орлов Алексей Григорьевич (1737—1807/08) — граф, генерал-аншеф. Командовал русской эскадрой в Средиземном море. За победы у Наварина и Чесмы (1770) получил титул графа Чесменского. 1775 г.— в отставке.

[21] *Хозяйственная десятина* в 3200 кв. саженей равнялась 1,45 га.

[22] *Иван IV Васильевич Грозный* (1530—1584), великий князь «всея Руси», первый русский царь с 1547 г.

[23] *Петр I Великий* (1672—1725), русский царь с 1682 г., первый российский император с 1721 г. Проезжал через Дедново в Воронеж в 1695 г.

[24] *Подводная повинность* — обязанность крестьян давать подводы для перевозки хозяйственного товара.

[25] *Водолив* — старшина между рабочими на волжских судах.

[26] *Тягло* — в крепостное время так называлась семейная пара, состоявшая из мужа и жены и принимавшаяся за рабочую единицу.

[27] *Вотчинное начальство*. Вотчиной называлось родовое недвижимое имение, населенная земля, состоящая во владении помещика. Делами управления вотчиной занимался вотчинный приказ, имевший свою контору.

[28] *Наварщик* — от слова «навар»; так у псовых охотников называлась овсянка, сваренная с мясом или шкварками. Наварщик занимался приготовлением пищи для охотничьих собак.

[29] *Стремянный* — верховой, находящийся безотлучно около своего господина во время охоты.

[30] *Хирагра* — подагра суставов ручных пальцев и кисти.

[31] *Садка зайцев* — травля собаками пойманных наперед живьем зайцев.

[32] *Фунт* – мера веса, равная 409 г.

[33] *Вершок* – мера длины, равная 4,45 см.

Содержание

Илья Васильевич Селиванов

Степан Тимофеевич Славутинский

ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Повести, рассказы, очерки

Редактор
Л. КУЛЕШОВА

Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор
С. БИРЮКОВА

Корректор
В. ЛЫКОВА

ИБ № 3199

Сдано в набор 18.06.84. Подписано к печати 24.12.84. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Гарнитура обыкнов. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 21,0+0,11 (вкл). Усл. краско-отт. 21,21. Уч.-изд. л. 23,15. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2840. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Селиванов И. В., Славутинский С. Т.

С29 Из провинциальной жизни/Сост., вступ. статья, коммент. Ю. В. Лебедева.— М.: Современник, 1985.— 398 с.— (Из наследия).

В пер.: 2 р. 20 к.

В настоящий сборник вошли очерки, рассказы и повести из народного быта И. В. Селиванова и С. Т. Славутинского, беллетристов 1850-х годов, отразивших в своих произведениях жизнь крестьян, а также нравы дворянского сословия. Их творчество в свое время было замечено литературной общественностью и даже оказало влияние на классиков русской литературы.

С $\frac{4702010100-045}{М106(03)-85}$ без объявл.

ББК84Р7
Р1